

ОГНИ СТОЛИЦЫ

альманах

ОГНИ СТОЛИЦЫ

альманах

Иерусалим
2007

ОГНИ СТОЛИЦЫ. Альманах

אוגני סטוליצי

מבחר שירה, פרוזה ופובליציסטיקה
של סופרים יוצאי מדינות חבר העמים בישראל

OGNI STOLIZI

Anthology of Russian Writers in Israel

© Все права принадлежат авторам

Главный редактор: Б. Камянов

Редколлегия: И. Городецкий, Н. Локшина, З. Палванова, В. Ханан



Редколлегия благодарит комиссию по культуре
и искусству организации «Мифаль га-поис» за
помощь в издании этой книги.

В оформлении обложки использован фрагмент картины
Вениамина Клецеля «Вечерний Иерусалим»

ISBN 965-7129-34-6

«Скопус»

Printed in Israel

2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первый номер альманаха «Огни столицы» вышел в свет в 2005 году. Перед вами, читатель, его второй выпуск.

Очередная книга гораздо объемистей предыдущей, и объясняется это тем, что за два прошедших года к Содружеству русскоязычных писателей Израиля присоединились новые литераторы. Когда альманах уже печатался, в нашу организацию были приняты еще два человека. Их произведения, увы, в этот выпуск не попали.

В этом номере, как и в первом, представлены разные литературные жанры; в отличие от сборника 2005 года появился еще один раздел – «Пьесы».

Как и два года назад, работа редколлегии заключалась в отборе материалов и ее голос на всех этапах подготовки книги был совещательным, решающее слово оставалось за авторами.

Надеемся, что и второй выпуск «Огней столицы» читатели оценят по достоинству.

Редколлегия

ПОЭЗИЯ

Елена Аксельрод

* * *

Пахнет картошкой жареной,
Финиками, айвой.
Пахнет с рожденья дареной
Тучею грозовой.
Жизнь моя затянулась.
Что мне еще сулит?
Утром, как в детстве, проснулась,
Совсем ничего не болит.

Кажется, все уже было,
И эта строчка была.
И утро в глаза так же било,
Текла по стволу смола,
Золотая, как эта картошка,
Что на плите скворчит...
Но помнишь, в лесу сторожка
И наш по складам иврит?..

Бредут сугробов отары.
Петляет стадо олив.
Ты не такой еще старый,
Мир мой, ты еще жив.

2006

* * *

Я вспоминаю жизнь свою
и жизнь чужую.
На память – стершийся костыль –
я опираюсь.
Охранник-странник, тени весен
сторожу я
И тени зим в ладони теплой собираю.

Но я опять в крутых объятьях лета,
Придет ли осень – и гадать не смею,
Но кличут тени, шелестит газета,
И бормочу о прошлом вместе с нею.

2006

* * *

Глицинии, скромны как никогда,
Прикрылись пятипалым виноградом.
Цветы, морская тихая вода,
Вскипевшая от судорог, – все рядом.

И первые слова, и первая строка –
Все хочет жить, все хочет сохраниться.
Как прихотливо выются облака,
Рисуют бледные родные лица.

И каждый голубеющий сорняк,
И придорожный камень пыльно-серый –
Все ловит в небе ободренья знак,
Как я сегодня – с безнадежной верой.

Июль 2006

ВЕРНИСАЖ

Памяти отца

Где укрылся, где прячешься ты на своем вернисаже?
Потерялся в толпе, равнодушно тобой восхищенной.
Кто-то речь говорит, с каждым словом мертвее и глаже.
И фуршет – лучше нет – сладкий торт и огурчик соленый.

Прикрываю – последняя – двери безлюдного зала.
Тень твоя еще там, не спешит удалиться со всеми.
Вот и я уйду до утра, до другого начала,
Когда тихо взойдет в легких красках ожившее время.

2006

* * *

Ваш поезд оторвался от вокзала.
И места нет ни вздоху, ни упреку.
Как мало память мне о вас сказала,
Но я уже от вас неподалеку.

Наш век отколесил, расставшись с вами –
Такими прошлыми и молодыми.
Неузнаваемыми легкими руками
Обнять бы вас, свое напомнить имя.

Но лиц не видит, только плечи, спины.
Во времени чужом мы инородцы.
Игрушечный вагон из красной глины
По рельсам поролоновым несется.

2006

Виктор Толков

* * *

Я Родину выжег железом каленым,
и в столбики пепла свернулись поля.
Не нужно уже притворяться влюбленным
в эти акации и тополя.

И кладбище, отческий дом или школу
горящая воля моя рассекла.
И рухнуло все, стало пусто и голо,
и вырвалась в мир первозданная мгла.

Вот я – бунтовщик, уничтоживший звонкий
храм Божий и всю его тысячу лет,
стою на краю исполинской воронки,
следя, как вокруг стекленеет рассвет.

* * *

Все таинственно и дико
И нацелено вперед.
Только сердце безъязыко
В немоте своей умрет.

И завертится по кругу
Неизведанных идей,
Где тождественны друг другу
Русский, эллин, иудей.

Где для воли нет предела
И ни в чем не виноват
Тот, чье суетное тело
Слепо веровало в ад...

СТАРИННЫЕ ПОРТРЕТЫ

В том зале, где тени скользят над паркетом,
блуждает мой взгляд по старинным портретам.
Слой лака покрыл, незаметен и тонок,
надменные лица панов и паненок.
И я созерцаю спесивые позы
и скрытые в тонкой насмешке угрозы.

Луч вынырнул, как бы случайно, из мрака.
Охотничья нюхает воздух собака.
Узор на камзоле, колье и монисто
сверкают светло, равнодушно и чисто.
Нет, здесь ни один не слышал, безусловно,
о сумрачной страсти и пытке духовной.

И вздрогнул я в страхе, почти суеверном:
так много знакомого в жесте манерном.
И я с удивленьем следил молчаливым
за этим лицом, притягательно-лживым.
А жадные губы, казалось, готовы
шепнуть мне одно ядовитое слово.

* * *

Крах моей души свершился,
если души – это явь.
Тополиный пух кружился,
по земле пускался вплавь.

И теперь второстепенно
все, что связано с судьбой:
на другом краю вселенной
горек кислород рябой.

В этом новом измеренье,
где рука висит, как плеть,
будет лишь стихотворенье
флагом издали белеть.

* * *

Акация в черных разломах,
Нависшая, словно скала...
И я был среди насекомых,
ютившихся в складках ствола.

Впитавший чужую идею,
неслышно возник и исчез,
и белый цветок – орхидея –
раскрыл надо мной свой навес.

Но, мизерный в мире великом,
песчинка земной голытьбы,
стоял я пред огненным ликом
и яростным оком судьбы.

Чтоб в прорву, которая снизу
сдвигает свои жернова,
швырнуло бессмысленный вызов
тепло моего естества.

* * *

Тяжеловесный свет на части землю режет,
морщинами изрыт со всех сторон курган.
Таинственная жизнь, я узнаю твой скрежет,
в который иногда вплетается орган.

Уходят в высоту стволы глухонемые,
в чешуйчатую зыбь оделся черный пруд.
Все то, что я люблю, сейчас беру взаймы я,
но страшно оттого, что завтра отберут.

Сияющий Эдем, дворец из паутины,
горбатый коридор и каменный подвал...
А в узеньком окне лишь контур бригадины,
плывущей в те края, где я не побывал.

* * *

Когда, одурев от невроза,
Ты гадок себе самому,
Великий маэстро Спиноза
Не даст тебе кануть во тьму.

Он учит, что Бог неизбежен –
Везде Его крылья парят.
Твой внутренний ад обезврежен,
Есть вечность – тебе говорят.

Проблему познания решая,
Всю ночь я смотрю в потолок.
Ведь вечность такая большая,
Пусть выделит мне уголок.

Устал я от скуки и прозы,
Мне в горло не лезет кусок.
Великий маэстро Спиноза,
Твой тоненький голос высок.

* * *

Полезет в ноздри газ угарный,
А пыль набьется в рот.
Так вот он – год мой календарный,
Двухтысячный мой год.

В конце времен пришлось родиться,
А не пасти свиней.
И опыт предков не годится
Для этих грозных дней.

Дорога светлая, прямая
Нас вывела ко рву.
И я уже не понимаю,
Зачем же я живу.

Держусь за жизнь, как эти ветки,
Когда их ветер гнет, –
Пока мои слепые клетки
Он в ночь не зашвырнет.

* * *

Оскалило время клыки
с коричнево-желтым налетом.
Над пропастью и над болотом
машин раздаются гудки.

И, бельма уставив во тьму,
слепцы собираются в стадо,
и пена незрячего взгляда
ползет по лицу моему.

Задвигались: гомон и крик,
я чувствую тел колыханье,
горячее слышу дыханье –
мужчина, ребенок, старик.

Как будто другой Моисей
связал их веревкой свободы.
Как плевел, изъят из народа,
один я средь Родины всей.

* * *

В этом тихом движении вбок
мое место на самом краю,
чтоб начищенный чей-то сапог
не споткнулся о душу мою.

Но скрипят и скрипят сапоги,
длится ночи глухая возня,
потому что не видно ни зги
и на шаг от тебя и меня.

Вот я предал, и стало легко,
и чужая земля под ногой.
Это где-то во мне глубоко
тяжело шевельнулся другой.

Зезв Зорах

* * *

Белый лебедь, чёрный лебедь,
Водной вспени седина,
И предсмертной песни трепет,
Ибо их душа одна
(Но – светла или темна?).

Погляди, мироуслышье,
В белосвет и ночьтёму –
Свет и мрак в себе продлишь и,
Значит, красоту саму.
Вот из мрака и из света
Возникает красота
Очертаньем силуэта...

Ну, так эта или та
Лучше?
Иль незримый щебет
Птичек, хоть и невесом,
Скажет: всё ль пойдёт на слом?
Ведь не кончатся на том
Чёрный лебедь, белый лебедь...

10.5.2006

ПСАЛМОПЕВЕЦ

Науму Басовскому

Царь поэтов и царь над сферою Малхут
Постигал, сколь он мал и сколь разумом худ:

Всем обязанный Богу, душою он влит
В вопрошения тайн и в отрады молитв.

Тайнам нету конца – значит, сердце поёт,
Поднимаясь всё выше в значеньях сфирот,

Переходит в звучания струн и в слова,
Что сперва постижимы, а после – едва.

И когда высота уже набрана – что
Проливается миру, как дождь в решето?

Каплет каплей по капельке – не нараспах –
То, что в нас обретает священнойший страх.

Нет питья ни дороже, ни чище – взамен...
Пьём его, а без этого прах мы и тлен.

Бездна в бездну прольёт – из сосуда в сосуд –
Голоса, что нам трепет несут и несут.

Гомон звуков бушующ, ревуц, ураганн:
Песнь Шеола, к которой подстроен орган...

1.9.2006

* * *

Когда заглядом в сущности вещей
Почуешь смерть, как некогда Кощей,
Поняв, что не помогут больше плутни,
Что ими, значит, не отсрочишь впредь
В желанье жить проклятье умереть –
Длись, музыка: нет истины минутней.

Дух не исчезнет, а взовьётся в путь
Надмирный. Так попробуй всколыхнуть
Его предчувствием, что, вот, ничуть не
Жалеешь о земле, и лишь одна

Гармония пребудь в тебе слышна –
Длись, музыка, не становись минутней.

Ах, за пределом сущности вещей
Не станет дух несчастней и нищей,
А лишь к посленачалу первопутней!
И там, где Времени уже не быть,
Одну лишь Бог не перережет нить –
Неминованья: нет, не стань минутней.

Чтоб музыке – остаться! Не терзать
Безмолвием! И снятая печать –
Последняя – прервётся звуком лютни,
С которым, вновь рождая некий мир
В обманный до безбожья перевир,
Длеть музыку минутам неподсудней...

5.12.2006

АРГУМЕНТ К ПОЭМЕ «МАЯКОВСКИЙ ВПОЛШЁПОТА»

Первенство СССР по стихам.
Нет Маяковского, нет Мандельштама.
Сталин в раздумье. И мыслит упрямо:
«Первого места другим не отдам.
Есть Пастернак – да лизать не готовый.
Слово ль Ахматовой? Нет уж, молчи.
Эх, голоса одни лишь светловы,
Равно как лебедевы-кумачи.
И вот в такой-то светлящейся теми
Многого ль стоит достоинство премий?
Не развернуться поэтам, дрожа:
Цензор ведь – цезарь! Страшатся подвоха!
...А Маяковский, коварная ржа, –
Загнанной лошастью смутного вздоха –
За год до смерти задумывал “Плохо”»...

2.1.2007

* * *

Жизнь изъянами томится.
Ей не спится ночью.
Вспыхнет там и сям зарница –
Блиц ближневосточью.

Это ль – Божье проницанье?
Нет его раздольней?
Иль не нужно упований
Там, где вспышки молний?

Это просто молний вспышки –
Хочет Бог ответа?
Буду тербить мыслишки,
Дождаться света.

Утром взгляд в окошко кину –
Мир в изъяне странном:
Тучка села на долину,
Назвалась туманом.

13.3.2007

ИЗВЕЧНАЯ БАЛЛАДА

На горе, что зовётся Мерон,
Руки к небу заламывал он;

Над листками немало корпел –
Чтобы каждый листочек был цел,

Чтобы ветром его не снесло:
Камень к каждому, ветру назло.

Так, бумажки кругом разложив,
К Богу он обращал свой призыв...

– Ты же видишь всё это Господь!
Дай мне блага хотя бы щепоть!

Вот листок – алименты одной,
Вот листок – алименты другой –

Ой ва-авой, ой ва-авой, ой ва-авой!

Вот счета – телефон и хашмаль.
Как меня Тебе, Боже, не жаль?

Пожелать ли такое врагу?
Ты же видишь – платить не могу.

И ещё: самому мне нужны
Деньги – глянь, как протёрлись штаны.

Будет день, будет пища – я впрок
Не загадывал хлеба кусок.

Но счета... Посчитай и реши:
Где тут выкуп несчастной души?

Готеню! Рибоно шель олам!
Заплати мне по этим счетам!

15.3.2007

Борис Камянов

(из Леонида Шафира, писавшего на идиш)

ДЕТСТВО

Средь полей и лесов, возле речки,
Вдалеке от Священной земли,
Близ Одессы, в еврейском местечке
Мои детские годы прошли.

И чем дольше живу я на свете,
Тем отчетливей в памяти дом,
Палисадник, соседские дети
И базара веселый содом.

Помню тропку, ведущую к дому —
К золотым уголькам очага.
Все изгибы ее мне знакомы,
Кочку каждую помнит нога.

Не вернусь я в местечко родное,
Не увижу его никогда...
Под огромной багровой звездой
Голубая погасла звезда.

Только память осталась в наследство,
Нянчить душу в ночной тишине...
Скрылось в вечности милое детство.
Никогда не вернется ко мне.

ЖУРАВЛИ

Летит надо мною косяк журавлей,
На север спешит он, к отчизне своей.

Я птиц провожаю, и кепкой машу,
И лишь об одном журавлей я прошу:

– Когда пролетите над синим Днестром,
Когда пепелища пойдут под крылом, –

Привет передайте из дальних земель
Стране, где стояла моя колыбель.

Там детство мое расстреляли в упор.
Там прах моей мамы, отца и сестер.

Над полем парит неприкаянный прах
И серою пылью ложится на шлях.

Украине пыльной – глубокий поклон:
Всем рвам, где поныне черно от ворон;

Поклон городам, деревням и лесам,
Поклон равнодушным глухим небесам.

Любимой моей передайте привет;
Убили ее и швырнули в кювет.

Останки ее вам нетрудно найти:
Должны в этом рву незабудки расти.

...Давно журавли растворились вдали.
Они мою душу с собой унесли.

Под небом Израиля старый еврей
Остался с тоскливою песней своей.

НА РУИНАХ ЕВРЕЙСКИХ МЕСТЕЧЕК

От этих местечек остались руины –
Груды красных камней.
Там мертвые женщины и мужчины
Мертвых прогуливают детей.

Прислушайся: в синагоге сгоревшей
Сожженный кантор поет.

Из ямы заброшенной цадик истлевший
Благословляет народ.

Братское кладбище. Гиблое место.
Тут не земля, а прах.
Пепел мамы, отца и невесты
Лежит на моих сапогах.

Вон промелькнуло что-то живое –
То ли змея, то лимышь...
Ветры степные воют и воют –
Видно, читают кадиш.

Спите спокойно, евреи. Над вами
Ангел скорбящий парит
И вечный огонь – стойкое пламя
Памяти нашей – горит.

* * *

В небесах поселилась душа твоя,
Окликает меня на исходе дня.
Отвечаю сквозь дымку небытия:
– Спасибо, что не забыла меня! –

Загорелись во тьме мириады душ,
Но ко мне обращается лишь одна:
«Без тебя мне плохо, любимый муж», –
Повторяет с тоской она.

А когда настанет мой срок, и ты
Встретишь душу мою в запредельной мгле, –
Станем вместе беседовать с высоты
С родными, живущими на земле.

Тяжело расставаться с самим собой,
Жизнь свою зачеркнуть и уйти туда,
Где во мраке выжег огонь голубой
Слово жуткое: «НИКОГДА».

Нам подарит вечность с тобой Господь,
А пока – посочувствуй моей судьбе:
Уходить из жизни боится плоть,
А душа – стремится к тебе...

Я ВИДЕЛ СОН...

Вижу сон: как будто на экране –
Улица. А на переднем плане –
Мы с тобой. Высокое крыльцо.
Я целую милое лицо.

Боже мой, как ты была прекрасна!
Столько лет спустя я вижу ясно:
Тонкий профиль, русая коса,
Нежные счастливые глаза.

...Ночь ушла. Погас экран чудесный.
Вновь теперь один я в поднебесной.
Милый образ промелькнул – и сгинул.
Сон о ней – и тот меня покинул.

ЭПИТАФИЯ

В нашей жизни скитальческой
шли мы и шли
По кровавым дорогам
несчастной земли.

Нас с тобою в пути
охраняли всегда
От излишнего счастья
печаль и беда.

Светлых дней
мы немного видали с тобой,
Чаще мрак покрывал нас
густой пеленой.

Он навеки однажды
тебя поглотил.
Я остался один
в сером царстве могил.

Над твоею холодной
могильной плитой
Только ветер морской
плачет вместе со мной.

Так внезапно ушла ты,
растаяв во мгле,
Будто и не жила
никогда на земле.

Только память моя
милый образ хранит,
Только сердце мое
о любимой болит.

ДЕКАБРЬ

По декабрьской России гуляет пурга,
Заметают Россию густые снега...
А в моих палестинах зимою тепло,
Только дождь нескончаемый бьется в стекло.

Стол накрыл для себя я, в квартире прибрал
И наполнил слезами хрустальный бокал.
Двери настежь распахнуты в доме моем,
Только нету гостей за накрытым столом.

В эту зимнюю ночь – ни души во дворе,
Ни души в одиноком моем декабре.
Что же – раз уж один я остался в дому,
Пожелаю-ка счастья себе самому.

Я поднялся, «лехаим» сказал, и до дна
Выпил горе свое, что хмельнее вина.
Только робкое эхо ответило мне
И бесследно пропало в сырой тишине...

ОСЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

Тоскливо воют ветры злые
В осенней хмари ледяной.
Печальные и затяжные,
Дожди рыдают над страной.

В лесах и просеки, и травы
От гибнущей листвы кровавы,
И тучи над сырой землей
Ползут, беременны водой.

Деревья в парке ласки просят,
Испуганы, как малыши.
Кто им поможет? В мире – осень,
И в парках нету ни души.

Им здесь, под небесами злыми,
Так одиноко, тяжело...
И я печалюсь вместе с ними,
Что лето красное прошло.

Дождется мир тепла и света,
И осень сгинет, как беда.
К земле еще вернется лето.
Ко мне теперь уж – никогда...

* * *

Прямы проспекты и чисты,
Там топчет детвора траву...
А в доме комнаты пусты,
Я здесь один теперь живу.

Один... И только по ночам
Приходят гости в дом ко мне:
Тут боль, и горе, и печаль,
И плач в могильной тишине...

Я говорил с ночной звездой,
Я спрашивал у ветров злых –
Но горький смысл судьбы людской
Сокрыт был также и от них.

Секрет могил хранит земля.
А истина, как смерть, проста.
О ней мне шепчут тополя:
«Все в жизни – тлен и суета...»

Лиора Кнастер

* * *

Я швыряю в тебя голубой файербол,
И не страшно погибнуть в бою,
И ломаю магический твой ореол,
И победную песню пою:

Так скитайтесь во тьме, не найдя никого,
И свою проклинайте судьбу,
Вы – затем, что ребенком украли его, –
На меня навели ворожбу.

Я кидаю в тебя голубой файербол,
И не страшно погибнуть в бою,
И бросаю магический свой произвол
На смешную отчизну твою.

А теперь я клянусь перед взором Творца
Тем, что слезы мои – не вода,
Уничтожить отчизну твою до конца,
Не оставив ни снега, ни льда.

Я сдираю с себя полумрак и тоску,
Восстановлены имя и честь,
И несется, несется на полном скаку
Оскорбленной волшебницы месть.

Это старой легенды чужая струна
Про любовь и войну королев.
Но летит на тебя, нежилая страна,
Возрожденной валькирии гнев.

* * *

На небе, в аду и в могиле
Ушедших слышны голоса.
И все-таки мы победили –
Свершились Твои чудеса.

И Боже, какая отрада,
Что можно сказать о любви
И больше сражаться не надо
За небо и землю мои.

МАЛЬКИЦЕДЕК

Я так молилась о победе,
И вот она ко мне пришла,
Вся лучезарная – в расцвете
Гранаты и колокола.

Свое исполнила призванье
И до конца сроднилась с ней,
И на одеждах – сочетанье
Из всех двенадцати камней.

Повержен мной иноплеменник,
Открыто сердце всем ветрам,
Как будто я – первосвященник
И люди строят Третий Храм.

* * *

Вот и все. Отвоевалась.
Больше не о чем тужить.
Мне одна осталась малость –
Мне осталось только жить.

Все свершилось. И навеки
Обретен и хлеб, и кров,

Молока и меда реки
Протекут меж берегов.

Голоса поют святые,
Улетая к небесам.
Не пришел еще Мессия,
Но построен Третий Храм.

* * *

На великой войне не истрачены силы,
Только стали они понемногу другими.
Я еще погожу, не дойду до могилы
И вложу свои силы в запретное Имя.

Я вложу свою душу в волшебное слово,
И еще потому, что известно от века:
Амалек никогда не щадил Якова,
А теперь Яков не щадит Амалека.

* * *

Зеленая травка, израильский флаг
И узенький каменный двор.
Сама я не знаю, кто – друг или враг –
Со мною ведет разговор.

Какие-то тени пришли и ушли,
Но вера моя велика,
И ясно Армилуса вижу вдали,
Тверда и правдива рука.

Я больше не буду растрачивать дар,
Мне данный Творцом неспроста.
И я наношу смертоносный удар,
Орудье убийства – уста.

Наталья Кристина

НАТУРЩИЦА

Согбенная, в сети морщин,
В заплатах. Тихими ночами
Бесценны призраки мужчин
Косматых, с дикими очами.

Давно уж на груди свели
Дар отстрадавшие страдальцы
Те пальцы в мраморной пыли,
Те в золотистой охре пальцы.

Но повлечет их красота
Земли, возлюбленной до неба,
И плеч точеных нагота,
И простота вина и хлеба.

И страстный взгляд, и страшный суд
Вновь потрясут! И вновь ночами
Мольберты лунные несут
Гуляки с дикими очами.

Ей с ними было суждено
И в благости, и в униженье
Делить лукавое вино
Побед и водку поражений.

Нерасторжимо мастерство
И трепет страсти – ощущали
Ее изгибов колдовство
Глаза, а руки воплощали.

Нещадно кисти и резец
В огне, во гневе и печали
Смущенье любящих сердец
В смещение линий превращали.

И частые, в сети морщин,
Сверкают слезы сострадания.
Ласкает призраки мужчин
За час до вечного свиданья.

1998-2000

ПЕГАС

Он был горяч, уже в помине
Былая стать, огонь погас.
Зачем зовут коня доныне
Крылатым именем Пегас?

Не потому ль ему все жальче
Себя, ослабшего в тоске,
И снится мальчик, снится мальчик
С гусиным перышком в руке?

Не потому ль дрожат колени,
Когда, легка, издалека
Зовет, не знающая лени,
В чернильных пятнышках рука?

Не потому ль, когда осталось
Грустить, соломой хрустя,
Дитя ему, ему досталось
Давно знакомое дитя?

Пегас насмелится и спросит,
Зачем на мельницу, к ручью
Приходит мальчик и приносит
Тетradку тонкую свою.

И, голоса заслыша свыше,
Осокой шелестя едва,
При лунном свете мальчик пишет
В тетрадку лунные слова.

Неужто время не настало
Коснуться стремени, дитя?..
...Гоним, раним, пред ним восстал он,
Небесным рубищем светя.

И в просветленье избавленья
Слезы последней свет погас,
На стариковские колени
Перед поэтом пал Пегас.

И вознеслись, и звездной пылью
Они покрылись, и во мгле
Пегасовы шуршали крылья,
Что так мешали на земле.

ПРИРОДА

Когда-то в удивительный лесок,
Приветливый в любое время года,
Учитель строем вел нас, и часок
Нам поверяла таинства природа.

Учитель, он и вправду много знал,
Но говорил бескрыло и тверезо:
«Вот, сами понимаете, сосна,
Вот, сами понимаете, береза».

И все, что было радостью очей,
Испепелял неспешно и жестоко:
«Вот, сами понимаете, ручей,
Вот, сами понимаете, три стога».

Сморился серый заяц под кустом,
И только мы затравленно внимали,
Хотя и понимали, – все о том,
О том, что мы и сами понимали.

Учитель, он невольно ощущал
Презренье подневольного народа,

Когда самодовольно сообщал:
«Вот, сами понимаете, природа».

Учитель, нет! Печальна и горда,
Божественна в самом предназначенье,
Природа не прощала никогда
Схоластики сухих обозначений.

Учитель, в появлении любви
Холодных слов бесплодное бряцанье –
Что смерть! Остановись, не отрави
Восьмое чудо света – созерцанье.

Под синей сенью плыл осенний день,
Томило пенье птиц и улетанье,
Огромный лось бодал огромный пень,
И родилось в природе состраданье

К несчастным детям... Ускользали сны,
В умерших травах исчезали слезы,
Как сами понимаете, сосны,
Как сами понимаете, березы.

2003

ВОСТОРГ ЛЮБВИ

«Зачем беречь свеченье плеч,
Спеши увлечься и увлечь
Спеши, не вечен трепет
От жадной ласки жарких встреч...»
Ты в легкий стих умел облечь
Любви наивный лепет.

Где невозможно уберечь –
Не уберечь. И только речь
Осталась мне. Как просто
Густая мгла заволокла
Сиянье звезд, и унесла
Тебя в покой погоста.

И если я пережила
И впредь переживать могла
Утраты и обиды,
Лишь оттого, что по ночам
Живую ласку излучал
Твой голос незабытый:

«Зачем беречь свеченье плеч,
Спеши увлечься и увлечь
Спеши, не вечен трепет...
Не плачь... Себя не убережь,
Умея в легкий стих облечь
Любви наивный лепет».

Незабываемая речь
На одиночество обрежь
Смогла. И, в жажде встречи,
Из тьмы, невысказано далек,
Глядит, кто в легкий стих облек
Поток любовной речи.

Восторг любви неповторим.
Мы ничего не говорим,
Но каждый понимает:
Все ускользает в забвенье –
И тот, кто сладостно поет,
И кто ему внимает.

Роптанье рощ, блистанье льдин
И росчерк молний – на один
Единый миг дается.
А если так, зачем оно,
Чему исчезнуть суждено?
Однако остается,

Кто расчертил полет светил,
Кто лица в лики обратил,
Кто был в сужденьях резок
И на костре... Кто ощутил
Весь бренный мир, и охватил
Великолепьем фресок...

...Очарование наших встреч,
Незабываемая речь
На сгорбленные плечи
Струится музыкой с небес,
Рождая муку, но тебе,
Когда я слышу, – легче.

Восторг любви неизъясним –
Зачем жесток, зачем раним,
Зачем, измучив, лечит?..
Не береги свечение плеч,
Спеши увлечься и увлечь,
Пока прелестны плечи.

2005

ДВЕ ТАЙНЫ

Две тайны на земле
Прелестно безобманны –
Любовь на склоне лет
И детские романы.

Сводящая с ума
Губительная сила
В одних еще нема,
В других – отголосила.

Одним – исхода яд,
Другим – печаль начала,
Но безмятежен взгляд
У старых и у малых.

Они боготворят
Почтительно и страстно,
Последняя заря,
Как первая, – прекрасна.

Разменный пыл измен
Им равно не опасен,
Любви последний плен,
Как первый плен, – прекрасен.

Прозрачная роса,
Рассвета просветленье,
Последняя слеза
И первое томленье...

Две тайны на земле
Прелестно безобманны –
Любовь на склоне лет
И детские романы.

1998–2000

* * *

Пришла, незванная, собой
Весь белый свет загородила.
Она была глухой, слепой
Была, но всюду находила.

Уверена в своих правах,
Без разрешенья и ответа
Она садилась на кровать,
С ума сводила до рассвета.

Рыданьем разрывала грудь
Безжалостно, и очень мало
Она напоминала грусть,
И радость не напоминала.

Кровь леденила, сердце жгла,
Ее гнала, но неотвязно,
Как лучший друг, верна была
И, как заклятый враг, опасна.

Пред ней земная красота
Лишалась цвета и звучанья,
Пред нею мучились уста
Бессильной мукою молчанья.

Являла мне из черноты
Его черты, узор ограды,
И на вопрос:
– Да кто же ты? –
Сказала просто:
– Боль утраты.

2000

Нина Лоқшина

ЧАРТЕР НА ПРАГУ

Борису Камянову

1

Ты придешь, и протрешь глаза, и увидишь град,
Частокол его башен, и каждую – в полный рост,
Левый берег – лесистый, а правый – торговый ряд,
Между левым и правым – река и Юдифин мост .

Мы здесь камни тесали, крепили стропила мы,
Прорубили во времени тесный коридор.
Слева – храмы чужие, а с правой стороны –
Синагога, и кладбище, и заезжий двор.

Помолись, собери котомку – и снова в путь,
По мосту, мимо бронзовых идиолов, до ворот,
Где написано вечными буквами: «Не забудь
То, что хочет забыть гуляющий здесь народ».

2

Потемнело вокруг.
Воробьиного серого колера
Небеса нависали над чашею Карловых-Вар.
Капли бились в стекло,
Кто-то кашлял за стенами номера,
Продавцы на мосту от дождя укрывали товар.

Ты не сможешь меня
Напугать своей раннею осенью,
Я отвыкла уже от твоих европейских причуд,
От дождя среди лета,

* Мост XII века, на опорах которого стоит Карлов мост в Праге.

От неба с тяжелою проседью,
От того, что в глаза мне глядишь, не стесняясь ничуть.

Здесь давно не мои
Этот дом, этот мост, эта мельница,
Этот воздух лесной и реки торопливая речь,
И земля не моя,
Но, однако, большая умелица
Заставлять вспоминать и свое еще больше беречь.

3

Кто говорит, что красота спасет
Наш мир – тот врет...
Из дома к дому шла, из двери в дверь,
И города красивее, поверь,
Я не встречала, где бы ни была,
Но синагогу здесь сожгли дотла.

Сюда все стили зодчества сошлись –
Готический, стрелой летящий ввысь,
Классический – могучие тела,
Барокко – каменные кружева.
Зеркальный и цветочный стиль ампир –
Хрустальный мир, такой непрочный мир!

Всего один удар – и он разбит.
Но церковь как стояла, так стоит,
Но кирха неприступна, как скала,
А синагогу здесь сожгли дотла.

На пепелище возвели потом
Гостиницу, кафе, игорный дом
И магазин хрустального стекла,
А синагогу здесь сожгли дотла.

Но для туристов просто благодать,
Нам рады фотографию продать
В киоске у источников питья,
Плати три кроны – и она твоя!

На фотоснимке, потерявшем цвет,
Огромный храм, стоявший сотню лет,
И подпись: «Синагога», что была
“Хрустальной ночью” сожжена дотла».

4

Вместе с толпой немецкой,
Вместе с толпой туристской
Выйду на Староместской
И побреду к Парижской.

Им – в собор, что у Тына,
Мне до Майзловой^{**}, мимо.

А на углу Парижской
Бойко торгуют лавки –
С профилем Кафки^{***} миски,
Майки с портретом Кафки.

А на Майзловой осень,
Тучи на небосклоне,
Листья падают с кленов,
Теплые, как ладони.

Там за каменной кладкой
Прячется что-то такое,
Вцепится мертвой хваткой
И не дает покоя,

То ли забавы ради,
То ли на самом деле
Все это штучки раби
Ливы бен Бецалеля?^{*}

* Речь в стихотворении идет о синагоге в Карловых-Варах.

** Парижска, Майзлова – улицы еврейского квартала Праги.

*** Франц Кафка родился в доме на углу Майзловой улицы.

МАГЕЛЛАН

В брюхе пусто, в горле сухо,
Неподвижен океан.
Ты куда завел нас, сука,
Португалец Магеллан?

Быстро кончились припасы,
Где же порты дальних стран?
Мы хотим вина и мяса,
Португалец Магеллан!

Бродим мы, живые трупы
От цинги и гнойных ран.
Ты играешь слишком крупно,
Португалец Магеллан!

Шкипер твой – крещен Иуда,
Что ни лоцман, то маран.
Может, скажешь, сам откуда,
Португалец Магеллан?

Мы – испанская элита,
Королевский караван.
Разворачивай корыто,
Португалец Магеллан!

Магеллан глядит сердито,
Усмехается в усы.
– Разворачивать корыто?
Как же... Не дождетесь, псы!

Мой ответ вам – кортик в спину,
Курс по компасу на юг,
Я без вас, клянусь, не сгину,
А без лоцмана – каюк!

* Раби Йеѓуда Лива бен Бецалель – великий еврейский мудрец, легендарный создатель Голема – жил в средние века и похоронен на старинном еврейском кладбище в Праге.

Скоро Рио, бабы, пиво,
Скоро щедрая земля,
Скоро заживем красиво,
Офицеры короля!

Будут вам алмазов груды,
И корица, и шафран.
И забудете, откуда
Португалец Магеллан.

Шкипер мне родня по бабке,
Лоцман — он из наших мест,
Побазарили — и баста,
А иначе, вот те крест,

Не дожить вам до заката,
Не увидеть дальних стран,
Это я сказал, ребята,
Португалец Магеллан.

НЕМЕЦКИЙ КЛАВИР

1

Как волка ни корми — он смотрит в лес...
Вот так и этот бес,
Из нехристей, распутников, повес;
В пивнушках пропадая дни и ночи,
Он в Гамбурге и спит, и пьет, и ест,
А все Германию порочит.
На родине не нравится ему!

Но если так, откуда, почему
И волны рейнские, и песнь о Лорелее?
И то, о чем мы думаем, старея,
И на исходе наших дней
Все пристальней и все нежней?
И что хранит души двойное дно —
Таможне докопаться не дано.

2

Что я о мире думаю? Да то же,
Что думал мой учитель Генрих Гейне,
Когда родные покидал края...
А если заглянуть еще поглубже,
Бродяга Тримбергский,
Что песни пел на идиш, —
Прадедушка поэзии германской,
О мире думал так же, как и я.

3. Тримбергский бродяга

...Скажет ли глина горшечнику: «Что ты делаешь?»...
(Йешаяѓу, 45:9)

Евреи поселились в Германии давным-давно. Португалец раби Ицхак Абраванель (1437–1508) утверждает, что евреи сразу после разрушения Первого Храма пришли в Испанию через земли Ассирии. В позднеантичном периоде евреи вместе с римлянами осели на берегах Рейна, Дуная и Мозеля. Они селились в средней и восточной Германии.

*Селения во тьме, а города в руинах,
и соткана судьба из тропок муравьиных.*
(Тримбергский бродяга)

В повседневной жизни они говорили на таком же немецком, как и все остальные. В те годы жил еврейский поэт – Тримбергский бродяга.

Как хорошо оно на вкус,
Старинное вино!
Но ты не торопись, мой друг,
И все придет само!

И вот стоит уже в дверях
Он – гость нежданный мой,
Седой, неряха из нерях,
С холщовою сумой.

Вошел. В кармане ни гроша.
Какой с бродяги спрос?
Сел у огня и, не спеша,
Бурчал себе под нос,

Что неприветливы леса
И холодны поля,
Что намозолила глаза
Германская земля,

Что каждый Богом данный день
Несправедлив и крут
И не похожи на людей
Те, что в лесах живут.

И то, что темная вода
Ломают чистый лед,
Как знать, откуда и когда
Беда к тебе придет?

Что мусор поверху плывет,
А золото на дне,
Что он нашел какой-то брод
И вот – пришел ко мне...

Немецкий историк Себастьян Франк в своей «Хронике немецких земель» (1538) пишет, что у евреев Ульма была «охранная грамота». Это было письмо, полученное ими от евреев Эрец Исраэль. В письме палестинские евреи рассказывали своим собратьям о распятии Христа римлянами. Когда ненавистники обвиняли евреев Ульма в распятии Христа, те показывали им письмо в качестве «охранной грамоты», свидетельствовавшей, что, по крайней мере, евреи Ульма к смерти Христа непричастны, потому что они в тот злосчастный день уже жили в этом городе. Иногда «охранная грамота» помогала.

Когда от евреев в деревне моей
Уже и следа не осталось,
Мальчишку нашли у церковных дверей.
Живого. Какая жалость!

Когда окропили святой водой
Его сатанинскую рожу,
То сам епископ дал золотой
Ему на еду и одежду.

Когда у мальчишки пыл поостыл
К заутреням и обедням,
Пошел на войну мальчишка и был
В сражениях не последним.

Когда он однажды упал плашмя
И лекарь латал прорехи,
Дал герцог ему золотой на коня
И два золотых на доспехи.

Топтался конь у его ворот,
И в барабаны стучали,
И парень собрался в дальний поход,
Но это было вначале...

Вернувшись из крестового похода, Тримбергский бродяга решил посадить на своей земле оливковое дерево в память о Палестине, которую полюбил всей душой. Когда стало ясно, что дерево не прижилось, он покинул дом и начал свои скитания.

Я коня торопил, и ветра всех пород,
Как собаки, неслись за мной –
Ветер равнинный, и ветер болот,
И нежный ветер речной...

Я коня торопил, и стелился мох,
И колола копыта стерня,
И в тумане я разглядеть не мог
Головы своего коня.

Не вез я утвари золотой,
Ни пряностей, ни вина,
Я взял только ветку Земли Святой,
Чтоб здесь проросла она.

Напрасно старался. Росток мой поник.
Его напитать не смогли
Холодное солнце, метельные дни
И скудные соки земли.

В генизе (месте хранения пришедших в негодность священных еврейских книг и предметов ритуала, которые запрещено уничтожать) синагоги Эзры в Каире находится рукопись, приведшая в шок германистов. Находка написана еврейским шрифтом на ранненемецком языке. Это пьеса из репертуара еврейского бродячего актера раннего средневековья, и она является частью древней немецкой саги «Хильде-Гудрун», относящейся к XII веку. Рукопись принес в Каир из Германии Тримбергский бродяга, бежавший от крестовых походов. Другие его песни, найденные вместе с рукописью, обнаруживают прекрасное знание еврейских обычаев и традиций. Из рукописи саги «Хильде-Гудрун» удалены христианские акценты.

Горшечник, ты не властвуешь над глиной,
Она тебя сильнее,
Она завладевает долей львиной
Твоих ночей и дней.
Она тебе диктует все сюжеты
И линии пути,
Она не позволяет совести в жертву
Насилью принести.
Горшечник, ты не властвуешь над глиной,
Над пылью вековой,
Она, твоих предвидений причина,
Меняет облик твой.

В одной из песен Тримбергского бродяги, которая неожиданно звучит как завещание, сказано:

Я здесь. Таков как есть. Пред вами. Без прикрас.
Но все, что написал, я написал для вас.
Ищу у вас в душе приют моим словам,
И боль моя тогда понятней станет вам.
Когда вас позовут слова издалека,
Не ярость будет в них, а смертная тоска.
Они окликнут вас из глубины земли,
Чтоб вы понять мое смятение смогли

И то, что в грозный час сокрытия Лица
Сумеют уцелеть разбитые сердца.

А дальше дрожащей рукой приписано: «Мир восстает не против Израиля, а против Бога...»

* * *

На узкой Яффо полный беспорядок,
Автобусы завязли в полутьме.
Ерусалимский снег, как сахар, сладок
Для тех, кто стосковался по зиме.

Путем неоднократных пересадок
Я доберусь до дома. Не беда...
Ерусалимский снег, как сахар, сладок
Тем, кто с зимой расстался навсегда.

Водитель протирает кучей тряпок
Окно и боковые зеркала...
Ерусалимский снег, как сахар, сладок,
Еще идет... А жизнь уже прошла.

Как говорится, выпала в осадок,
А может, унеслась куда-то ввысь...
Ерусалимский снег, как сахар, сладок,
Но краток... Жаль, что впрок не запастись...

Зинаида Палванова

СЛУЧАЙ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Манежем прошлое сгорело.*
Но, к счастью, все же не дотла.
Я проходила мимо Ленинки,
не выдержала и зашла.

Бог мой, как тихо и пустынно!
В былое память устремилась.
И вдруг в солидный вестибюль
толпа вломилась.

Чем иностранцы молодые
напуганы, потрясены?
Похоже, что гнались за ними.
Следы побоища видны.

И выяснилось: да, гнались,
гнались фанаты за фанатами,
мальчишки русские за немцами,
опережая матч футбольный,
по нынешней Москве гнались,
а те, а те – в библиотеку
спасенья ради ворвались.

Фотограф я, а кадр заснят
в бегущем двадцать первом веке.

Так вот зачем, так вот зачем
еще нужны библиотеки...

* Здание московского Манежа горело в 2004 г.

* * *

Долг маленького человека
огромной частной компании –
похож на рак, на злокачественную опухоль.
Из первичной беспечности, из малой малости
долг растёт и растёт, не зная жалости.

Чтобы выжить и больше не умирать,
семь с лишним тысяч должны мы набрать.

Разве бывают лишними деньги?
Разве бывает лишним покой?
Разве бывает лишней чистая совесть?

Лишним бывает разве что напряжение,
Лишним бывает разве что унижение.

Можно меня поздравить, я набрала.
Не умерла.

Доила дни свои, доила часы свои
и купила здоровье – коровье.

А лошадиное – мне ни к чему.
Отдам его жеребеночку своему.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Во время прямого эфира
из московской студии
то и дело был слышен треск.
«В Москве гроза», –
объяснил ведущий.
От информации пустяковой
сердце мое зашлось.
Шел разговор о политике.
И сказал молодой журналист,
что есть лишь одна страна,

где владеют искусством
точечной ликвидации террористов,
и эта страна – Израиль.
И снова сердце мое зашлось.

Что еще там скажут?
Отчего еще зайдется сердце
у одной дурехи
на одной дурацкой планете,
пока она сидит перед ящиком,
пока она живет перед ящиком
и лузгает семечки эти?..

* * *

Еще одна неделя пролетела,
еще одна неделя улетела.
Что было в ней хорошего, припомни,
Что было в ней плохого, разберись.

Была работа, заработка не было.
Увы, пейзаж вполне ближневосточный:
ни денег нет, ни снега – таять нечему,
а цены колются и на глазах растут.

И появлялись гости в нашем доме.
Один из них запомнился особенно.
Он старше нас с тобою лет на двадцать.
Он потерял жену лет пять назад.

И вот мы видим: детям он – обуза.
И вот мы видим: внукам он – обуза.
И вот мы думаем: что будет с нами?
И вот мы ничегошеньки не знаем.

А впрочем, все мы знаем – мы умрем,
А перед смертью старости хлебнем.
Но мы живем в Израиле нескучном,
здесь вариантов лучезарных – жуть!

Пока мы живы, я сварю овсянку,
ты сваришь кофе – всем найдется дело.
Цветущий куст в окне осеннем дышит.
Пушистый кот с утра пораньше дрыхнет.
Еще одна неделя пролетела...

ДРУЗЬЯ-ПОЭТЫ

Б. Камянову

Фантазеры и хвастунишки,
краснобаи, атлеты, аскеты,
дорогие мои мальчишки,
пожилые мои поэты!

Во дворах, от капли звеневших,
нас хрущевская оттепель нежила.
В окруженье друзей захмелевших
мы запели. Куда же вы, где же вы?

Разбежались мы слишком рано.
Уходя, возвращались морозы...
Мы делили себя на страны,
мы в стихи загоняли слезы.

Вы женились везде, не каюсь.
Не утратили пыл с годами,
словно в юности увлекаясь,
только нынче уже не нами.

И в стихах, и в любви – вы старше.
Невозможно вновь не влюбиться
в просветленные строки ваши,
в умудренные ваши лица...

Дорогие мои мужики,
молодые мои старики!

ШЛОШИМ*

Памяти Лени Рудина

Совсем уже не остается тыла.
Опять на холм кладбищенский спешим.
Чтобы успеть к тебе, такси схватила.
Успела на шлошим.

Той новостью был каждый ошарашен,
той новостью был каждый поражен.
На финишной прямой в забеге нашем
ты вырвался вперед, молодожен...

В жестокой суете, в житейском гаме
ты ростом выделялся среди нас,
огромными хорошими глазами.
Темней и холодней без этих глаз.

Строги твои последние обновки.
В «Кадише»** слышится прямой укор.
Могильные поодаль заготовки
пугают и притягивают взор.

Но если голову поднять невольно
и посмотреть нечаянно вокруг,
то станет неохватно и невольно,
и растворится в красоте испуг...

* Тридцать дней после смерти. К этому дню, по еврейскому обычаю, на могиле устанавливают памятник; родные и друзья приходят на кладбище.

** Поминальная молитва.

* * *

Сколько нужно веков тебе прожить,
чтоб успели они тебе послужить –
все пакетики эти, все веревочки эти,
все баночки эти, весь этот хлам?!
Вынесу, выброшу, отдам, раздам!

Сколько нужно веков тебе прожить,
чтоб успели они тебе послужить –
все кофточки эти, все юбочки эти,
все брючки эти, весь этот хлам?!
Вынесу, выброшу, отдам, раздам!

Сколько нужно веков тебе оставаться живой,
чтобы в книжки эти уйти с головой?..
Чтобы вникнуть в ряды немые эти
затаивших обиду стихов, романов, драм?
Вынесу, выброшу, отдам, раздам!

И останешься ты в квартире пустой
на предсмертный постой?..
Успокойся, постой,
разумную меру найди.

Не твое это дело, сколько жить тебе осталось,
не твое это дело, что там, впереди,
но твое это дело, прорвавшись к углам,
отболев, одолев суету и хлам,
обеспечить себе просторную старость,
превратить ее потихоньку в домашний храм.

* * *

Слаба душа моя, слаба...
Вновь подвожу итоги года.
Ох, эта вечная борьба
за ежедневные восходы,
за блики нежные в себе,

за повседневные доходы,
за деньги нервные в судьбе,
за то, чтоб немоту прогнать,
за то, чтоб нищету прогнать...

И вот картина года – в раме.
Сентябрь – не описать словами,
сентябрь – сердцем вспоминать...

* * *

Жить послушно – просто скучно!
Стариться послушно – скучно!
Унывать послушно – скучно!
Умирать послушно – скучно!

Рваться вдаль – совсем не скучно.
Нежности хотеть – не скучно.
Все как есть писать – не скучно.
Привирать чуток – не скучно.

Пусть согнусь – куда ж я денусь!
Сморщусь пусть – куда ж я денусь!
Да хоть помру – куда ж я денусь! –
наупрямившись, помру.

Хорошо бы поутру,
пока мир простой и свежий
и покуда силы есть
для нескучного ухода
от земли и небосвода
в небосвод и землю те же,
в ту же ночь, в ту же денность...
Господи, куда ж я денусь!..

ПОСЛЕ ЦУНАМИ

Сколько страшных приходит вестей!
Сколько грозных предупреждений!
Что творится с плотью твоей,
голубая планета рождений,
голубая планета смертей?

Видно, что-то в тебе глубоко
дерзким чадом твоим задето.
Как молчанье твое велико!
Как ужасен твой гнев, планета!
Скисло млечное молоко.

Я – один человек из шести
миллиардов, ныне живущих,
тормозную ручку не рвущих
на проткнувшем небо пути.
Ты меня за бессилье прости.

Не в ладах с самими собой,
мы терзаем тебя, планета.
Войны правят нашей судьбой.
Неужели мы сделаем это –
черной станешь из голубой?..

Ради жизни, во имя любви –
пусть успеют прийти цунами!
Смой нас в море и вместе с нами
нашу ненависть умертви.
Будут новые дети твои
лучше нас...

Я сошла с ума!..
Что мне космос и что мне атом?!
Вон вдали, на террасе холма,
распустился миндаль розоватый.
Полюбуюсь и стихну сама.

СНЫ

1

2

58

* * *

В. М.

Возле дома, который снесли,
возле сада, который срубили,
те, которые нами были,
все стоят в июньской пыли.

В яркой той неостывшей дали,
сколько б годы снегов ни валили,
все стоят и стоят
 в июньской пыли
те, которые
 нами были.

* * *

Юною быть перестала,
взрослою стать не смогла.
Старых друзей растеряла,
новых друзей не нашла.
Из настоящего жадно
смотрит и смотрит назад...

Ловит судьба беспощадно
этот беспомощный взгляд.

НА КОНЦЕРТЕ

Среди вспышек молнии цветной,
головой мотая,
 как больной,
с обалделым залом что творит он! —
подпевают
 и ногами ритм
отбивают за твоей спиной.
Пой и ты, и топай —
 значит, надо,

чтоб ходила ходуном эстрада
и дрожали первые ряды,
чтоб донесся шепот

виновато:

– Упаси нас, Боже, от беды...

* * *

Привычка эта, словно сеть,
но между «напевать» и «петь»
ясна граница,
и может, лучше не уметь,
чем научиться?

ПРОЕЗДОМ

Луком горелым ударила в нос полутьма,
и сразу споткнулся – у входа коляска, лыжные палки...
Кто бы подумал, что целы эти забытые Богом дома,
тесные эти,хламом забитые коммуналки!

Что-то долго молол, ощущая прилив торжества,
глядя в глаза, раскрывавшиеся все шире, –
и услышал слова вдруг, тихие и большие
(кто бы подумал, что живы еще
эти слова...).

* * *

двадцатый автобус
две гретхен-блондинки
идеальные ноги
глаза как льдинки
раздается немецкая речь
раздается немецкая речь
мы вокруг
стопроцентные и «половинки»
это только немецкая речь

в ноябре какие-то белые цветы расцвели
странные какие-то кустарники с ветками острыми
а вокруг полуголые шумные люди этой земли
как бы это ощутить их братьями сестрами
как бы это забыть что мы обещали что нам обещали
что приходят не письма одни счета
что нищета уже водою у рта
 водою у рта
а старость не за горами а за плечами

что ли мы выбираем
добрых смелых веселых честных
что ли не знала об этом
думала выбираем
просто щелк в душе и готово
забыла другое слово

но двенадцать пробило
двенадцать пробило
и скажу сейчас это слово
и вот говорю
любила

•

Не сбылось и не забылось,
так вот и живу.
1976

мальчика рыжего нянчу
он милый такой хороший
там бы его назвали сашей или алешей
тут-то ему понятно

имя другое дали
помнишь давно когда-то о мальчике мы мечтали
мы бы его назвали
 сашей или алешей
рыжий и синеглазый
так на тебя похожий

2

как от пронзительного звука
от вести что с тобой беда
последняя разлука
совсем и навсегда
совсем и навсегда

3

теперь когда его уже нет
и в доме с имени снят запрет
на русском подворье
 поставлю свечу
потому что я так хочу
потому что там был человек такой
свечу тут ставлю
 за упокой
пускай ты давно отпет

4

вот уж не думала о другом сердце болело
а ушел ты да кому здесь до этого дело
ты голосом незабытым стихи нараспев читавший
учителем моим бывший
 учителем многих ставший
ты синеглазый очкарик рыжий заика
жизни твоей дописана книга

ты теперь тропкою идешь неземною
а знаешь где я и что со мною

5

* * *

63

Григорий Престман

МИСТЕРИИ

(отрывок из поэмы)

Историки, не портите легенды фактами!
Ганс Толкиен Гримм

ТАЙНАЯ КАРТА

За злобным пролеском, кашеевым бором, за хищным болотом, за мертвой рекой, за гиблыми рвами, зубастым забором, за бьющей крылами драконьей мошкой, за ямой змеиной, за орочьей кручей, куда не проникнут ни грешник, ни трус, где веки срывают внезапные сучья, где высосет мозг заколдованный гнус, за падью зыбучей, за полою падью, за яром подводным, за рыбьим рядом, за гномовой горкой, обманною гладью, хребтами небес и заоблачным дном, за лешим расчетом, за ведьминым кряжем, где кровью свернулась закатная даль, за стражем лукавым, за ангельским стражем парит в Монсальвате незримый Грааль...

В ЛАБОРАТОРИИ АЛЬБЕРТА ВЕЛИКОГО

— Весь алхимический набор, о Гретхен, образец служанки, по сути дела — сущий вздор, не стоит дырки от баранки. Взять, например, Святой Грааль, или Всеобщий Растворитель... Любой певец Грааля — враль, о песнях мне не говорите. Все это фокусы, блезир! Я лично этими руками создал и жизни эликсир, и тайный философский камень. Все это, Гретхен, ерунда...

Вдруг возопила Гретхен:

— Да?!

— Да, Гретхен, ты нормальна, но алхимики не верят в норму. Одним искусством не дано создать вещественную форму...

Так в разговоре ни о ком Альберт беспечную служанку уже подпихивал бочком, без лишних жестов, на лежанку.

– Суть не в богатстве, Гретхен, нет, не в жизни вечной, не во власти. Нам вникнуть следует в секрет Творенья и Господней страсти. Сие не дастся без труда...

Вдруг облизнулась Гретхен:

– Да?!

– Да, Гретхен, я тебя создал из своего ребра, как Еву. И ложе нынче – пьедестал, и ты сегодня – королева.

Альберт стянул с нее чулок:

– Ах, неразрывны наши узы!

Вслед за чулком Альберт совлек второй чулок, корсет, рейтузы.

– Ах, Гретхен, девочка, поверь...

И вдруг наивно и по-свински в резную постучался дверь его студент Фома Аквинский. Альберт зарделся со стыда, а Гретхен заорала:

– Да!

Дверь отворилась. И Альберт упал с лежанки в позе ферта. Штатив, реторты и мольберт свалились разом на Альберта. А Гретхен двинулась к Фоме, с досады пнув ногой лежанку. Католик – не в своем уме – на полуголую служанку смотрел, поскольку никогда он не видал подобной сцены:

– Меня ты захотела?

– Да!

У Гретхен вдруг набухли вены. Она застыла, не дыша. Фома крестил ее от страха, и Гретхен – юная душа – лбом на пол грохнулась с размаха... Еще блуждали в треть лица последних судорог ужимки... Вдруг взвились из-под белья колесишки, волчки, пружинки...

– Искусственное существо! – Фома воскликнул. – Суть андроид! Альберт осилил волшебство и женщину без Бога строит!.. Но это мерзость, грех, беда! И мертвая шепнула:

– Да!

СУЩНОСТЬ ГРААЛЯ

Грааль просквозил и столетья, и сферы, меняя и образ, и суть, и места.

Сиял он в короне царя Люцифера задолго до Молоха и до Христа.

Грааль был звездой и вещей голубкой, еще до начала времен – старожил, в шатре Авраамовом – царственным кубком, при первом потопе над Ноем кружил. Грааль был мечом и щитом тамплиера и

Лемеху тайной служил тетивой. С Горгоны, Крестителя и Робеспьера он падал отсеченною головой. Когда самосуд учинил триединый, кровь Ешу испил из него ученик, он плакал и бился в душе Магдалины, пророчеством в деве Марии возник. Он замысел Божий провидел и Слово, хотя ни добром не отмечен, ни злом, в пещере заброшенной Храма Второго не раз представал сатанинским козлом. Грааль – это вымысел или творенье? Он «кто» или «что», иль меж ними черта, безумной идеи слепое стремление, одна пустота, и тщета, и мечта?..

РЕЦЕПТ АРНОЛЬДА ДЕ ВИЛЛАНОВЫ

Колдун Арнольд де Вилланова провидел суть вещей насквозь. (Не так уж людям и хреново при инквизиции жилось.) Разбавив кальвадос портвейном, – алхимик, бес, гишпанский маг – инструкции для Франкенштейна оставил среди своих бумаг. Но в будущее, как ни целься, – оно в тумане и во мгле... Инструкции у Парацельса нашлись на письменном столе. Граф фон Кюфштейн из-под Тироля двора чурался и родни и в Рим поехал «на гастроли», где у аббата Желони (понятно, эти факты скрыты) нашел среди слипшихся томов рецепт создания спирита – суть парацельсовых трудов. Граф стукнул в лоб себя и по лбу, и, вызубрив заклятий воз, сам сперму запечатал в колбу, а колбу закопал в навоз. Он сорок суток у навоза вдыхал свободный звездный ток. Чуть не зашелся от невроза, пока живительный росток окутывался нежной кожей и набирался новых сил... И вдруг... (граф выдохнул: «О, Боже!») гомункул крови попросил...

МЕТАИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Великий Орден Розы и Креста возник в Египте древнем неспроста во времена забытых Школ Мистерий, где мистики стремились обрести глубинные, сакральные пути иль таинства постичь, по крайней мере. Я, впрочем, для читателя припас блуждающий по Африке рассказ о том, как под заветною эгидой причалил как-то к берегу весной на лодках и плотях железных Ной с холмов и рек погибшей Атлантиды. В Египте он единобожье ввел и прекратил вражду и произвол, построил тюрьмы, пирамиды-храмы. Вокруг границ охранный вырос вал. И Ной, по слухам, Орден основал для завершения местной панорамы. Когда Осирис умер и воскрес, поэты со-

чинили сотни пьес, которые игрались по канону среди пирамид у Гизы. Этот Храм был возведен для ритуальных драм, а не для усыпальниц фараонов.

Студента помещали в саркофаг и отключали от привычных благ. В отключке приходило ощущение, что тело отделилось от души (все средства для познания хороши), и ждал он вновь земного воплощения.

Шло время... Тутмос Третий (фараон), законно оседлав отцовский трон, решил сберечь ученье от крамолы. Он был силен и мудр. И потому три с половиной тысяч лет тому объединил Мистические Школы. Он первым, а не третьим стал.

Итак, возглавил Орден правеликий Маг, верней, Магистр сокровенных знаний, Магистр братства тайного... Лингвист в Синае мне загнал замшелый лист, исполненный седых воспоминаний. Согласно манускрипту, Орден сей распространился по планете всей: Рим, Греция... Он до средневековья в Германию и Францию проник. И чуть не каждый царь был ученик мистического, тайного сословья.

У древних греков найдены труды, будто атланты были пражиды или праарийцы... что кому дороже... И все же, коль безгрешная страна была за будь здоров устранена – она с планидой иудейской схожа. В папирусах ты вряд ли сам найдешь свидетельства, что сеть масонских лож, внимая устремленьям тамплиеров, в наш падший мир Святой вносили Дух, пристрастно проверяя каждый слух о философском камне в вышних сферах. Увы, для воспаленного ума свет истины... нет, истина сама, которую мы, грешные, попрали, за коей рыцарь и монах любой готов был выйти с Воландом на бой, до наших дней живет в Святом Граале...

Владимир Френкель

ОТРЫВОК

Эти слова только ветер может услышать.
На морском берегу, под темными облаками,
Когда от ветра вдруг не хватает дыхания
И от целой речи остались только отрывки,
Эти слова никак не выстроят фразы.
Нет надежды на то, что кто-то их зарифмует –
Обрывки ночи, безумие желтых листьев...
Нет надежды на то, что когда-то было
И прошло, и уже никогда не будет,
Нет надежды на осень, вот и она проходит,
Ветер уносит слова, и листья, и восклицанья:
Я и не знал... да и я не знала... а мы когда-то...
Ничего, ничего не надо хранить, пусть ветер
Все унесет, да и нас уже здесь не будет.

* * *

Я, наверно, прожил жизнь налегке.
Как по камушкам переходят вброд,
Перешел и я, но опять к реке
Мутноватой, грешной меня влечет.

Не бросал монетку, не в этом суть,
Показалось – жизнь повернула вспять.
Ах, какая радость, какая жуть –
На другом берегу над рекой стоять.

ДВОЙНИК

Догадайтесь, я или не я,
Кто-то там идет по тротуару
В зеркале двойного бытия
С двойником невидимым на пару.

Не вчера, наверное, возник,
Но всю жизнь мою сопровождает
Тень моя, удачливый двойник,
Он меня, конечно же, не знает.

Он меня совсем не узнает,
Между нами нет уже и сходства,
Он, должно быть, правильно живет,
Свято сохраняя первородство.

Мы и не встречаемся нигде,
Но вослед за уходящим солнцем,
Точно параллели на воде,
Встретимся уже за горизонтом.

Мы одну увидим благодать
Вместе в этом мире сумасшедшем –
Ничего о будущем не зная,
Ничего не помнить о прошедшем.

* * *

Сказать о том, на что не хватит слов,
А может быть, и жизни не хватает,
Чтоб высказать... Но нет, я не готов
Заговорить об этом. Рассветает

За окнами... Все как-то не о том
Мы говорим ночами до рассвета.
Но если бы когда-нибудь потом
Сказать о воскресении? – Не это.

* * *

Заговорить на новом языке.
Как перышко легчайшее в руке,

Как перышко, слова не удержав,
Напрасно столько книг перелистав,

Заговорить на языке другом,
Неведомом, невнятном, никаком,

Заговорить в последний самый час,
Когда хоть кто-то выслушает нас,

Когда о главном, Господи, прости,
Ни слова не сумеь произнести.

У ВРАТ МОЛЧАНЬЯ

Я давно потерял интерес к словам,
К разномастной речи земного круга.
Ничего не поделаешь, если нам
Никогда, никогда не понять друг друга.

Что же делать, спросишь, ведь я привык,
Не могу расстаться с хмельной отравой –
Это русский путаный наш язык,
Многоликий, лживый, живой, лукавый.

Вся-то жизнь ушла на игру в слова,
На игру в созвучия и названья...
Хорошо, что выжжена трын-трава
Где-то там, в пустыне, у врат молчанья.

* * *

Посидеть в обветренном кафе,
В том, что примостилось у канала,
И уйти оттуда подшофе,
Что же, и хандры как не бывало.

Это вот запомню навсегда,
С четкостью, подобно фотоснимку, –
Листьями осыпана вода,
Я гуляю с осенью в обнимку.
Сходу накренься на вираже,

Стая развернулась, улетаю.
Вот и осень кончилась уже,
Я не знаю, будет ли другая.

Будет ли другая – все равно,
Все равно загадывать не надо,
Если нам обоим суждено
Уходить по следу листопада.

НАДПИСЬ

Что написано здесь, никому никогда не прочесть:
Навсегда позабыто значение знаков и слов,
И осталась непонятой нами далекая весть,
Понапрасну над камнем прошла вереница веков.

А быть может, и так – это ветра нечаянный след,
Это ветер узором податливый камень иссек,
Вот и все, и в послании не было смысла и нет,
Остальное доделали солнце, вода и песок.

Невозможно любить равнодушную песню пустынь,
Заунывно-невнятный и неистребимый мотив,
Этих вечных небес неизбывную летнюю синь,
Пересохшей реки никуда не ведущий извив.

Начинается с посвиста ветра вечерняя тьма,
Распростертая глухо над каменным ложем своим,
И сменяется яростным жаром, сводящим с ума,
Что пустыне принес пролетевший над ней серафим.

* * *

Времени осталось мало.
Дни считаю наугад.
Боже, сколько набежало
Лет, и месяцев, и дат!

Ненавижу юбилеи –
Вехи, речи, имена,
Мне, наверное, милее
Даже наши времена.

День начавшийся не знает,
Чем закончиться ему,
И бесследно исчезает
В наступающую тьму.

Вплоть до самого ухода
Мы не знаем ничего.
Только в этом и свобода,
В этом наше торжество.

* * *

Вся-то жизнь меняется, как погода,
Как по льду, неизвестно куда скользя.
Ну, конечно, это и есть свобода,
И поделаться с ней ничего нельзя.

Все-то может быть в земной круговерти,
И напрасно правила ищем в ней,
Мы-то знаем – жизнь непонятней смерти,
Невозможней смерти – скажу верней.

И, наверно, друг веков, археолог,
Повертев осколок далеких лет,
Непременно скажет, что путь недолог
От рожденья к смерти, из мрака в свет.

Сусанна Черноброва

В ГИЛО

В громадной туче, в стекловолокне,
Повисла серость, белизна промокла,
Сгустились краски в солнечном пятне,
Пробившем бронированные окна.

И рисовать хотелось дребедень
На полке, одиночество конверта,
Одну, лучом разрушенную, тень
И темень бездны по краям мольберта.

СНОВА ОКНО

Твое последнее окно
В прозрачный взгляд превращено.

Как живопись, обрамлено,
Как серебро, почернено.

Есть двор-колодец, где идет
Окон ежевечерний слет.

А там лунатик-самолет
С окном над крышами плывет.

Там бездна без краев и дна
Зеленых, синих глаз полна.

Но это не глаза друзей,
А окна в призрачный музей.

Где только пыль застеклена
В стеклянной памяти окна.

Окно над зимнею Невой,
Ты прожил годы без него,

Без тридцать третьего псалма,
Без надмогильного холма.

ТЕЛЬ-АВИВ

Вот уже спустился дым линиялый
В пропасть переулочков, в пеналы.

Может, он – сорняк дикорастущий,
Город с арматурою цветущей.

Зверь стоглавый с речью человеческой,
Что выносят его балки-плечи.

Раннею весною он в угаре,
Расцветают гаражи, ангары,

Все его скрижали, рельсы, двери.
Город зачинил стальные перья.

То, что пишет город проводами, –
Ребусами кажется, гербами.

В шумовом оркестре рельсы, трубы,
Город-духовик надует губы.

Но антенны городского крова –
Лишь смычки оркестра шумового.

Городской романс приносит горе,
Повторяется припев про город,

Опус никому не адресует.
Город музицирует, рисует.

МАРИНА

Мне вспомнился Апшудиемс,
Чайки, гараж
И раненый в море
Балтийский пейзаж.

Жизнь ранена в море –
Сплошную мишень.
Теченьем относит
В непрожитый день

Чудовище-море,
То горб, то провал,
Какой стеклодув
В полутьме выдувал.

Но так не бывает,
Чтоб сразу заснуть
И плакать, и в трех
Океанах тонуть.

В колодце-дворе
Заливает подвал,
До Мертвого моря
Остался квартал,

Блестит, всю земную
Впитавшее соль,
Зачем ему пот
И саднящая боль...

И Красное море
Видать наяву,
Плывущие грядки,
Осоку, траву.

Но море, что выпито
На посошок, –
К нему огородами
Наискосок.

ХАНУКИЯ

Родителям

Снег в лесу декабрьском, ветка горяча,
Ствол горит, как Хануки первая свеча.

Вот вторая, третья, вспыхнул весь простор,
Входит солнце грешное на лесной костер.

Пальцы леса светятся, руки сплетены,
Высоко в светильниках слезы зажжены.

Тихо капли в зарослях падают, шурша,
Догорает дерево, праздника душа.

В ярком танце хвороста куст – ханукия,
Лес – это последняя Ханука твоя.

Все наречья смешаны, лес – сплетенье дум,
Слышен плач на идише, на латышском шум.

Снег в твоём подсвечнике, слякоть, талый лед,
И над подоконником здесь, в Гило, встает

Ствол, свеча последняя, младший из огней.
Он на даче в Меллужи всех стволов бледней.

ДЕРЕВЬЯМ

1

Все сточные воды сварливы,
Их мутный весенний набег
Ты помнишь. На негативе
Чернел непроявленный снег.

И радости нет беспредельней –
Под деревом насмерть стоять.

Но ствол, но канат корабельный –
Заплакать, прижаться, обнять...

Но голос из рощи размерен,
И эхо отчетливей слов,
Не умер, я просто растерян,
Я слеппен из черных снегов.

2

С. П.

Ты думал, небеса – антенны, крыши,
А там деревья, только срок им вышел.

Ты думал, наверху аллеи, липы,
А там каникулы, досуг нам выпал.

Ты думал, там туманы да хамсины,
А это все осины и осины.

Ты думал, там концерты, вернисажи,
А это оказались вязы, вязы.

Ты думал, небо – простыни, постели, –
А это оказались ели, ели.

Ты думал, под рукою скат неровный,
А это оказались бревна, бревна.

И мостовая больше не кочевье –
На поле битвы павшие деревья.

И дерево, обняв сестру и брата,
Легло под грунт, исполнив долг солдата.

**Привести к тому, чтобы
это была нечетная страница**

**Пройтись потом и снять номера
страниц с разделов и др.**

ПРОЗА

—

Паулина Анчел

ЧУДО

Моему отцу Анчелу Местеру

Каким чудом мы владеем!

Вот эти платиновые платаны – не чудо ли их обнаженность, их чистота?

И не чудо ли, что я могу видеть их, любоваться ими?

А если это чудо и я признаю его, то чего мне более хотеть? Почему я доселе не замечала чуда вокруг себя?

Не оттого ли, что во мне есть скованность, затмевающая ясность? Скованность, не позволяющая видеть вещи явно, чувствовать их истинные пропорции, их истинное значение.

Неужели только страдание наделяет человека пониманием?

Неужели мне необходимо было пройти через страдание, чтобы сейчас в чудесном парке, у этих прекрасных платанов понять: я сама есть чудо!

Потому что я – есть.

Как хорошо, что я есть!

Как радостно, что я есть!

Теперь, когда я знаю, что я – есть, и что я – чудо, я могу уйти из этого тихого парка.

Уйти с чудом, которое внутри меня, которое вокруг меня и которое есть – Я!

ТА, ЧТО СМЕЕТСЯ

Она была веселой женщиной. Улыбка не покидала ее лицо, а глаза излучали свет.

По всем канонам она была – сама любовь.

Прошлым летом на Кавказе молодой горячий горец провозгласил тост в ее честь и выпил рог виноградного вина. Наутро горец уехал к себе в горы.

Когда она пришла в себя, уже наступила осень. Хмурые тучи обложили низкое небо, и она остро почувствовала свое одиночество.

Как раз тогда на нее обратил внимание старый профессор. Он был низенький, толстый и очень умный. Она доверилась ему. Но он, в мудрости своей, отказался от нее.

Она по-настоящему страдала, звонила ему домой. Но чем больше он от нее отстранялся, тем сильнее ей хотелось засыпать вечер за вечером на его старой надежной груди.

Но и здесь все было кончено.

Пока она это поняла, пришла зима. Белый снег накрыл город, его улицы и дворы. Под ее окном дети лепили снеговиков, и голоса их звенели от восторга. Ей тоже захотелось развеселиться, и она попробовала засмеяться.

Но у нее ничего не вышло. И вместо смеха она заплакала.

Тогда она пошла лечиться к массажисту. Массажист был высокий, очень худой, с тяжелым и мрачным лицом. Работал он в каморке, похожей на сарай. Он завоевывал ее долго и тяжело. Он говорил ей добрые слова и делал добрые дела. Он раскрыл ей секреты своего мастерства, массировал ее тело и рассказывал об экстрасенсах. Он устроил ей смотрины в доме его родителей. Родители его пели «Тум-балалайку» и танцевали «Семь сорок»... В их жилах текут четыре крови, но им жаль, что нет еврейской, сетовали они.

...Он подарил ей столько ласки и тепла, сколько обыкновенный человек вынести не может.

И она, потеряв голову, бросилась в объятия счастья.

Когда она оказалась полностью в его власти, массажист сказал:

– Дело вместе, табачок – врозь. Я буду ломать тебя через колено! Баловать баб, как ваши еврейчики, не по мне.

Она не услышала.

Тогда он сказал:

– Дура!

Она снова не услышала.

Он презрительно повторил:

– Дура! Глухая и слепая дура!

Она прозрела и взмолилась:

– Ребойнэ шел ойлем!* Я знаю, он мразь! Но не забирай его у меня. Я – умру!

* Владыка мира (*идиши*).

А массажист все говорил ей:

– Дура! Дура! Дура!

И еще:

– Нужна была бы ты мне без твоего кооперативного дела!..

А под конец бросил:

– Есть жидовочки поголовастей!

Но она умоляла его быть с ней.

И тогда ночью он открыл шкатулку, забрал ее деньги и ушел.

Она была раздавлена, как будто на грудь ей наехал паровоз и остался стоять.

Тогда она попробовала пить.

Не взяло.

Она принялась за таблетки.

К весне она обессилела от сна, но боль в груди прошла, и она снова вышла на белый свет. Люди ее приняли. И она потихоньку восстановилась и захотела жить.

«Этот был не мой, – думала она. – Но я найду своего. Мой ба-
шертер ждет меня!»

В это время ей встретился учитель бальных танцев. У него было узкое птичье лицо, голубые глаза, машина «лада», и одевался он как американский турист; он поразил ее элитарностью и взял обхождением.

Он целовал ей руки, играл на гитаре, читал стихи Омара Хайяма и потребовал нестандартного секса.

Она отказалась.

Он сказал, что она – непроходимая деревенщина.

Она засмеялась.

Он удивился.

А она смеялась и смеялась: ее бросал мужчина, а ей было все равно; она исчерпала запас чувств, отпущенных ей природой.

Он оскорбился. Позвал ее назад. Она вернулась. Он опять прогнал ее. Она ушла. Он был в ярости. Догнал. Остановил. Потребовал объяснений:

– Как можешь ты равнодушно повернуться и уйти? – кричал он, – От меня! От меня?!

** Суженый (*иди*).

– Особенный нашелся, умора... – засмеялась она. – Особенный какой! Потеха...

– Не смей! Не смей! – крикнул он и закашлялся.

Она хохотала.

– Шлюха! – бросил он ей. – Смеются шлюхи!

Он не знал: губы смеются, сердце плачет.

КРУТАЯ ГОРА

Моей маме Мане Местер

Я была совсем юной, когда началась война. В нашем селе тогда жили восемь еврейских семей. Они занимались разными делами. Одна владела мельницей. Два хозяина имели лавки. У обоих было по двое детей. Самую маленькую девочку звали Рухл, старше нее был Миша, следующий – Файвл, а возглавляла их Лейка. Они жили возле нас. Был еще один – он держал корчму, продавал водку. У него тоже были три дочери. Дальше них жила еще одна семья – Меерштиб. Они занимались землей. А мой отец, Мойше, был портным. Шейва, моя мама, помогала ему и подрабатывала еще крашением пряжи для молдавских ковров, которые ткали и в нашем селе, и в соседних деревнях зимой местные крестьяне.

У меня были три сестры, так что всего нас было четверо детей. Старшие, Осна и Фейга, помогали отцу шить, а я и Марьим-Перл больше возились по хозяйству: козу подоить, в огороде землю разрыхлить, стены побелить... А вечерами молодежь из всех восьми семей собиралась у кого-нибудь дома и коротала вечера за разговорами. И еще мы занимались в хедере у меламеда*, который жил по месяцу у каждого и за похлебку учил нас еврейской традиции и ивриту. Так что семей еврейских в нашем селе было мало, а детей и еврейской жизни – много. Как проходила еврейская жизнь в селе? Хорошо проходила, все знали, что они евреи, и все по-еврейски делали. Синагоги не было, все собирались и молились в частном доме. Все думали, все верили, что есть Бог и надо верить и делать, как положено по-еврейски. Как к нам относились? По-разному, но советской власти у нас еще не было и мы свободно могли считать

* Еврейская религиозная начальная школа для мальчиков (*идиш, иврит*).

** Учитель в хедере (*идиш, иврит*).

себя евреями, хотя кто-то и кричал: «Жид!» Были мальчишки на улице, которые, когда мы выходили, кричали: «Жида – в Палестину!» Была партия – «Кузисты», против евреев. Когда Лейка вышла замуж, они сошлись к нашему соседу на собрание. Собрание запретило свадьбу в селе. Это случилось в 1939 году. Во время собрания Фейга зашла к ним по-соседски. «Вот будем вас на кусочки резать», – сказали они. Но когда пришло время свадьбы, поставили «хыпэ». На улице играла музыка, и все село собралось, и никто не противился, ничего дурного не делал, а наоборот – все подняли фонари и смотрели, как все происходит у евреев. Свадьба прошла, и ничего не случилось.

Мы слышали тогда, что в Германии убивают евреев, выгоняют раввинов подметать улицы, издеваются над ними, это мы слышали... Не помню, чтобы было радио, но люди читали газеты и знали.

Как раз перед войной (тогда к нам уже пришли русские и установили советскую власть) у нас в сельсовете набрали молодежь, чтобы отправить в Бельцы, в медучилище. Я тоже пошла, хотела стать медсестрой. Мы поехали, но везли нас не на машине, автобуса тоже не было, а на подводе. Это было далеко, километров шестьдесят. Приехали мы в Бельцы, переночевали и пошли туда, где должны были заниматься. Но нам сказали, чтобы мы возвращались домой: не до занятий сейчас. Сестра уже была замужем, муж ее и сказал, что началась война. Нам не разрешали, чтобы свет горел в домах, приказали, чтобы было темно. И сделали, как теперь говорят, собрание, тогда был – сход.

И был сход, и выступали, и видели, как налетели немецкие самолеты с черными крестами, много их налетело. Все разбежались по домам, и так началась война. Старшие две сестры, Фейга и Осна, поехали на подводе, чтобы эвакуироваться, но уже не успели проехать и вернулись домой. От нас было близко до румынской границы, оттуда эвакуировались к нам: приехали три еврейские семьи и жили у нас, пока не пришли фашисты, немецкие и румынские. Я их увидела в первый раз – один немец вел мужчину за руку, они прошли мимо нас и пошли дальше. Ну, мы жили так, наверное, еще неделю. Сестра Марьим-Перл (дома ее звали Маля) была замужем и жила на той же улице, но ниже. Она была у нас и потом пошла домой. А чуть дальше от нас жила семья Идла и Голды. Маля увидела, что туда зашли румынские солдаты и услышала выстрелы.

* Свадебный балдахин (*идиш*).

Она поняла, что стреляли в воздух, но все равно вернулась. Мама сказала: «Давайте выйдем, спрячемся где-нибудь, а потом вернемся». Так мы и пошли втроем. Отошли немного от дома, там нас догнал муж Мали, и мы пошли по улице вчетвером. Дошли до места, где жили два брата – молдаване.

Один по одну сторону дороги, второй – по другую. Они были нашими хорошими знакомыми. Мама дружила с женой Ивана Савчука. А другого звали Семен Савчук. Малин муж сказал: «Вы идите к Ивану, а мы к Семену». И они пошли, сестра и муж ее. И мы с мамой пошли. Мама решила: «Мы в дом не пойдем. Вот тут скирда соломы, давай спрячемся под нее». Там мы и сели. Вдруг слышим: кто-то идет. Подошла хозяйка и говорит: «Вы тут, а у меня солдаты, вас ищут. Идите, бегите дальше. Кто-то, наверное, донес, что вы сюда зашли». И мы с мамой побежали уже на край села. Там было какое-то поле колосистое, уже не помню – пшеница или что-то другое, и мы там спрятались. Легли на землю и лежали там до самого вечера. Когда стемнело, мы вернулись домой. Дома было тихо. Внутри были румыны и немцы. Этих евреев, беженцев из Румынии, уже не было. Нашей подводы с лошадьми тоже не было. И мы сидели под родным домом... Сидели, сидели... И с сестрой и ее мужем уже не встретились. Никогда с ними уже не встретились. Их расстреляли прямо перед домом.

Мы ушли как были одеты летом, только в ситцевых платьях, босые. Все вещи остались в доме. И утки, и куры, и все хозяйство. Мама сказала: «Нет, сюда мы уже не вернемся. Давай пойдем в Единцы». Это еврейское местечко было от нас за шестнадцать километров. Там жил мамин брат с семьей. Когда мы пошли, было темно, ночь. По дороге надо было пройти соседнее село. Но мама сказала, что в село мы не пойдем. Мы решили перейти речку и выйти на поле. Тогда не надо было бы идти через село. Пошли, не зная, какое там дно, вода оказалась нам до пояса. В общем, удалось нам эту речку перейти. Уже было утро, рассветало. А мы шли и шли. До Единец оставалось километра три, когда мы увидели, что едут повозки, едут и едут. Везли военную кухню. И мы спрятались в подсолнухах. Сидели мы в этих подсолнухах, и начался дождь, такой ливень, что мы чуть не утонули там. Я сказала маме: «Идем, будь что будет, но я больше сидеть в воде не могу». И тут как-то разделились эти повозки, румынский обоз, и получился проход. И мы прошли. А когда прошли, оказались на еврейском кладбище. Пошли дальше и дошли до Единец. На окраине жили молдаване, русские, хозяйства у них были. В одном доме дверь

была открыта, и стоял один румынский солдат. Как сейчас его вижу. Одной ногой на пороге, другой – ступенькой ниже. Он нас увидел и сказал по-румынски: «Умер отец ваш», что означало: нет уже советской власти. А мы только на пару месяцев стали советскими, а так мы румынские долго были. Но солдат нам ничего не сделал, и мы пошли дальше. Пошли, я вижу – что я понимала тогда? – несут стулья. Мебель, подушки, ковры... Я спросила у мамы: «Что это такое?» Она ответила: «Это погром!» Она знала погромы.

Ну, мы все-таки добрались до дядиного дома. Там был забор, ворота, калитка высокая. Мы открыли калитку, вошли, и там оказались моя сестра Фейга с мужем и сестра Осна. Во дворе лежали чеклежи* прошлогоднего подсолнуха, им топили печи зимой. Так как подсолнух был сложен в скирду, они сделали себе в нем место и спрятались. Они увидели, что это мы, и нас тоже позвали. Мы сидели там, сидели, до поздней ночи. А ночью в дом зашли и остались до утра. А утром нас и всех остальных евреев собрали и направили в гетто. Распределили – в один день одна колонна, в другой – другая. А евреев, которые остались в нашем селе, заперли в сарае, и они там ждали смерти. Дети плакали, кричали. Нам уже потом рассказывали крестьяне, когда мы вернулись из гетто. Расстреливали мужчин отдельно, женщин с детьми отдельно. Женщин с детьми еще похоронили, а мужчин собаки поели. А местные полицаи фотографировались на фоне трупов. До сих пор есть такая фотография в музее.

Из Единец мы пришли в Атаки. Там гора крутая была. На горе – кто сидел, кто лежал, кто стоял. Нас водили не по дорогам, а по скалам, кто раздевал, кто бил... Дошли до колодца, нам не разрешили даже воды набрать, мучили. Находили мы на дороге какую-нибудь свеклу старую, грызли ее, а пили коровью мочу из луж. И так мы доковыляли до Бырловки, села в Винницкой области. Там была волоня одна, вторая, бывший курятник, хлев. Мы остались в хлеву. Окон не было, мы лежали, снег задувал в окна. Недалеко был стог соломы и сторож-украинец из местных. Ну, нам попался хороший человек, он уходил, чтобы не видеть, что мы брали солому и стелили себе. Там все заболели, дети умирали. Я, и сестра Фейга, и сестра Осна заболели тифом, но остались живы. Как это вышло – на сырой соломе?..

А в гетто мы выбрали двух-трех человек, и они хоронили мертвецов по еврейскому закону.

В этом хлеву и закончилась моя юность.

* По-молдавски – вязанки сухих стеблей.

ЕВРЕЙСКИЙ СОН

Мама, там колодец, упадешь!

Моя дочка Шейва-Хася

Две молодые еврейки сидели на веранде.

Легкий ветерок трепетал в белом цвете акации. Желтое солнце румянило им щеки и открытые плечи.

Они молчали, каждая в своих думах, подвластных весеннему расцвету местечка.

«Майн штэйтоле Бэлц»^{*} – этим все сказано!

Вдруг одна из девушек повернулась к своей подруге и, помедлив мгновение, сказала:

– Я знаю, ты таким вещам не придаешь значения, но...

Другая улыбнулась:

– Снова мудреный случай?

– Не то, чтобы... – сказала первая. – Просто сон... какой-то странный сон приснился, он меня испугал!

– О чем разговор, конечно, расскажи! – сказала вторая.

– Сон действительно странный. Впрочем... мне приснилось, будто бы мы с мамой катались на теплоходе по Днестру. Мы сидели в шезлонгах на палубе, маму сморила рябь речной воды. Под гомон туристов незаметно прошли два часа прогулки от Вадулуй-Водэ до скальных пещер и обратно. Впереди уже виднелся дощатый причал. Я тронула мамин локоть, и она проснулась.

Через несколько минут мы были уже в порту, который показался мне почему-то не таким маленьким и провинциальным, каким был всего несколько часов назад, когда мы поднимались на теплоход.

Я вдруг замешкалась и, сойдя с трапа, увидела страшное: по набережной, которая внезапно оказалась огороженной бетонной стеной, тупо, словно оцепенев, тыкаясь то в один тупик, то в другой, плелись люди – туристы с нашего теплохода. Они шли вперед, сворачивали в сторону, вбок, пятились назад, но никак не могли найти выход. Я же выход видела.

Я стала звать их, кричать, я говорила:

– Да вон же он, выход, перед вами!

Но на мои слова никто не откликнулся, никто не реагировал.

^{*} Мое местечко Бэлц (*идиш*).

Тогда я стала звать из толпы маму, знала: она где-то рядом, – но не видела ее, что-то мешало мне. Я услышала только едва различимый вздох, немой звук, как будто мама хотела ответить, но не могла.

В отчаянии я бросилась к служащему порта:

– Что здесь происходит? Что случилось, где мы? – спрашивала я его в ужасе.

Он презрительно ухмыльнулся:

– Места надо знать! Тут оно коварное... гипнотическое. Кто сюда попадает, забывает – кто он, откуда... Поэтому и мечутся, как стадо. Они здесь всегда мечутся, как стадо.

Из-за охватившей меня паники я сделала безнадежную попытку проснуться, но не смогла. Страшный сон держал меня, как вязкая разогретая смола.

«Неужели такое возможно? – пыталась я понять. – Что это? Злая шутка? Наше еврейское счастье? Розыгрыш?». И тут меня осенило:

«Гипноз! Этот служака сказал ведь: гипноз!»

От догадки мне стало легче.

«Успокойся! – сказала я себе. – Должно же быть нечто, неподвластное разрушению! Что является для мамы тем солдатиком на посту, тем глубинным, которое нельзя усыпить? Которым нельзя командовать? Ребойнэ шел ойлем, идиш!

Они наверняка не догадались стереть ее идиш!

И я из всех сил закричала:

– Мамэ! Мамэ!

И из глухой толпы еле-еле, через силу, эхом отозвался слабый мамин голос:

– Их бин ду, мейделе, их бин ду!**

Рассказывающая замолкла... Потом спросила:

– Как ты думаешь, к чему это?

Ее подруга вздрогнула, тонкой ладонью разгладила тревожные складки на лбу, посмотрела на ясное, безоблачное небо и сказала:

– К дождю... Пойдем в дом!

* Мама (*идиш*).

** Я здесь, девочка, я здесь (*идиш*).

БЕДНОЕ СЕРДЦЕ ЯНЫ

Славик пришел, когда снег завалил дорожку к дому. Возле самого дома он провалился в снег и поэтому спросил у Яны:

– Вы что, с утра из дому не выходили? Не доберешься без ко-
рабля к вам!

И ушел.

И больше не приходил, даже попрощаться, когда его мобилизо-
вали в армию.

– Я пойду к Ананерке, – сказала Эля-Бася, мать бедняжки Яны.

И пошла к ней, чтобы удержать для нее Славика.

Толстая апоплексичная Ананерка, с тех пор как ушел из жизни ее муж Мотл, из-за безденежья стала промышлять ворожбой, и в мес-
течке Единец появилась собственная еврейская колдунья. Она га-
дала на картах еврейским мамам и привораживала зазнаек-женихов
местечковым невестам. Ананерка-кишефмахрн* дала Эле-Басе
горшок из-под герани, полный «заговоренной» земли и сказала:

– Закопайте этот магический знак, уважаемая мадам Эля-Бася,
на перекрестке двух дорог на окраине местечка, возле леса, в две-
надцать часов ночи ровно – и вы увидите, еврейская мама, что этот
парень... как его зовут? Славик? Вы увидите, как этот Славик не
отойдет от вашего порога, пока у него волос не поседеет. А седой –
кому он уже нужен будет?!

И Эля-Бася взяла волшебный горшок, и взяла отца бедняжки
Яны – Фройма, и они пошли в черноте ночи к лесу на перекресток
двух дорог, и лопатой для угля, которым они топили докрасна ка-
фельную печь, выдолбили на перекрестке ямку и закопали в ней
колдовской знак. Конечно, они дрожали от ужаса и им казалось,
что над ними летает нечистый, не дай Бог, а из дубравы по их ев-
рейские головы крадется бандит с топором наготове. Но они доде-
лали-таки до конца тайное дело ради бедного сердца Яны!

Но Славик все равно к ней не вернулся, не пришел и не полюбил.
Наверное, горшок с заклинанием Ананерки-кишефмахрн почему-то
потерял свою силу или Эля-Бася не на том перекрестке его закопала

Не на том перекрестке.

* Кишефмахрн – колдунья (*идиши*).

Светлана Бломберг

МАССОВКА

Было время, когда я вставала по утрам с радостью: мне предстояло идти на любимую работу – в библиотеку еврейской школы, в этой же школе учился в третьем классе мой сын Славик.

Прибалтийская республика, получив самостоятельность, вернула еврейской общине здание школы, построенное в начале двадцатого века. Летом записали учеников во все двенадцать классов, директор Женя Лерман подобрал учителей. Из Израиля прислали книги и учебники. Я с увлечением принялась за чтение этих книг, изготовление стендов и организацию книжных выставок.

Директору Жене было немного за тридцать. Года три назад он, до того обычный советский журналист, начал интересоваться еврейскими традициями и историей, стал ходить в синагогу, носить кипу. Обаятельного, улыбчивого директора очень любили дети, он установил в школе такое правило: взрослых работников школы называть только по имени, никаких отчеств, даже для директора.

Женя преподавал еврейские традиции. На Рош га-шана директор устроил для учителей вечер. Глядя на то, как Женя, объясняя суть праздника, жестом фокусника обмакивает яблоко в мед и жонглирует рыбой, как рыжий восьмиклассник Роберт поет под гитару только что сочиненную им песенку про еврейский Новый год без елочки, учительница иврита Рая, присланная из Израиля Сохнут-ом, сказала мне:

– Ну, ребята, какое-то ваше еврейство... игрушечное. Раньше ваш директор играл роль советского журналиста, теперь – религиозного еврея.

Да, по сути, она была права, многого мы еще не понимали и только еще скользили по поверхности.

Дочь первого, довоенного директора школы Самуила Войташевского принесла фотографии из своего архива – дети в классе, вот они справляют Песах, а вот играют во дворе. Немногие из них стали взрослыми... На некоторых фотографиях были ритуальные предметы – ханукия, кубок для кидуша, указка для чтения Торы, кувшин для омовения рук. Все это принадлежало школе, но во время войны пропало.

Школа находилась на улице, которая называлась Медвежья, на крыше здания крутился флюгер, изображавший медведя. Ученик одиннадцатого класса Йося захотел поближе рассмотреть флюгер и для этого залез на чердак. Позже он рассказывал, что слышал за собой шаги и бормотание. Он утверждал, что на чердаке обитает призрак первого директора – старика Войташевского. Уборщица, русская женщина, приходившая убирать по субботам, уверяла, что постоянно слышит хор детских голосов из актового зала и смех со второго этажа. Мало того, кто-то то и дело опрокидывал ведра с водой и разбрасывал уже собранный мусор. Йося объяснял это происками старика Войташевского, который таким образом протестует против работы по субботам.

Школа уже проработала полтора месяца, дети были счастливы: им предоставили свободу самовыражения. Они бесились на переменах и даже пытались ходить по классу во время урока.

Однажды утром мы с сыном увидели на доске объявлений, висевшей при входе в раздевалку, большой плакат: «Снимается кино! Всем, кто хочет участвовать в массовой, собраться в 14.00 в актовом зале. Участие в съемках оплачивается». Мне стало любопытно: почему именно в нашей школе съемочная группа решила искать массовку? Мы со Славиком пришли в назначенное время в актовый зал. Там уже собрались полсотни учителей и учеников из разных классов. Вошел Женя вместе с высоким светловолосым парнем в длинном кожаном пальто.

– Ребята, разрешите вам представить моего друга, помощника режиссера Сергея Заманского. В нашем городе снимается художественный фильм о тринадцатилетней еврейской девочке, которая во время Катастрофы попадает в гетто. Для сцен в гетто Сергей набирает массовку, ему нужны люди с еврейскими лицами. А дальше он сам вам все расскажет.

Помощник режиссера разъяснил, как будут проходить съемки и чего он ждет от массовой. Условия всем понравились, особенно сумма, которая причитается за участие в фильме.

В воскресенье утром возле школы нас ждали помощник режиссера и автобус. Здесь собрались ученики старших классов Йося и Сима, восьмиклассники Роберт и Даник, несколько девочек из шестого и седьмого класса, остальные – сотрудники школы со своими детьми и директор Женя с овчаркой Молли. Собака должна была тоже участвовать в массовой в роли злого пса на поводке у охранника. На Молли был намордник, поэтому она не могла радостно ла-

ять, зато ее хвост не знал покоя. Всех сотрудников школы и учителей Молли отлично знала и очень любила – Женя возил Молли в летний лагерь, организованный перед началом учебного года, где дети и учителя с ней играли и постоянно подкармливали чем-нибудь вкусным.

Мы погрузились в автобус и поехали на киностудию. Там нас разделили по половому признаку и отвели в разные сарайчики – переодевать в костюмы. Нам раздали большие пакеты и велели снять с себя все, а главное – капроновые колготки. Все должно было быть реалистично. Костюмерша выдала мне потертое пальтецо, крепдешинное платье, поцарапанные ботинки, помятую шляпку с резинкой. Но особенно меня огорчили хлопчатобумажные чулки с подвязками. Маленькие девочки были одеты в одинаковые приютские пальтишки с пелеринкой. Симе собрали волосы в две косы с ленточками. Через полчаса наши дамы-учительницы выглядели совершенно неузнаваемо – косметику с их лиц стерли, переодели и причесали по моде сороковых годов. Все бы ничего, но у каждого на одежде была пришита желтая звезда. Это выглядело мрачно. Мы вышли на улицу и увидели наших мужчин и мальчишек – некоторые превратились в местечковых то ли портных, то ли парикмахеров, другие – в солидных господ. Роберт и Йося представляли собой двух хасидов в лапсердаках и черных шляпах. Жене досталось ватное пальто с меховым воротником, шея была обмотана кашне, на голове красовался котелок. У них тоже на одежде были желтые звезды. Мы сели в автобус и поехали к месту съемок – в центр Старого города.

На одной из узких улочек уже вовсю шла подготовка – там стояло несколько кинокамер, вокруг суетились люди. Нам велели все свои вещи и пакеты с одеждой оставить в автобусе. Какая-то женщина подвела нас к крытому грузовичку довоенного выпуска и начала раздавать реквизит – кто-то получил заплочный мешок, кто-то чемоданы, кто-то баулы и просто узлы. Учительнице английского языка всучили сверток в одеяле, который исполнял роль грудного ребенка. Йосе и Роберту выдали свиток Торы в чехле. Они тут же заглянули под чехол и убедились, что там никакой Торы нет, просто деревянные ручки, торчащие из расшитого чехла. Мы с сыном тоже из любопытства открыли свой чемодан. Он был наполнен какими-то старыми книгами и газетами.

Нас привели во дворик, мощный булыжником. Тут стояла тележка вверх оглоблями, наполненная дряхлой мебелью. Нам веле-

ли положить узлы и чемоданы на землю. Люди из съемочной группы рассадили нас вокруг тележки так, как им было нужно, и разбросали реквизит. По двору прогуливался здоровый мужик с повязкой на рукаве, держа на поводке Молли. Снимали группу евреев, которых собрали с вещами перед тем, как отправить в гетто. Послышалась команда: «Мотор!» Отсняли, наверное, дублей шесть. Все это время мы должны были изображать на лицах страх и тревогу.

Потом мы долго сидели в автобусе и ждали, когда нас снова позовут. Мы успели перекусить и накормить печеньем Молли. Йося с Симой и мы со Славиком решили сходить за шоколадками. Люди на улице шарахались от нас. «А, понимаю, – сказал Йося, – мы не должны ходить по тротуару!», – и все, поддерживая игру, сошли на обочину дороги. Мы приблизились к киоску, торговавшему всякой мелочью – жвачкой, шоколадками, питьем. Продавец посмотрел на нас и твердо сказал:

– Евреев не обслуживаю.

Мы объясняться с ним не стали – игра есть игра – и пошли к другому киоску. Там продавщица даже не взглянула на нас, она только считала наши деньги и сдачу. Каждый купил по шоколадке, а Йося еще и бутылку кока-колы. Он засунул бутылку в глубокий карман своего лапсердака и принялся за шоколадку.

Мы чуть не опоздали к съемкам следующего эпизода – наскоро запихали шоколадки в рот, потому что всем велели подняться по каменной лесенке в дом тут же, во дворе. Внутри оказался давно не отремонтированный сводчатый зал с узкими средневековыми окнами. На полу валялись тюфяки. Йосю с Робертом заставили, ритмично покачиваясь, читать молитву спиной к камере, детей и взрослых расположили на тюфяках. Перед камерой посадили Симу и Славика, который держал в руке кусок хлеба, Сима должна была петь какую-нибудь песню. Когда прозвучала команда: «Мотор», – наступила полная тишина, которую нарушало бормотание молитвы и тихая песня Симы. И тут включилась иная реальность – мне действительно стало страшно и тревожно. Не верилось, что мой сын только что съел целую плитку шоколада – с такой жадностью он смотрел на кусочек черного хлеба. И вдруг из свертка на руках учительницы английского языка послышался детский писк! Но тут раздался крик: «Снято! Все свободны!» Я даже не успела что-либо понять. Как бы невзначай я подошла к учительнице и слегка ущипнула сверток: обычные тряпки.

Нас снова вывели во двор, приказав разобрать свои чемоданы и узлы, потом мы вышли за ворота на улицу. Там помощник режиссе-

ра построил нас в живописную колонну: впереди завхоз Марик должен был тащить за оглобли тележку с мебелью и узлами, за ним выстроились «приютские девочки», «хасиды» со свитком и другие «узники гетто». Мы должны были пройти по улице мимо нескольких кинокамер. Вдали виднелись другие персонажи массовки – городские граждане, тоже одетые по моде военного времени, а по обеим сторонам дороги – охранники с автоматами. И мы пошли.

Я тащила тяжелый чемодан, держа за руку Славика, и мной овладевало смертельное отупение. Я понимала, что нас гонят, как скот на убой. Что будет, если мы сейчас все бросимся врассыпную? Нет, бесполезно: перестреляют, и далеко ли убегут дети с желтыми звездами на одежде? Да и спрятаться негде...

Сначала режиссер подавал команды, оператор делал свое дело. Потом мы пересекли перекресток, и кинокамеры остались далеко позади. Но никто не кричал: «Стоп, снято!» – поэтому мы все шли и шли, тем более, что на обочине стояли автоматчики в форме полицейских. Наконец Марику надоело тащить тележку, и он остановился. Тотчас же к нему подошел полицейский и стукнул прикладом в спину. Марик в недоумении подчинился и пошел дальше. Полицейский направил тележку к воротам маленького стадиона. Там стоял тот самый мордатый мужик с повязкой, держа на поводке Молли. Пока мы проходили мимо него, собака яростно и злобно лаяла на нас. Женя хотел было подойти к Молли, но охранник навел на него автомат. Мы ничего не понимали. Вокруг не было никого из съемочной группы, зато по стадиону ходили полицейские и несколько человек в форме немецких солдат. Причем разговаривали они тоже по-немецки! Вот это реализм!

Пошел мелкий дождь. Все вокруг покрылось водяной пылью. Дети жались к учителям, некоторые заплакали от холода. Йося распахнул полы своего лапсердака и укрыл ими Симу. Она пыталась сопротивляться, но быстро поняла, что так и вправду теплее.

Директор, который сидел на своем чемодане, поднялся и решительно направился к охранявшим ворота людям. Овчарка повернула к нему голову и угрожающе зарычала. Охранник крикнул, веля Жене остановиться, Молли рвалась с поводка, неистово лая и роняя из пасти пену, но Женя шел, уверенный, что собака его не тронет. Полицейский спустил Молли с поводка. В три прыжка она очутилась возле Жени и сбила его с ног. Женя прикрывал лицо руками, выкрикивая какие-то команды. Но собака, яростно урча, вцепилась зубами в рукав его ватного пальто. Полицейский вразвалку подошел к собаке,

поймал ее за поводок и, криво ухмыляясь, вернулся на свой пост к воротам. Женя остался лежать на мокром асфальте. Учительница музыки истерически вскрикнула. Все бросились к директору. Учительница стащила с директора пальто, разорвала рукав своей рубашки и вытерла ему окровавленное лицо. Жене повезло: пальто было хоть и старое, но из хорошей шерсти и простегано толстым слоем ваты, так что собачьи клыки только слегка задели кожу. Директор снова накинул разорванное пальто на плечи.

Внезапно ворота открылись, и вошел человек в форме немецкого офицера; видно было, что он к ней привык. Человек издали махнул рукой директору, жестом приказывая следовать за собой. Женя медленно пошел, но на мгновение остановился и оглянулся на нас. Все примолкли. Директор направился к воротам, где на него угрожающе скалила зубы Молли, крепко схваченная охранником за поводок. Женя повернул голову в сторону собаки, вся его фигура выразила недоумение и непонимание.

Жени не было всего полчаса, но нам показалось – целую вечность. Охранник толкнул его в ворота, от резкого пинка Женя слегка пошатнулся. Он снова сел на свой чемодан. Мы молча окружили его, ожидая объяснений.

– Мне предложили свободу в обмен на выкуп. Профессор Мяннисте обещал им за меня деньги.

– Вас отпустят прямо сейчас? – спросила Сима.

– Послушай, что за бред! Я отказался уйти без вас. А профессор Мяннисте умер в пятьдесят пятом году.

– И правильно, – сказал Роберт. – Никто не знает, что там такое... – он махнул головой в сторону забора. – Где мы, кто мы? Заблудились...

– Вернее – заигрались, – поправил его Йося. – А наша массовка отыграла свое – мы больше не нужны.

– Йося, это мы для них массовка, – директор кивнул в сторону охраны. – Никогда не позволяй себе чувствовать себя массовой!

Мы просидели под дождем часа три. Вдруг на стадион въехал крытый грузовичок, из которого мы получали реквизит. В кузове сидел некто, одетый в форму немецкого солдата с автоматом. Полиции велели нам сложить свои вещи в кучу и залезать в грузовик. Меня даже обрадовало, что больше не придется возиться с этим громоздким чемоданом. Я с размаху бросила его об асфальт, он раскрылся. Я ожидала, что сейчас по стадиону разлетятся бумажки и старые книжки, но... Посыпалось белье, детские башмаки и ру-

башки, какие-то фотографии... Полицай выхватил чемодан из рук Жени и вытряхнул из него серебряный семисвечник, медный кувшин для омовения рук и кубок для кидуша – точно такие, какие я видела на фотографиях дочери Самуила Войташевского. Что-то заподозрив, Роберт попытался удержать свиток, но не сладил со здоровым полицаем. Свиток полетел на землю. Все были настолько потрясены, что забрались в машину почти беззвучно. Немецкий солдат поднял брезентовый верх, и машина поехала. Через полчаса она остановилась. Охранник перегнулся наружу, заскрежетал засовами и откинул борт. Мы выпрыгнули из кузова и огляделись. Грузовик стоял на сырой лесной поляне, усыпанной сосновыми иглами, недалеко от свежерытой в песчаной почве ямы. У ее края стояли солдаты с автоматами. Они окружили нас. Славик прижался ко мне и тихо заплакал:

– Мама, пить хочу!

– Потерпи, сынок, нет у меня...

– О! – воскликнул Йося. Он запустил руку в бездонный карман своего лапсердака и извлек оттуда бутылку кока-колы, купленную в перерыве между съемками. Ловко отвернув крышку, он протянул ее Славику, но в это мгновение офицер отпихнул кого-то и потянулся к бутылке, намереваясь ее отнять.

– Ах ты, сволочь! – заорал Йося и плеснул липкой пенистой жидкостью прямо в лицо офицеру. Все кругом ослепительно вспыхнуло, потом стало темно. Сладкая водичка из другого времени разрушила реализм сцены расстрела. А может быть, сопротивление массовки не вписывалось в сценарий.

Пошли заключительные субтитры: в главных ролях... в эпизодах... съемочная группа... Участников массовки в субтитрах не было, их обычно там не называют.

* * *

– Мама! Ну, мама же! – сын теребил меня за рукав. Рядом сидел Даник и пытался жонглировать тремя шишками, которые попеременно сыпались ему на колени. Сима собирала букет из опавших листьев.

– Све-е-е-та! – кричал Йося, размахивая пустой бутылкой из-под кока-колы. – Бухгалтер приехал! Пошли за деньгами!

Он схватил за руку Симу, и они побежали по поляне к автобусу, стоявшему на проселочной дороге. Казалось, эта пара сейчас взле-

тит над лесом, как на полотнах Шагала. Я поднялась, и мы поплелись вслед за ними. Съёмочная группа складывала свою аппаратуру. Возле автобуса уже толпились румяные от свежего воздуха ученики и учителя, между которыми весело носилась Молли. Костюмерша скорбно трясла разодранным пальто, директор без царапин на лице молча разводил руками. Женщина чертыхнулась и бросила пальто на землю. Молли тут же подскочила и начала трепать его, мотая огромной головой и иногда оглядываясь на хозяина, как бы приглашая его принять участие в забаве. Поляна постепенно покрывалась клочьями ваты. В моем кармане уже блаженствовали две сотенные бумажки.

Одну из них я разменяла на следующий день в привокзальном цветочном киоске. Мы с сыном купили букет красных гвоздик. Потом сели в электричку и, проехав полчаса, пошли проселочной дорогой, подобрав по пути несколько камешков. Мы положили цветы и камешки у подножья памятника. На нем не было ни слова о том, что здесь убили евреев.

КАРАНДАШ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

В середине девяностых годов двадцатого века в дешевой забегаловке на Литейном проспекте в Петербурге собиралась группа литературной молодежи. Большинство ее участников писали гладкие стихи, в которых не было ни одного живого чувства. Петя с редкими волосами, заплетенными в косу, поклонник восточной культуры, писал о прелестях наркотического кайфа, пятнадцатилетняя Наташа, творившая под именем Фрика Клоакина, притопывая ногой в огромном солдатском ботинке, читала стихи о жутком разврате и пьянках, которым она, судя по стихам, предается каждый день. Безнадежная графоманка Света с повадками школьного комсорга была в этом обществе организующей и направляющей силой. Она именovala себя вице-президентом союза творческой молодежи. Света договорилась с директором солидного писательского клуба о совместном вечере. Когда юная длинноногая особа приходит к пятидесятилетнему мужчине и с придыханием просит: «Научите!», – отказать невозможно.

В зале собрались живые легенды русской литературы. Тут были дамы двух типов – относящиеся с вызовом к своему возрасту и те, кто полностью сложил перед ним оружие. Мужчины зато попадались

разные: кто-то в красной турецкой феске с кисточкой, некто блестяще-лысый с иссиня-черной бородой, белой на корнях, явно выкрашенной басмой, сухонький старик в подростковом джинсовом костюме и с холщовым рюкзаком... Толстяк в растянутом свитере, непосредственно-веселый, как ребенок, вертел в руках обтянутую кожей фляжку, к которой то и дело прикладывался... Но бойкая Светлана, открывая вечер, сразу предупредила, что не ожидает очередного обсуждения проблемы отцов и детей. Мол, живем мы в одном городе, читаем тех же классиков. Да и вам, старшему поколению литераторов, будет полезно подзарядиться нашей жизненной энергией. Так что не будем делиться на старших и младших, ведь и вы, и мы – люди творческие. Молодые представили себя, почитав стихи и прозу. Бесшабашная Наташа-Фрика выдала что-то эротическое, наивно полагая эпатировать публику. Однако мэтры и бровью не повели – подумаешь, невидаль!

Затем старшие поэты и писатели предались ностальгии по юным годам, а потом был фуршет.

В уголке стояли две девушки – студентки-однокурсницы. Одна – рыженькая, веснушчатая и кареглазая поэтесса Люся Нечаева в строгом монашеском платье держала тремя пальчиками в громоздких серебряных кольцах бокал с вином. Стройная блондинка в донельзя коротком и мятом полотняном сарафане Ира Кузнецова, писавшая мистические романы, выщипывала что-то из бутерброда. Мимо них проходил еще не старый, но начинающий лысеть человек; в отличие от остальной публики, на нем был пиджак и галстук. Неожиданно он остановился.

– Разрешите представиться, девушка, – сказал он Люсе тихим ровным голосом, – Александр Кошкер.

Люся поперхнулась бутербродом – это был всеми признанный литературный мэтр.

– До сегодняшнего дня я был уверен, что среди молодежи нет интересных авторов. Большинство из вас либо преклоняется перед попсой, либо играет с формой. Но в вас есть искра, которую стоит раздуть. Так что вот вам моя визитная карточка, приходите ко мне в первый вторник месяца к семи часам вечера. У меня собирается литобъединение.

Он хотел раскланяться, но к ним подкатился толстяк с фляжкой.

– Саша, куда же ты! Я думаю, что вторая девушка заслужила поощрительный приз за красоту и изящество! – и он подмигнул Кошкеру.

Кошкер повернулся к Ире и, казалось, ослеп, а когда очнулся, произнес:

– Да-да, конечно... – он самоуглубленно порылся во внутреннем кармане пиджака, вытащил огрызок карандаша и произнес:

– Сейчас мало кто пишет от руки. Но этот карандаш не для письма. Им делал пометки Михаил Булгаков, когда писал «Мастера и Маргариту». Не спрашивайте, как он мне достался, скажу только, что тот, кто им владел, оставлял значительный след в литературе. Приходите и вы.

Кошкер взял Иру за руку, в которой не было тарелки с бутербродом, раскрыл ладонь, положил на нее карандаш и сжал ее пальцы, затем повернулся и пошел прочь, а толстяк устремился за ним, размахивая фляжкой.

Люся глотнула залпом бокал вина, а Ира остолбенела с тарелкой в одной руке и карандашом в другой.

Среди публики появилось новое лицо – бородатый молодой человек, который держал в охапке теплую кофту Ирины и зонтик.

– Ой, глянь-ка, кто пришел! Какая нежная забота! Мы тут, Аркаша! – Ира подлетела к парню.

– Дождик пошел, похолодало, а ты так легко одета... – парень накинул на Ирку кофту. Журналист Аркаша Белад безнадежно ухаживал за Ирой еще со школы.

В назначенный день и час девушки приехали на Петроградскую сторону. В подъезде у Кошкера еще пахло краской – судя по скучному цвету стен, тут недавно произошел казенный ремонт. На каждой площадке располагались по две суровые металлические двери, но дверь Кошкера на третьем этаже была обита деревянными рейками. Хозяин очень обрадовался Ире и Люсе. В просторном коридоре по обеим стенам тянулись стеллажи с аккуратно поставленными книгами, мебель в гостиной была потертая, но основательная, натурального дерева. Люся привыкла, что в квартирах, где обитает богема, всегда полный ералаш, а тут все было не так. Фотографии в одинаковых рамках висели строго симметрично по отношению к окну. На одной – молоденький Кошкер в компании каких-то волосатых личностей, другая – портрет Бродского с автографом. Пианино блестело лаком и начищенными медными канделябрами. На нем – аккуратно стопка папок с нотами. За большим столом посередине комнаты собрались приглашенные, среди которых был и уже знакомый дядька в старом свитере, даже здесь не расстававшийся с фляжкой, – его называли странным именем Одиоз. Остальные пили

чай с печеньем. Маленькая чернявая девушка по имени Вероника прочитала несколько своих стихотворений. Люсе особенно понравились стихи о том, как девушка работала дворником. Она вставала до рассвета, шла по городу, который притаился в ожидании нового дня – то ли доброго, то ли ненастного... Затем началось обсуждение. Кошкер тихо изрекал свое мнение почти без интонаций. Окружающие внимали ему с почтением. В заключение обе подруги читали свои произведения. Люся не верила своим ушам, слушая новый рассказ Иры. Как Ирке, доселе повернутой на вампирах, удалось написать романтическую симфонию из совершенно затертых, будничных слов? Но тут же вспомнила и похолодела: карандаш! Карандаш Булгакова!

Некоторое время после того, как Ира дочитала последние строчки, стояла тишина, потом Кошкер невыразительным голосом сказал: – Оп-па!

И тут все задвигались, зазвенели чашки с чаем, заскрипели стулья, отовсюду посыпались восторженные отклики. Одиоз схватил Ирку за шею так, что фляжка оказалась у самого ее носа, и поцеловал в щеку.

Кошкер высоко ценил стихи Люси, но она несколько раз пришла на литературные встречи, а потом бросила эти занятия. Все тексты, которые писали члены объединения Кошкера, казались ей монотонными и одинаковыми. Это был тот же Кошкер, только на разные голоса. В этой компании молились на Учителя. Даже старик Одиоз. Кошкер и в самом деле несколько лет преподавал в школе литературу. Люсе казалось, что Кошкер крутит своим талантом, будто ключиком на пальце, а великовозрастные ученики, как дети в цирке, впадают при этом в гипноз. Люся никак не поддавалась гипнозу, ей было скучно сидеть за чаем у Кошкера и заниматься детальным разбором чужих произведений, и ее больше не радовало, что известные литераторы принимают ее на равных.

Ира тоже не поддавалась гипнозу Кошкера, хотя не пропускала ни одной встречи литобъединения. Она непостижимым образом сохраняла свой стиль, писала все лучше и лучше. Эта воздушная фея с огромными голубыми глазами, похожими на перламутровые раковины, садилась рядом с Кошкером на литературном вечере и, не мигая, слушала каких-нибудь японцев, читавших свои стихи из книжечек, похожих на складные гармошки, покрытые иероглифами, или чьи-нибудь «семантические стихи», или «поэзию чисел», или Бог весть что еще. После этого иногда вставал Кошкер и извиняющимся

голосом говорил: «Это ничего, что я в рифму?» Люся редко теперь ходила на такие вечера, она поняла, что всем завсегдатаям этих тусовок друг с другом скучно, потому что тексты и выходки друг друга все давно уже знают наизусть и что популярность тут вовсе не зависит от таланта. Достаточно ходить на вечера и презентации, но самому там свои произведения не читать, лишь многозначительно молчать и высказывать эпатирующие мнения.

Кошкер проталкивал рассказы Иры в самые известные литературные журналы в России и за рубежом, писал на них рецензии, постепенно ее книги начали издаваться огромными тиражами, их переводили на многие языки, она получала престижные международные литературные премии одну за другой. Люся сохраняла независимость и потихоньку завоевывала популярность у настоящих знатоков поэзии.

Однажды на эскалаторе станции метро «Чкаловская» к ней привязался артист Толик. Был поздний час, Люся возвращалась из гостей, а Толик ехал домой после смены в котельной банного комплекса. Толик прежде играл в известном, но распавшемся театре, а теперь входил в труппу, ставившую экспериментальные спектакли, со всеми вытекающими отсюда последствиями – безденежьем и неуверенностью в завтрашнем дне. Люся несколько раз побывала на репетициях и убедилась, что и режиссер, и артисты – гении. Только пока непонятые. Толик сочинял стихи и песни. В повседневной жизни он был ироничный, рассудительный и сдержанный, ничем особенным не отличался, предпочитал традиционные и качественные вещи, потому что к любым переменам относился с опаской. Но стихи как будто были написаны другим человеком. Песни начинались с равнодушного речитатива, но в самом неожиданном месте его высокий голос поднимался до заоблачных высот страсти. Люсе было странно, как он до сих пор жив на белом свете, как он может ходить на работу в свою котельную, варить себе картошку, рассказывать анекдоты. Сквозь строчки проступали боль, ужас и угрызения совести в самой крайней степени. Этот человек не умел чувствовать на полутонах, он ходил по горячим углям и дышал разряженным воздухом горных вершин. Однажды ночью, лежа в темноте и перебирая Люсины волосы, Толик заговорил. Он неожиданно рассказал о своих страхах и фантазиях, о лучших воспоминаниях детства, о смерти любимой собаки, о том, как он как-то летом бежал по лесной просеке и был так счастлив просто оттого, что живет, – сердце чуть не выпрыгнуло.

Утром Люся думала, что теперь между ними все должно быть совсем по-другому, но Толик буднично, как всегда, подавал ей кофе и сахар, намазывал булку паштетом. Он пристально поглядел на девушку, которая ловила его обыденные слова, заглядывала в глаза, наклонившись к нему всем телом, и до того отчаянно пожалел, что потерял над собой контроль и разоткровенничался, что одним махом раскрошил в кулаке целый сухарь.

Толик больше не позвонил ей. Она позвонила ему сама, но он сказал, что очень занят, работает за себя и за напарника, ушедшего в отпуск, в другой раз у него были сплошные репетиции... Она писала ему электронные письма, он не отвечал. «Трус! Трус! Дурак!» – Люся уничтожила все файлы с его фотографиями и стихами.

Весной Люся начала готовиться к последней сессии. Она сидела на скамеечке возле университета и листала конспект по мировой литературе.

– Девушка, хотите, я угадаю, как вас зовут? Люся Нечаева!

Люся засмеялась:

– Для этого не надо быть Шерлоком Холмсом. На обложке конспекта написано не только мое имя, но и факультет, курс и номер группы.

Аркашка плюхнулся рядом с ней на скамейку.

– Брось ты своего Стендаля. Пошли лучше пива выпьем.

Стоял яркий день, на поверхности невиской воды плавали солнечные бляшки.

Они устроились под зонтиком в кафе.

– Я видел твою подборку в «Неве», – сказал Аркаша. – Еще немного, и ты переплюнешь Кошкера.

Люся возмутилась, что ее сравнивают с Кошкером:

– Кто переплюнет Кошкера, так это Ирка. Ты в курсе, что ее последний сборник выдвинули на «Северную Пальмиру»?

– Оп-па! – ответил Аркаша любимым выражением Кошкера.

«Смешной, – подумала Люся, – он так радуется, будто это его собственный сборник выдвинули на премию. Вот это любовь!» А вслух она сказала:

– Как ты думаешь, почему Ирку выдвинули на «Пальмиру»?

– Значит, заслужила, – не задумываясь ответил Аркаша.

– Понятно, что заслужила, но все не так просто...

– То есть?

– Ты знаешь, у нее есть одна вещица, которая вдруг сделала ее талантливой, – карандаш Михаила Булгакова, который подарил ей Кошкер!

– Ну да... наверное, – рассеянно сказал Аркаша и тут же перевел разговор на другую тему.

Между тем всем становилось ясно, что у Кошкера и Иры отношения не совсем такие, какие бывают между учителем и ученицей. Ира объявила о предстоящей осенью свадьбе. Это случилось сразу после защиты диплома в университете. На лето Люся уехала к тете в Германию и вернулась в сентябре.

– А тебе Аркаша звонил, хочет попрощаться перед отъездом, – сказала мама.

– Как – перед отъездом? Куда же он едет? Надолго?

– Говорит – на пээмжэ в Израиль.

Оказалось, что Аркашу уже давно приглашали работать на израильском телеканале. В тот же вечер он пришел с букетом цветов, прощаясь, уже в коридоре, сказал Люсиной маме:

– Не поминайте лихом!

– Ты хоть бы номер телефона оставил! – воскликнула Люся.

– Как не оставить? Обязательно! – и он принялся рыться в сумке в поисках записной книжки, но так ее и не нашел, поэтому вытряхнул содержимое на стол. – А, вот она!

На стол выкатился вместе с записной книжкой огрызок карандаша, того самого, карандаша Михаила Булгакова!

– Аркаша! – прошептала Люся и прижала руки к груди, не отводя от карандаша глаз. – Это же Иркин карандаш!

– А, этот? Ну и что?

– Но это же не простой карандаш! Весь ее талант в нем!

– Правда? – иронически спросил Аркаша, запихивая карандаш обратно в сумку. – Записывай телефон и адрес.

Едва только Ирка вышла замуж за Кошкера, прекратилась вся ее литературная деятельность, как в воду канули публикации, книжные тиражи и премии. Зато в питерских магазинах появились книги израильского издательства, написанные Аркадием Беладом, на него посыпались литературные премии и интервью. Он не приезжал в Петербург года три, лишь изредка писал Люсе, рассказывал, какая интересная в Иерусалиме литературная компания и как ему нравится новая работа. Люся сдержанно отвечала, написала ему, что Ира, теперь уже Кошкер, оставила литературу, зато родила двойню. Люся не могла простить Аркашке, что он украл у Иры волшебный карандаш. Наконец Аркаша позвонил Люсе и сообщил, что приезжает в Петербург на международную книжную ярмарку, предложил встретиться.

Они сидели в том же самом маленьком кафе под зонтиком, как будто за три года ничто не изменилось. Люся все никак не могла решиться, наконец спросила:

- Как ты мог украсть у Ирки карандаш?
- Какой карандаш? – искренне поразился Аркаша.
- Карандаш Михаила Булгакова, вот какой!
- Михаила Булгакова?..

Аркаша затрясся от хохота так, что столик заходил ходуном.

– Булгакова... ой, не могу, – он снял очки и салфеткой протер стекла. – Да это самый обыкновенный огрызок! Кошкер мне еще раньше в подпитии рассказал, что обнаружил этот карандаш в коробочке со швейными принадлежностями. Его прабабушка-портниха этим карандашом записывала размеры своих заказчиц.

– Но... почему Ирка вдруг стала писать гениальные рассказы, а потом так же внезапно перестала, как только ты увез карандаш? И при этом ты моментально обрел популярность?

– Не хотел я тебе говорить, но ведь ты считаешь меня подлецом, придется признаться. Это я писал за Ирку все ее рассказы. Я любил ее. А она ушла к Кошкеру. Только и всего.

Илья Войтовецкий

КОНЕЦ ДИНАСТИИ ВУНДЕРКИНДОВ

В детстве я был вундеркиндом. Да-да, ничего удивительного – обыкновенным маленьким вундеркиндом. Согласитесь, что это вполне нормальное явление: ведь я был единственным сыном моих родителей, первым и последним ребенком в семье, ее гордостью и надеждой. Посудите сами: могло ли быть иначе? Отец и мать постоянно повторяли мне: «Если ты будешь таким, как все, ты ничего не добьешься в жизни. Не забывай, что ты еврей, а это очень-очень трудно – быть евреем».

Оказалось, что это действительно было нелегко. С младенческого моего возраста родители показывали меня самым знаменитым врачам, и те устанавливали у меня самые невероятные заболевания: капельное сердце, расширенные легкие, расшатанные нервы и устойчивое плоскостопие. Один знакомый баянист, обследовав мои уши, обнаружил в каждом из них не по одному, как у всех смертных, а по два слуховых отверстия, и сообщил моим затрепетавшим родителям, что именно такие уши были у Бетховена. В одном из номеров журнала «Нива» за 1910 год мама наткнулась на изображение гипсового слепка, сделанного с руки покойного Шопена. Мама приказала мне сложить пальцы лодочкой, повертела мою кисть, разглядывая ее с разных сторон, и взволнованно позвала отца:

– Ной, посмотри на эту руку! Ты видишь? Нет, ты мне только скажи – ты видишь эту руку? Вылитый Шопен!

– Вылитый Шопен! – эхом отозвался отец. Он никогда не перечил матери, и их единодушие до сих пор приводят в качестве примера для молодых, да и не только молодых, супружеских пар. А когда я сочинил стихи:

*В нашем классе есть отличник.
Он ведет себя на «пять».
Хорошо уроки учит –
Может все пересказать! –*

мои родители пришли в неописуемый восторг. Мама переписала мое произведение и разослала по редакциям разных газет и журна-

лов. Основания для такого поступка были у нее весьма веские: во-первых, это действительно было в рифму, а во-вторых, мой герой был, по мнению мамы, похож на самого автора, как брат-близнец. Впрочем, что здесь было для нее «во-первых», а что «во-вторых», я решать не берусь.

Родители очень любили ходить в гости и приглашать знакомых к себе. Буквально из ничего в те голодные послевоенные годы, когда буханка хлеба стоила на базаре двести рублей – треть или четверть месячной зарплаты, мама умудрялась сервировать довольно сносный стол. За столом гости пили, ели, шумно беседовали, и всякий раз непременно разговор заходил о детях. Вот тогда возбужденный, гордый, подогретый брагой конферансье-отец профессионально хлопал в ладоши, и на арену, освещенную ослепительно сверкавшими прожекторами, раскланиваясь и заученно улыбаясь, приветствуемый рукоплесканиями восторженной публики, под жизнерадостные звуки барабанов и фанфар выбегал я.

Дорогие зрители! Сейчас перед вами выступит всемирно известный, поразительно интересный, всеми уважаемый, абсолютно неподражаемый талант, краса и гордость нашего города, поэт, музыкант, чтец-декламатор, круглый отличник, ученик четвертого класса железнодорожной средней школы номер тридцать девять станции Троицк Южно-Уральской железной дороги имярек.

На губной гармошке, привезенной отцом из Германии, я исполнял песенку «Сердце красавицы склонно к измене» из известной оперы «Риголетто» великого итальянского композитора Джузеппе Верди, декламировал наизусть «Поздняя осень. Грачи улетели» великого русского поэта-демократа Николая Алексеевича Некрасова и в уме решал арифметические задачи. Нашим гостям, размлевшим после обильной трапезы, не терпелось поскорее перейти к чаепитию, но они знали, что стаканы с ароматным напитком появятся на столе не раньше чем вся программа будет исчерпана и любимец публики покинет арену под взрыв оваций и одобрительный гул зрителей и слушателей.

Итак, я рос вундеркиндом.

На исходе был 1947 год.

Вернувшийся с войны отец работал заместителем главного бухгалтера в железнодорожном училище. Там же, в здании училища, нам выделили жилплощадь – просторные по тем временам апартаменты размером в пятнадцать квадратных метров. По сравнению с прежней нашей четырехметровой комнатухой за фанерной пере-

городкой, которую мы после демобилизации отца снимали у Тарасенковых, это было истинным счастьем.

Окно в нашем раю располагалось высоко, под самым потолком. С улицы, однако, оно не было видно: над поверхностью земли выступала лишь узкая полоска стекла; створки же окна открывались внутрь бетонированной ямы. Весной, как только начинал таять снег, к нашему жилищу устремлялись грунтовые воды; они подступали к полу и держались все лето и осень; уходила вода, когда наступали заморозки. Разбухшие хлипкие половицы раскачивались и хлюпали под тяжестью шагов; из широких щелей выплескивались гребешки фонтанчиков и плюхались на пол. Отец выломал в углу комнаты две доски, и ежевечерне из образовавшегося водоема мы ведрами вычерпывали воду.

Когда родителей не было дома, я заполнял наше комнатное водохранилище бумажными корабликами и уплывал на самом большом – флагманском – судне в далекую, сказочную, заманчивую, недоступную, неописуемо прекрасную Америку. Вверенный мне флот уходил в страну самой дерзкой мечты, а я стоял на капитанском мостике рядом с моим бесстрашным другом Пятнадцатилетним Капитаном и отдавал ему лаконичные приказы:

– Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов!

– Есть квадрат гипотенузы! – отвечал Пятнадцатилетний Капитан, и судно пронзало опасную пелену тумана.

– Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя! – решительно командовал я.

– Есть буря мглою! – четко слышалось в ответ.

На нашем пути встречались скалы и рифы, Медуза Горгона и Кащей Бессмертный, семиглавый Дракон с троцкистско-зиновьевско-бухаринским блоком, злобные меньшевики подговаривали мрачную Фани Каплан в кожаной тужурке застрелить храброго крестьянского сына Илью Муромца.

Дни шли за днями, я, бессменно стоя на мостике, вглядывался в даль и замечал, что желанная страна вот уж издали видна. Пристают к заставе гости. Но князь Гвидон, обосновавшийся в Новом Свете, не успевал позвать их в гости, потому что приходили с работы мои родители. Всесокрушающий шквал отцовского гнева сминал гордые белогрудые корабли, и славному мореплавателю приходилось приниматься за уроки. Четвертый класс непременно нужно было закончить с похвальной грамотой.

Была осень 1947 года.

Об Америке я знал от Гойфмана.

О квадрате гипотенузы и о буре, которая мглою, тоже от него.

Гойфман работал сторожем в железнодорожном училище, круглый год ходил в старом полушубке, продавал на базаре свои довольственные карточки и покупал колуб — плиты прессованных отходов производства подсолнечного масла из нелущенных семечек.

Гойфман был длинный и тощий, как день без хлеба. Он, тяжело и хрипло дыша, медленно входил, вернее, спускался по тонко попискивавшим ступенькам в наше подземелье, медленно садился на скрипучую табуретку, неторопливо доставал из кармана полушубка кусочек колуба с налипшими крошками мусора, внимательно осматривал его, отряхивал и отправлял в рот. В продолжение целого вечера он посасывал свое неперенное лакомство, и острый кадык на вытянутой шее Гойфмана перекачивался под пупырчатой, как у гусака, кожей, раскачивая вверх и вниз дикие клочья серой распатланной шерсти.

— Вы знаете, в Америке каждый может стать президентом, — тихо, размеренно, будто самому себе говорил Гойфман. — Нет, вы поймите меня правильно, конечно, не каждый, иначе там было бы сто миллионов президентов. Но если, скажем, вы или я достойны стать президентом, то это никому не жалко: становитесь себе на здоровье. Надо только, чтобы вас или, скажем, меня выбрали. Ведь правда — просто? А?

Гойфман посасывал колуб, проглатывал слюну, прикрывал глаза и продолжал:

— Я мог бы стать президентом Америки. Вы мне скажите: а много есть в Америке грамотеев, кто помнил бы наизусть теорему Пифагора? Правда, каждый дурак знает, что пифагоровы штаны на все стороны равны. Но кто ответит вам так, как Гойфман: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов»? Коротко, точно и ясно. А?

Он приподымал бескровные веки, и его выцветшие глаза выбрасывали из-под ресниц снопы победных искр.

— Я рос одаренным ребенком. У нас в Варшаве все евреи в один голос повторяли, что моему отцу Бог дал самое большое богатство в мире: он дал ему хорошего сына. Я играл на скрипке. Вы слышали когда-нибудь про Яшу Хейфеца? А? Так этому Яше я не позволил бы переворачивать для меня ноты! Я не задумываясь перемножал в уме пятнадцатые числа. Вы знаете, сколько будет, если умножить пятьдесят три тысячи семьсот двадцать девять на семьдесят четыре тысячи шестьсот тринадцать? Вы не знаете? Вы не пробовали?

Так вы попробуйте! А?.. Я изучал русский и польский языки, немецкий, французский, еврейский и древнееврейский. Вы думаете, у Гойфмана плохая память? Вы думаете, Гойфман забыл то, чему его учили в школе? Вы так думаете, да? Так вот послушайте:

*Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя.*

Это Пушкин, Александр Сергеевич. Родился в тысяча семьсот девяносто девятом, погиб на дуэли в одна тысяча восемьсот тридцать седьмом. Был застрелен. Понимаете? Был застрелен в тридцать седьмом году. Вам это ничего не напоминает?.. А вот это – Heinrich Heine:

*Treue Liebe bis zum Grabe
Schwör ich dir mit Herz und Hand.
Was ich bin und was ich habe –
Dank ich dir, mein Vaterland!*

Бедный Heinrich Heine! В его любимом Vaterland'e из его книг устраивали костры...

Он замолкал, скрючивался, укладывал носатую голову на костлявые кулаки и долго молча ворочался на грустно повизгивавшей старой табуретке.

Мама молча сидела под тусклой лампочкой в центре комнаты и штопала носки, отец, лежа на кровати, просматривал газету. Я, укрывшись с головой одеялом, притворялся спящим. За окном была кромешная тьма. Казалось, что весь мир притаился и затих, слушая училищного сторожа – старого варшавского еврея Гойфмана.

– Я мог бы стать президентом Америки. Но для этого нужна была мелочь, пустяк, сущая ерунда. Для этого нужно было купить билет на пароход и уехать в Америку. Потому что – подумайте сами: неужели, живя в Польше, можно и в самом деле стать президентом Америки, а? Ну, как вы думаете?

Гойфман опять вскидывал голову и вопросительно переводил взгляд вдоль стен, ища у слушателей подтверждения своим словам.

– Вам когда-нибудь приходило в голову поинтересоваться, как бедный американский еврей становится богачом?

Гойфман ежился от холода и сырости, натягивал повыше воротник полушубка, глубоко топя в нем шею и уши, и, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Каждый американский еврей, если он этого захочет, может стать богачом. Да что там богачом — миллионером! И для этого, вы думаете, так уж много нужно? Что? Нет, вы совсем не знаете Америки! Каждый мальчишка в Америке начинает с окурков. Он собирает окурки, выковыривает из них табак и набивает папиросы. Папиросы он продает совсем задешево, но вы посудите сами: а какие у него затраты? А? Через месяц он уже имеет деньги, чтобы купить себе табачную лавку. Ну, как вам это нравится: он делает первые свои доллары просто из ничего! А дальше все уже идет само собой. Нужно только иметь желание и терпение. Да-да, в Америке каждый бедный еврей может стать богачом. Ах, если бы мой отец догадался купить билет на пароход! Ведь это было так просто. Вы думаете, у меня не хватило бы ума собирать окурки? А? Но моему отцу не нравилось, что его сын будет торговать на улице папиросами. Моему отцу, видите ли, хотелось, чтобы его сын играл на скрипке и говорил по-французски, читал Heine и умел отличать Монэ от Манэ. И он не купил билет на пароход. Пароход ушел без нас, а я продолжал играть гаммы и арпеджио, моему *glissando* уже завидовали мировые знаменитости, а французское «г» я произносил не хуже любого парижанина.

Гойфман умолк. Мама неслышно водила рукой над носком, и от ее колдовства дырка зарастала сеточкой штопки. Отец, положив кулак под голову, смотрел в потолок. За стеной, на складе обмундирования, резвились крысы, и их писк насквозь просверливал тяжелую тишину подвала.

Скрипнув на прощанье табуреткой, Гойфман распрямил свое, похожее на складной метр, угловатое длинное туловище. Под его шагами мерно прохлюпала вода, так же мерно проскрипели ступеньки исчезавшей в черном беззвездном небе лестницы. Ночной сторож отправился в очередной обход.

Потекли минуты напружинившегося в тягостном ожидании безмолвия. Оно тянулось, затягивалось, становилось невыносимым. Наконец мама не выдержала.

— Ной, как ты думаешь, этот Гойфман — кто он?

— Ну как — кто? Ну как — кто? — переспросил отец. — Кем же он еще может быть? Ты разве сама не понимаешь? Это же ясно, как день, с первого взгляда: он или сумасшедший, или шпион, или секретный сотрудник. Кем же он еще может быть?

– Хорошо, что ребенок спит, – тихо сказала мама. – Хорошо, что он ничего не слышал. – И еще, помолчав, продолжила: – А если тебя вызовут и спросят, о чем вы по вечерам говорили, что ты тогда скажешь?

– Что скажу, что скажу! Скажу правду, – возмутился отец. – Скажу, что я с ним не разговаривал, у меня и без него много своих забот. А если он сам что-нибудь и говорил, то я его совсем не слушал. Ну, мало ли: зашел человек погреться, поговорил сам с собой и ушел. Я что, должен отвечать за него? Разве я не прав?

– Ты прав, Ной, – одобрила мама. – Конечно, ты прав.

И, отложив в сторону носок, стала разбирать постель.

Когда погас свет и комнату заполнила густая, вязкая, тяжелая темнота, до моего уже провалившегося в сонную бездну сознания дополз мамин шепот:

– А хорошо, что ребенок ничего не слышал. Правда, Ной?

Отец согласился. Он вообще никогда не перечил матери.

Впрочем, однажды они поспорили. Нет, не подумайте, что они поссорились или, не дай, Бог, накричали друг на друга. Такое невозможно даже представить. Но раз в жизни – я помню – отец не сразу согласился с матерью, а она, лишь после длительных уговоров, приняла доводы отца.

Отец очень любил слушать игру на скрипке. Не на той скрипке, которая играет в оркестре и пилит какого-нибудь Моцарта или Римского-Корсакова. Он любил скрипку, которая, не смешиваясь ни с какими другими инструментами, одна, выбрасывает из-под смычка тоненькие ехидные смешочки и веселит сердце, а потом вдруг притихнет, затаит дыхание и начинает выворачивать душу наизнанку своими жалобами и вздохами.

– Все эти известные знаменитости ничего не стоят, – развенчивал отец мировых светил. – Тянут свои симфонии – слушать противно. У нас в местечке был еврей – ан алтер Хаим, Хаимке-дер-клезмер. Вот это был скрипач! Как он играл «Фрейлехс»! Как он играл! Ай-я-яй! Когда он играл «Фрейлехс», разве мог кто-нибудь усидеть на месте? Разве мог усидеть? Ах, этот Хаимке, Хаимке-дер-клезмер – вам на долгие годы! Он играл, а евреи закладывали пальцы за жилетки и танцевали. И самый последний бедняк чувствовал себя Ротшильдом, потому что – разве есть на свете большее богатство, чем игра Хаимке-дер-клезмера? Разве есть? А потом Хаимке – вам на долгие годы – закрывал глаза и начинал раскачиваться из стороны в сторону, а его скрипка сама пела «Плач Израи-

ля». Он не играл, он только раскачивался – Хаимке-дер-клезмер. Он раскачивался, а скрипка пела. И все евреи плакали. Все до одного, даже жених с невестой, хотя у них и была свадьба и они должны были радоваться. Но разве мог какой-нибудь еврей не плакать, когда Хаимке-дер-клезмер играл «Плач Израиля»? Разве мог? Ай-я-яй-яй! Поэтому ребенок должен учиться на скрипке! – решительно закончил отец. – Наш ребенок будет играть на скрипке.

– Нет, Ной, пусть он играет на пианино, – возражала мама и бросала умоляющие взгляды на отца. – Ты посмотри, какая у него прямая спина, как он будет красиво сидеть за инструментом! А его пальцы! Ты только взгляни на его чудо-пальцы! Илюша, покажи папе свои пальцы!

Я садился на краешек табуретки, вскидывал руки над воображаемой клавиатурой, и оба родителя благоговейно замирали перед этим неопровержимым аргументом.

– Это красиво – играть на пианино, – добивала отца мама. – Наш сын сидит на сцене и играет, а весь зал смотрит на него и слушает. Это так красиво, Ной, так красиво! Пусть наш сын играет на пианино.

Нет, они не поссорились – мои родители. Они даже не поспорили по-настоящему. Они всегда умели находить соломоново решение. И на этот раз они тоже нашли его. Их сын, их вундеркинд будет учиться и на скрипке, и на пианино. Это же так просто!

Уроки игры на рояле я начал брать у нашей школьной учительницы пения Галины Павловны. Она сказала родителям, что у меня хороший слух, хотя совсем нет голоса. Последнее утверждение трудно было оспаривать, но ведь меня посылали не пению учиться, а музыке.

Со скрипкой дело обстояло хуже. Во-первых, негде было раздобыть инструмент. А во-вторых, в Троицке в те годы не было ни одного скрипача. Начались поиски.

В железнодорожном клубе давно существовал духовой оркестр. Его руководитель Александр Семенович Травкин был горьким пьяницей, никто никогда не видел его трезвым, однако его оркестр исправно играл на кладбище похоронный марш, а во время торжественных церемоний – гимн Советского Союза. Мои родители обратились к Травкину, и оказалось, что на скрипке он тоже играть умеет.

– Поищу в клубе на складе, –дохнул сивухой маэстро. – Может, там завалилась какая ни на есть скрипочка.

Какая ни на есть скрипочка отыскалась. Правда, на ней сохранились только две – не совсем скрипичные и сильно заржавленные –

струны, а смычка и вовсе найти не удалось, но моего будущего учителя это не смутило.

– Паганини играл на одной струне, – решительно заявил он. – А смычок... – Травкин пожал плечами, – существует такой метод игры, называется «пиццикато». Все настоящие скрипачи умеют играть «пиццикато».

Но тут запротестовал отец.

– Товарищ Травкин, я ничего не знаю про ваших скрипачей, которые играют «пиццикато». Не знаю – и знать не хочу. Вы слышите, товарищ Травкин? А теперь слушайте сюда. У нас в местечке был скрипач. Его звали Хаим, Хаимке-дер-клезмер. Вот это таки да был скрипач! Всем нам на долгие годы! Как он играл «Фрейлехс»! Вы слышали когда-нибудь «Фрейлехс», а, Травкин? Хаимке-дер-клезмер был великий музыкант – Хаимке-дер-клезмер. И он играл смычком. Я хочу, чтобы мой сын тоже играл смычком, а не этим вашим «пиццикато». Это мое условие.

Кто платит деньги, тот заказывает музыку. И на следующий день Травкин принес смычок. Он изготовил его сам, и надо отдать ему должное: смычок совсем был похож на настоящий. Как все гениальное, он был предельно прост. Мой музыкальный наставник взял деревянную планку, с обоих концов вбил в нее по гвоздю, а между гвоздями натянул обыкновенные нитки. Нитки он натер канифолью – и сделал это таким профессиональным движением, что наблюдавший за ним отец сразу поверил, что его сын попал в надежные руки. Желтым обкусанным ногтем Травкин слегка тронул сперва одну, потом вторую струну, прислушался, подкрутил колки и опять щипнул струны. Потом поднял скрипку, зажал ее между плечом и подбородком и пробежался пальцами левой руки вдоль грифа. Его кисть тряслась в мелкой пьяной дрожи.

Отец поудобнее уселся на табурет и в торжественном ожидании склонил голову набок. Смычок взлетел над головой учителя, на мгновение замер, виртуозно выписал какой-то замысловатый вензель и плавно опустился на струны. Раздался звук – первый скрипичный звук, услышанный мною в жизни.

Мне не с чем сравнить его. Если бы тысяча ножей одновременно прошлась лезвиями по тарелкам, это было бы совершенством гармонии в сравнении с тем, что вырвалось из-под смычка Травкина. Я в ужасе зажмурился.

Когда я открыл глаза, моего учителя простыл уже след. Отец стоял у распахнутой двери, бессильно опустив руки. Куски крашеной

фанеры, обмотанные ржавой проволокой, раскачивались над нашими головами. Смычка нигде не было видно: наверно, маэстро, убегая, захватил его с собой.

У главного бухгалтера Ивана Ивановича Колотилова пропала из шкафа краюха хлеба – почти полбуханки. Методом исключения коллеги Ивана Ивановича сняли подозрение со всех, кто покинул бухгалтерию не позднее шести часов вечера; сам Колотиллов ушел с работы последним, и когда он закрывал шкаф, хлеб в нем еще был. После ухода главного бухгалтера в помещении училища оставалась уборщица Митрошкина, а ночью дежурил сторож Гойфман.

– Товарищ Гойфман – культурный человек. Я не допускаю, чтобы он был способен на такой антиобщественный поступок, – поделился Иван Иванович своими соображениями с сотрудниками. Вскоре его слова расползлись по всему учебному заведению.

Вечером, возвращаясь из школы, я натолкнулся на Митрошкину, сидевшую на крыльце училища. Она громко рыдала, ее плечи резко вздрагивали от судорожных всхлипов. Был конец рабочего дня; сотрудники, наскоро прибрав рабочие места, торопливо покидали помещение. У выхода они спотыкались о плачущую уборщицу и молча, отводя взгляды в сторону, проходили мимо. Я не замечал на их лицах жалости или сочувствия: хлеб был самой большой ценностью, святыней, предметом культа, и посягательство на него воспринималось как страшное, непрощаемое святотатство.

Я стоял, прижавшись спиной к забору, и в оцепенении наблюдал за происходящим.

В конце улицы в серых осенних сумерках показалась еле различимая фигура Гойфмана. Он неторопливо шел к училищу, и с его приближением затихшие уже было рыдания Митрошкиной возобновились с новой силой.

Гойфман поравнялся с крыльцом, остановился и задумчиво оглядел женщину. Она, не переставая плакать, бросила полный ненависти взгляд на старого еврея и, как маленькая девочка, размазывая рукой слезы по лицу, тонко заголосила. Сторож в нерешительности постоял против нее, вздохнул, покачал головой и робко шагнул в сторону крыльца. Митрошкина посторонилась, и Гойфман молча прошел в глубь помещения.

Поздним вечером в нашем подвале была обычная обстановка: мама, сидя под тусклой лампочкой, латала мои протертые штаны, отец, лежа на кровати, перелистывал газету, я, украдкой выглядывая из-под одеяла, притворялся спящим, и старый сторож Гойфман,

уйдя всем своим тощим телом в потертый и рыжий, как и он сам, полушубок, тихо беседовал с самим собой.

— В нашей гимназии учились всего два еврея: сын известного фабриканта Полякова и я. По процентной норме можно было бы принять, наверно, и больше, но не забывайте, что это была Первая мужская варшавская гимназия, и это уже говорит обо всем. Когда в Варшаву прибыл Его Императорское Величество царь Николай Второй, генерал-губернатор устроил в его честь прием. В громадной зале сверкали хрустальные люстры, было много военных и очень много дам. Я больше никогда в жизни не видел столько прекрасных женщин. На сцену выходили самые большие варшавские знаменитости и исполняли для государя-императора разные номера. Когда объявили мой выход, я не сообразил, что вызывают меня. Поэтому меня объявили еще раз, а распорядитель концерта подбежал ко мне и зло прошипел: «Вы что, оглохли, господин музыкант?» Оказывается, ведущий объявил: «Выступает учащийся Первой мужской гимназии». И все. Как вам это нравится! Он не назвал моей фамилии... Ему, видите ли, показалось неприличным произнести в этом обществе фамилию Гойфман. Да... Я играл «Интродукцию и рондо каприччиозо» композитора Сен-Санса. Что вам сказать! Я играл, и дамы подносили к глазам носовые платочки — так я играл. Я видел, как государь-император наклонился к уху царицы и что-то ей шепнул и указал взглядом в мою сторону. Ах, какой это был концерт!..

Гойфман вскинул голову, выдвинув из тени крючковатый нос, обросшие колючками щетины острые скулы и впалые щеки. Он быстро-быстро зацокал языком, и было неясно: то ли он пытался воспроизвести «Интродукцию и рондо каприччиозо» композитора Сен-Санса, то ли сосал свой колуб. Потом он взглянул на маму, и, грустно улыбнувшись, закончил свой рассказ:

— Моего отца пригласил к себе председатель попечительского совета гимназии господин Свенцицкий. Он был большой антисемит, этот господин Свенцицкий. Он предложил моему отцу сесть в кресло и так сказал моему отцу: «Вы, пан Гойфман, хотя и из жидов, однако ваш сын прекрасно выступил перед императором. Да, прекрасно. Позвольте вам выразить наше удовлетворение». Ах, как счастлив был мой отец! Ах, как счастлив! — вздохнув, повторил сторож.

Под байковым одеялом сгустились темень и духота. Был поздний час, и как я ни боролся со сном, теплые волны дремы накатывали на меня, качали, уносили и вновь выбрасывали из забытья. И тогда я слышал обрывки фраз старого Гойфмана.

— ...В четырнадцатом я воевал на германском фронте... Весь мир сошел с ума... Была революция, и была гражданская война, и белые, и красные, и белополяки, и красная конница, и черт, и дьявол. И был голод. С тех пор всю жизнь был один сплошной голод... Те, у кого были деньги, сумели таки уехать в Америку. Да, в Америку. У меня не было денег. У меня не было даже работы. Чтобы поступить на службу, нужно было состоять в профсоюзе. А чтобы стать членом союза, нужно было работать. Вы понимаете? Это был какой-то заколдованный круг... Я уехал в Донбасс и устроился на шахту. Я долбил каменный уголь в забое, а вечером бежал в ликбез. Ах, если бы мой отец встал из гроба и увидел, как я вместе с этими самоуверенными и безграмотными владыками мира выводил в тетрадке: «Мы не рабы. Рабы не мы». И делал в диктантах по двадцать ошибок на каждой странице. Ну, вы мне скажите: а мог я поступить иначе? А? Мог, да? Вы подумайте сами: ведь должен же был я доказать им мое истинно пролетарское происхождение! Ну, что вы на это скажете?.. А потом меня посадили. У меня нашли золото — несколько царских десятков. Да-да, не смейтесь, у меня и в самом деле было запрятано несколько золотых десятков. Я все еще надеялся скопить немного денег, чтобы купить билет на пароход. Я так мечтал уехать в Америку! Я готов был отказывать себе во всем, только бы накопить на билет... А потом был тридцать седьмой. Я не должен вам рассказывать про тридцать седьмой. Вы же сами знаете, что было в тридцать седьмом. А потом был... а потом был... а потом... был... не был... был... не был...

...А потом был огромный зал. Сверкали люстры, порхали веера, дамы в офицерских мундирах вертели перед глазами лорнеты, и государь-император в первом ряду подносил к переносице белоснежный платок. Я стоял на сцене. В руке я держал скрипку. Смычка у меня не было, потому что на этой скрипке можно было играть только «пиццикато». Я поднял скрипку и прижал ее подбородком к плечу. И начал раскачиваться из стороны в сторону. Я раскачивался, а скрипка пела. Она сама выводила мелодию, а весь зал стоя подпевал моей скрипке, и сам государь-император повторял вместе со всеми слова песни, которую мы только накануне разучивали с Галиной Павловной на уроке пения в Первой варшавской мужской гимназии:

*Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет.
С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.*

Потом зал завертелся, погрузился во мрак и уплыл в сторону, дамы стайкой воробьев вспорхнули с серого дощатого забора и полетели прочь. Я тоже взмахнул крыльями, рванулся вслед за ними и, не догнав, присел на резной оконный карниз отцовской бухгалтерии.

За окном расстилалась Америка. Америка-Америка, прекрасная страна! Я стал ее разглядывать. Америка оказалась из конца в конец усеянной сморщенными папиросными окурками. Во всех пределах этой волшебной страны, куда только ни проникал взгляд, в поте лица трудились бедные евреи. Они нагибались, подымали с земли и тут же потрошили окурки, выковыривали из них золотые царские десятки и с криками «Мы не рабы! Рабы не мы!» сбрасывали в свои узелки – точно такие, в какие троицкие нищие собирали у церкви милостыню.

В центре Америки, перед распахнутым шкафом Ивана Ивановича Колотилова, стоял высокий худой президент в облезлом полушубке. Дрожащими пальцами он сжимал недоеденную краюху черного хлеба. Его глаза были широко раскрыты и устремлены вверх, а на лице светилось такое счастье, было столько праздничного вдохновения и восторга, словно он на самом главном в своей жизни концерте исполнял сейчас «Интродукцию и рондо каприччиозо» композитора Сен-Санса.

Гойфман умер от истощения. Морозным декабрьским днем он, еле волоча слабые ноги, тащился по привокзальному базарчику, то ли пытаясь продать свои хлебные карточки, то ли намереваясь купить себе колуб. Вдруг он охнул и повалился на бок. Проходившие мимо ученицы железнодорожного училища узнали старого сторожа и отнесли в свое общежитие.

Собрались еще подростки. Гойфман лежал с безумно распахнутыми глазами и пытался что-то сказать, но язык не подчинялся ему. Мучительные судороги пробегали по его заострившемуся лицу, обтянутому дряблой, в серых колючках, кожей; он переводил взгляд, скользя им по лицам молчаливых свидетелей его страданий; дыхание его было прерывистым и хриплым.

Гойфмана, очевидно, разбил паралич, но он оставался при полном сознании. В ожидании прибытия врача кто-то потянулся, чтобы расстегнуть на его груди одежду, но короткий резкий окрик Гойфмана остановил протянутую руку на полпути.

Тем не менее одежду освободили. И когда, обдавая людей смрадом пота и нечистот, оголилась впалая ребристая грудь Гойфмана, все вскрикнули от изумления.

Тело больного было опоясано широким брезентовым поясом с многочисленными карманами, туго набитыми денежными ассигнациями – мятыми, захватанными тысячами рук сторублевками; были там и тридцатки, и десятки, и даже рубли.

Минута немого недоумения сменилась приступом массового шумного бешенства. Подростки бросились на неподвижное тело и, остервенело отталкивая друг друга, стали рвать из пояса и рассовывать по своим карманам жалкие бумажки – последнюю надежду старого сторожа, всю жизнь мечтавшего о стране, где каждый еврей, если он только захочет, может стать богачом или президентом. Они выдергивали из пояса и вырывали друг у друга из рук неожиданно свалившееся на них богатство, и это походило на дикий пир изголодавшихся хищников, рвавших на части настигнутую ими добычу.

Когда пояс опустел и люди пришли в себя, они отрезвело остановились и огляделись по сторонам. Вокруг все было прежним: большая общежитская комната, тусклый декабрьский свет за окном и парализованный желтый старик в растерзанном рыжем полушубке, распростертый на одной из коек. Сознание еще не покинуло его, и глубоко запавшие глаза Гойфмана с мольбой и отчаянием заглядывали в чужие и хмурые лица.

На его похороны не пришел никто. Родственников у покойного не было, и для оплаты расходов местком выделил какую-то необходимую сумму. Это были очень небольшие деньги – гораздо меньшие стоимости билета в Америку. Но члены месткома заседали целый день, а потом еще один день согласовывали и утверждали свое решение в вышестоящих инстанциях – ведь без этих денег Гойфман просто никак не мог отправиться в свое последнее путешествие.

В день его похорон была объявлена денежная реформа. В газетах писали, что это еще одно проявление заботы партии, правительства и лично товарища Сталина о благе советского народа. И народ шумно благодарил за заботу, пил и буянил.

А в сберкассах и банках стояли очереди. Осчастливленные граждане обменивали свои многолетние накопления, получая за каждую сданную десятку один новый рубль, стоимость которого, однако, осталась равной рублю дореформенному. Люди толпились в бесконечных хвостах, ожидая очереди подойти к кассе. Гойфмана среди них не было. Хорошо, что он не дожил до этой реформы. Хорошо, что его деньги меняли уже без него.

Вечером, как всегда по праздникам, у нас были гости. Отец хлопотал у ведра с брагой, мама раскладывала по тарелкам яства. Хлеб, впервые купленный в магазине не по карточкам, щедрыми ломтями лежал на столе. Гости чокались, провозглашали тосты, оживленно ели.

Как и следовало ожидать, родители вспомнили обо мне.

– Илюша, сколько времени тебе потребуется, чтобы сочинить стихотворение на злобу дня? – гордо сверкая посоловелыми глазами, прокричал отец.

– Десять минут, – ответил я без запинки. – Только мне нужна тема.

– Засаекаю время! – объявил родитель. – Через десять минут мой сын прочтет вам стихотворение собственного сочинения про денежную реформу!

Гости прекратили двигать челюстями. В застывшей тишине праздничного подвала слышался лишь скрип карандаша по способной все стерпеть бумаге.

Очевидно, у меня действительно была хорошая память – я до сих пор помню эти стихи. Хотя было бы гораздо лучше, если бы я их забыл. Вот они:

*Люди бегают, кричат,
В банке очереди стоят,
Деньги все меняют,
Делать что – не знают.
Сотни, тысячи у всех,
А рабочим только смех:
Стало лучше жить рабочим.
Все дешевле стало, впрочем.*

Наскоро похвалив мое скороспелое произведение на волновавшую всех злободневную тему, гости тут же забыли об авторе и набросились на чай с мамиными коржиками. Коржики были с маком и аппетитно хрустели.

За праздничным чаепитием наши гости не заметили, как на смену зиме пришла веселая журчащая весна, промелькнуло короткое уральское лето и затяжными ливнями ворвалась хмурая грозовая осень. Я вырослел, переходил, как положено, из одного класса в другой, двигался вразвалку и, стоя перед зеркалом, гордо разглядывал первый пух на щеках и верхней губе.

Но размякшие от густых ароматных паров гости не замечали всего этого. Они пили чай с коржиками и только во время коротких перерывов вдруг вспоминали обо мне. И я начинавшим басить голосом охотно читал им мои новые злободневные сочинения –
о Первом Мая:

*На фабрике, заводе и на шахте –
Везде, где жизнь советская кипит,
Стоит народ наш на предмайской вахте,
На вахте мира наш народ стоит! –*

об американских поджигателях новой мировой войны:

*Кто будет вести ваши танки?
Кто пустит на город снаряд?
Очнитесь, опомнитесь, янки! –
Народы войны не хотят! –*

и об ученике, соблюдающем в родной школе чистоту и порядок:

*Погода в октябре без перемены –
Дождь лил всю ночь, не перестал и днем.
Он не забыл законы гигиены:
Снял сапоги – и тапочки на нем!*

Гости пережевывали хрустящие коржики с маком и стихами, сонно любовались моими ежегодными похвальными грамотами с изображениями Ленина и Сталина и в один голос повторяли, что моим родителям привалило самое большое богатство в мире – им повезло на хорошего сына. Я слушал чужие равнодушные восторги, и мне казалось, что когда-то давным-давно, где-то далеко-далеко отсюда, в моей прежней жизни я уже слышал эти же слова. Судьба не была изобретательной; она не могла похвастать разнообразием: во всех моих земных повторениях она каждый раз готовила для меня одну и ту же участь – мне неизменно приходилось быть вундеркиндом.

А я ужасно хотел попинать на пустыре тряпичный мяч вместе с соседскими мальчишками, подраться с кем-нибудь или залезть на дерево. Я мечтал получить двойку и с гордостью пройти по улице, сообщая всем встречным об этом событии. Но двоек учителя мне не ставили, после уроков я разучивал на стареньком школьном ин-

струменте расходящиеся хроматические гаммы, и очередной концерт на балу у генерал-губернатора в честь приезда Его Императорского Величества был, казалось, уже не за горами. Предчувствие его приближения долго сопровождало меня; со временем острота ожидания стала притупляться, исчезать, и я, наконец, понял, что чаша сия на этот раз меня окончательно миновала. Кончилось затянувшееся детство.

Прошли годы. Бывший чудо-ребенок превратился в сутуловатого лысеющего мужчину, имеющего жену, двух сыновей, тещу и собаку. Все в его – то есть в моей – жизни размеренно, прилично, обыденно. Не гремят фанфары, не захлебываются репортеры, не теряют сознания мировые красавицы. Все, как у людей, и – слава Богу.

Вот из России мы уехали. С большим трудом удалось мне собрать деньги и купить билеты на самолет. Правда, не в этом оказалась главная трудность, но мы здесь, а значит – и беды уже позади.

За нашим домом тянется большой шумный двор. Я смотрю в окно, я вижу, как мои сорванцы гоняют футбольный мяч и дерутся с мальчишками. Часто они возвращаются домой в разорванной одежде, и я, незло поругивая их, завидую моим сыновьям: им никогда не придется быть вундеркиндами.

Игаль Городецкий

ОТКУДА НОГТИ РАСТУТ

Опубликовать эти коротенькие тексты я решил, прочитав «Неопределенный артикль» ленинградского, а ныне иерусалимского писателя Володи Ханана. Из зависти, разумеется. Все истории – подлинные. Ну, возможно, я кое-где кое-что приукрасил.

КЛАПА

Первым произнесенным мной связным словом было не «мама», и не «баба», и не «дай». Я показывал пальчиком на любую черную точку на стене и изрекал: «клапа», то есть «клоп». Этих животных в нашей коммуналке водилось видимо-невидимо. Избавиться от них не представлялось возможным. Не помогали ни мыло, ни керосин. Даже дезинфекцию заказывали. Но клопы спокойно переползали к соседям, а потом возвращались.

Тогда все жильцы нашей квартиры договорились вызвать дезинфекцию одновременно. Этот день я запомнил хорошо. Возбужденные событием соседи собрались на кухне. Неожиданно из самой большой комнаты, занимаемой семьей под предводительством старухи, которую за глаза все называли Чума, один за другим выскочили, матерясь, работники службы дезинфекции.

– Что случилось?

– Сами посмотрите.

Испуганные соседи вошли в комнату. Было чего испугаться. В комнате потемнело, хотя на улице ярко светило солнце. По драным обоям стеной шли сотни тысяч потревоженных клопов.

О ВРЕДЕ БОЛТОВНИ

Моя будущая жена Ася работала в конце шестидесятых годов прошлого столетия – как звучит, а?! – на московском радио, а я в этот же период трудился в ГОСИНТИ – Государственном институте научно-технической информации, в фотокиноотделе (таких

липовых организаций, неизвестно чем занимавшихся, было тогда полно).

Надо сказать, что все мы – режиссеры и звукорежиссеры, операторы, осветители, фотографы, техники, дикторы – дружно и весело поддавали почти каждый день, так как отдел наш располагался вдали от глаз начальства, в подвале жилого дома на Патриарших прудах, в бывшей коммуналке, где сохранились газовая плита, ванна и даже кое-что из мебели, включая кожаный диван.

Утром мы посылали гонца на ближайший рынок, а спирт у нас был свой – выдавался «на промывку оптической оси». Приготовление обеда также начиналось с утра, а уж гудеть мы могли хоть всю ночь.

Я как-то рассказал о нашем веселом времяпровождении своей подружке, особенно живописуя подвиги, в том числе сексуальные, одного звукорежиссера. На следующий день Ася позвонила мне и дрожащим голосом попросила о встрече. Оказывается, она разнесла мой рассказ по всему радиокомитету и выяснилось, что распутный звукорежиссер не кто иной, как муж одной из ведущих программы «С добрым утром!» Эта бабенка, вместо того, чтобы взяться за своего мужа, вцепилась в волосы Асе...

А мрачный, неопохмелившийся виновник заварухи, добравшись в середине дня до работы, жаловался мне на жизнь и горестно вопрошал: ну какая же сволочь могла разболтать его жене о наших пьянках?!

Я согласно кивал.

ПРОИСШЕСТВИЕ В ТРАМБАЕ

С ранней юности, лет с восемнадцати, мне посчастливилось жить одному. Моя благоразумная мама, которой родственники помогли купить маленькую кооперативную квартиру, оставила мне комнату в коммуналке, где мы до этого жили вдвоем. Разумеется, в моей «хате» сразу же стали собираться друзья и приятели. Некоторые оставались ночевать или даже жили по нескольку дней. Сначала мне это нравилось, потом стало надоедать.

Однажды Валера Яковлев, мой приятель и коллега по работе в ГОСИНТИ (смотри выше), сильно надрался и пришел вечером ко мне. Не застав меня дома, он, недолго думая, сломал замок и улегся

на моем единственном диване, про который говорили, что девушкам не стоит садиться на него голым задом – можно забеременеть.

Я вернулся рано утром после ночных съемок, трезвый, не в самом лучшем настроении, разбудил Валеру и попросил его перелечь на матрас, расстеленный на полу. Он с трудом разлепил глаза и сказал:

– Лучше меня не трогай, встану – сблую.

Я настаивал. Валера встал и наблевал себе на брюки, так как спал одетый.

Короче говоря, Валера поехал на работу в моих брюках, доходивших ему до колен: он был очень длинный и худой. На работе он попался на глаза нашему начальнику по фамилии Полковников (кличка Полкаш), который таки был полковником в отставке. Руководил он фотокиноотделом по-военному и шуток не любил.

– Этто что такое?! – грозно спросил Полкаш, уставившись на Валеру, и прозорливо добавил: – Опять нажрался?

Мой приятель среагировал немедленно.

– Понимаете, Иван Николаевич, – проникновенно сказал Валера, подтягивая мои брючишки еще выше, – со мной в трамвае случилось ужасное происшествие: у меня украли брюки.

Полкаш открыл рот и не нашелся что ответить. Валера был спасен.

КОРВАЛОЛ

Вообще-то, в советском общественном транспорте сплошь и рядом случались забавные происшествия. Как-то вечером в переполненном как всегда московском автобусе один мужичок, стоя дремавший на плече брезгливо отворачивавшейся от него дамы, вдруг встрепенулся, рванул на себе ворот рубахи и завопил:

– Корвалол! Корвалол!

Пассажиры заволновались:

– Человеку плохо! Помогите! У кого есть корвалол?

Стоявший недалеко парень вытащил из сумки бутылку пива и протянул ее мужику:

– Это подойдет?

Мужик схватил бутылку, мгновенно откупорил ее зубами и за доли секунды вылил себе в глотку. Публика замерла. Рыгнув, мужик повлажневшими от блаженства глазами посмотрел на парня.

– Полегчало? – улыбнулся тот.

РАССЛАБИЛСЯ

Московское метро, как известно, транспорт строгий. Это вам не автобус, куда любой алкаш залезет. Билетеры в оба глаза следят, чтобы качающиеся граждане не проникли в подземный дворец, а по платформе частенько прохаживается мильтон. Поэтому перед турникетом подвыпившая публика собирает в кулак всю волю и, стараясь не дышать, смело и прямо глядя в глаза дежурной, ступает твердо и независимо.

Мой приятель и коллега журналист Оскар Важко, с которым мы вместе работали в одном московском издании, как-то здорово поддал, но, не имея денег на такси, вынужден был добираться домой на метро. Вид он имел крайне интеллигентный, одевался изысканно, бумаги (и бутылки) носил в шикарном кейсе. Оскар благополучно преодолел турникет, спустился на платформу, и тут с ним случилась неприятность: пытаясь сохранить равновесие, он взмахнул рукой с «дипломатом» – и чемоданчик раскрылся...

А в тот день мы получили на работе так называемый «заказ» (набор дефицитных продуктов, кто не помнит), и консервные банки из пайка Оскара раскатились по всей платформе. Чертыхаясь, он бросился их собирать. Ползая на карачках, бедный Оскар увидел, что какой-то человек ему помогает. Вернее, в поле его зрения попали только черные ботинки и темно-синие брюки с красным кантом! Тихо икая, Оскар обреченно поднялся. Лицо милиционера, по доброте душевной решившего помочь растяпе-интеллигентишке, моментально изменилось:

– Да ты же пьян, скотина! – прошипел оскорбленный в лучших чувствах блюститель порядка. – Документы!

РАБОТА НАША ТАКАЯ

Одно время наша семья жила рядом с женским общежитием шарикоподшипникового завода. Это малоприятное соседство причиняло много неудобств: из окон общаги неслись пьяные крики, визг, громко играла музыка. Случалось, что воздыхатели живших там работниц, сильно перебрав, падали с балконов и пожарных лестниц.

Однажды вечером моя теща, гуляя с внуком вокруг нашего дома, обратила внимание на то, что около общежития стоят несколько

милицейских машин. Она подошла к сидевшей у подъезда вахтерше и сказала:

— Как хорошо, что милиция будет тут дежурить, а то совсем житья не стало.

— И, милая! — с охотой вступила в разговор вахтерша. — Это они тут у девок ночуют...

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

В России интеллигентные еврейские мальчики рано приобретают здоровые мужские привычки. Когда нам исполнилось четырнадцать лет, мы с моим другом Борисом Камяновым решили выпить водки. До этого мы пили пиво, портвейн, сухое вино, но до водки пока дело не доходило. Конечно, мы пробовали этот напиток во время семейных торжеств. Обжигались, отплевывались, но на провокационный вопрос взрослых «вкусно ли?» неизменно отвечали, что да, вкусно мол.

Теперь мы собирались приобщиться к мужскому напитку серьезно. Боря приехал после школы ко мне, так как моя мама целый день была на работе. Мы пошли в магазин в Левшинском переулке и купили четвертинку «Московской», самой дешевой тогда водки. Поставив чекушку на стол, мы долго и внимательно ее рассматривали.

— Одоеем? — спросил я с сомнением.

— Упьемся, — сказал Боря.

— Давай позовем Сашку Чистякова, — предложил я (это был мой приятель, живший в другом подъезде).

Сказано — сделано. Хлопнув четвертинку на троих и отпустив Сашку, который не был нам интересен, мы долго беседовали, поедая приготовленный моей мамой обед. Я вызвался друга проводить и, изрядно покачиваясь, мы направились к троллейбусной остановке. Боря с трудом поднялся в подошедший троллейбус и, попытавшись махнуть мне рукой, свалился с подножки. Я бросился его поднимать и тоже упал.

— Такие молодые, а уже нажрались! — выступила вездесущая русская бабушка с кошелкой.

— Молчи, бабка! — сказал я заплетающимся языком. — Четвертинку на троих, и бутылкой по голове: и голова болит и водкой пахнет.

КТО НАПИСАЛ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»?

Когда мне было лет пятнадцать, мы с друзьями развлекались таким не самым лучшим образом. Заходили в аптеку, выбирали продащицу помоложе и спрашивали:

– Девушка, у вас клитор есть?

Аптекарьша не знала о существовании такого препарата, несколько раз, к нашему удовольствию, переспрашивала и в конце концов шла за информацией, как сейчас принято говорить, к старшему провизору. Пока она отсутствовала, мы смывались. Мне, с детства прихрамывающему, убежать было трудно, и я однажды попался. На грех, пожилой провизор был знаком с моей мамой, и вечером последовал звонок...

Мама задала мне хорошую трепку «за хулиганство», но, уже ложась спать, я услышал, как она звонила подруге:

– Марочка, что такое клитор?

О ПОЛЬЗЕ ЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Однажды мы с моей будущей женой Асей поехали в Питер. Были мы молоды, жадны до всего нового и получали огромное удовольствие от прогулок по Северной Пальмире. Огорчало только одно: огромные очереди в музеи и на осмотр любых исторических объектов. Очереди тянулись медленно, так как то и дело подъезжали автобусы и из них вываливали то иностранцы в мятых джинсах, то наши разряженные колхознички. Вся эта публика проходила, разумеется, без очереди.

Однако нам повезло. Мы случайно познакомились в Петергофе с перуанцем, который совершал кругосветное (!) путешествие. Это не укладывалось в голове, и сначала мы подумали, что не так его поняли. Но перуанец показал нам свои проездные документы – целую книжечку, сочащуюся золотом. Чтобы попасть, скажем, в Париж, нужно было просто вырвать из этой книжечки соответствующий билет – ну, как талончик из абонементной книжечки в московском троллейбусе. Оказывается, Самуил Яковлевич не врал: есть за границей контора Кука!

Общались мы с нашим новым знакомым в основном жестами, ибо наш английский, как и у большинства выпускников советских школ в то время, был почти на ноле. Зато мы гораздо лучше ориентировались в городе и избавили перуанца от многих забот.

Сначала мы, как и все, пристраивались в хвост очереди. Но, видя, как наглые иностранцы проскакивают в двери, я вытащил Асю и перуанца из очередной (простите за случайный каламбур) очереди и мы, прикрываясь нашим оливковым знакомцем, смело проследовали мимо вахтера, который, окинув нас острым взглядом, сделал приглашающий жест. С этих пор мы больше в очередях не стояли.

К сожалению, всему хорошему приходит конец, и вечером мы с перуанцем распрощались, одаренные множеством сувениров, пачкой «Мальборо» и особо ценной жвачкой.

На следующий день нам настолько не хотелось вновь превращаться в простых советских людей, что мы решили продолжить игру в иностранцев. Надо сказать, что одеты мы были неплохо, заметно выделяясь на фоне провинциальных ленинградцев. «Иностранности» добавляли темные очки и моя кубинская борода. Словом, непринужденно болтая на якобы английском языке, жуя жвачку и поминутно вынимая из карманов «Мальборо», мы вполне успешно преодолевали все барьеры.

В полдень нам захотелось пообедать, причем не в дешевой столовке, а в приличном ресторане. Но, конечно же, за стеклянными дверями всех заведений висели таблички «Мест нет» или «Ресторан закрыт на спецобслуживание». Это нас не обескуражило. Применив ту же тактику, мы без труда проникли в полупустой зал, сели за предложенный столик и приготовились к долгому ожиданию официанта. Однако тот появился неожиданно быстро и – о, ужас! – обратился к нам на чистом английском языке:

– Good day! What will you have?

Поскольку мы с Асей обалдело молчали, официант с улыбкой протянул нам переплетенное в кожу меню. Мы ухватились за него как утопающий за соломинку, но, раскрыв, убедились, что оно напечатано все на том же проклятом английском. Под пристальным взглядом нашего мучителя мы не могли даже посоветоваться по-русски. Ася ткнула меня в бок.

– Mineral water, please! – храбро сказал я.

– Two glasses?

Это я понял:

– Да, то есть yes!

– Is it all? – удивленно поднял брови официант.

Мы закивали головами:

– Thank you! Thank you!

Парень окинул нас внимательным взглядом, сложил меню и ушел. Больше мы его не видели.

Выбравшись из ресторана, мы решили больше в иностранцев не играть.

О ВРЕДЕ ЧИСТОТЫ

Как я уже рассказывал, я с восемнадцати лет жил самостоятельно и моя комната в коммунальной квартире на Арбате представляла немалую ценность для моих многочисленных друзей и приятелей. Один из них, Миша, парень старше нас всех лет на десять (как он попал в нашу компанию не место здесь рассказывать), успевший жениться и развестись, даже остался жить в этой квартире. Он приглянулся Тане, дочке моей соседки. Девушка она была некрасивая, глупая и хитрая, но Миша после развода потерял жилплощадь, а тут самый центр Москвы...

Словом, Миша трахнул Таню и остался в ее комнате вместе с «тещей» и двумя котами. Ольга Николаевна, Танина мать, говорила всем, что свадьба на мази.

Между тем, Миша продолжал приятельствовать со мной и часто заходил по вечерам, особенно, когда у меня собирались компании. Разумеется, и девчонки приходили. Все они были молоденькие, симпатичные, а некоторые просто красотки. Миша так и вился вокруг них.

Естественно, это не радовало Таню и Ольгу Николаевну. Они всячески старались не допустить Мишу на наши вечеринки, стали жаловаться на шум, якобы устраиваемый моими друзьями. Любопытно, что до вселения Миши в квартиру Ольга Николаевна всячески приветствовала шумные компании и, когда другие соседи пеняли на громкую музыку, говорила им:

— А вам, старые бляди, жалко, чтобы молодежь немного повеселилась?

Узнав про интриги «тещи», Миша пригрозил, что немедленно съедет, если нападки на меня не прекратятся. Ольга Николаевна заткнулась, но каждый раз придумывала повод, чтобы выманить Мишу из моей комнаты.

Однажды мы, как обычно, сидели и поддавали в компании девчонки. Миша не отходил от хорошенькой миниатюрной Людочки. Он разливался соловьем, когда в дверь постучали и Ольга Николаевна пробасила:

— Миша, иди Таню мыть!

Больше Миша у меня не появлялся.

КРИТЕРИЙ НАРАСТАЛ

Мой приятель Валера Яковлев, о котором я уже рассказывал, написал сценарий документального фильма «День города», посвященного бурной жизни центра Москвы (идея явно заимствована у Вальтера Рутмана). Он читал свой опус на одном из занятий кинокружка при Доме кино, где состояли почти все мои друзья.

Валера любил говорить красиво. Пытаясь выразить мысль, что к вечеру темп жизни города резко убыстряется, он употребил выражение «критерий нарастал».

– Ну да, – пробормотал кто-то из слушателей. – Маразм крепчал – критерий нарастал.

Сценарий Валеры быстро забыли, но это выражение прославило его на всю Москву.

ЧЛЕН ДОМА

В Московский Дом кино постороннему попасть не было никакой возможности. Строгие контролеры пропускали только тех, кто имел членские билеты. Особенно свирепствовал один администратор. Перед просмотрами дефицитных западных фильмов он вставал в дверях и сурово вопрошал каждого:

– Член Дома?

Люди покорно предъявляли свои книжечки. Только один актер громко ответил хорошо поставленным голосом:

– Почему же дома? С собой.

КАК ВСЕГДА – «ОТЛИЧНО»

Я учился в МГПИ имени Ленина (сейчас, если не ошибаюсь, Государственный педагогический университет). Парней на нашем отделении русского языка и литературы было мало, и выглядели они далеко не браво. Девчонки обращали внимание в основном на доцентов и ассистентов. В конце концов, и профессора можно было у жены увести.

Особенно выделялась в нашей группе некая Лена – статная синеглазая красавица. Мужиков она оценивала по особой шкале:

– Как тебе этот? – спрашивали подруги.

– Ничего, посидели в «Арагви».

– А тот?

– Угостил котлеткой в буфете, – выразительно пожимала плечами Лена.

На экзаменах Лена появлялась без учебников и конспектов и всегда шла последней.

– Ленка, ты рискуешь, – говорили подруги. – В конце все они усталые и злые.

– Ничего, девочки, не беспокойтесь, – отвечала Лена, расстегивая верхнюю пуговку блузки.

– Ну как? – бросались к Лене однокурсницы, когда она выходила от очередного доцента.

– Конечно, «отлично»! – презрительно бросала Лена, поправляя перекрученную юбку.

Между прочим, Лена, единственная из нашей группы, поступила в аспирантуру и впоследствии уехала преподавать русский язык то ли в ГДР, то ли на Кубу.

КУСОЧЕК КУРОЧКИ

В середине семидесятых годов в еврейских интеллигентных кругах появилось новое развлечение: чтение писем «из-за бугра», в основном из Израиля.

Помню, с каким упоением мы читали одно из первых писем поэта Бориса Камянова, который подробно описывал свой обычный день в Иерусалиме. На Юру Штерна, будущего депутата израильского парламента, особое впечатление произвел Борин рассказ о том, как, неспешно прогуливаясь по городу, он покупал себе на обед целую курицу, зажаренную на гриле, и запивал ее свежавыжатым апельсиновым соком.

В полуголодной Москве тех времен это воспринималось как ненаучная фантастика.

УРОК ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Собравшись последовать за Борей, я, как и многие другие «отъезжанты», стал изучать иврит. То, что происходило в московских «ульпанах» в те времена, не укладывается в рамки обычного учебного процесса и требует отдельного разговора. Достаточно сказать, что, едва освоив начала языка, я сам стал преподавать.

Работал я тогда лифтером в одном из высотных домов на Ленинском проспекте, где жили всякие важные шишки. Ко мне в каморку под лестницей приходила одна милая девушка, мы доставали фотокопии известного учебника «Элеф милим», затрепанные статьи из израильской газеты на легком иврите «Шаар ламатхиль», завезенной западными туристами, и неспешно занимались.

Лифт исправно работал, никто нам не мешал, но однажды, когда я давал очередной урок, в лифтерскую пожаловал сотрудник КГБ. Дело в том, что Ленинский проспект являлся так называемой правительственной трассой и во время визитов высоких гостей дома вдоль шоссе проверялись гэбэшниками. Предъявив свою книжечку, агент стал задавать обычные вопросы: давно ли я здесь работаю, знаю ли всех жильцов, не заходили ли в подъезд подозрительные люди и так далее.

Обратил он также внимание и на мою ученицу и на разложенные на столике учебные пособия.

— Это кто? — спросил агент, со знанием дела оглядывая мою молоденькую гостью.

— Знакомая моя. Комсомолка. Вот помогаю ей в учебе.

Испуганная девушка заискивающе кивнула.

— А по какому предмету натаскиваешь? — заинтересовался гэбист, взяв в руки листы с непонятными ему (я очень надеялся) знаками. — Математика что ли?

— Высшая математика, — выдохнул я с облегчением.

— А-а-а... — уважительно протянул агент и погладил мою ученицу по плечу.

ОЗАБОЧЕННЫЙ ФИМА

Моя кратковременная учеба в израильском ульпане оставила по себе приятную память. В нашей группе был один парень, назовем его Фима, который постоянно искал случая подзаработать. На занятия он приходил невыспавшийся, хмурый и озабоченный (на иврите — *мудаг*). Заметив это, наша учительница улучила момент, когда Фимы не было в классе, и спросила:

— Лама Фима тамид коль ках мудаг?*

* Почему Фима всегда так озабочен?

– Кен, бетах^{**}, – радостно заверещала группа, – ġu^{***} мудак, мудак, мудак!

Так и не окончив курсы иврита, Фима устроился на стройку. Однажды он стоял на лесах и должен был подавать вниз, другому рабочему, какой-то кабель. Фима разматывал и разматывал кабель, пока работяга внизу крикнул ему на иврите:

– Дай!^{****}

Фима дал.

– Дай, дай! – умоляюще закричал его напарник.

Фима дал еще...

– За что уволили? – возмущался потом Фима. – Просили дать – я и давал!

ДОКТОР ГРОБ

Моей маме должны были сделать в Израиле операцию. Я привез ее в больницу, и мы с волнением ждали встречи с врачом. Вскоре появился симпатичный молодой человек и представился на иврите с тяжелым американским акцентом:

– Шалом, я – доктор Гроб!

Увидев, как изменились наши лица, доктор улыбнулся:

– Нет, нет, моя фамилия Гропп, не Гроб, not a coffin, you see?

МА НИШТАНА?

В Израиле моя мама впервые участвовала в пасхальном седере. Услышав, как внучка произносит «Ма ништана...»^{*****}, она радостно закивала головой:

– А, мои штаны!

До войны, когда мама была маленькой и жила в небольшом украинском городке, в семье дедушки и бабушки устраивали седера.

^{**} Да, конечно.

^{***} Он.

^{****} Хватит, довольно.

^{*****} «Чем отличается [эта ночь от всех других ночей]?» – Слова из пасхальной агады. По традиции, этот отрывок читает самый маленький участник седера.

Взрослые делали то, что положено по еврейскому закону, а на детей никто внимания не обращал. Непонятные слова про чьи-то штаны смешили ребятишек. Так уходящее поколение русских евреев выполняло заповедь Торы: «И учите... детей своих...»

ТАЙНА ШКАТУЛКИ

В семье нашей издавна хранились несколько предметов старины, остатки, так сказать, прежней роскоши: несколько кузнецовских чашек, суповая миска, две-три серебряных ложки... В детстве меня особенно интриговали крошечная вилочка (мама объяснила, что она для лимона) и пузатая посеребренная шкатулка на четырех коротких выгнутых ножках – в нее мама складывала квитанции за электричество, рецепты и прочие бумажки.

Истинное назначение шкатулки оставалось для нас загадкой. Мама предполагала, что она служила для хранения драгоценностей.

Перед отъездом на историческую родину все старинные вещи, разумеется, пришлось продать, причем за бесценок.

Тайна шкатулки раскрылась в Израиле. В праздник Сукот я увидел евреев, спешащих в синагогу с точно такими коробочками. Они предназначены для хранения этрогов.

ЕЩЕ О ПОЛЬЗЕ ЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В Израиле я не служил в действующей армии, но ежегодно, как и почти все еврейские жители страны, призывался на сборы резервистов. Однажды мне с товарищем, художником Хаимом Капчицем, выпала судьба охранять некий военный объект в Иудейской пустыне.

В нашем отделении только мы с Хаимом говорили по-русски. Естественно, что друг к другу мы обращались на этом языке. Один из солдат, немолодой йеменит, послушав наши разговоры, уважительно спросил (на иврите, разумеется):

– Что это вы все время повторяете: «балад», «балад»? Вы так любите Эрец-Исраэль?

Мы с Хаимом только переглянулись. После осторожных распросов выяснилось, что «балад» по-арабски значит «страна», «родина».

Хаим тут же поведал мне, что дети на первом его уроке (он одно время преподавал в израильской школе рисование) попросили сказать, как будет по-русски слово «шенаим».

– Зубы, – доверчиво произнес ничего не подозревавший учитель.

Ученички попадали под парты.

– Еще скажи, еще! – снова и снова просили развеселившиеся детишки.

Оказывается, «зуби» по-арабски – «хуй», вернее, «мой хуй».

Переезд в другую страну, где говорят на ином языке, вообще таит множество неожиданностей. Представьте себе состояние приехавшего в Израиль человека по фамилии Кустов (*кус-тов*). И наоборот. Сына сотрудницы отделения Сохнута в одном российском городе звали Лишай (*ли-шай* – «мне подарок»), а дочку – Нога («сияние»).

ЗЕМЛЯКИ

В другой раз я отбывал милуим (так называется на иврите резервистская служба) в славном арабском городе Тулкарме. Как-то меня послали сторожить арабов, задержанных по подозрению в пособничестве террористам. Их таскали на следствие, а я охранял тех, кто ждал своей очереди на допрос. Офицер связал им руки пластиковыми наручниками, велел мне вставить в автомат магазин и ушел. Десять минут прошли в молчании.

– За что тебя задержали? – не выдержал я и спросил одного из арабов, человека лет тридцати пяти, довольно интеллигентного вида в тонких золотых очках.

– Ребенка вез в больницу, нарушил комендантский час.

Я усмехнулся стандартному ответу.

Тут вдруг араб говорит мне на хорошем русском языке:

– Ты где жил в России?

– В Москве.

– Красивый город. Я там учился. Вообще-то, я врач, но пока еще не открыл клинику. Денег нет, жду, когда родня поможет.

Выяснилось, что в Москве мы жили на одной улице. Я в своем кооперативе, а он в общежитии Университета имени Патриса Лумумбы. Наверное, по утрам в одном автобусе давились...

ВСЕ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО

Во многих семьях хранят и передают всякие забавные истории. Вот одна из них. Середина пятидесятих годов. Две сестры, две молоденькие девчонки живут в центре Москвы. Они домоседки, редко куда-нибудь выходят. Бабушка говорит им:

- Девочки, что же вы все взаперти сидите? Пошли бы погулять, хоть на Чистые пруды...
- Бабушка, да там к нам парни пристают.
- Странно. Я там целый день гуляю, и никто ко мне не пристаёт!

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Помните, у Булгакова, в «Белой гвардии»: киевский подрядчик Яков Фельдман нарвался на петлюровский патруль, с испугу предъявил сотнику не тот документ (свидетельствовавший о сотрудничестве с белыми) и поплатился за это жизнью.

Перед октябрьским переворотом мой дедушка поступил в Киев в политехнический институт, пережил в этом городе смену десятка властей и один раз чуть не погиб подобно булгаковскому герою. Деникинский патруль остановил его на улице и потребовал документы. Дедушка полез в карман за студенческим билетом. Как только уголок документа показался на свет, офицер схватился за револьвер:

- Большевик?! Убью, жидовская морда!

Дело в том, что студенческие билеты того времени были красного цвета, как и партийные книжки коммунистов. Дедушка закричал не своим голосом, что он студент и умолил деникинца раскрыть билет.

ЧУДО В УМАНИ

Моя жена рассказала историю о чудесном спасении ее дедушки от рук чекистов. Семья жила в Умани и была довольно состоятельной. Естественно, большевики экспроприировали их имущество, но на этом не успокоились и потребовали, как водилось в те времена, «предъявить спрятанное золото». Так как предъявлять нечего было, дедушку вызвали в чека. Он очень испугался и решил для храбро-

сти выпить перед этим визитом стаканчик водки. От страха он плохо соображал и хватил вместо водки стаканчик... керосина. Естественно, в битком набитой тюрьме ему стало плохо. Охрана подумала, что он болен тифом и вышвырнула еврея на улицу. А его компаньоны по мануфактурному делу, арестованные вместе с ним, были расстреляны.

О ПОЛЬЗЕ УМЕЛЫХ РУК

Еще два примера «литературщины» в жизни. Главный герой «Доктора Живаго» и его подруга Марина пилят дрова для какого-то большевистского бонзы. Тот не обращает на них ни малейшего внимания.

«— К чему эта свинья так прикована? — полюбопытствовал доктор. — Что размечает так яростно?

Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича...»

Одно время я подхалтуривал редактурой в самой крупной израильской русскоязычной газете. Денег не хватало, и я, подобно Юрию Живаго, исполнял по домам всякую мелкую работу. Однажды меня позвали в квартиру, где нужно было сменить дверной замок. Я занялся своим делом, а в глубине комнаты кто-то сосредоточенно печатал на компьютере. В какой-то момент мы взглянули друг на друга, и я узнал в своем заказчике известного критика, сотрудничавшего в той же газете (я редактировал и его статьи). Критик вроде бы тоже признал меня и засыпал вопросами о том, как перевести то или иное ивритское выражение. Отвечая, я не забывал орудовать стамеской и молотком...

В другой раз мне пришлось редактировать русский перевод книги Идо Нетаниягу, брата Биби Нетаниягу. Мы познакомились с Идо, я бывал у него дома. А через некоторое время я устроился в фирму, которая предоставляла услуги по охране и уборке помещений. Наверное, я себя хорошо проявил, так как мне предложили наводить чистоту в доме у Биби.

Зная, что у супруги Биби склочный характер, я отказался, а жаль. Представляете, Идо приходит в гости к брату и видит меня со шваброй...

ТУТ ВАМ НЕ ПИЗА

Существует серия так называемых «театральных анекдотов». В одном из них, достаточно бородатом, рассказывается о молодом провинциальном актере, у которого в спектакле была всего одна реплика: «К вам гонец из Пизы!» Он старательно учил и учил эту роль. И вот – премьера. Актер выходит на сцену и торжественно произносит: «К вам пиздец из Газы!»

Кто бы мог подумать, что этот анекдот приобретет в Израиле такую необыкновенную актуальность!

КОГДА РУКА УСТАЛА...

У циркачей, как и у людей театра, есть свои легенды, поверья, свято соблюдаемые обычаи. Например, ни в коем случае нельзя сидеть на барьере арены, свесив ноги наружу. За такое можно получить хорошую плюху.

А вот как пьют... на лонже (это предохранительный пояс, застегиваемый вокруг талии). Когда рука уже ни в силах поднести к губам стакан, то лонжу перекидывают через шею, как шарфик, одной рукой берут стакан и одновременно конец пояса, а другой рукой тянут за противоположный конец. Таким образом стакан подплывает ко рту в принудительном порядке.

НЕ ТРАВМИРУЙТЕ РЕБЕНКА

Моя жена Ася в школе училась хорошо. Лишь математика ей не давалась. В конце года сильно взволнованная учительница математики Суламифь Лазаревна позвонила Асиной маме:

– У вашей дочки семь двоек подряд по моему предмету, я вынуждена поставить ей «два» в полугодии. Когда я ей об этом сказала, вы знаете, что она мне ответила?.. Что она повесится!

– А вы не ставьте ей двойку в полугодии, – сказала Асина мама, – и она не повесится.

ГОЛДОЧКА

Когда мы с Борей Камяновым учились в пединституте, то сильно запустили английский. Настолько, что никакой надежды на зачет не оставалось. В нашей группе иняз преподавала симпатичная молодая женщина по имени Оля (конечно, мы звали ее полным именем, но ее отчества я не помню). Тогда обнаглевший Боря предложил пригласить Олю ко мне домой – у меня была комната в коммуналке – и устроить вечеринку.

Я был уверен, что Оля гневно откажется, – и ошибся. Немного пожеманившись, она согласилась. Вечеринка, на которую мы позвали еще нескольких ребят из нашей группы, удалась на славу! Боря был в ударе и сыпал остротами. Наша училка оказалась замечательной, компанейской девкой. После третьей или четвертой бутылки Боря задушевно сказал:

– Знаете, Оленька, мою маму зовут Голда. Можно я буду называть вас Голдочка?

Надо ли говорить, что все мы получили зачет по-английскому. Теперь, покупая израильскую «голдоčku», я всегда вспоминаю Олю.

ИСКУССТВОВЕД В ШТАТСКОМ

В начале семидесятых Фурцева выперла на пенсию основателя и бессменного директора Государственной библиотеки иностранной литературы интеллигентнейшую Маргариту Ивановну Рудомино и назначила на ее место дочку Косыгина. Один раз к новому директору привели на интервью, как сейчас принято говорить, претендентку на какую-то должность.

– Это такая-то, известная медиевистка, – представила женщину заведующая отделом.

– Позвольте, – процедила сановная дама, – мы ведь, кажется, медицинскую литературу не комплектуем?

ГОСТИ ДОРОГИЕ

Хабадники построили в Москве, в Марьиной роще громадный комплекс, включающий синагогу, йешиву, библиотеку и даже кашерный ресторан. Все это великолепие охраняется дюжими «секьюрити».

Однажды сюда прибыла группа израильтян, среди которых был и я. Выйдя из автобуса, я услышал разговор двух охранников. Они не знали, что русский – мой родной язык. Один бугай сказал другому:

– Коля, там ребята ждут, уже нóлито.

Тот ответил:

– Ты чо, не видишь, полный автобус жидов привезли. Сейчас оформим, и приду...

ОТКУДА НОГТИ РАСТУТ

Этот случай напомнил мне историю, произошедшую почти сразу же после нашего приезда в Израиль – лет эдак двадцать пять назад. Я и многие другие обитатели нашего центра абсорбции в пригороде Иерусалима стали ходить на «курсы иудаизма», организованные вездесущим Хабадом. В нашей группе выделялся очень интеллигентный немолодой уже человек, бывший журналист-международник. Надо сказать, что преподаватели у нас были разные – некоторых я и сейчас бы с удовольствием послушал, но на лекциях других я предпочитал мирно дремать. На одной из подобных лекций меня вдруг разбудил страшный крик этого самого журналиста: «Что?! Что вы сказали?! Ногти растут из мозгов?! Ноги моей здесь больше не будет!!!» И он пулей вылетел из комнаты и никогда больше у хабадников не появлялся.

Я пытался объяснить этому милому человеку, что имел в виду невежественный «учитель». Действительно, такой пример с ногтями имеется в кабале. Ведь, что ни говори, ногти – загадочная субстанция: одновременно и живая, и мертвая... Но травмированный Хабадом еврейский интеллигент ничего не хотел слушать. Очень уж его поразили эти ногти, растущие из мозгов...

ТВОЯ СОБАКА – ГОЙ

Другой мой знакомый покинул хабадский колель (вечернее учебное заведение для взрослых) из-за... любви к животным. Однажды он пришел на занятия в подавленном настроении.

– Что случилось? – спросил один из молодых преподавателей.

– У меня собака погибла.

– Ну и хрен с ней!

Возмущенный такой черствостью, мой знакомый перестал ходить в колель.

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА

Еще один мой приятель, художник, был изгнан из того же колеля. И вот за что. Ему сделали обрезание, и он в этот день не явился на занятия. Слушатели получали небольшую стипендию, и поэтому администрация колеля строго следила за посещаемостью.

Назавтра «обрезанный» появился в колеле и спросил у ребят, что ему записать в журнал, как объяснить причину пропуска лекций.

– А ты почему не пришел?

– Да ведь хер болел после операции.

– Вот так и напиши...

ЕГО ГЛАЗА

У хабадников есть обычай совершать паломничество к своему ребе, в Америку. Некоторые ученики колеля тоже удостоились такой чести. Среди них был один украинец, принявший иудаизм, бывалый парень, много повидавший в жизни. Между прочим, жена у него была еврейка, и когда он прошел гиюр, то с ней развелся.

– Как ты, еврейка, могла жить с гоем? – возмущался он.

Так вот, этот прозелит вернулся из США полный восторга.

– Какие у него глаза! – рассказывал он о встрече с ребе. – Так и сверлят! Я видел глаза воров, убийц, насильников, но таких глаз ни у кого нет!

МОЙ ПЕРВЫЙ ПУРИМ

Когда в девяностых годах прошлого века число репатриантов из России достигло миллиона, израильские аборигены перестали удивляться пьяным. А в патриархальных семидесятых и восьмидесятых увидеть на улице израильского города подвыпившего прохожего не представлялось возможным.

Наша семья прибыла в страну в конце семьдесят девятого. Через три месяца наступил веселый праздник Пурим. Хабадники, которые, как известно, не дураки выпить, пригласили меня в одну компанию, где я, перепробовав разных экзотических напитков, бы-

стро перестал «отличать Амана от Мордехая». Тепленького меня погрузили в автобус и повезли ночевать к друзьям.

Как мне рассказывали потом, в дороге я вел себя неадекватно и сердобольные попутчики-израильтяне потребовали у водителя немедленно доставить меня в больницу: «Разве вы не видите, что человеку плохо?!»

ФИЛОСЕМИТ

В конце восьмидесятых годов в Израиль приехал один известный русский диссидент, в свое время посаженный коммунистами за письма протеста против проявлений государственного антисемитизма в СССР. Его поселили в одном из лучших центров абсорбции для репатриантов, расположенном в Иерусалиме.

По соседству с этим центром жила наша семья. Однажды ночью я проснулся от диких криков, доносившихся со стороны центра:

– Евреи проклятые! Заманили, сволочи! Морды жидовские! Ненавижу!

Наутро я поинтересовался, что же произошло.

– Да это защитник евреев напился, – объяснили мне обитатели центра.

АБРАМ И САРА

Вообще, в этом иерусалимском центре абсорбции попадались иногда интереснейшие типы. Одно время здесь жили репатрианты из Ильинки, деревни в Воронежской области, русские жители которой еще в девятнадцатом веке приняли иудаизм. Я с удовольствием прислушивался к их разговорам.

– Хаим, ты Исаака видел?

– Видел.

– Пьяный?

– Да не, нормальный пока.

– А Абрам? Готов уже?

– Да что ты, вон его Сара стоит у синагоги, она ему покажет, как водку жрать!

ГРУЗИЯ, ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК

Как посланец израильского минпроса я несколько лет проработал в Тбилиси. Шофером у меня – по должности мне полагалась машина – служил молодой грузинский еврей Шота. Частных автомобилей на улицах города очень много, но милиционеров, кажется, еще больше. Нашу машину останавливали почти каждый день, иногда по несколько раз.

Вот едем мы как-то в посольство. Мильтон приказывает остановиться. Шота, не снижая скорости, на секунду прикладывает два пальца правой руки к своему левому плечу. Мусор отступает.

– Что ты ему показал? – спрашиваю.

– Дал ему знать, что я не простой гражданин, а сотрудник органов, только в штатском.

Едем дальше. Опять мильтон. Шота повторяет свой жест, но блюститель порядка сердито машет жезлом. Мой водила подруливает к бровке и после недолгого разговора, сопровождаемого грузинской жестикуляцией, садится в машину.

– Заплатил? – беспокоюсь я.

– Нэт, – смеется Шота.

– Что ты придумал на этот раз?

– Сказал, что мой брат работает в МВД.

– Он действительно там работает?

– Вовсе нет. Но проверять постовому лень. Не стал связываться, а вдруг будут неприятности.

Поехали. Почти у самой цели видим очередного милиционера. Шота применяет все испытанные трюки, но я вижу, что он достает кошелек...

– Все-таки оштрафовал?

– Да. Туфта про брата не помогла.

– Сколько взял?

– Ларик.

(То есть один лари, полдоллара.)

– ???

– Я в бумажник специально больше не кладу и показываю: это все, что у меня есть, друг.

– И он все же взял?

– А что ему – рапорт писать? Что он с этого будет иметь? Пойми, они зарплату практически не получают и должны еще каждый день начальству отстегивать. А тут хоть ларик...

ИНКОГНИТО ИЗ «МОСАДА»

Грузинские таможенники непревзойденные джигиты своего дела. Широкими улыбками встречают и провожают они пассажиров и опытными взорами окидывают их багаж. Неспешно тянется очередь, и вот я, покидающий Грузию после истечения срока контракта, предстаю перед симпатичным молодым человеком в форменном кителе.

- В Израиль на постоянное?
- Собственно...
- Где ваша виза?
- Вот мой израильский паспорт.
- Так бы сразу и сказали (поскучнев).

В это время мой чемодан выплывает из просвечивающего устройства.

- Икры сколько везете?
- Кажется, три баночки.
- Платите десять долларов.
- Почему? В таможенных правилах, которые висят над вашей головой, слова нет о налоге на икру.
- Плати, дарагой, не задерживай занятых людей.
- Послушайте, родной, вы как патриот Грузии должны радоваться, что гость вашей страны что-то купил в ваших магазинах.
- Давайте пять долларов.
- Не дам.

Пауза.

- Грузинская валюта есть?
- Пятнадцать лари (около восьми долларов).
- А на какие деньги билет приобрели?
- Израильское посольство купило.
- Да? Что же вы сразу не сказали?
- Я...
- Проходите, проходите!

Подхватываю чемодан и радостно устремляюсь вперед, но через три метра мой путь преграждает еще один симпатяга в форме.

- Паспорт и визу.
- Уже проверяли.
- Давайте документы, вам говорят.
- Извольте.
- Паспорт у вас просрочен.

– Во-первых, срок действия моего паспорта продлен, а во-вторых, вы не пограничник, а таможенник и поэтому...

– Это дипломатический паспорт?

– Дипломатический, еще какой дипломатический!

– Так что же вы сразу не сказали?..

Сдаю чемоданы в багаж. Перевес. Вместо положенных двадцати килограмм – тридцать.

– Я заплачу.

– Семь лари тридцать тетри за килограмм.

Пауза. Я молчу.

– Можно и шесть.

– К сожалению, мне нужна квитанция.

Улыбка сходит с лица милой дамы:

– Платите в кассу.

С легкой душой и с легкой сумкой через плечо я иду по коридору. Прямо по курсу вырисовывается барьер, за ним новое просвечивающее устройство и двое приятных, средних лет, один – с усами. Он ласково обращается ко мне:

– Десять долларов.

– ???

– За сумку.

– Но почему?!

– Десять долларов или сдавайте в багаж.

– Там хрупкие вещи.

– Десять долларов.

– В любом аэропорту мира ручную кладь позволено проносить с собой в самолет бесплатно.

– В любом можно. В Грузии нэлзя.

– Я сейчас вызову сюда израильского консула!

– А вы где работаете?

– В «Мосаде».

– Что же вы сразу не сказали?

Тем временем моя сумка подвергается очередному просвечиванию. На выходе из жерла аппарата ее подхватывает коллега усатенького таможенника.

– Бутылки, – произносит он задумчиво. – Алкоголь.

– По норме! И это не ваше дело, а дело израильской таможни!

– Десять долла...

– Слушай, мужик, я начальник израильского генштаба. Здесь – инкогнито. Я сейчас сюда танки вызову.

Таможенник встает и вытягивается во фрунт:
– Так что же вы, дарагой, сразу не сказали? Бегите скорей на поле, посадка заканчивается.

ЭПИТАФИЯ

В девяностых годах на израильских кладбищах стали появляться эпитафии на русском языке. Вот одна из них: «Дорогая мамочка, ты ушла от нас так рано. Спасибо тебе».

ПО ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ

Реклама в русскоязычной газете: «Мраморные плиты, надгробия. Быстрое исполнение. Ждем вас на перекрестке Рамалла – Каландия. Усама, Халед».

ОТ БУТЫЛКИ ВСЕ ВОКРУГ СВЕТЛЕЙ...

Если в популярной, но не достигшей поэтических высот, советской песне «Улыбка» (слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского) заменить ключевое слово «улыбка» на «бутылка», она превращается в гениальную. Не верите – проверьте сами.

ВЕРНИТЕ ЦЕНЗУРУ!

Современная русская эстрадная песня поразительна. Недавно слышал такое: «Ночь была лунная, дождь лил как из ведра».

НАСРАЛЛА

У нас живет замечательный кот по имени Насралла (в юные годы он вполне оправдывал свою кличку). К тому же, как и его тезка, он умен и хитер.

...Раннее утро. Услышав мои шаги, котище не спеша выходит из комнаты младшего сына, где почивал вместе с ним на кровати, за-

бравшись под одеяло. Потянувшись, Насралла направляется к своей миске и с отвращением ее оглядывает. В миске остался вчерашний корм, между прочим, самый дорогой из кошачьего питания. Затем кот выразительно смотрит на меня своими огромными зелеными глазищами. Я говорю ему:

– Давай-ка ешь, корм еще совсем свежий.

Насралла мотает головой и с раздражением резко машет хвостом:

– Сам ешь эту гадость!

– Жри по-хорошему, другого не дам.

Кот укоризненно смотрит на меня и отходит в сторону. Я перестаю обращать на него внимание и занимаюсь своими делами.

Через некоторое время я слышу противный мяв. Насралла прыгает на кухонный стол, на котором стоит банка со свежим кормом, и требовательно орет. Я показываю ему рукой на миску и повторяю:

– Другого не получишь!

Через несколько минут кот, оглянувшись на меня и удостоверившись, что я наблюдаю за ним, подходит к миске и с презрением ее обнюхивает. При этом он отряхивает передние лапы, как будто вступил в лужу. Съев половину, Насралла отходит, брезгливо держа спиной. Глаза его выражают отчетливую мысль: какой же ты жадный!

ХОЗЯИН

Между прочим, наш котофей происхождения самого аристократического. Из профессорской семьи. Оно и чувствуется. Хозяин в доме он. Ходит, как известно, сам по себе.

Закрытых дверей для него не существует. Открывать внутренние двери он научился моментально. Насралла подходит к двери, подпрыгивает, хватается передними лапами ручку и повисает на ней всем своим тяжелым телом. Одновременно он отталкивается от косяка задними ногами. Дело сделано.

Недавно мы пристроили балкон. Дверь, ведущая на него, – раздвижная. Кот некоторое время наблюдал за тем, как мы ее открываем. И сделал выводы. В данном случае он использует свои стальные когти: подцепляет дверную створку внизу у косяка и немного сдвигает ее. Затем головой расширяет образовавшуюся щель и протискивается сам.

Более сложной оказалось задача открывания входной двери. Ведь там замок, открывающийся поворотом ключа! Мало нажать на ручку, нужно еще и ключ повернуть. Как обычно, Насралла внимательно следил за нашими манипуляциями с дверью. И в один прекрасный день я застал такую картину: кот висит на ручке, одновременно пытаясь повернуть зубами ключ! А еще утверждают, что животные мышлением не обладают...

Алиса Гринько

НА МОСТИКЕ-РАДУГЕ

1

А мы их всех по морде чайником...

Словно в ночной непроглядной мгле, когда черное небо сливается с бездной моря, огромный корабль, у которого некто невидимый и могучий обрубил якорную цепь, продрейфовал бесшумно с потушенными огнями и спящей командой в открытый океан, без руля и без ветрил, — огромная страна, покинув тихую гавань, устремилаcь в неразгаданную даль.

Странные времена, веселые, иногда страшноватые, на грани абсурда, настигали и отбегали, как волны; в том, что происходило в стране, проступало нечто иррациональное, но оно не сейчас родилось, а раньше скрыто было от взглядов не причастных, как будто бы существовали до этого две не соприкасающиеся одна с другой стороны жизни, как две половинки луны, одна из которых всегда освещена солнцем, а другая — в тени и холодна.

Погубленная семь десятилетий назад страна словно задержалась в конвульсиях; все, что происходило, напоминало или позволяло предположить аналогию с прокручиваемой в обратном направлении магнитофонной лентой: зима; голод; разруха; НЭП... Но все было, все события, как бы в уменьшенном масштабе, не столь трагично, слегка размыто и даже не очень серьезно; временами смешно...

Зима пришла, одна из первых зим перестройки, ранняя, снежная, морозная, очень красивая; в черном вечернем небе грозно сияла, переливаясь красным и голубым, большая звезда. Люди с пустыми сумками брели по улицам. Магазины плотно забиты были зигзагами очередей, и стоявшие близко напротив друг друга в надежде дожидаться куска масла в четыреста граммов — столько отпускалось строго в одни руки — или пакета с мороженой рыбой, — поскольку стояние было долгим, знакомились и, быстро обретя общие темы, делились проблемами и соображениями.

Розочка вышла из гастронома на Большой Бронной, где она простояла в очереди за вермишелью. Из винной очереди перейдя, за ней встал невзрачный мужичок, поинтересовавшийся:

– Майонез есть?

– Не знаю, – вежливо ответила Розочка, – я стою за вермишелью.

– Извините, – сказал мужичок, – я не хотел вас обидеть.

Она вышла из магазина, все еще улыбаясь. У входа розовощекий плотный инвалид без одной ноги радостно повторял:

– Бутылки сейчас на восемьдесят рублей у меня купили!

На плохо освещенной пустынной улице навстречу Розочке бежала молодая женщина в каракулевой шапочке и, поравнявшись с ней, доверительно спросила, кивнув на гастроном:

– Что дают?

– Вермишель, – ответила Розочка.

Женщина тихонько хмыкнула и, заглядывая в темноте в Розочкино лицо, понизив голос, спросила еще:

– Говорят, голод будет?

– Не будет, – кратко сообщила Розочка. Она бы, конечно, не удержалась от комментариев, но ей трудно было говорить: она вставляла зубы.

– Чего? – переспросила женщина.

– Не будет, – повторила и пояснила туманно. – Голод трудно организовать технически.

Женщина снова хмыкнула и побежала дальше.

А когда сахарный песок, водку и папиросы «Беломор» стали выдавать только по талонам и сразу же появился анекдот про песок в пустыне Сахара, то Розочка, выходя из дому в поисках еды и увидав во дворе вечно там болтающегося пенсионера Иван Семеныча, отставного гэбэшника, а сейчас бессменного председателя правления кооператива, который эти самые талоны раз в месяц жильцам по списку выдавал, – возвращалась домой именно за ними, за талонами, которые вечно забывала. Водкой и папиросами «Беломор» тоже не пренебрегала, расплачиваясь (валюта!) по летнему времени за ремонт ветхого недавно ею приобретенного по перестроечной свободе купли-продажи в Тверской области домишки. Однажды набила полную сумку «Беломором» – на себя и на сына – по тринадцати копеек за пачку, и едва от киоска отошла, к ней сбоку подвалил мужик и попросил хрипло:

– Вы не выручите меня?

Покосившись, увидела сперва зажатый в заскорузлых пальцах мятый рубль, такса за пачку, а после лицо просившего, бледное, какое-то замученное, не старое, умоляющие голубые глаза, взъерошенные волосы. Поколебавшись секунду, вынула из сумки и дала ему пачку. Он протягивал рубль.

– Да ладно, – отмахнулась. Деньги как бы и ни к чему тогда были. Все было дешево, и нигде не было ничего.

Шли вечером после работы с Катюшей по Пятницкой к метро. Розочка замедлила шаги перед знаменитой кондитерской, заглядывая в окна.

– Там только вафли, – махнула рукой Катюша.

– Катерина! – строго сказала. – Вафли тоже еда!

НЭП начался с появления в продаже предметов изыска, и дамочки из института, где работала Розочка, бегали в ГУМ через Москворецкий мост за корейскими вазами. Вазы в самом деле были красивые. Розочка не устояла и тоже купила две: себе и сестре.

НЭП начался и продолжался, но магнитофонная лента дала сбой: она не вернула огромную, заблудившуюся страну, – как думали и ожидали некоторые, потому что тогда и думали и кричали, собираясь кучками в подземных переходах и на площадях, и читали запоем прессу огромные массы людей, – ни к разогнанному большевиками Учредительному собранию, ни тем более к блестящему российскому «серебряному веку», как надеялись грезившие о возврате прежней России, «которую мы потеряли»... Огромный корабль с потушенными огнями медленно дрейфовал к вовсе неизвестным берегам; взбесившийся компас показывал направление куда-то в сторону Новой Зеландии.

Потихоньку один за другим знакомые нам уже сидельцы комнаты окнами на Кремль, где внизу под окном на фонарном столбе, находясь, вертела кривым клювом ворона, видевшая с этого самого привычного места, только с другого фонаря, зарево горевшей Москвы во времена нашествия Наполеона, тоже дрейфовали каждый к своему берегу, подчиняясь, как говорится, велениям времени.

Первой уволилась слабонервная Розочка, не выдержав перестроечные намеки на повальное сокращение пенсионеров. Увы. Они пришли в эту комнату, когда им было по тридцать два; только Пал Палыч пришел позже. Состав маленькой редакции почти не менялся.

Следом за Розочкой тихо слиняла Таня. Но если Розочкино будущее полно было неопределенности, то Татьяна Александровна именно уходила на заслуженный отдых, имея на руках удостоверение ветерана труда, дававшее некоторые преимущества (Розочка в свое время справиться такое не удосужилась), а также имея мужа-профессора, перспективного зятя, квартиру в элитном районе, машину, дачу по Савеловской ветке; также и дочь ее имела машину и квартиру отдельно от родителей и маленькую Софочку, и все были благополучны, устроены, веселы, белокуры и застрахованы практически от любых политических или иных перемен.

Пал Палычу же, который вовсе не собирался увольняться, – ему и возраст его мужской не вышел до пенсии, не считая военной, – таки тоже пришлось уйти после довольно пасквильной историйки, о которой и рассказывать неохота, но уж раз начала... После шушукались по редакциям, что на него и раньше были сигналы из официальных учреждений, я имею ввиду вытрезвитель, но покрывало начальство, отделом тогда руководил полковник-отставник, приятель Пал Палыча, и шума не делали. Даже мы не знали о тех сигналах, хотя смутно догадывались, а проницательная Катюша с ее народной, то бишь гэбэшной мудростью и привычкой смотреть в корень, высказала как-то вслух предположение, что в большом термосе, который Пал Палыч носит на работу, вместо чая с травами, завариваемого Светланой Николавной, налит коньяк. Но мы тогда сочли это высказывание за невыдержанную Катюшину шуточку и похихикали.

Короче, пришла днем внештатница, переводчица-химик Галя Черкасова, принесла срочные работы и нашла дверь редакции запертой. Галя Черкасова спустилась вниз, в компьютерную, взяла висевший на вешалке запасной ключ и попыталась открыть, но дверь не отпиралась. Она попросила кого-то помочь; повертели ключом туда-сюда, подергали, после чего со всей очевидностью стало ясно, что дверь приперта изнутри. Дело было к вечеру. Немногие присутствовавшие как-то стушевались и рассосались. Галя Черкасова оставила срочные работы в компьютерной, и инцидент был бы исчерпан, если б ей не пришла в голову ужасная мысль. Дело в том, что замок был хитрый; и сейчас уже никак нельзя было понять вследствие всех манипуляций с ключом, была ли дверь отперта или заперта, надо было отодвинуть то, что изнутри ее держало. Случившаяся при этом Розочка – она теперь в новом качестве, стала такой же внештатницей в своей бывшей редакции – звонила

по внутреннему телефону, но когда взял Пал Палыч трубочку (он был-таки там!), то нес заплетающимся языком совершенную околесицу, не врубался в ситуацию и не слушал уговоры Розочки, описывал интим и достоинства бывшей с ним, по-видимому, дамы, словом, в конце концов Розочка положила трубку, при этом глаза у нее стали круглыми. Молча, без комментариев, разошлись, положившись «на авось». Ну и, по закону сволочности, Пал Палыч оказался-таки запертым, и к полуночи протрезвев, но не до конца, не нашел ничего лучшего, как позвонить домой теперешней заведующей отделом после полковника-отставника очаровательной Наташе К., и, по позднему времени нарвавшись на ее мужа, сообщил, что его заперли. Конец истории покрыт туманом; известно только, что утром его отперла пришедшая с ключами уборщица, единственное лицо, узнавшее секрет, которым долго еще мучился весь этаж, – с кем из наших дам был заперт в комнате Пал Палыч, – и встретила идущим домой в неурочный час редакторша Вера Евсеева. Непонятно также, где в то роковое утро находилась сама Светлана Николавна, скорее всего, где-нибудь отдыхала на курорте.

На последовавшее любезное предложение очаровательной Наташи К. Пал Палыч отреагировал как мужчина, и остались от всей нашей редакции только двое: Вера Евсеева, которую вскорости «слили» с кем-то, и Катюша, ее вовсе перевели в другой отдел.

Помыкавшись с полгода на пенсии и нерегулярно выплачиваемом гонораре за переводы, устроилась по знакомству Розочка в роскошный супермаркет на Садовом кольце, принадлежавший, по новой перестроенной демократии, богатым арабам, стеклопротирщицей – так официально именовалась теперешняя ее должность, на какую ее рекомендовала та самая Галя Черкасова, переводчица-химик, уже полтора года вкалывавшая там уборщицей в книжном отделе, то есть все-таки поближе к культуре.

А знаете, не самое плохое было время! Розочке приятно было утром выходить из метро в центре старой Москвы, это было недалеко от уже исчезнувшего переулочка, в котором стоял дом, где она родилась, – проходить мимо ряда мелких лоточников, торговавших по нэповским временам всякой заманчивой всячиной; там стоял даже один всамделишный индус в чалме и с огненными глазами, в паре с белокурой девушкой, мимо них трудно было пройти, на лотке россыпью пестрели самоцветы, груды перстеньков, крестиков, кулонов.

Закончив утреннюю работу, еще до открытия магазина, собирались труженицы метлы и швабры в закутке за раздевалкой для продавщиц, хвалились мелкими покупочками, сделанными только что по пути сюда от метро, обсуждали разные разности. Платили в суперере хорошо, но и работы было много; уборщицы были приезжие, в основном, из Подмоскoвья. Интеллигентки Галя и Розочка обзавелись приятельницами из Павлово-Посада.

Надраив до блеска стекла автоматических дверей, к Розочке неспешно подходил, тоже закончив утренние хлопоты во дворе и на ближнем к суперу участке улицы, дворник-интеллектуал. Маленький, широкий, с небольшим горбом, скрываемым одеждой, с крупными, грубыми чертами некрасивого лица и с некоторым дефектом речи, позволяющим поначалу заподозрить в нем чуть ли не маргинала, — был, однако, начитанный мужчина, хорошо знал историю; зарабатывал полторы ставки и вдобавок раз в неделю, по средам, подменял приятеля, рвал в подвале у лифта использованные упаковочные коробки. В день зарплаты так же неспешно шел в соседний книжный и покупал новинки по истории, показывал Розочке и уговаривал тоже купить. Говорили и о политике, довольно даже бурные между ними случались споры во дворе за магазином, на солнышке у крохотного садика, или перед этими самыми дверьми, если Розочка еще не успевала их надраить.

— Умом Россию не понять! — кричал дворник, слегка даже подпрыгивая и наскakивая на Розочку под изумленными взглядами прохожих, на что Розочка иногда сдержанно возражала:

— Понять ее можно только жопой.

В учетной карточке ОВИРа при оформлении документов для выезда на постоянное место жительства за пределы России так и было записано у Розочки в графе «специальность» — по последней записи в трудовой книжке: «стеклопротирщик», — чему она немало радовалась и, наверное, хихикает до сих пор.

Дамы из администрации магазина ласковы были с Розочкой, отмывавшей жалюзи в кабинетах и балкон в бухгалтерии от птичьих какашек. А милая светленькая продавщица Надя из отдела сопутствующих товаров на втором этаже, попросившая Розочку протереть стекло витрины, сказала неожиданно, наблюдая за ее работой:

— А я смотрю: отчего это стекла стали живыми?

А ведь какая точная фраза! На уровне мастера пера.

Перед новогодними праздниками в особенности бывало в роскошном, огромном магазине тепло, уютно и сказочно красиво, несмотря даже на валивший за автоматически открывающимися дверьми из серых туч крупными хлопьями снег и ломившийся в супер народ, несший нескончаемую грязь и талый снег на подошвах; в такие дни уборщицы не выпускали швабру из рук и Розочка, у которой был укороченный рабочий день, только до обеда, проходя мимо Гали Черкасовой, замечала поощрительно:

– Трите, женщина, трите!

Незадолго до праздника, утром, до открытия магазина, залезала с лестницы, ведущей на второй этаж, на крышу внутреннего киоска, мыла ее, после чего посредине крыши устанавливали нарядно убранную елку, вешали разноцветные флажки, мишуру, раскладывали плюшевые игрушки.

А какие подарки делали персоналу к праздникам, Новому году и Восьмому марта!

У работниц вспомогательного отдела – так именовалось ведомство Михал Михалыча, шустрого, маленького мужичка, которого обычно искали сразу на всех этажах, – была форма «для выхода», в которую облачались, закончив основную работу: синие нейлоновые халатики с белым кантом и такие же фартучки.

Да, не самое плохое было время. Возвращаясь домой в середине дня после «физической зарядки», садилась Розочка за пишущую машинку. Поскольку компьютеры только-только тогда еще начинали входить в быт граждан.

В самом деле, жаль было уходить из красивого, уютного, теплого душноватой теплотой от присутствия многих людей, «хлебного» места, которому, скорее всего, надлежало стать последним местом, куда каждый день обязательно надо было ей приходиться к раннему часу, проходить через служебный вход мимо уже знавших ее охранников; а если вдруг, не дай Бог, задержится, чего практически с ней не бывало, то Михал Михалыч избегается, будет Галю спрашивать, не звонила ли ей Розочка, и станет беспокоиться, потому что работа ее здесь, хоть какая, но нужна.

Заявление об уходе подала, когда уже выездная виза стояла в загранпаспорте. Только сейчас рассказала скупое про свои дела Гале Черкасовой. Та заинтересованно слушала, задавала вопросы...

Нет, ну можно, конечно, как угодно подробно и в соответствующем психологическом ключе высветить сомнения и колебания, при-

чины и следствия... а может быть, и не было сомнений и колебаний, а решение уехать пришло сразу, можно сказать, для нее самой неожиданно и внезапно, словно озарение. По крайней мере, пока еще сидели тесной компанией в комнате окнами на Кремль, ничего такого не приходило в Розочкину многовариантную голову. Даже и когда в «большую алию» уезжала с семьей приятельница Лена из отдела квалификации, с четвертого этажа, — она была постарше Розочки возрастом и должностью, — и сказала: «Ты поедешь со мной!» А Розочка промолчала, возражать не стала, хотя в мыслях тогда ничего такого не было. Сын был еще маленький. А увозить его с собой, сжигать все корабли, решать за него его последующую всю жизнь — этого и в мыслях не было.

Сейчас сыну было за тридцать. Достаточно самостоятельный, коммуникабельный, вписался, как многие его сверстники, в теперешнюю, по расхожему названью, рыночную экономику; в свое время он закончил вуз и был, что весьма ее устраивало, в согласии с самим собой. Они ладили. Розочка давно уже не лезла в его дела. Ему первому о своем решении сказала.

— Израиль для меня вообще волшебная страна, — туманно пояснила и, немного подумав, добавила: — Для меня самой это неожиданно. Я раньше и не думала... Вдруг как-то сразу.

Он молчал озадаченно. Кажется, не очень ей поверил.

— Есть несколько причин, — опять-таки туманно добавила, — две или три... Придумаешь, как решить одну, — вылезает другая. И каждой одной — достаточно!

Что до вопросов, часто ей теперь и потом задаваемых, типа «Да как вы решились»?! или «Что вас подтолкнуло»?! — то Розочка их терпеть не могла и, широко улыбаясь в ответ, радостно отвечала: «О! Это слишком долгая история!» — при этом неизменно слушатель как бы немного пугался то ли длинноты истории, то ли отчего-то этой улыбки, поспешно, понимаяюще кивал и на продолжении не настаивал.

Действительно, внезапно, можно сказать, одномоментно, решение пришло, и вышло сразу так, что ждать уже вроде нельзя было больше ни одного дня, когда собралась идти в посольство на Большой Ордынке. И день был неудачно выбран, Розочка только что вылезла из зимней простуды, болела недолго, но слабость осталась, а надо было срочные переводы нести в редакцию; думала еще, плетясь по Пятницкой, достанет ли сил дойти до института,

туда и обратно. День февральский был ясным и солнечным. Метро «Новокузнецкая» закрыто было по причине ремонта; она дошла до «Третьяковской» и, поглазев на ярко сверкавший золотом на солнце купол колокольни у Церкви Всех Скорбящих, сделала один шаг, другой; еще не уверена была, что пойдет, пыталась уговорить себя: что изменится, если еще немного подождать?! – столько ждала, – но ноги сами все шли и шли, и, сдаваясь, утешительно подумала: «Если будет далеко, вернусь». И еще машинально, поженски, оценила «прикид» – с этим в порядке: пуховичок, норковая шапочка...

Идти оказалось далеко. Шла, поглядывала по обеим сторонам на старинные дома. Посольство узнала сразу по огораживающим решеткам и милиционерам.

Дневной прием закончился. Народу около посольства не было, только случайные прохожие и лоточники, торговавшие литературой для отъезжающих. Розочка подошла к одному из них, высокому немолодому мужчине в кожаной куртке, полистала книжечки, купила газетку, задала вопрос. Он оказался словоохотливым и любезным и рассеял уверенно ее сомнения: «Папа еврей? Да хоть дедушка!»

Это была информация. На этом оптимистическом заявлении потащила обратно. До метро за нею увязалась тоже словоохотливая дама и, услышав про Розочкины дела, заахала:

– Как же вы поедете одна?! Решительная женщина! Одной так трудно!

Сама про себя рассказала, что выезжает со всей семьей, мужем, детьми и бабушкой.

– Почему трудно? – искренне удивилась Розочка. – Наоборот, легче. Только о себе заботиться («как сволочь», – подумала).

– Что вы там будете делать одна?!

– Лягу, – убежденно ответила. – И буду лежать («два-три дня, какая роскошь!»).

За документами поехала к отцу. Ему за восемьдесят. Пережил сталинские времена. Мама Розочкина давно умерла, он жил со второй женой в ведомственном доме на широком проспекте, в благоустроенной квартире с огромной лоджией. Ковры; сувениры, даримые на юбилеи. Смеялся, кашляя:

– Моя национальность пошла в ход!

Впрочем, кажется, тоже ей не поверил, что всерьез. Она всю жизнь что-то выдумывала. Такой характер.

Бумаги, документы, копии, свидетельства. Оформление заняло года два. Что называется, «долгое прощание». Розочка и не спешила; продолжала работать, заканчивала разные дела.

Получила загранпаспорт. Сказала сыну. Он, как и в первый раз, только больше, был озадачен.

– Ты не знаешь мой характер, – примирительно заметила и добавила поспешно: – Хотя зачем тебе его знать?

Он еще подумал.

– Съезди, – сказал осторожно, – посмотри. Как на экскурсию. Денег я тебе дам.

– Да нет, – возразила, – там, вроде, обеспечивают. И здесь пенсия будет идти...

– Если что – вернешься.

Она помолчала.

– Сюда, – сказала очень тихо, обведя рукой ближнее пространство, – я не вернусь.

– Почему? – спросил тоже тихо и удивленно.

Несколько лет назад, когда он купил компьютер, они поменялись комнатами. Розочка переехала в его восьмиметровку, ему отдала большую. Она и раньше любила маленькую эту комнатку; кушетка, телевизор; книжные полки над массивным письменным столом. «Мне ничего не нужно! Только место, куда поставить пишущую машинку». Некстати вспомнила бывшего мужа, как-то в раздражении ей бросившего: «Ты можешь печатать даже на унитазе!» Фразу она оценила, яркая была фраза, но не очень поняла: что тут обидного, если на унитазе?

– Ну, квартиру я тебе оставляю. А если вернусь (можно ли в наше время загадывать), – могу в деревне жить... или в Немчиновке.

– Деревня – это не вариант, – возразил.

Сидела поздно вечером на старенькой софе, подобрав ноги. Напротив у стены – книги до потолка. Почти все придется здесь оставить... Пока. Свет от настольной лампы на письменном столе. Лампа с керамической подставкой, очень красивая. Тяжелая... Ее тоже придется оставить. Скромная коллекция гжельской посуды. И это тоже... Множество вещей, создающих уют, приносящих маленькие радости; делающих Дом.

Дом, который она оставляет. Так получилось. Она оставляет свой дом и едет одна в никуда. Рыжая кошачья морда с испуганными глазенками, выглядывающая из-под широкой ступени чер-

дачной лестницы, куда она залезала, когда ее выпускали погулять. Дом.

Жизнь между тем продолжалась в растянувшийся период прощания. В едва забрезжившем рассвете неуклонно менялись берега, мимо которых дрейфовал огромный корабль то с пробуждающейся, то с вновь спящей командой.

Продолжался НЭП. Оптовые рынки у станций метро ломились от изобилия, пестрели красочными, манящими и завораживающими упаковками. Люди между длинными, тесно уставленными рядами ларьков бродили ошалело, не успев еще привыкнуть и поверить, — не раз и не два их уже обмануло, подставило родное государство, — с напряжением, читавшимся в глазах, каждый в уме прикидывал, подсчитывал, какой и на сколько он сможет сегодня купить себе еды...

Розочка тоже между рядами ходила в длинном защитного цвета плаще и коричневой беретке, бледная, с бледными щеками и плохо покрашенными волосами, тоже считала, а в голове почему-то тоненько звучала и не уходила мелодия бетховенской песенки, она даже напевала тихонько: «И мой сурок со мною...»

Было пасмурно и сухо; грустно и волшебно. На оставшихся непокрытыми асфальтом клочках земли, газонах, пустырях трава пожухлая усеяна была давленными ягодами рябины, которой много было в том году, говорили, что к холодной зиме.

Она уезжала поздней осенью. Пила последние кусочки времени: месяцы, недели, дни, часы. Когда-нибудь все равно ведь все кончается, — саму себя уговаривала, — лучше уж раньше, самой...

Все было в последний раз. Поднялась по парадной мраморной лестнице, посмотрела на старинные стены с монастырскими высокими окнами институтского здания, помнившего времена нашествия Наполеона. Медленно обошла круговой коридор с обшарпанным пластиком. Из некоторых комнат, в первую очередь тех, что с видом на Москворецкий мост и на Кремль, недавно выселены были институтские, и сдали их в аренду каким-то маленьким организациям со странно произносимыми названиями и вовсе уж непонятными родами деятельности. Через открытые новые двери с большими сверкающими медными ручками было видно — люди сидели в креслах, светились экраны компьютеров. Ах, эти наши бывшие двери, вечная Катюшина забота и проблема — выбить хоть какие деньги на их ремонт, — старые, выщербленные, с вываливающимися замками...

Сдала в редакцию последние переводы. Попили чаю.

С улицы, с набережной, тоже все менялось и благоустраивалось. Совсем рядом с входом в институт красовалась нагло яркая вывеска казино «Кабана». Стена, что выходила в переулок, была вся сверху донизу затянута холщовой тканью в полоску. Там работали иностранные рабочие в ярких куртках. На углу Балчуга незнакомая женщина остановилась около Розочки и, кивая на стену, сказала строго:

– Блок бы написал: «Сколько портянок можно было бы сделать из этой ткани»!

Розочка смеялась, идя по Пятницкой: «Ну почему именно Блок»?! Впрочем, позже, вспоминая, маленький этот инцидент, заподозрила, что в самом деле читала в «Записных книжках» постсоветского Блока похожую фразу. Так что, возможно, женщина была права.

Последние впечатления на родине.

Перед зданием посольства на Большой Ордынке было пустынно, как в первый раз. Хотя Розочка заставала здесь очереди весьма хвостатые. Она просто так зашла; заодно уж купить карту страны, в которую собиралась уехать. Маленькая карта у нее была, она хотела большую и подробную. Тот же самый стоял у ограды немолодой еврей-лоточник в кожаной куртке, и Розочка, как и в первый раз, обратилась к нему, заметив шутливо:

– Никого нет. Что, все уже уехали?

– Нет, – ответил серьезно, – на сегодня прием закончен. До часу пускают.

– А я думала, что все уехали. Да мне не надо туда, – махнула рукой, – у меня уже есть виза, – похвасталась. – И билет.

– У вас уже есть билет? – он оживился. – В Сохнуте заказывали?

По его совету Розочка выбрала карту с планами трех городов: Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы. Что бы она делала в последующие месяцы без этой карты?!

– Ну, счастливого вам пути! – сказал.

– Да нет, – улыбнулась Розочка, – мне только через месяц ехать. Я еще тут похожу.

В начале ноября выпал первый снег и за ночь покрыл тоненьким слоем проглядывавшую сквозь него черную землю. Розочка встала очень рано, когда еще в воздухе висел предрассветный сумрак, вы-

свечиваемый у земли слабым сиянием снега, и глядела вниз на пустырь и школьный стадион, через который сын ходил в школу и допоздна с ребятами играл в футбол и хоккей. Наискось по белому покрову тянулась одинокая цепочка следов, слабо выделявшихся на снегу. «Уже прошли», – подумала Розочка.

Ей этой ночью приснился сон: дорога куда-то. Она опаздывала собрать вещи. Потом – купе. И непонятно, кто с ней: муж? Отец? Куда-то приехали; вещи, все неустроенно. И чьи-то дети, двое. Алые цветы в миске. Снег, зима. Потом опять опаздывали на автобус...

2

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю...
таки Блок

Спасительная была одно время словно нечувствительность в дни расставания и встречи на том мостике-радуге, перекинутом судьбой между прошлым, всей длинной жизнью, всем, что оставляла она, и гостиничным номером в Тель-Авиве, из окна которого видно было синее море и далекие яхточки, белые и разноцветные, совсем как в телепередаче «Клуб кинопутешественников», только тут все было на самом деле, хотя с трудом верилось. Нечувствительность еще и потому, что некогда было задумываться, осмысливать, вспоминать, переживать; с первых же минут, как приземлился самолет, начались страшная суэта и беспокойство.

У Розочки никогошеньки не было здесь, кроме той, давно, уже девять лет как уехавшей с семьей, подружки Лены с четвертого этажа старинного здания на берегу Москвы-реки; она жила сейчас в Иерусалиме и незадолго до отъезда Розочки позвонила ей в Москву.

Едва устроившись в сохнутовской гостинице, отделившись от квартирных маклеров, почти что в панике побежали с новыми знакомыми, с которыми вместе в такси из аэропорта приехали, молодой семьей, в министерство абсорбции, по адресу, насчет жилья. Ощущение, не оставлявшее ни на минуту: надо срочно что-то делать! Беглое первое впечатление, растерянным взглядом: нарядная людная зеленая тесная улица; автобус; рассыпавшиеся монетки на потной ладони; кто-то невидимый, смеясь, набрал у них плату за проезд.

Была пятница, в министерстве короткий день; паника; впереди – суббота, два дня потеряны! Кто-то у подъезда на лавочке, русский, успокоил. Можно пока пожить в гостинице, не спешить; гостиница недорогая. Стало заметно легче от его слов.

Обратно разошлись порознь, и Розочка жестоко заблудилась, идя пешком по нескончаемой, изгибами выходящей улице. Остановку автобуса в обратную сторону не нашла; она была, потом узнала, на параллельной улице. Спросить не у кого! Говорили в Москве, что везде тут русские, но ни один соотечественник не встретился ей в тот первый день в центре Тель-Авива. Вглядывалась безуспешно в лица, стараясь угадать... подходила, спрашивала, называя гостиницу. В ответ ей мило, приветливо улыбались, не понимая, пожимали плечами. В отчаянье в полицию зашла, там-то должны знать! – и вышла ошеломленная: там тоже только помотали головами. Да как же это, Господи?! Начала уже всерьез подумывать, что придется ей весь день... а может, и не один... кружить по незнакомому, жаркому городу с беспечными жителями. Как вдруг над самым ухом ленивый голос произнес на чистейшем великом и могучем:

– Что, гостиницу ищите?

Ангелом небесным показался квартирный маклер Саша, уже ей знакомый. Он кивнул: гостиница оказалась совсем рядом, за поворотом улицы.

Солнце садилось в Средиземное море; вечером вышла одна к пляжу поглядеть на закат. Пока возвращалась, быстро темнело. Из дверей отеля вышустрилась маленькая старушка, легко присела на каменный приступочек у стены и заговорила с Розочкой по-русски.

Невеликий контингент старожилы гостиницы имел обыкновение вечером собираться у широких ступеней, спускающихся от входа, где за большими дверьми в конторке восседал администратор Марк, колоритный мужчина с обаятельными манерами одесского уголовника, шрамом в углу губ и оригинального плетения золотой цепью на красной шее.

Кто-то спускался из номера; подходили возвращавшиеся с пляжа, останавливались или присаживались на приступок; подолгу, затемно, балакали о том, о сем. Гостиница недорогая, жили тут по нескольку лет, но только те, кто имел право на какие-нибудь льготы или преимущества.

Сестры Лизочка и Сима отважно приехали сюда полтора года назад из Москвы. Младшей, Лизочке, было восемьдесят шесть, она и встретила в тот первый вечер Розочку; старшей Симе уже девяносто. Обе – заслуженные ветеранки; обе маленькие, сухонькие, невесомые, хорошенькие. Лизочка хвастала, что работала с Берией; Сима – в чине старшего лейтенанта. Обе одинокие. До отъезда сюда у каждой было по однокомнатной квартирке в пределах старой Москвы, недалеко от Никитских ворот. Сюда уговорили их приехать племянники, им и остались квартирки.

Развязных манер мужчина в шортах, сыпавший сомнительными шутками и не единожды, при случае, отрекомендовавшийся импотентом, как-то серьезно разговаривал с Розочкой, и о сестрах Лизочке и Симе отзывался пренебрежительно-холодно, мол, причастны, само собой разумеется, – работали в аппарате Берии. А перед отъездом Розочки из гостиницы мужчина исчез; не было его несколько дней; стало известно, что попал в больницу, упал в обморок в министерстве абсорбции; тут узнала она, что веселый мужчина страдает тяжелой болезнью и что в бытность в Союзе занимал большой пост. Обо всем этом Розочке поведала тоже живущая постоянно в гостинице представительная дама, гулявшая с внучкой; к даме приходила иногда дочь, эксцентричная, с очень бледным лицом и легко выступавшими на щеках красными пятнами; казалось даже, что не вполне вменяемая. Она работала неподалеку в местном борделе. Даму с внучкой нередко можно было увидеть на пляже в обществе пожилого, сухопарого господина, израильтянина, он жил в роскошной квартире в доме напротив гостиницы. Господин принимал участие в вечерних посиделках, угощал фруктами и конфетами и, по слухам, интересовался одинокими олимками, которых ему представляла дама, по всей видимости, присматривала. Господину было уже за семьдесят. Второпях представили ему и Розочку, но после сорокаминутного сидения на пляже в его обществе и вымученной беседы, если учесть, что Розочка не только ни бельмеса не понимала в иврите, но и о цели сидения не подозревала, ее за непонятливость в дальнейшем угощать печеньями и конфетами из коробок избегали.

Встретился два раза ей на этаже высокий чудной старик, с ходу объявивший, что по приезде успел месяц отлежать в больнице; что-то еще толковал о «потерпевших». Розочка рассеянно посочувствовала, но расспрашивать не стала.

Новоприбывшие в гостинице не задерживались. Для больших семей маклеры уже дня через три-четыре без особого труда подыскивали в ближних городах – Бат-Яме, Холоне – подходящие квартиры. Розочке же, косо глянув, объявляли:

– Вам надо с подселением.

Пару раз, чуть задержавшись оценивающим взглядом, предлагали квартиру с соседом:

– Он тихий!

Розочка, однако, занялась поисками самостоятельно. И в один из первых дней оказалась в Иерусалиме у Лены. Большая семья жила уже в собственной квартире. Дочь и зять на хорошей работе. Когда из Москвы уезжали, старшей внучке было шесть лет, младшая только родилась. Старшую теперь не узнала Розочка, под щедрым израильским солнцем она расцвела и превратилась в совершенную красавицу – высокая, узкого сложения, как многие юные израильтянки; очарование исходило от каждого ее слова, жеста.

На просторной, длинной лоджии среди цветов стояли они, а вокруг расстилалась широко панорама желтых голых холмов мягких очертаний с пологими склонами; на холмах – арабские деревни. К вечеру на минарете одной из них зажегся яркий зеленый свет.

Через знакомых Лены узнала телефон и адрес маклерской конторы в Иерусалиме. После трех дней переговоров с Эдиком и Светой, после нелегких колебаний и сомнений согласилась посмотреть дороговатую, но отдельную однокомнатную квартирку в довольно престижном, как потом выяснилось, районе – Старые Катамоны. Из гостиницы между тем торопили выехать. Времени не оставалось. Розочка приехала утром из Тель-Авива и ждала долго, сперва пока маклеры ходили по делам, после ждали, когда хозяин квартиры вернется с работы. Маклерша Света посылала Розочку в дешевую столовую для олим, объяснила, как спрашивать. Но, слыша Розочкины лепетания на немыслимом иврите, публика, фланировавшая по небольшой, но людной улице центра города, глядела с изумлением. По улице шли сытые, довольные люди и весело таращились на пожилую олимку; никто из них, конечно, понятия не имел о дешевой столовой. Розочка поела в кафе, прикидывая, во что ей это обойдется.

Потом ее везли куда-то в машине. После ожиданий и почти полдневного хождения по жаре – сил соображать, выбирать, тем более сопротивляться, уже не осталось. Хозяин, русский старожил, был предупредителен, очень вежлив. Квартира принадлежала его доче-

ри. Вспоминала Розочка: говорили не раз – не верить здесь никому, опасаться, и вежливых тоже! Заломило сердце. Внимательно, тупо смотрела, удивляясь, как быстро и ловко выписывает маклер Эдик немыслимые закорючки, заполняя два экземпляра договора. Сообщения осталось лишь сосчитать деньги: на все и на гонорар маклеру – хватит ли?! И главное – поскорее бы закончилось! Боялась, что станет ей плохо в присутствии незнакомых мужчин. Отдала все, что было в сумочке, залезла и в неприкосновенное: доллары, которые дал сын.

Но когда уже вечером, довольно поздно, ехала автобусом обратно в Тель-Авив, совсем успокоилась, боль в сердце прошла, странная наступила опустошенность и расслабленность, появилось удовлетворенное сознание выполненного тяжелого, мучительного дела, снятия ноши. Оставался даже еще один день у нее в запасе. На прощание с морем.

Едва вошла к себе в номер – было уже около десяти вечера, – Лизочка стучала в дверь кулаком и кричала:

– Роза! Роза! Где вы были?! Мы беспокоились!

«Хорошо, – вяло подумала, – что и здесь о тебе уже кто-то беспокоится!»

Выглянула в коридор. Поделилась новостью. Проходил мимо по коридору странный тот высокий старик, что месяц в больнице пролежал; объявил, что идет на море, он всегда купается поздно вечером. Всем своим уставшим, потным телом ощутила Розочка скользкую прохладу моря и поняла, что именно ей сейчас необходимо. Одна бы не пошла, а в компании...

– Я с вами пойду! Можно? Не подождете секундочку?

– Давай! – охотно согласился старик.

Его звали Рувим. Пляж был недалеко от гостиницы. Пока быстро шли по освещенной огнями кафе и магазинчиков улице и мимо автостоянки, он безостановочно и не очень разборчиво что-то говорил. Розочка прислушивалась рассеянно. Он опять упомянул о «потерпевших», и она снова подумала, что речь идет о каких-то родственниках его, пострадавших во время войны, в Катастрофе.

Она сообщила, в свою очередь, о том, что занимало ее мысли, похвасталась: сняла сегодня квартиру в Иерусалиме.

– А вы пока тут поживете? – спросила вежливо.

– Пока тут поживу, – легко согласился старик и добавил. – А потом куплю квартиру.

У него это вышло как-то даже небрежно. Между тем, в особенности для вновь прибывших, купить квартиру в Израиле – это было нечто ошеломляюще недостижимое. Это могли позволить себе только очень богатые люди. Даже продажа квартиры в стране исхода не давала такой возможности. Он же никак не производил впечатление богатого человека. Обыкновенный, совкового вида старик, довольно неухоженный и обветшалый. Розочка помолчала. Заметила осторожно: мол, как это хорошо, когда кто-то может себе такое позволить – купить квартиру! Он живо отозвался, сказав, что денег у него столько, что до конца жизни не истратить, он это произнес быстро и равнодушно, глядя в сторону, как бы между прочим; но прозвучало совсем уж недостоверно.

– Я же тебе говорю: я получил за потерпевших, – добавил нетерпеливо. – Ты что, ничего не знаешь?

Она ничего не знала. Они уже шагали по камням рядом с пляжем.

Собрались репатриироваться всей семьей, как водится. Сперва летели рейсом Хабаровск – Комсомольск. Летчик был пьяный, потом говорили. Разбились все: жена, дочь, внук Сережа. А он выжил. Редчайший случай!

– По кусочкам меня сшивали.

«Зачем?!» – невольно, холодея, подумала.

Чтобы жить. Авиакомпания выплатила ему, единственному выжившему, астрономическую сумму страховки. За всех.

– Хочешь, покажу? – он уже сидел на топчане и задрал рубаху.

Она глянула быстро, искоса, но в темноте не увидела ничего.

Воздух был прохладен, а море очень теплым, как остывший чай. Рувим не купался, так и сидел неподвижно на топчане, расставив длинные ноги. Ждал, пока она, быстро окунувшись, одевалась. Так же быстро шли назад.

– А я всем деньги даю, – рассказывал как-то бездумно-машинально. – Куда мне столько? Тут парень ко мне приходил. Сидим, разговариваем, а я вижу, ну, понимаешь, что он есть хочет. Я его накормил. Денег дал.

Розочка уже раньше подумала, что он в подпитии по вечернему времени. Да и как не быть.

На пределе допустимых страданий, бывает, включается скрытый резерв организма, странное и непривычное, неестественное состояние душевной анестезии, отупения чувств, когда человек способен, если он преодолел первый шквал отчаяния, пережить непе-

реживаемое, совершить то, чего не смог бы никогда совершить, находясь в нормальном состоянии. А как иначе можно было пережить все это, примириться со страшной обусловленностью, взаимосвязью между обрушившимся на него нечеловеческим несчастьем и вслед за этим и именно по этой причине свалившимся на его голову сказочным богатством?

«Богатство» и «счастье» на иврите произносятся одинаково, но разнятся лишь одной буквой.

– У меня в номере сосед жил, – продолжал бубнить, – когда уезжал, я ему денег дал на такси. И тебе дам.

– Спасибо, – пролепетала, – у меня есть.

В России, в глубинке, в Тверской области, у Розочки был, как уж говорилось, ветхий домишко, в котором жила в летнюю пору. Там в деревне мыкалась семья бывшего тракториста Витьки Цыганкова. Симпатичный был парень, работающий, жена и две дочери. Тракторист в деревне – фигура; работа всегда найдется: землю по весне вспахать, перевезти что-нибудь, бревна, доски, все, что угодно. Без трактора никак. А тут – бац, перестройка. Совхозы, колхозы порушили, взамен ничего толкового, какие-то АОО... Словом, как по той гениальной фразе: «Хотели как лучше, а вышло – как всегда». Трактора то ли продали, то ли пропили. Пахать-сеять перестали. Не было денег кормить семью. Перебивались огородом, продавали молоко дачникам. Как-то в сенокос ехал на возу с сеном, упал, башку расшиб сильно, два дня болела. Потом вроде прошло. А на пятый день помер. Отплакали, похоронили. Семье назначили пенсию за потерю кормильца. Выплачивали аккуратно, не то что старческие. Увидели воочию давно не щупанные деньги. Мало-помалу Цыганковы, семья, отъелись, приоделись даже. Бабушка Дуся Цыганкова, Витькина мать, домишко свой полуразвалившийся подремонтировала. Шла по деревне в новом халатике и полотняной кепочке с козырьком; остановилась с кем-то из односельчан поговорить, маленькая, задрав курносый нос; то да се. «Живем... не жалуемся, – махнула ручкой, всхлипнула. – Надо было человеку помереть, чтобы...»

Когда шли по этажу, позвал, махнув рукой:

– Пойдем, покажу.

Вошли в номер. Альбом с фотографиями. Вот они тут все, потерпевшие. Спокойные, веселые. Жена с дочерью. Улыбающийся мальчик с ясными, как у всех мальчиков на свете, глазами.

– Подожди! – таинственно сказал и полез куда-то, вытащил и положил перед нею на стол клочок бумаги, слегка помятый, то ли счет, то ли квитанция, сверху напечатано что-то, в глаза бросилась выписанная посередине клочка страшная сумма. Даже сразу не охватить взглядом; не сообразить. Розочка вчитываться не стала, отвела глаза. Во всем этом была все-таки дикая бесчеловечность: трагедия на каком-то срезе чувств усугублялась от этого как бы счастья, разъедаемая несовместимостью покореженный, как и тело, мозг.

В день, когда Розочка уезжала, он сошел вниз и в вестибюле сидел, трезвый, утренний, хмурый.

Обломки человеческих жизней, как остатки кораблекрушений, дотавившие себя до этой земли из последних сил и упавшие на берегу, пригреваемые в лучах ее солнца и разлитой в воздухе благодати.

*И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой гавани все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.*

– Я не мистик, ты знаешь! Но тут, – поглядела вверх и обвела рукой, – что-то есть! – сказала скороговоркой и умолкла, не вполне уверенная, что это надо и можно говорить.

Вся семья Лены сидела за праздничным столом; Розочка в гостях. Праздновали еврейский Новый год, Рош га-шана. Она уже полтора месяца жила в Иерусалиме.

Что говорить! Проблемы были на каждом шагу, от самых простых до сложных. Господи! Улицу нужную найти в незнакомом, жарком городе; «почта» как на иврите? –ее английский удивленно слушали и пожимали плечами; узнать почтовый индекс дома, в котором живешь, – на почте на такой вопрос не отвечают, пожимают плечами. Анкету заполнить на иврите – мыслимое ли дело?! Находились добрые люди. Анкету ей заполнил без всяких просьб в каком-то учреждении, не том, куда нужно было ее сдавать, мужчина в кипе. После нескольких обращений к прохожим с вопросами, – а как без этого? – запинаясь и перевирая плохо еще ложившиеся на язык слова, – в какой-то момент уже нельзя было, не было физических сил в крайнем напряжении чувств сегодня что-либо еще спрашивать. И – плакала однажды, недолго, остановившись на углу длинной веселой улицы, незаметно для окружающих. И не было никого близких посо-

ветоваться и рассказать или хоть поплакаться в жилетку. Все надо было решать самой и сразу.

Самой и сразу. Беготня по учреждениям, забастовка в муниципалитете, медицинская страховка – тоже едва не расплакалась, не могла понять, что спрашивает ее молодая израильтянка за окошечком; кончился газ в баллоне; кончаются спички. Ох, эти спички. Знакомые улыбались и махали рукой в ответ на ее панические расспросы:

– В этих маколетах один шоколад! Где их купить?!

– Да везде они есть!

Нет, ну можно было одолжить коробок у знакомых... Розочка, разозлившись, сосредоточилась на проблеме. Надела очки, вооружилась словарем, самоучителем. И после некоторых умственных усилий составила первую свою самостоятельную, очень коротенькую фразу: «Гафрурим еш?». И пошла с этой фразой в ближайший маколет, где, к величайшему ее изумлению, продавец не уставился на нее, как на чучело, а ответил лениво и небрежно:

– Еш, еш.

– Ну вот видишь, все-таки сама составила, – похвалила ее Лена.

Выжила. Но в эти месяцы первые не видела ничего вокруг, ни пышно спускающихся по каменным заборам кустов с яркими цветами, ни всей экзотики, знакомой раньше только по курортам, не глядела даже на все эти пальмы и думала, косясь, проходя: «Это – потом... Потом!»

Только стены и башни Старого города с высокой на углу колокольней, властно притягивая взгляд обожательницы старины, временно умиротворяли чувства, отодвигая все заботы на те краткие мгновения, что смотрела туда из сквера с большими агавами. В одну из первых суббот пошла туда пешком, в Старый Иерусалим, далековато, но можно дойти, а будни заняты были; напугавшись дороговизны съемной квартиры, быстренько со своим французским устроилась с помощью случайной знакомой работать по уходу за больной израильтянкой, знавшей языки, – многие пожилые олимки здесь так работали, спрос был.

Жадно вбирала новые впечатления; сказочную пестроту арабского рынка в Старом городе; завораживающую мрачность христианского храма. Посидела у каменного фонтанчика, украшенного майоликой, перед башней Давида; сорвала веточку масличного дерева и отправила в письме Катюше, большой любительнице природы. Сама как обломившаяся веточка была.

Голуби в выбоинах Стены плача, поглядывающие сверху на молящихся евреев.

В просторном предбаннике министерства абсорбции, откуда наверх, к информационному окошку и комнате ожидания, вела широкая, открытая с боков лестница, в углу свалена была большая груда багажа, тюки, сумки, коробки, перевязанные ремнями обшарпанные чемоданы. На переднем плане стояла большая клетка, в ней, сбывшись, сидел здоровенный белый с серыми пятнами кот и настоженно ворочал покрасневшими, безумными глазами. Прямо напротив, в нескольких шагах, оборотясь к клетке, неподвижно стоял невысокий старик, не сводивший с кота гипнотического взгляда. Розочка, пришедшая по своим делам, обходила, замедлив шаги, эту группу и глядела прикованно. А когда час спустя, выяснив свои вопросы, спускалась по той же лестнице, все было на своих местах: груда багажа, клетка с котом и старик. В его фигуре было что-то неестественно застывшее; подумалось даже, что он ни разу не пошевелился за этот час. Тут Розочка, окинув взглядом предбанник и обнаружив достаточное количество беспорядочно расставленных стульев, проходя мимо старика, вежливо ему заметила: не лучше ли было бы присесть? – на что старик, не поворачивая голову и не пошевелившись, не изменив позу, однако тотчас же, словно каждую минуту ожидал именно такого предложения, отозвался, возразив кратко:

– Он будет орать!

А, ну конечно! Она поняла сразу все, ей и самой приходилось возить красавицу, белую с рыжими и серыми пятнами кошку Катю в электричке, и какие концерты визгливые и неумолчные та ей закатывала, пока не догадалась хозяйка притвориться спящей, только тогда кошка повела себя поспокойнее. Конечно, перепуганное, уставшее животное следило чутко за малейшими движениями хозяйина, готовое в любую минуту начать дикий ор, тут уж действительно будешь стоять истуканом, только б не спугнуть!

Розочка еще некоторое время, недолгое, постояла рядом со стариком, пока тот, по-прежнему не поворачивая головы и не шевелясь, коротко рассказал ей свою историю. В первый раз, приехав в Израиль, он прожил здесь полтора года и вернулся обратно, в Россию. Что там у него произошло, неизвестно, но только сейчас, четыре года спустя, он приехал снова и по всему было видно, что там уж у него сожжены были все корабли, не осталось ничего и

никого, кому бы он был нужен или кто мог бы позаботиться о нем и пожалеть его. Но и здесь у него, должно быть, появились проблемы с оформлением пенсии, восстановлением статуса... И тут тоже у него не было никогошеньки, к кому можно было бы обратиться пусть за временной помощью, ни жилья и ни денег, только этот взъерошенный, со свалявшейся шерсткой, перепуганный кот, не спускавший глаз с хозяина, единственное на свете живое существо, в нем кровно заинтересованное, — пусть слабое, но все же это было утешение, — и сил ровно настолько хватило, чтобы, дотащившись до этого угла, свалить здесь все, что у него осталось, в единственном на земле месте, где он мог еще надеяться найти помощь.

Обломки человеческих жизней, как остатки кораблекрушений...

Через день, когда Розочка снова пришла туда по делам, ни старика, ни клетки с котом уже не было, только груда багажа, заметно убавившаяся, все еще оставалась в углу.

— Я не мистик, ты знаешь! Но я сразу почувствовала: здесь что-то есть... — сказала она Лене и поглядела на зятя, высокого молодого человека с черной курчавой шевелюрой. Более оптимистическая картина, семья за праздничным столом. В первые годы пребывания и у них тоже были трудности, но выкарабкались. Зять успешно подвизался в хай-теке, недавно ездил в командировку в Америку, где жил его отец с семьей. Показывал фотографии, охотно рассказывал Розочке как новому и неискушенному слушателю о своей работе и об истории Израиля, о Иерусалиме. Младшая внучка смотрела израильские мультики; старшая, красавица Софа, собиралась идти в свою компанию встречать Новый год и на прощание спела, аккомпанируя себе на гитаре, несколько песен, одну — мелодичную, на иврите, и напоследок — эту вот, веселую: «У бегемота нету талии, он не умеет танцевать. А мы его по морде чайником... А у жирафа шея длинная...» Розочка смеялась.

. — Хорошая песня, — сказала задумчиво.

Заговорили о том, кому и как дается иврит.

— Сперва, когда я увидела эти закорючки, — рассказывала Розочка, — подумала: «Никогда!» И неожиданно быстро разобралась. Без всякого ульпана. Правда, самоучитель у меня хороший. Вывески на улице стала читать. Во второй раз — биньянов испугалась, подумала: «Ну, это уж нет!» И тоже совершенно неожиданно и даже быстро разобралась!

— Это значит, вы его приняли, — пояснил зять. — Я знаю, некоторые говорят, что у них такое чувство, словно вспоминают давно забытое.

— Что вспоминаю, — врать не буду, не скажу, — возразила Розочка, — но, по-моему, английский даже гораздо сложнее! Там одних времен сколько! А где вы видели язык с одним прошедшим временем?! Однако иврит очень логичен.

— В ульпан так и не пошла? — переспросила Лена и пододвинула блюдо с фаршированной рыбой. — Ты ешь, ешь!

— Спасибо. Нет, пока сама. Там посмотрю. Может, пойду, а может, нет. Там много лишнего зубрить заставят.

— Зато знакомых будет много.

— Это да.

— Ну как, ностальгию не испытываешь? — спросила Лена. — Возвращаться не собираешься?

Розочка некоторое время глядела на нее молча, не находя нужных слов. Вопрос вызвал внутренний всплеск, круговорот мыслей и просящихся на язык, но отчего-то с него не слетающих, фраз. Пространные доводы, новые впечатления, прошлые мысли и переживания выстраивались мгновенно в мозгу цепочками и рвались, обламывались, перемешивались и излились наконец нерасшифрованной, коротенькой тирадой:

— Там жить нельзя! — выпалила. — Там нельзя жить человеку... Там жить безнравственно! — помолчав, добавила тихо. — Конечно, по сыну скучаю.

С рекламного щита в Тель-Авиве, недалеко от незабвенной той гостинички, смотрел приветливо темноволосый мальчик с синими глазами, чем-то похожий на сына. По этому щиту Розочка находила дорогу и смотрела на него с нежностью.

И вот еще что. Оставленная родина напоминала о себе иногда в самые неожиданные моменты — мгновенно и отчетливо возникающими перед внутренним зрением, как бы ни с того, ни с сего, без всяких предшествующих ассоциаций, картинками. Улицы, места, дома — *но без людей*. Заснеженная кривая улочка недалеко от Бульварного кольца; серебристые фонари на Большой Бронной у выхода на Тверскую; церковка на зеленом пригорке у Нового Арбата... Вставали и исчезали безмолвно, безвопросно.

То за ветхим, низеньким заборчиком огород с двумя ветвистыми черемухами на задах, которые соседка Настасья все приговаривала срубить, а Розочке было жалко. Весной, недолго, оба дерева покрывались нежным душистым белым цветом. Куст сирени перед вот-вот вываливающимся окном на трех гвоздиках.

Розочка, вполне городская жительница, с тех пор, как приобрела этот домишко в Тверской области, просиживала на огороде часами на корточках, терпеливо и скрупулезно выдергивая с корнем отросшие за время ее обычного двухнедельного отсутствия сорняки, ласково окучивая маленькие росточки. Смеясь, утверждала, что в генах у нее есть крестьянская жилка.

– У меня земля такая хорошая, – хвасталась на работе, – жирная, рассыпчатая. Как чернозем! И червей много!

И в самом деле, все у нее росло: картошка, огурцы.

– Во! – удивлялся Настасьи муж Василий Иванович. – Побросала семена в землю и уехала, не поливала, ничего! У нее все выросло, а у меня еще нет!

– Мы выращиваем экологически стойкий продукт, – объяснял научно этот факт сосед-москвич, тоже купивший в этой деревне домик, – чтобы сам рос, чтобы за ним не надо было много ухаживать!

А если долго, не один час, так на корточках у земли сидеть – заметным не сразу становилось незнакомое ранее, не похожее ни на что ощущение; словно легкий ток разливался по напряженным в постоянной, привычной спазме жилам. Легкое и еле уловимое, странное и не передаваемое словами, не то чтобы успокаивающее или расслабляющее, но – и расслабляющее и успокаивающее, примиряющее... Она подумала, что это, наверно, было влияние земли, ее дыхание. Никогда не ощущаемое в других условиях, едва заметное, мягко разливающееся по нервам, благотворное воздействие; не обнаруживаемое никакими датчиками дыхание огромного организма. Земля звала.

*И только высоко у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.*

Валентин Кобяков

Году где-то в шестьдесят пятом, но летом – точно, привез я в Дербент, в город моего небезмятежного детства, целый букет друзей своих – московских студентов – поплескаться в ласковых водах Каспия, винишка настоящего попить, рыбки дешевой и сладкой поесть вдоволь...

Поезд привез нас поздней ночью, общественного транспорта – никакого (его, транспорта общественного, и днем в те времена у нас там – никакого), такси брать я не велел: нечего, мол, корчить из себя любителей шикавать, и потопали мы к дому моих родителей пешком по совершенно неосвещенным, то есть абсолютно темным улицам, с полным под ногами отсутствием асфальта на кое-как обозначенных, тем не менее, тротуарах. Но... пути-то всего – тринадцать минут, а друзья – свои в доску, и совесть меня нисколько не грызла.

На первых же десятках шагов друзья мои стали спотыкаться о кочки и оступаться в колдобины, образовавшиеся из раскисшей во время весенних дождей и высохшей затем глины. Друзья, не особо злобясь, чертыхались, наиболее откровенные – матерились, я подшучивал над их хилой «столичностью», подбадривал тем, что «остались последние десятки километров»... и обнаружил, что я-то сам – не спотыкаюсь, не оступаюсь!..

Несколько позднее пришел я к выводу, что кочки-колдобины эти образовались не недавней весной, а в «доисторические» времена; что два десятилетия хождения моего по ним приучили меня как-то по-особому ступать; что... В общем, я сделал открытие, что ноги мои самостоятельно, не утруждая моего сознания, помнят, что им нужно, и поступают так, как им нужно. И тут же родилась идея написать цикл рассказов (а я в те поры уже баловался писанием чего-то «для себя – для близких») под общим названием «Память ног, идущих по дорогам детства».

Сразу ничего из этого ряда не написалось, подкатывало пару раз, но до дела не доходило. В последние годы жизни мамы поделился с ней этой вот своей задумкой, мама и подвигла меня на попытку ее «овеществить». Так и появились два рассказа из того, как бы, цикла. Я успел их прочитать маме в один из своих отпусков к ней наездов. Уже в середине девяностых. Слушали то-

гда их и три моих сестры, и полдюжины наших детей. Мы, взрослые, плакали. Все. Дети пребывали в недоумении.

До сего дня больше «специально» о детстве так ничего и не написалось. С мыслью о цикле рассказов с тем длинным его названием я с сожалением расстался. И представляю здесь эти две незатейливые вещички под названием «Напряжение нежности», позаимствованном из Андрея Платонова.

Иерусалим

НАПРЯЖЕНИЕ НЕЖНОСТИ

ДИПТИХ

*Светлой памяти мамы,
Надежды Филипповны Кобяковой*

Тут был мир, созданный
людьми в сочувствии друг к другу,
здесь в малом виде исполнилась
надежда на высшую жизнь.
А. Платонов

«СНЕГ ИДЕТ!»

В один из вечеров поздней осени сорок третьего года к входу в наш двор, нутужно урча и стреляя мотором, подкатила полуторка, нагруженная горой грязно-белых тюков. Из кабины, с водительского места, вылезла тетка в солдатском ватнике, из-под которого коротко выглядывал белый халат.

Тетка постучала в дверь ближайшей к воротам квартиры, перекинулась несколькими словами с вышедшей хозяйкой, потом они вдвоем пошли стучать подряд во все двери нашего двора и о чем-то быстро договаривались с выходившими женщинами.

Вскоре к машине женщины и потянулись, некоторые — с более-менее взрослыми детьми. Тетка в ватнике не очень ловко вскарабкалась в кузов и стала опускать в протянутые снизу руки плотные и, видимо, нелегкие узлы.

Два таких узла получила и моя мать, и я поддерживал их, низко свисавшие у матери за спиной, когда она, косо и низко согнувшись, шла с ними в дальний конец двора, к нашей квартире. Дома сбросили тюки у печки, и они, сморщенные и оплывшие, стояли, привалившись друг к другу, – отдыхали.

Вскоре, накормив, вернее, подкормив меня с младшей сестренкой Люськой чем... уж и не знаю, кто послал, нас уложили спать. Засыпая, слышал я, как мать гремит ведрами, как льется из них вода, приносимая из колонки в дальнем конце двора.

А уснув, я видел сон, будто идет снег!.. В свои шесть лет я еще не видел, как идет снег. То ли его просто не было в мои прошлые пять зим, что вполне вероятно – в наших краях зим-то настоящих и не бывает, – то ли я просто не помнил тех своих прошлых зим. Зима же в моем сне была, как на новогодней открыточке, которую я видел приколотой к стене в доме друга-соседа Сашки. Только елки во сне были громадными, как вонючки в нашем дворе (лишь в старших классах школы я узнал, что ученое название этих самых вонючек – китайский ясень)...

Снег шел громадными, как куски ваты с мой кулачок, хлопьями. Он густо залепил и ветви, и стволы елок-вонючек, а на земле лежал ровным толстым слоем. Вся наша дворовая ребятня носилась по снегу, но он не продавливался под ногами, а пружинисто проминался, и уже при следующем шаге ямка от следа сзади выравнивалась – точь-в-точь, как когда бегаешь утром по перине в кровати, если мамы уже нет дома. Мы бегали по снегу-перине и орали один другого громче: «Снег идет! Снег! Идет снег!»

Проснувшись и не вставая с кровати, я первым делом глянул в окно: на серой улице тоскливо сеялся дождь, стекая по ветвям росшей под окном вонючки, на которой еще держались редкие ржавые листья. Но в самой комнате было как-то необычно светло. Я плюхнулся затылком на подушку и увидел, что вся комната увешана белыми рубахами. Под потолком густо натянуты бельевые веревки, а на них висят плотно друг к дружке и рукавами вниз мужские нижние рубахи. Прямо передо мной висела рубаха, на груди которой чернела маленькая, с арбузную семечку, дырочка, и от нее расходились неровными углами бледно-рыжие лучики. Черное солнышко! Такое я видел недавно в одной книжке, а мама объяснила мне, что называется это «полное солнечное затмение».

Я вскочил на ноги в кровати и заглянул за другую сторону черного солнца – на другой половине рубахи, на ее спине, дырочка была

немного больше, а рыжие лучики немного длиннее. Я стал лихорадочно осматривать другие рубахи и на многих находил такие же «солнечные затмения», но в разных местах – на рукавах, у горла, ближе к низу рубах...

Проснулась и заплакала Люська. Я успокоил ее, раскачивая над ней рубахи, потом стащил с кровати, и мы выбежали в жилую кухню.

Мать разжигала печку и ставила на плиту тяжелые чугунные утюги. На кухне, как и в комнате, под потолком были натянуты веревки, но висели на них не рубахи, а кальсоны. Я водил между их рядами Люську, отыскивал дырочки с лучами и объяснял сестре, что это – «затмения солнцев». Мама поправила меня, сказав, что это дырки от немецких пуль, что их надо зашить-заштопать, а потом этот ворох белья перегладить и все успеть до вечера, и чтобы мы поэтому не вертелись под ногами.

– Я хочу есть, хочу есть, есть, – проканючила Люська и опять заплакала.

– Замолчи, – сказала мама не очень строго, – рано еще, потерпите. А то дашь вам сейчас, так вы до обеда не дотерпите, изведете меня.

Я стал раскачивать веревки с кальсонами, чтобы отвлечь Люську, но она не унималась. И тут мне пришло на ум...

Кальсоны висели штанинами вниз, и их завязки были на уровне моего лица. Я подхватил Люську на руки, благо была она малюсенькой и щупленькой, и стал так бегать. Завязки мягко ударяли нас по лбам, щекам, носам... Я заорал, как во сне: «Снег идет! Снег!» Люська перестала ныть, даже засмеялась и стала пищать вместе со мной: «Снех! Снех идеет!» Мама отвлеклась от своих дел, стояла, смотрела на нас и печально улыбалась.

Потом пришла бабушка, которая с нашей тетей жила в центре города, нас покормили чем было и отправили во двор, так как дождь идти перестал, а в доме мы мешали.

Время от времени я забегал домой за чем-нибудь и видел, как бабушка зашивает черные солнца, а мама, покрасневшая, с бисеринками пота на лбу, гладит рубахи и кальсоны, сменяя по очереди три утюга, стоящие на раскаленной плите.

К вечеру все «солнца» были зашиты и ворох переглажен. Два тюка стали пониже ростом, аккуратно угловатыми, белыми, опять же – как снег в моем сне.

Снова подкатила к воротам полуторка, и вчерашняя тетка погрузила в нее тюки, снесенные со всего двора, ловко накрыла их черным брезентом.

– Спасибо, бабоньки, спасибо, люди добрые, – сказала тетка-шофер. – Через три дня снова притараню. Да побольше будет. Не обессудьте! Госпиталь-то наш расширили.

– Да привози, чего уж. Не чужим ведь. Сделаем. Не беспокойся... – вразнобой отвечали ей.

– Мыла бы хоть немного. Или щелоку, – сказала моя мать.

– Да уж подсуечусь, – крикнула тетка уже из кабины, и полуторка, скрипя и серчая, покатила прочь.

Снова, уже какой раз сегодня, пошел унылый дождь.

Снегом и не пахло.

ТОГДА СОБАКИ ЕЛИ ХЛЕБ

Собака смотрела на меня глазами сорок третьего года. Так же просительно, терпеливо, с неизбывной надеждой... Пожалуй, именно так смотрели собаки и до сорок третьего, и много после него, но тогда, в сорок третьем, мне было шесть лет, и тогда-то впервые я и заметил этот их взгляд...

Я выломал из ломтя свежего, еще теплого белого хлеба мякушку и навесом бросил ее на собачий нос. Собака не только не попыталась схватить хлеб с лету, она легким движением головы уклонилась от него, не сводя с меня взгляда, в котором добавилось выражение, говорившее мне: «Не притворяйся дурачком, ты же знаешь, что жду я от тебя кусочек колбасы».

Собака эта – не какой-то там чистопородный, избалованный хозяевами пес, – это была обыкновенная дворняга, традиционная для двора, где в дружном соседстве с моими родителями жили (некоторые – дай им Бог! – живут и поныне) еще два десятка семей; двора, в котором когда-то жил и я, а теперь вот, уже более четырех десятков лет, наезжаю сюда в гости. Летними вечерами, когда спадает жара, мы – мои старенькие мать и отец, непременно кто-нибудь из соседей да полдюжины детей, местных и гостящих, – садимся прямо во дворе, под сенью виноградных лоз, пьем бесконечные чаи и ведем неторопливые беседы, в которых воспоминаниям достается много места, а сами воспоминания, замешанные на былых печалях и радостях, доставляют всем нам чистое и тихое удовольствие.

Я сказал, что дворняги – традиционное явление для нашего двора. Сколько помню, их было не меньше трех, а то семь и более, они были ничьими, они были общими. Никаких решений о необходимо-

сти держать собак во дворе и сколько их может быть ни на каких собраниях не принималось. Да и собраний самих и по другим вопросам что-то не упомню. Как-то все житейские проблемы в нашем дворе всегда решались как бы сами собой, естественно и, чаще всего, к взаимному удовлетворению. Собаки наши получали и в самое худое время кое-какую еду, очевидно, достаточную, чтобы не искать другой двор, других хозяев. И кровом их обеспечивали – то мы, ребятня, сооружали из подручного материала какое-никакое жилье для «братьев меньших», а то кто-либо более умелый срабатывал им конуры, как на картинках в букваре. Да и звали мы наших собак по-буквариному незатейливо: Шарик, Бобик, Белка, Жучка... Один раз только, в годы войны, фантазия кого-то из нас возвысилась до прямо-таки образно-художественного уровня, и огромный, черный, кудлатый, свирепый для чужих пес получил кличку Гитлер.

У собак нашего двора были разные клички, масти, норовы и голоса, а объединяло их всегда всепреданнейшее желание не допустить во двор чужих, вернее, всем вместе нестройным, но дружным лаем предупредить о вторжении во двор чужого.

Была и еще одна категория обитателей нашего (и только ли нашего!) города, а значит, и двора, в лихое время войны и какое-то время после нее, – нищие. Не то чтобы они толпами наводняли улицы и дворы, но часто встречались на улицах, ежедневно по одному или малыми группами (чаще всего – мать с одним-двумя детьми) забредали и в наш двор, и поэтому воспринимались нами как обитатели.

Нищие. На мой вопрос тогда же, в мои шесть лет, почему их называют нищими, моя мама ответила, что «нищие» – от «ничи»: люди, которые никому не нужны, не имеют дома, работы, пищи и живут за счет подаяний. Это объяснение настолько убедило меня тогда, что позднее, по другим поводам, у меня возникало желание поглядеть толкование слова «нищий» у Даля или у Фасмера, но всякий раз что-то меня останавливало, и по сей день живу с понятием, истолкованным матерью.

Всех же нас – жителей двора, собак наших и наших нищих – объединяло, роднило даже едва ли не постоянное чувство голода. И столкновения на этой почве между нами всеми, в различных обстоятельствах возникавшие, не носили враждебного характера. Голод был привычен, но благодаря природе здешних мест он редко для кого становился роковым, в том смысле, что были истощенные голодом, были «пухлые с голоду», как у нас говорили, но умирали от

голода редко, поэтому и собакам перепало – больше от нас, детей, и нищим – им-то «от щедрот своих» давали наши матери.

Едва очередной «ничей» появлялся у входа в наш узкий двор – наша свора с громким лаем охватывала его сзади полукольцом, и было больше похоже, что собаки загоняют нищего во двор, а не преграждают ему путь.

Принадлежностью почти каждого нищего были сума-котомка и тонкая, легкая и достаточно длинная палка, не имевшая никакого сходства со знакомой мне позже по литературе и живописи нищенской клюкой. Этой вот легкой палкой ее владелец лениво помахивал сзади, не подпуская собак на опасное для себя расстояние, и двигался от квартиры к квартире нашего одноэтажного многоквартирного дома. Если это был мужчина (старик, калека), он молча останавливался перед дверью, выжидал непродолжительное время и, получив что-либо или ничего не получив, следовал к очередной двери. «Ничьи»-женщины были более изобретательны: какая бегло, скороговоркой проговаривала под дверью свою горькую судьбу-историю, какая просила «Христа ради», какая понуждала жалобно плакать или так же жалобно петь своих детей...

Все ли и всем ли подавали? Конечно же, нет. Иначе доля любого нищего была бы завиднее доли каждого из нас, включая и собак. Иначе нищему не надо было бы по двенадцать-шестнадцать часов «работать», обходя двор за двором в зной и ненастье. Подавали, когда было из чего, из намеков на какие-то излишки. Но это было так редко... И только в такие вот редкие разы нам и удавалось видеть, как брошенная на нос собаке подгорелая заплесневелая корочка хлеба – даже если хлеб этот был из кукурузной муки с «добавками для массы» и печен в формах, смазанных машинным маслом, – как такая вот корочка с детский ноготь величиной мгновенно исчезала в собачьей пасти. Наибольший же восторг наш вызывало то, как удивительно точно собаки отличали летящий хлеб от, скажем, кусочка древесной коры или скомканного жеваного клочка газетной бумаги. Собаки ловко уклонялись от нашего жестокого обмана, как сегодняшние уклоняются от мякиша белого, свежего, пахучего хлеба...

Как-то в наш двор стал заходить среди других один нищий. Другие менялись, а этот появлялся ежедневно – высокий, худой, сильно заросший и оборванный, сразу получивший от нас прозвище Длинный. Отличался от прочих он не только ежедневными появлениями; у него был свой «почерк»: двигался он от квартиры к квартире нето-

ропливо, но уверенно, не останавливался перед дверью, открывал ее или просто просовывал голову за занавеску, если дверь была открыта, – дело было летом.

Но самым необычным было то, что собаки его не облаивали. Когда он приближался ко двору, собаки с лаем выбегали к нему навстречу, как и к любому другому, но во двор его «вводили», уже виляя хвостами, а часть из них вышагивала впереди необычного нищего. И никакой палки-клюки у него не было.

Матери наши отметили и обсудили между собой еще одну особенность нового нищего: в небольшую холщовую котомку он бросал и куски хлеба, сухари, и головки лука, и головы соленой селедки... Селедку едят с хлебом, когда он есть, – это нормально, но хранить, носить селедку вперемешку с хлебом – это нашим матерям казалось верхом несурзанности. Но необходимо же было найти объяснение этому, и матери нашли самое простое: так уж опустился человек, голодая, что ему теперь все одно.

Однажды ночью, где-то дней через десять от начала посещений нашего двора странным нищим, все мы были разбужены двумя выстрелами. Оказалось, в сарайчик к нашим соседям, где они умудрялись держать ледащую коровенку, влезли воры, и проснувшийся случайно, но вовремя сосед выстрелил вслед убегающим из дробовика. Выяснилось, что воры эти в эту же ночь побывали у многих соседей, и у нас в том числе, – у кого из коридоров обувь утащили, одежонку, какая подвернулась... У нас – вместе со старыми галошами старые домотканые половики. Выяснилось также, что собак никто не слышал, они не лаяли. Когда же рассвело, все шесть собак были обнаружены в разных углах двора мертвыми, их отравили. А неподалеку от входа во двор кто-то заметил капли крови на пыльной дороге.

Взрослые заявили в милицию и в обе городские поликлиники, куда мог обратиться подстреленный. Мы с мальчишечьи-воинскими почестями похоронили за огородами наших собак и тут же пошли по дворам искать щенков, благо их отдавали на сторону с охотой другие дворы, как, впрочем, и наш, когда щенки появлялись.

Через день-другой дошла до нас весть, что подстреленный обратился-таки в поликлинику, так как дробь из ружья застряла глубоко в икрах его ног. Милиция задержала вора, и был это тот самый Длинный, на которого не лаяли собаки...

Вместе с этой вестью в нашем дворе вспыхнуло стихийное, горячее и громкоголосое обсуждение происшедшего, в результате кото-

рого взрослые пришли к таким выводам: Длинный был наводчиком шайки воров, ходил да подглядывал, у кого где что плохо лежит; Длинный, мол, перемешивал селедку с хлебом потому, что сам собранное не ел, а скармливал собакам и этим их приручал, что «так ему и надо, негодяю!», что все нищие готовы утащить у нас последнее, что «будь они все прокляты!» И что они, хозяйки двора, клянутся друг дружке и каждая себе: ни одного нищего к порогу не подпускать, не то что кусок подать! И... и... что «будь они все трижды прокляты!»

День-другой матери наши были верны своим «страшным» клятвам. Да нищие все шли и шли, один другого жалче, и все больше – женщины, похожие на древних старух, с изможденными или «пухлыми» детьми, жалобно плачущими или истошно поющими. Смотрели наши нищие глазами сорок третьего года. И как было отказать этим глазам...

И снова давали наши матери из своих «излишков»: кто картофелину, кто морковку, кто хвост-голову селедки, а кто и хлеба кусок. Хмурились, ворчали, с искренним неудовольствием, с негромкими проклятиями, но давали.

А щенки – мы тогда набрали их аж семь! – к концу осени выглядели вполне взрослыми. Во всяком случае, уже исправно несли традиционную службу по охране своего двора. И обходили квартиры. Останавливались у дверей и смотрели в лица своих хозяев глазами все еще сорок третьего года.

Шломо Ленский

КРЕСЛО У ОКНА КУРИЛКИ

В этой больнице единственная курилка, как ни странно, находится на лестничной клетке аварийного выхода из онкологического отделения. Почему именно там – мне не совсем ясно. Непохоже, что онкологи таким образом обеспечивают себя клиентурой или цинично считают, что их пациентам уже все равно, настолько самоотверженно они борются за продление их жизни хоть на день, не говоря уже – за выздоровление. И ведь не пациенты пользуются ей и не медперсонал – эти выходят покурить на улицу, спускаясь для этого пять этажей на лифте, не желая, наверное, противоречить расклеенным повсюду плакатам «Не курить!» Курилкой этой пользуются родственники пациентов, дежурящие у родных посменно, круглосуточно. Их, приходящих навещать некурящих родственников, видимо, не убеждают никакие плакаты. Сюда же приходят покурить и сидельцы из других отделений – с этажа повыше, с этажа пониже – другой курилки-то нет, а спускаться каждый раз на улицу – у кого из них хватит нервов?..

Почти каждый раз, выходя покурить, заставлял я там одну женщину. Была она пожилой, но было заметно, что выглядит старше своих лет, почти старухой. Она всегда сидела в единственном в курилке кресле, молча глядя в узкое окно. Если я ее там не заставлял, то все равно не садился в это кресло, словно боялся, что вот-вот войдет эта женщина, и... ну, будто предъявит мне билет на занятое мной место... И я ждал ее, хотел, чтобы она вошла и села. Я знал, что если она однажды не придет, то не придет больше никогда. И не потому, что ее госпитализированный кто-то выздоровеет, а наоборот... И ей станет больше незачем и некуда, и незачем вообще... Я не говорил с ней об этом, и она все время молчала, глядя в окно, но я прочел это в ее глазах.

– Это будет уже четвертая операция», – сказала она мне однажды, вдруг.

Видимо, и в моих глазах можно было прочесть мои мысли. Я не спросил, что за операция, но и она не ответила на мой немой вопрос. Не онкология – точно, в отделении я, вроде, всех знаю. Из «моего» отделения сюда приходит покурить другая, помоложе.

Вообще-то в курилке не все появляются с одинаковой целью. Таких, что забегают каждый час-полтора из-за никотинового голода, – меньшинство. С этими и поговорить не успеваешь: высасывают сигарету за несколько глубоких затяжек – и исчезают. А есть такие, как эта, что помоложе. Она приходит, изящными, виртуозными движениями пальцев доставая тонкую, дорожную сигарету одной рукой так, чтобы из кармана фирменной курточки выглянула, на долю секунды, фирменная пачка, а другой выщипывая из заднего кармана обтягивающих брюк новейшей марки плоский мобильник, ловко набирая на ходу номер и немедленно начиная говорить в него. С ней тоже некогда даже поздороваться.

Есть еще вот такие, как тот религиозный, в высокой ермолке и черном жилете. Он очень неловко мнет в руке сигарету, просит прикурить и пыхает дымом, зажав сигарету между большим и указательным пальцами, близко-близко к фильтру. Он приходит поговорить, но не решается, видимо, не умеет общаться с людьми без ермолок... Неловкими движениями губ он словно выжимает дым из сигареты в рот и сразу же выплевывает его наружу. Так несколько раз, и бросает окурочек – прикурочек, я бы сказал, – так и хочется иногда поднять и докурить, жалко: «Parliament» – дорогие сигареты, хорошие.

– Странно, – говорит женщина в кресле, когда ермолка исчезает из поля ее зрения, – почему он все время дежурит у отца, все время один – а ведь у религиозных обычно большие семьи.

– А вы – почему все время только вы? Вы единственная у вашего отца?

– Нет, просто папа уже написал завещание, все уже знают, кто что получит.

Она снова повернулась к окну, словно отвернулась от возможного вопроса в моем взгляде. Я отвел глаза, чтоб она не опознала ту пошлость, которая-таки была в моих мыслях.

– Завтра ты идешь с мамой к социальному работнику оформлять документы, – сказала в мобильник та, что помоложе, не терпящим возражений тоном. – Что значит – почему именно ты? Потому что если я приеду туда на новом «прайвете» и появлюсь в одежде из эксклюзивного бутика, маме дадут минимум часов и пособий, а с тобой – максимум! Нет, я не могу без машины даже один день, даже час не могу, я постоянно в деловых разъездах. И не могу одеться поскромнее – у меня такая работа, статус. Я понимаю, что рабочий день, но я в час потеряю больше, чем ты за день зарабатываешь,

не сравнивай! Знаешь что? Ты со мной таким тоном не разговаривай, брат называется!

Я взглянул искоса на женщину у окна. Мне показалось, что и она чувствовала неловкость. Было унинительно присутствовать при этом разговоре. Не из-за содержания и тона, а оттого, что говорила та, что помоложе, считая, что при нас можно не стесняться, или словно нас вообще не было рядом, будто мы были пустым местом. Она договорила, докурила и ушла, так и не посмотрев в нашу сторону. Обсуждать происшедшее не было желания, но и уйти, не развеяв напряженное молчание, не хотелось. Можно было бы предложить женщине у окна выкурить еще по сигарете, но этот перекур и без того затянулся. Или лучше посмотреть на часы и, разведя руками, заспешить в отделение?

— Хорошо, что она вышла в курилку для этого разговора, — сказала женщина, глядя в окно.

— Да, — согласился я, но получилось протяжное «да-а-а» — я представил себе этот разговор у постели больной... — Да, хорошо, — режюмировал я, облегченно вздохнув и улыбнувшись, на этой ноте можно было спокойно разойтись.

Длительные, мучительные процедуры в онкологии, предоперационный период бесчисленных анализов, консилиумов, проверок и оформления бюрократических бумаг в других отделениях требовали постоянного присутствия родственников. Их не может заменить ни филиппинка, ни самая лучшая сиделка ни за какие деньги. Мы привыкли друг к другу в курилке, свыклись с характерами и привычками. Лестничная клетка с креслом у окна, мусорной корзиной в углу и огнетушителем на стене превратилась в салон эксклюзивного клуба. Трудно представить, на что она стала похожа в глазах религиозного в высокой ермолке и жилете, но и он стал чувствовать себя среди нас более комфортно.

— Я не единственный ребенок в семье и не единственный сын. Во время первых госпитализаций и предыдущих операций вся семья дежурила здесь. Но в этот раз отец запретил: мол, хватит тратить на него драгоценное время, ему уже за семьдесят, толку от него уже не будет, поэтому тратить на старика время — тратить его зря. А это — битуль Тора, страшный грех. Для желающих исполнить заповедь почитания родителя достаточно навещать его раз в неделю. Но я не выдержал, не послушался. Понимаете, я — последыш, самый младший. Я еще не успел даже жениться. Я не знаю, как найду себе невесту без помощи отца, тем более не могу представить, что его, не

дай Б-г, не будет на моей свадьбе. Всем моим братьям и сестрам он нашел подходящие пары. Тому из сыновей, кто был не силен в учебе, выделил долю в бизнесе и порекомендовал хороший колель^{*} для учебы по вечерам, а жену ему нашел скромную, бесприданницу, зато отличную хозяйку. Тому, кто отличился в йешиве, нашел богатую невесту, чтобы не нужно было заботиться о зарботке, а ей – почет как жене мудреца. Вот и на меня он сердится за то, что из йешивы к нему убегаю. Шутит, что не знает – то ли давать мне долю в деле, то ли оставить в йешиве, и каждый день экзаменует меня, всерьез: что учил, что выучил... Прямо так, больной, лежа в постели, по памяти – он у меня такой: весь Талмуд и Шульхан арух наизусть знает!

Ему надо было выговорить все накопившееся в душе, и он не обращал внимания на то, что в какой-то мере шокировал своих слушателей: даже тех из них, что были знакомы с мнением мудрецов Талмуда: «...тринадцатилетний готов для выполнения заповедей, восемнадцатилетний – для женитьбы, сорокалетний – знаток, пятидесятилетний – учитель, шестидесятилетний – мудрец, семидесятилетний – старец, а восьмидесятилетний – все равно что мертвый», – они относились к этому лишь как к метафоре. Но жить по этому регламенту и в восемнадцать волноваться о женитьбе, а в семьдесят с чем-то – самого себя «похоронить»? Однако искренность этого парня в ермолке пленила, и никто не посмел его перебить, тем более – иронизировать по поводу его инфантильности или усомниться в мудрости Талмуда.

– Я не знаю, о чем вы говорили в последний раз, когда ты навещал ее, но я чувствую, что это – твое влияние!

Все мы оглянулись друг на друга, но запоздавший скрип пружины, захлопывающей дверь из отделения в курилку, обратил все взоры в одну сторону: на лестничной площадке появилась молодая, та самая – в фирменном костюме и с мобильником, в который она почти прокричала невольно привлекающую наше внимание фразу.

– Я добилась для мамы внеочередных процедур, я договорилась с лучшими врачами, я заплатила тридцать тысяч за новейшее лекарство, я заставила их перевести ее в отдельную палату, а она от нее отказалась. Не просто отказалась, а демонстративно: ее соседка по палате, видите ли, не менее больна, и маме неудобно оттого,

^{*} Колель – религиозное учебное заведение для женатых мужчин.

что для кого-то всего добиваются, а для другого – ничего. В общем, она хочет, чтоб я и для соседки этой договорилась об операции вне очереди и лекарство ей оплатила! Я понимаю, что взаимовыручка и милосердие – это хорошо, но почему все – за мой счет? Поверь мне, когда мама встанет на ноги, я пожертвую на больницу или даже побегу в синагогу и... Ты со мной согласен? Спасибо! Теперь сделай так, чтобы и мама была согласна.

Эlegantным движением пальцев она сдвинула вместе обе части мобильного-«слайдера» и, прикурив тонкую «дамскую» сигарету, которую во время разговора теребила в свободной руке, качком головы откинула назад челку – и тут наконец заметила, что оказалась в центре всеобщего внимания. Несмотря на то, что говорила она по-русски, содержание разговора было понятно всем – по тону, жестике и некоторым ивритским словам, которые она вставляла в свою речь.

– Слика,* – на всякий случай произнесла модница, обращаясь к религиозному, словно дело было в том, что она перебила его монолог.

Тот тоже не понял – к нему ли обращалась молодая фирмачка или все же она решила извиниться перед всеми за невольное посвящение их в интимные подробности своих семейных дел. А может быть, это «слика» не было обращено ни к кому, нужно было только ей самой, чтобы снять собственное нервное напряжение.

– Я знаю, что лекарства очень дорогие, ситуация сложная, – отвлекшись от своей темы, все-таки обратился к ней парень в ермолке и, оглянувшись вокруг, будто ища поддержку или проверяя, не слишком ли шокирует публику, вступая в контакт с молодой женщиной, продолжил: – Я могу помочь, у меня есть деньги...

Он суетливо, словно боясь, что его опередят, достал чековую книжку и выписал чек.

– Десять тысяч достаточно?

– Слика... – только и смогла произнести ошарашенная энтузиазмом молодого ортодокса женщина. В глазах окружающих можно было прочесть широкий спектр чувств: любопытство, настороженность, иронию, солидарность и сочувствие.

– Нет, спасибо, но я не беру... – с неожиданной для нее самой растерянностью произнесла модница, прекратив затянувшуюся на целую минуту немую сцену. Новую немую сцену предотвратила какофония аварийных сирен под окном, у въезда в больницу. Просто

* Извините (*иврит*).

сирена «скорой помощи» не привлекла бы столько внимания, но когда к амбулансам присоединяются полицейские сирены, а затем – и пожарная....

– Теракт! Это точно – где-то произошел теракт! – завопил один из курильщиков, из тех, кто забежал именно покурить, – Набери «звездочка-двадцать два», там передают новости! Ну, дай мне мобильник, дай – я позвоню! – стал он напирать на обладательницу модного «слайдера».

– Слива!.. – в который уже раз воскликнула она, снова невольно оказавшись в центре внимания, и подняла руку с мобильником повыше, будто защищаясь или оберегая аппарат.

– А что? Я всегда прошу в таких случаях на работе или даже на улице... – пытался беспардонный курильщик получить легитимацию от окружающих.

Женщина в кресле прислонилась лбом к стеклу, то ли разглядывая суету парамедиков за окном, то ли ища спасения от внезапного приступа головной боли в прохладе стекла. «Шир га-маало-о-от...» – высокий голос парня в ермолке перекрыл сирены за окном, заставив всех вздрогнуть. Его раскачивающаяся фигура постепенно загипнотизировала присутствующих. Не отрывая взгляда от ермолки, шевеля губами, словно вторя псалмам, и оставив попытки заполучить мобильный телефон, курильщик стал шарить по карманам, словно в поисках молитвенника или кипы. Обладательница «слайдера», глядя вокруг широко раскрытыми глазами, неожиданно для самой себя набрала «звездочка-двадцать два» на панели мобильного, продолжая держать его чуть выше уха. Чек на десять тысяч, который пытался вручить ей парень в ермолке, валялся у ее ног рядом с оброненной ею сигаретой и автобусным билетом, выпавшим из чьего-то кармана.

Никто не заметил женщину в белом халате из медперсонала, поднявшуюся в курилку по лестнице.

– Автобус... Два автобуса... – это бормотанье отвлекло присутствующих от ритмичного, как метроном, покачивания религиозного парня.

Покрутив головами туда-сюда, словно заново ориентируясь в обстановке после минутной дремы, все уставились на нелепо застывшую с мобильником над головой молодую даму. Это она бормотала вдруг затрясшимися губами, повторяя сообщение службы новостей, едва слышно звучащее из миниатюрного аппарата.

– Два автобуса взорвались... Два шахида... Полиция перекрыла все дороги... Все больницы города на экстренном положении...

– Ну вот и хорошо, что вы уже в курсе, – решительно вклинилась в разговор женщина из медперсонала, – и, как вы уже поняли, и наша больница тоже перешла на экстренный режим. У меня личное сообщение для вас, – кивнула она в сторону молящегося ортодокса, – отойдем в сторону.

Белый халат отделился от курильщиков на несколько шагов, длинная фигура в ермолке, пошатываясь, медленно последовала вслед. Они оперлись на перила на небольшом расстоянии один от другого. Женщина глядела вниз, в лестничный пролет – то ли зная о том, что ортодоксы стесняются женских взглядов, то ли не в силах сообщить неприятную весть, глядя в глаза собеседнику. Тихий голос ее, вслед за взглядом направленный в лестничный пролет, гулко отдавался эхом, и все присутствующие невольно подслушали конфиденциальный разговор.

– На сегодня были запланированы две операции – вашему отцу и отцу вот той женщины у окна. Мы вынуждены, из-за экстренной ситуации, отменить одну из них и решили перенести операцию вашему отцу на завтра, как минимум, – пока медсестры не освободятся от ухода за ранеными в теракте.

Молодой парень пошатнулся, его ермолка едва не свалилась в пролет.

– Как – на завтра? – прошептал-простонал молодой ортодокс, рукой прижимая ермолку к голове, – ведь может оказаться уже поздно...

Он повернулся к нам. Взгляд его блуждал по нашим лицам, словно ища ответа на немой вопрос. Хорошо, что курильщики заслоняли собой женщину у окна от этого взгляда, – никто из нас не знал, как бы каждый повел бы себя, оказавшись перед такой дилеммой. Вдруг он встrepенулcя, взглянул на свои руки и, охнув, стал водить взглядом по полу курилки. «Чек... пожертвование...», – бормотал он, согнув колени и упираясь в них руками, вглядываясь в каждую валяющуюся бумажку. Найдя, наконец, оброненный чек, он выпрямился и, топчась на месте, поворачиваясь по часовой стрелке, огляделся вокруг в поисках молодой фирмачки, которой пытался недавно всучить его. Но она пропала, исчезла из курилки, неожиданно для всех – тихо, не хлопнув дверью.

– «Пожертвование спасает от смерти», – пробормотал он, словно сам себе напоминая цитату из мидрашей. – Вы не помните – она держала этот чек в руках? – обратился он с вопросом к окружавшим

его. – Если держала, то он уже принадлежит ей... Я не знаю – вправе ли я теперь пользоваться этими деньгами и могу ли передать это пожертвование в другие руки... А ведь, может быть, в этом – спасение моего отца!

Эти галахические тонкости были настолько непонятны курильщикам, что он, прочтя на наших лицах лишь сострадание и растерянность, в отчаянии шлепнул себя по бедру, и на глазах его выступили слезы.

– Я должен посоветоваться с отцом, он наверняка знает, как поступить!

С этими словами он стремительно покинул лестничную клетку. Все оставшиеся в курилке достали по сигарете и стали совать друг другу под нос зажигалки, предлагая прикурить.

– Бедный мальчик – он поседает сегодня, – проговорила женщина у окна, решительно вставая с кресла. – Не представляю, как он это переживет...

На фоне огромного окна, через которое пробивались лучи яркого солнца, она оказалась окруженной нимбом из зазолотившихся пылинок и серебристых завитков табачного дыма. Женщина медленным, но уверенным шагом пересекла лестничную клетку в направлении двери в отделение. Я заворуженно глядел ей вслед. Она уходила в этом туманном нимбе, непривычно стройная, будто помолодевшая...

Постояв некоторое время молча, глядя на дверь, за которой она скрылась, и не затягиваясь дымящимися меж пальцев сигаретами, курильщики вдруг вспомнили, что не позвонили родным и знакомым – не выяснили, где были те во время теракта. Все вдруг засуетились и разбежались, кто – говоря на ходу по мобильнику, кто – доставая из карманов телекарты и записные книжки. Вой амбулансов на улице уже смолк, и обычная больничная тишина вернулась на площадку.

...Настала суббота, целые сутки я не был в курилке. На исходе Шабата я первым делом поспешил туда. Не никотиновый голод под-

гонял меня. Я возвращался, как ребенок, отозванный родителями со двора делать уроки. Войдя в курилку, я даже не вынул сигарету из пачки – стоял и тупо смотрел на пустующее кресло у окна. Я знал, что когда-нибудь оно опустеет или его займет кто-то другой. Но вот так, не попрощавшись с его предыдущей «хозяйкой»... «Никого не пущу, никто в него не сядет», – подумал я ревниво и неожиданно для самого себя опустился в кресло и сидел некоторое время, глядя в окно и так и не закурив.

Внезапно передо мной появилась фигура в черном жилете. Парень в ермолке словно взлетел по лестнице в курилку – наверно, скакал через три ступеньки одним махом.

– Позавчера отца прооперировали, успешно! Завтра утром мы забираем его домой! – широко улыбаясь, поделился он со мной своей радостью, по-компанейски угощая меня шикарной сигаретой. – Отец сказал мне, что чек я должен обязательно пожертвовать, если не той женщине, что отказалась, то все равно кому, но на лекарства, как и желал вначале. Я побежал в офис больницы, оформлять пожертвование, возвратился – а мне говорят, что папу уже оперируют. Ну – не чудо?

Он восторженно размахивал руками и в перерывах между фразами впервые глубоко и с удовольствием затягивался ароматным дымом. Я же, сделав несколько затяжек, встал с кресла, и, затушив едва раскуренную сигарету, пошел вон из курилки. Обернувшись на ходу, я, машинально улыбнувшись, сказал парню: «Мазаль тов»*, – и вошел в отделение. Спустившись на лифте на этаж ниже, я столкнулся лицом к лицу с женщиной из медперсонала – той самой, что сообщила тогда в курилке об экстренной ситуации.

– Где Женщина-У-Окна? – спросил я ее.

На секунду опешив, та пожала плечами:

– Меня не было здесь весь Шабат. Я работала у раненых, в другом отделении. Я сама только что узнала, что час назал она забрала его домой. Я не видела еще его медицинскую папку и не знаю, в чем дело. Может быть, они отказались от операции, а может – по-

* Поздравляю (ивр.).

следние анализы показали улучшение. И в медицине иногда случаются чудеса.

Я вернулся в курилку. Она была полна людей. В кресле у окна сидела незнакомая молодая девушка с опухшими от слез глазами.

— У вас все будет хорошо, — сказал я ей уверенно и наконец-то с наслаждением затянулся сладким дымом послесубботней сигареты.

Тригорий Люксембург

И СОТВОРИЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА

1

Нет, все равно я не слышу запаха цветов, не удивляюсь красоте их. Но какой-то древний рефлекс, какая-то забытая сила тянет руку к цветам, потом подносит их к лицу. Устало валюсь на весеннюю траву; говорю себе шепотом:

«Не думай о настоящем, думай, например, о городе Львове. Какие там чудные церкви и костелы. Где еще в мире встретишь такой парк, как Стрийский! Там тихо и никогда не стреляют. Господи, совсем забыл про кладбище. Лычаковское кладбище! Там спят храбрые рыцари и прелестные дамы. Там, между древними склепами, среди дубовых и бронзовых распятий; среди белочек, скачущих по мраморным надгробиям, ходил я, как в потустороннем мире, и снег под ногами казался мне большим облаком в небе. И как я боялся, что когда-нибудь кончится это облако и я упаду на землю прямо под колеса трамвая! И огненно-красные вагоны со скрежетом на самом крутом повороте к кладбищу вытянут из меня кишки... На этом кладбище я любовался искусством смерти. Как долго и старательно готовились эти рыцари и красавицы к жизни в таком сказочном мире! А тут, на Голанах, мальчишки, может быть, впервые выйдя из дома, сгорали в самолетах, в танках, в окопах. И никакого торжества и величия. А только горечь, горечь...

Ну что, тебе и вспомнить не о чем, кроме как о смерти и о каком-то заснеженном кладбище во Львове? Были же другие города, где не пахло ни смертью, ни склепами».

Я перевернулся, чтобы согреть на солнце заледеневшую спину, а лицо мое уткнулось в траву и цветы. Как давно мое лицо не знало такой простой ласки! Карелия? Закарпатье? Алтай? Мне уже некогда вспомнить, когда это было в последний раз. Теперь это здесь, на Голанах. У молодой яблоньки стоит мой танк, отравляя окрестный воздух запахом керосина и жженого пороха. Ребята из моего экипажа качают примус и варят кофе. Лица черные от стрельбы и

пыли, и похожи они скорее на играющих детей, нежели на солдат побеждающей армии. Особенно этот Фетуси. Господи, знает ли его мамаша, в каком пекле пребывает ее дитя? Однажды ночью, когда мы были вместе в патруле и спать обоим хотелось до смерти, Фетуси, вдруг очнувшись, признался мне:

– Знаешь, Цви, какую жизнь ведут ребята моего возраста в Америке? Су-ма-сшед-шу-ю! Рестораны, машины, заграничные путешествия! А я школу кончил и – через месяц прямо в танк. Вот и путешествую по Сирии! Даже выпасться не успеваю. Расскажи, Цви, что-нибудь о России.

Я стал ему рассказывать про белое снежное облако на кладбище, и Фетуси быстро уснул. Мне было жаль его будить, и из-за моей жалости пострадал наш бедняга. Командир полка, поймав его спящим на посту, судил несчастного Фетуси в то же утро. Три дня он отсидел в тюрьме. Когда Фетуси вернулся оттуда, я утешил его, сказав, что в России за такой проступок его бы расстреляли на месте.

– Фетуси, – кричу я, – и для меня чашечку не забудьте.

В экипаже водитель танка – личность уважаемая. Не знаю, откуда взялся такой закон в армии. Просто водитель должен быть в форме: для него – и лучшая постель, и лучший паек. А Фетуси заряжает пушку. Он вытаскивает из гнезда снаряд весом сорок три килограмма и заталкивает это чудище в ствол. Потом оттягивает длинный рычаг, закрывая затвор. Командир экипажа кричит ему из люка: «Заряжай!» – и Фетуси вставляет в затвор гильзу-запал. Через секунду наводчик Ури находит цель и кричит: «Готово!», – за ним Абас: «Огонь!», – и Фетуси, прижавшись тоненьким тельцем к стенке танка, дергает шнур. Дергает раз, другой – и только на третий раз раздается взрыв. Уши мои давно одеревенели, но по привычке прижимаю наушники изо всех сил. Потом все повторяется сначала. И вся-то война, кажется мне, держится на шее нашего бедного Фетуси.

Есть, правда, в экипаже еще один «чернорабочий» – Сука-Слепак. С моей легкой руки его стали так называть. Он согласен на это имя, лишь бы только не работать. Делает вид, что ему страшнее всех. И будто бы со страху он забивается в угол танка, закрыв глаза

и зажав уши. Так что, если на одного израильтянина приходится десять сирийцев, то на Фетуси – двадцать. А на Суку-Слепака не приходится ни одного.

«К черту, Цви, этого Суку-Слепака, к черту, роднулечка, всю эту войну, – думаю я, греясь на весеннем солнце. – Думай-ка лучше о своем Сальери. Нашел же он тебя!»

Появление Сальери всегда сопровождалось знаменами: то снились сны с какой-то чертовщиной, то кто-то из друзей моих попадал под машину или заболел венерической болезнью. За день до приезда Сальери в Израиль началась война Судного дня.

В этот день подбили три наших танка, один за другим. Был первый день войны, и только мой танк еще не горел. Сирийский танк приблизился к нам в сумерках и, никем не замеченный, тремя выстрелами подбил три наших танка. Три факела осветили местность, и Абас тут же увидел сирийцев, и первым же выстрелом долбанул их стального советского монстра. Одному сирийскому танкисту удалось выскочить из огня. На нем горело все – и одежда, и волосы на голове. Он был похож на дикого эскимоса, запахнутого в пышную сверкающую шубу. Он даже хлопал руками по груди так, будто ему страшно холодно. Но вместо того, чтобы валяться и гасить на себе огонь, танкист побежал вдруг к моему танку, размахивая руками и что-то крича. Я, не отрывая глаз от перископа, дрожащими руками повернул до отказа ручку люка. Танкист был уже настолько близок, что можно было разобрать черты лица в огне. Вместе с моим сердцем содрогнулся многотонный танк. Я чуть не выломал рычаг скорости, включая задний ход. Я дал полный газ и зажег фары. Горящий Сальери бежал на меня, улыбаясь и приказывая жестом остановиться. Абас дал длинную очередь из пулемета, но пули от ricochetили от Сальери, как от стальной балки, и с жалобным визгом разлетались в стороны. Ури кричал мне по рации:

– Вперед, Цви, вперед! Раздави его скорее, это же сатана!

– Куда же ты, Цви? – прервал его знакомый голос Сальери. – Впусти меня, это же я спас ваш танк.

Обалдев от ужаса, я развернул танк и понесся, не разбирая до-

роги и рискуя нарваться на мину или сорваться в пропасть.

А ночью, когда мы спали, кто-то открыл запертый люк, влез в танк и поцеловал меня спящего. Проснувшись, я узнал Сальери.

«Если Сальери с тобой в Израиле, то в танке ты уже не сгоришь, мой дорогой Цви. Не затем он явился сюда».

Он нашел меня в двенадцать лет, и с той поры жизнь моя полна трагедий и грехов. Пацаном он бросил отца и мать, чтобы быть только со мной. Женившись, он продолжал жить с женой и ребенком в моей малюсенькой комнате. А теперь он оставил всех и явился сюда, чтобы клевать мою душу. Моя душа – единственная пища Сальери, я это знаю.

На следующую ночь после боя мы пили хорошую водку и Сальери, напившись вдрызг, плакал и целовал меня в губы, как бабу, – слюняво и жадно. А после, как и в Ташкенте, он стал говорить мне, что если бы Бог создал его женщиной, то мы бы непременно стали мужем и женой. Утром наши танки уже были под огнем, а Сальери храпел в палатке до самого нашего возвращения.

И тогда я вспомнил Светку. Руки и ноги у меня отнялись, а душа, как тяжелый снаряд, вырвалась в голубое небо и разорвалась на тысячу воспоминаний. Светик мой, душа моя! Мы расставались глубокой ночью, и я писал мелом на асфальте Пушкинской улицы бесконечные стихи о нашей любви. А когда кончалась улица, я продолжал сочинять на черных воротах и на длинных заборах. А потом тебя убил Сальери. Изнасиловал и убил. Он рассказал это всем, и мне тоже. Он улыбался при этом, и лишь тогда я впервые заметил в его улыбке три золотых зуба. А через месяц Сальери снова пришел ко мне. Он валялся в ногах и просил прощения. Мне, убитому горем, он объяснял, что никто на свете не любит меня сильнее, чем он, что девочек у меня еще будут тысячи, а такого друга я больше не встречу. И тогда я понял, что это дьявол.

Вернувшись с Голан, Сальери поспешил к моим родителям и рассказал им, что такого труса, как их сын, он сроду не видывал.

О, Господи, лучше уж думать о войне и смерти, чем о Сальери и

Светке, и обо всем, что было и будет со мной на этом свете.

Застонал Фетуси. Я посмотрел на танк. Сука-Слепак дубасил ботинками валявшегося на земле Фетуси. Фетуси свернулся, как еж, пряча живот и лицо. А Сука-Слепак норовит попасть ему только в лицо. Абас и Ури кричат что-то, но не встают со своих мест. Я бросился на Суку-Слепака, и мы повалились на камни. Он пытался вырваться, ругался, и пена из его сучьего рта летела на меня, и я думал только о том, как бы от этой слюны не появились язвы на моем лице. Я свернул его, как барашка. И услышал спокойный голос Фетуси:

– Отойди от него, Цви. Все отойдите, – сказал Фетуси.

Он торчал в командирском люке, и дуло башенного пулемета было направлено на меня и Суку-Слепака. Абас и Ури прыгнули к нам и закрыли собою Слепака. Какое-то мгновение мы молча глядели в маленькое черное отверстие пулемета и в два таких же черных зрачка Фетуси. Все были так неподвижны и тихи, что какой-то дурной воробей сел на башню танка рядом с Фетуси, но тут же исчез. Абас сказал Фетуси что-то по-арабски. Они оба из Марокко.

– Плевать я хотел на такого солдата, на его толстую морду и на его Россию, – Фетуси говорил очень спокойно, хотя по его грязному лицу все еще текли слезы. Он держал нас на мушке.

– Фетуси, кончится война, и он уедет куда захочет, – сказал я. – Пусть едет в свой Вильнюс, где ему так сладко жилось. У него там собственная дача у Балтийского моря и моторная лодка. Там никогда не будет войны, там он откупится от армии, и его морда будет вечно висеть на заводской доске почета.

Я нарочно говорил так вычурно и длинно, чтобы заморочить голову Фетуси. Но, видит Бог, я говорил все это от чистого сердца, ибо постоянное брюзжание Слепака о богатстве, оставленном им в России, о том, как его обманул Сохнут, его проклятия на весь народ Израиля давно извели весь экипаж. И, еще не зная причины этой стычки, я догадывался, что Сука-Слепак наверняка опять завел старую пластинку.

Сука-Слепак прятался за нашими спинами. Он знал, что игра кончена и Фетуси не шутит.

– Фетуси, – сказал Абас уже на иврите, – если Бог узнает, что мы друг друга убивать стали, – конец всем нам и всему Израилю. Ты же видишь. Бог привел его в Израиль.

– Пошел он к черту, – сказал Фетуси. – Я только хотел видеть, как он, собака, в штаны наделает.

Он вылез из танка, прыгнул и пошел к соседнему экипажу, где пили кофе и пели песни о прекрасном Кинерете и золотом Иерусалиме.

Я посмотрел на Суку-Слепака. Пена на его губах затвердела грязной коркой, а глазки вновь остервенели.

– Чтоб все вы тут сгорели в своих танках, – зашипел Сука-Слепак. – И ты, предатель, ты тоже сдохнешь со своими черномазыми братьями.

Я врезал Слепаку в самую пасть. Было бы лучше и надежнее ударить по челюсти. Но кулак сам нашел его пасть. Он свалился и заткнулся. Ури пришлось вызвать по рации врача. Слепака увезли. Замену не прислали. Никто из экипажа не требовал ее.

2

Четыре наших танка второй день стояли в яблоневом саду. Я удивлялся, как это нам удалось не повредить ни единого дерева. И будто в благодарность за это деревья засыпали танки белыми цветами. Прямо над головой белела снежная вершина Хермона. Я читал в Библии о сотворении мира...

– «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божью сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».

– Шабат шалом, Ури! – крикнул я.

– Шабат шалом, Цви! – ответил мне танк. Вот почему так прекрасно это утро: суббота на Голанских высотах!

– «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в этот день почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал».

Первый снаряд упал прямо под ноги Абасу. Он стоял в двадцати метрах от танка, накрытый талесом, читая субботнюю молитву. Через секунду все уже сидели в танках, задраив люки. Глядя в перископ, я искал место, куда упал первый снаряд. Сейчас они падали по всему саду, вздымая в небо деревья и камни. Место, где стоял Абас, я не находил. Я завел танк и стал медленно разворачиваться. В наушниках раздался голос Фетуси:

– Давай, Цви, давай!

А потом закричал командир батареи:

– Абас! Заглушить моторы! Никому не трогаться с места!

«Вот как получается, – думал я, продолжая разворачивать танк на месте. – Для многих ты еще жив, Абас. Тебе еще шлют приказы, на тебя еще кричат, еще в дороге письма от твоей подруги, а твоя мама стоит, возможно, не почте в Иерусалиме и кладет записочку на самый верх посылки, полной печенья и конфет. А я уже вижу в перископ то место, где ты стоял. Я медленно, на первой скорости, на самом тихом ходу, чтобы командир батареи не ругал тебя так жестоко по рации, приближаюсь к тебе, Абас. А в наушниках голос взбесившегося командира: “Абас, не валяй дурака! Абас, хочешь людей погубить?! Возьми себя в руки и не трусь, Абас!” И я назло, желая продлить твои последние минуты, Абас, молчу и еду к этому месту».

Вот рядом, на яблоне, висит опаленный талес нашего Абаса. Талес накрыл яблоню сверху и можно подумать, что это Абас стал цветущим деревом и продолжает читать субботнюю молитву.

– Стой, Цви, – услышал я голос Ури. – Ведь он тут всюду может быть, под каждой травинкой.

Я резко нажал на тормоз и заглушил мотор. Закрыв глаза, я спокойно слушал, как рвутся вокруг снаряды, зная, что в этот день уже никто не погибнет. Ибо душа нашего Абаса, вырвавшись из субботней молитвы, стоит сейчас у престола Господня и молится за наш танк.

3

Все, что осталось от Абаса, увезли на амбулансе. А на том месте, где он погиб, мы собрали памятник. Высокую грудку черных камней окружили ржавой гусеницей подбитого сирийского танка. На камни поставили гильзу от снаряда с тюльпанами. Вокруг гильзы сложили все то, что прежде принадлежало Абасу: каску, клочки формы, в которой он погиб, обожженный молитвенник и еще какие-то книги на иврите и английском, открытки от подруги и письма от мамы. А над памятником – молодая яблоня, накрытая шелковым талесом.

4

Потом мы сидели в танке и курили. Фетуси приклеивал фотографию Абаса к задней стенке танка. Улыбающийся Абас сидит на капоте трактора, а внизу его мать и отец, вокруг хлопковое поле, белое-белое.

– Теперь командиром будешь ты, – сказал Фетуси и посмотрел на Ури.

– А ты наводчиком, Фетуси, – ехидно сказал Ури. – И когда моя фотография будет рядом с ним, ты станешь, наконец, командиром. Если хочешь, приклей ее сразу, пока все под рукой, – и он полез в карман за фотографией.

– Дурак, – сказал я и вылез из танка.

На траве, рядом с танком, сидел наш новый «чернорабочий» Павлик Антоколь, филолог из Москвы. Он был зол, что попал в экипаж такого невезучего танка, а мы, даже не впустив его к себе, поручили ему чистить башенный пулемет. Павлик работал усердно и

ловко, сознавая важность этой штуки в танке. Он попал мне под руку как нельзя вовремя, и я вывалил ему оглохшее сердце. Павлик слушал меня, продолжая работать, и лишь его частое «ну да, ну да» подтверждало, что он внимателен.

— Ты знаешь, Павлик, мне всегда казалось, что я приехал в эту страну лишь затем, чтобы защищать этот маленький храбрый народ. Мне казалось, что я Дон-Кихот, вставший на защиту чужих, но симпатичных мне людей. Я держался особняком и никому не позволял прикоснуться к стене, которую я воздвиг между собой и израильтянами. Они жили своей жизнью, а я своей. Но вот погиб Абас на моих глазах. В первый день войны сгорели три наших экипажа и только мой танк остался. Теперь меня тошнит от всей этой теории. Скажи мне, Антоколь, почему этот странный народ, эти израильтяне, должны умирать тут, на Голанах? Для того, чтобы после победы сюда съехалась жидовня со всего мира? А сейчас она жрет жирные борщи в России и выключает радио, когда передают новости о нашей войне. Нет, Павлик, сейчас мне не жаль тех, кто сгорел в Освенциме и расстрелян в Бабьем Яре. Сейчас мне хочется, чтобы те, кто остался в живых и плюнул на нас, выли от боли и горя. Один еврей-коммунист сказал мне перед отъездом, что, будь в его руках атомная бомба, он, не задумываясь, бросил бы ее на Израиль. Так зачем же мне скорбеть по нему, когда его, падлу, сгноят в Сибири или спалят в Освенциме?

Я так кричал и трясся, что Павлик отложил свой пулемет и с изумлением глазел на меня.

— Да, Павлуша, многие из них были бы счастливы, если бы Израиль провалился к чертовой матери. Тогда они могли бы спокойно и с чистой совестью лизать задницу своим хозяевам. Нет, Павел, никого из них мне не жаль. И один живой Абас мне дороже и ближе всех этих рабов вместе взятых.

— Заткнись, парень, — остановил меня Павлик Антоколь. — Мой дед расстрелян там, в Бабьем Яре...

— Ну, дай мне в рожу за то, что я оскорбил память твоего деда, павшего геройской смертью за свой народ в Бабьем Яре, — я так распалился и размахался, что не заметил, как собрались вокруг

танкисты, слушая наш дурацкий разговор. — А у меня Абас, мой друг, командир еврейского танка, погиб сегодня. Понимаешь ты разницу, филолог, внук великого деда? Гляди, как нужно умирать!

Я схватил Павла за шиворот и поволок его к яблоне, накрытой талесом. Я сам чувствовал, что вот-вот лишусь рассудка. Ребята вмешались и вырвали из моих рук несчастного, ничего не понимающего Павла.

А я встал на колени перед памятником и плакал, проклиная мировое еврейство, бросившее нас.

5

В военный госпиталь на окраине Цфата, где я лежал со сломанной ногой, приехал Сальери. Он внес в палату большую корзину с водкой и пивом. Он был здоров и чертовски красив.

— Это ребятам, — сказал он без проволочек. — А ты одевайся, и поехали в Тверию гулять.

— Сальери, — взмолился я, — ты же видишь, я наполовину в монументе! Да и врачи меня не выпустят.

— Врачи уже пьют мою водку за твое здоровье. Одевайся — и в машину.

Я одевался и думал, что уже никогда не смогу воспротивиться Сальери, настоять хоть раз на своем. Ребята в палате пили дармовую водку и восхищались щедростью Сальери. Мы тоже выпили по стакану на дорогу, и Сальери понес меня на плечах к машине.

Хозяина ресторана на берегу Кинерета ничуть не удивила моя больничная пижама. У Сальери были полные карманы денег, и для хозяина это было куда важнее. У Сальери всю жизнь были деньги, и я всегда гулял за его счет. И сегодня я тоже гулял за его счет.

После первой бутылки водки Сальери сбросил маску и взялся за дело.

– Ну что, – сказал он, улыбаясь и обнажая золотые зубы верхней челюсти. – Нашел-таки способ сбежать с фронта?

– Оставь, Сальери, пощади меня хоть раз, – замямлил я. – Послушай лучше мой новый стих.

– Ну, валяй.

И я, склонив тяжелую голову на руки, прочитал:

*Я «Гамлета» читаю в танке,
Я Гамлета не перерос.
Мне не достичь рекордной планки
Его ответ: «Вот в чем вопрос!»*

*Снаряды, танк мой пробивая,
Торопят: быть или не быть.
Но, к небу руки простирая,
Я смерть прошу остановить.*

Откупоривая вторую бутылку, Сальери сказал, с ненавистью глядя на меня:

– Чушь собачья! Вот лучше послушай настоящие стихи.

И он стал читать Пастернака, Мандельштама и Ахматову. И я вспомнил, как он читал эти же стихи обалдевшей девочке, в этом же порядке, пять лет назад в поезде Ташкент-Москва. Она впервые слушала эти чудеса и в ту же ночь отдалась Сальери. Это был его неотразимый способ охмурять женщин.

Потом мы ехали по ночной Тверии, и пьяный в стельку Сальери кричал в открытое окно машины:

– Извините, господа хорошие, где тут у вас сутенеры?

А я сидел и помирал со страху: как же это я лягу сейчас с женщиной со своей загипсованной ногой? А Сальери обнаглел совсем. Он выехал на большую площадь в самом центре Тверии, вылез из машины и заорал:

– Неужели в этом городе нет ни одной женщины, которая переспит с моим другом – героем войны Судного дня, раненым танкистом? Плачу любые деньги!

Собрались люди вокруг, и Сальери бросал им деньги. Плюнув на одну из бумажек, он приклеил ее на лоб солдату в кипе и с автоматом на боку.

– Веди сюда женщин, солдат, – сказал Сальери. – Мать, жена, сестра – все сойдет.

Сальери был отличный боксер. Он свалил кинувшегося на него солдата. Потом вся толпа била ногами смеющегося на земле Сальери. А я спокойно смотрел на это побоище и с грустью думал о бессмертии Сальери...

В Цфат мы возвращались молча. И лишь при въезде в город я сказал:

– Слушай, Сальери, – давай разойдемся. Разойдемся навсегда: ты меня не знаешь, я тебя не знаю.

– Нет, не выйдет, – ответил он, кривя рассеченные губы. – Теперь уж никогда не выйдет.

Мы подъехали к госпиталю, и сонные санитары отнесли меня в палату.

Я лежал на своей койке и смотрел в окно, заваленное звездами. Нога ныла от боли, спать не хотелось.

– Цви, – позвал меня кто-то за окном, – ты не спишь еще?

За стеклом показалось лицо Сальери. Впервые я заметил маленькие рожки на его голове.

Лампочка на потолке замигала, как сигнал поворотника на автомобиле.

– Говори, Сальери, – беззвучно ответил я.

– Приветик тебе от Абаса.

– Заткнись, убийца! – зашептал я, боясь разбудить ребят. – Зачем ты сделал это?

– Он просил у Бога недозволенного.

– Что мог просить этот праведник у Бога?

– Спасти друга своего Цви от нечистой силы. Это я-то нечистый, я, твой лучший друг?

– Убийца, убийца! – завыл я и бросился на одной ноге к окну.

Сальери уже стоял внизу на асфальте и кричал мне на третий этаж:

– Прыгай, Цви, не бойся, я поймаю тебя.

Какие-то силы тянули меня броситься вниз, но я, отмахиваясь, поскакал обратно в постель, лег на живот и вцепился руками в железные прутья кровати.

– Прыгай, Цви, прыгай, – умоляюще шептал мне в ухо Сальери.

Путья гнулись в моих ладонях, а тело и ноги сбрасывало с кровати к окну, будто чудовищный магнит притягивал их к себе.

Вдруг с шумом отворились двери и в комнату вбежала моя Светка – Офелия.

Она была голой и прекрасной. Я совсем не удивился ее появлению. Пятнадцать лет ждал я этой встречи и мне было все равно, где и каким образом это произойдет. На мгновение я смутился, глядя на ее руки: они были обрублены, как у статуи Венеры. На ее мраморной груди и плечах дрожали светлые капли росы.

– Я пришла за своими стихами.

– Господи, но они остались там, на Пушкинской улице и на длин-

ных заборах ее.

— Цви, — сказала Светка, ложась рядом и целуя мне руки и грудь.
— Ты должен вспомнить хоть строчку, хоть слово! Никто не верит, что ты любил меня.

— Боже! — кричу я на всю палату, на весь госпиталь. — Боже, хоть ты не обижай ее у Себя на небесах!

А Светка прижалась ко мне всем телом своим и шепчет непрерывно:

— Ну вспомни, милый, вспомни хоть слово! Попробуй написать что-то на стене!

Я силюсь вспомнить.

— Ах, Цви, ах, дорогой мой мальчик. Ведь я была настоящей шлюхой. Спала со всеми мальчишками с Пушкинской. И Сальери даже не пришлось насильовать меня. Я сама соблазнила его. Но клянусь всем святым: любила я лишь тебя одного. А умерла я от заражения крови после неудачного аборта. Наврал тебе все Сальери, наврал, слышишь?

Я смотрел в большие голубые глаза Светки. В глубине этих глаз тянулась широкая Пушкинская с тусклыми фонарями на обочине. Какой-то мальчишка пишет на заборах бесконечную поэму. И рыжая, жирная азиатская луна катится с крыши на крышу, читая строчку за строчкой.

Светка сомкнула веки, и Пушкинская улица с фонарями и мальчишкой, луной и стихами навсегда исчезла в далекой голубизне Светкиных глаз. Мы еще долго обнимались и шептали друг другу нежности, пока не пришли два санитар в черных халатах. Они завернули Светку в больничную простыню и вынесли ее из палаты.

После утренней бомбежки настало короткое затишье. Я достал из кабины танка Библию и лег на теплую землю. И тут увидел, что в книге торчит осколок снаряда, который убил Абаса. Я читал тогда, держа книгу перед глазами, читал о сотворении мира. Осколок пробил всю правую часть Библии и выглядывал в строке «Змей был хитрее всех зверей»... Я пощупал острый осколок пальцами, потом приложил его ко лбу и щеке. Закрыл книгу и поцеловал ее гладкую обложку.

Было воскресенье, и шла война на истощение с сирийцами на Голанских высотах. И каждый был занят своим делом. Бог продолжал творить небо и землю. Фетуси и Ури сгружали снаряды с грузовика. Павел Антоколь чистил башенный пулемет. А я отдыхал, потому что водитель танка должен быть всегда в форме.

Софья Рон

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА «ДЕСЯТЫЙ ЖЕНИХ»

ГЛАВА 15

– Мама, что это – порочные действия?

– Ш-ш-ш! Ты мешаешь!

Михалька говорила громко, и Дина нервно огляделась по сторонам. Что за вопросы для восьмилетней девочки! Но никто, похоже, не обратил внимания. Гул голосов вокруг перекрыл слова Михальки. Утренняя молитва только что закончилась, и женщины спускались вниз, на кидуш, оставив на стульях кто молитвенник, кто накидку, кто носовой платок – знак, что место занято. Как всегда в праздники, в синагоге было тесно.

Здесь, в Гиват-Мордехай, Дина почти никого не знала; впрочем, если б вопрос Михальки кто-нибудь и услышал, в такое утро никого бы не удивили неуместные в устах ребенка слова. Скандальную новость обсуждали все, мужчины внизу, женщины на балконе. Со вчерашнего вечера радио никто не слушал, и сенсация, выпущенная в эфир за час до зажигания свечей, обрастала самыми невероятными, зачастую противоречивыми подробностями, в достоверности которых можно будет убедиться только завтра вечером – на исходе второго дня Рош га-шана.

– Я не мешаю! Ведь перерыв! Так что это такое?

– Ну... – Дина снова огляделась вокруг, на этот раз в поисках спасительного рецепта. Объясняют же это детям другие родители. Но детей возраста Михальки в синагоге было раз-два и обчелся. Семьи тут были постарше.

– Это... это... ну, как бы тебе объяснить... это как делали в Содоме.

– Ага, – Михалька удовлетворенно кивнула головой, – тогда все понятно.

– Понятно? Что тебе понятно?

– Чего же тут не понять? Глава правительства и его сын положили секретаршу на кровать. Если она не доставала до краев, значит, они вытянули ей ноги, чтобы достала. Если ноги торчали, значит, отрезали, что торчит. Ну, как в Содоме. Я только не поняла, она была слишком большая или слишком маленькая?

– Кровать?

– Да нет, секретарша!

Бомба взорвалась за час с небольшим до праздника. Телефон зазвонил, когда Дина, сидя на корточках напротив духовки, пыталась определить, достаточно ли пропеклась курица. Снаружи Дина обмазала тушку медом, изнутри нафаршировала яблоками. За полтора часа в духовке курица приобрела золотистый оттенок. Рецепт Дина придумала сама – как раз для Рош га-шана. Яблоки в меду.

Получилось красиво. Такую курицу подать бы на стол, когда у нее будет настоящий дом!.. Если будет... За неделю до праздника она встретила с седьмым вариантом. Из Гуш-Дана, адвокат, примерно ее лет. Девочка чуть помладше Михальки. Жена от него ушла к начальнику. Может быть, что-нибудь из этого и выйдет.

Звонили настойчиво. Дина оставила духовку открытой, подбежала к маленькому столику в прихожей, успела подхватить трубку на последнем звонке. Это оказался не седьмой вариант. Звонил Илья Цукерман.

– Ты радио слушаешь?

– Нет, а что? Стреляли на нашем шоссе?

– Да нет, это совсем...

– Взрыв в Иерусалиме?

– Ты мне дашь сказать? Колоссальный скандал с главой правительства. Включай радио, быстро!

– Уже бегу, но ты хоть объясни мне в двух словах!

– Не могу, – сказал Илья, – неприлично. Тут дети под ногами вертятся.

Выпуск новостей Дина поймала в середине, но в общих чертах поняла, что произошло. На главу правительства подала в суд секретарша из его же собственной канцелярии. С большой вероятностью будет выдвинуто обвинительное заключение, самые скандальные пункты – злоупотребление служебным положением по отношению к подчиненной, сексуальные домогательства и предосудительные, или порочные, действия. В последних, впрочем, обвинялся не сам премьер-министр, а его сын, причем именно вмешательство сына и повлекло за собой судебный иск, потому что если домогательства главы правительства секретарша еще терпела, испытывая по отношению к нему традиционный пиетет, то его готовности поделиться с сыном не выдержала. Дело усугублялось тем, что премьер,

человек старой, еще времен Пальмаха, школы, методы использовал конвенциональные, сын же, тяготевший к постмодернизму, предпочитал другие пути. Дина поежилась. Сын премьера был похож на тролля. Возвышающееся как башня тело венчала крохотная, уходившая в плечи лысая голова. Руки как бревна, пальцы как сардельки. По крайней мере, так он выглядел на экране телевизора.

В политических кругах, заключил диктор, полагают, что отставка премьера – вопрос нескольких недель, если не меньше. Жертва домогательств, в довершение ко всему, оказалась замужней, так что религиозные партии, скорее всего, выйдут из коалиции еще до того, как скажет свое слово прокуратура.

Дина захватила трубку с собой на кухню, проследить, чтобы курица не сгорела, и набрала номер Бени. Он наверняка знает больше, чем передали по радио, а если и не знает, догадывается. Но дома у Бени не снимали трубку. Мобильный тоже не отвечал. Курица не подгорела. Ну, разве что совсем чуть-чуть.

– Потому что праздник это для Израиля, закон Бога Яакова.

Кидуш в Рош га-шана короткий.

Дина протиснулась к столу, взяла пирожок с вареньем, налила себе колы. Михалька с бурекасами и пирожками уже расправилась и теперь сосредоточенно наполняла пластиковую тарелку бамбой.

– Очень даже может быть, что все это правда, – произнес чуть скрипучий голос у Дины над ухом, – вы только послушайте, что рассказывал еще до всей этой истории сын Рахель Шварц...

Дина подняла голову. Рядом, боком к столу, расположились две дамы, лет под семьдесят, в похожих костюмах, одна в темно-голубом, другая в сиреновом, обе в белоснежных блузках с рюшами и шляпах в тон, обе с аккуратно припудренными морщинами. Примерно так представляла себе Дина будущую

свекровь, когда собиралась замуж за Уди. На пластиковых тарелочках у каждой – розовый кусочек селедки и темно-коричневый ломтик кугла.

– Сын Рахель Шварц? Тот, который в Модиине?

– Да нет, – дама в сиреновом положила на тарелку еще кусочек селедки. – Удачный кейтеринг у них на этот раз, в прошлом году, я помню, кугл был непропеченный. Нет, в Модиине – это Моти, тот, что женился на дочке Гольдфингеров. А я имела в виду другого сына, не помню, как его зовут. Архитектор, так пока и не женился, так вот, он снял квартиру возле Кикар га-Мдина. В такой башне с видом

на площадь. И кто бы, вы думали, снял квартиру этажом выше? Нимрод!

– Как! Неужели сын...

– Вот именно!

– Но я думала, – заметила дама в голубом, – что он живет с отцом.

– А он и живет с отцом. А эту квартиру он снял для... для... в общем, сами понимаете! Сын Рахель Шварц рассказывал еще раньше, когда приезжал, что туда являлись такие девицы и такие... Э... сомнительные типы. И по ночам такие крики. И шум. Теперь понятно, отчего, и что он такое на самом деле, этот Нимрод.

Дина взяла кусочек селедки. Пирожок оказался слишком сладкий.

– Ты заняла мне место?

Алиса, запыхавшись, пробиралась между стульями.

– Заняла, – Дина сняла со стула рядом предусмотрительно оставленный там молитвенник, – хотя ты, конечно, могла бы и пораньше явиться. Кидуш уже был. И в шофар первый раз уже трубили.

– Кидуш потом дома сделаем, я есть еще не хочу. Надо же оставить место для твоей знаменитой курицы. А шофар еще будет несколько раз, я помню.

– В Рош га-шана все будут записаны в книгу, – перекрыл их шепот голос кантора, – а в Йом Кипур будет поставлена печать.

Говорил он медленно. Четко. Кантор в Мигдаль-Эдер – тот, пожалуй, обычно слишком торопился.

– Сколько будут сотворены, – продолжал кантор, – и сколько умрут. Кто – своей смертью, а кто – не своей...

Что означало «не своей» – Дина знала. Это означало – от тевекта.

– Кто от воды, а кто – от огня...

От огня – это когда об окно твоей машины разбивается бутылка с зажигательной смесью и в ту же секунду жестяная коробка на колесах превращается в раскаленную огненную ловушку. Или когда на иерусалимских улицах вспыхивает черным пламенем взорванный автобус. Дина на автобусах ездила сравнительно редко. Но – мама. Но – бабушка. И иногда с ними – Михалька.

– Кто – от меча, а кто – от хищного зверя...

От меча – от длинного, острого кухонного ножа. Нож этот выхватывает в переулке или на рынке из-под складок просторной одежды переросток с плоскими, непрозрачными от ненависти глазами, а то и арабка в белом платке. Тебе не спастись, не увернуться, не успеть, ты ведь к рукопашной схватке не приучена. Арабки, те, правда, нож втыкают не насмерть, а так, по касательной. Для проформы. Чтобы укрыться от семьи в тюрьме.

От пуль, выпущенных в твою машину, – это тоже от меча. Какая разница, как называется оружие.

От хищного зверя – кто они, убийцы, подстерегающие на дорогах путников, чтобы их растерзать, как не хищные звери?

– Кто от голода, а кто – от жажды. Кто от землетрясения, а кто – от мора...

Это Дине говорило мало. Это – далеко. В Центральной Африке. В Индии. На Дальнем Востоке.

– Кто будет задушен, а кто – забросан камнями...

Задушен – задохнется в клубах дыма еще до того, как вырвавшиеся из бутылки Молотова демоны доберутся до его одежды и тела. Забросан камнями – как двое мальчиков из Ткоа, кажется, только-только после бар-мицвы или около того. Мальчики вместо уроков отправились в вади возле ишува, набрать хвороста и веток для праздничного костра в Лаг ба-омер. Арабские пастухи затащили двух друзей в пещеру и забили до смерти. Размозжили им головы камнями.

– Но – раскаяние. Но – молитва. Но – благотворительность. Смягчают ужас приговора...

Десять дней. Десять дней на апелляцию.

Не так много, конечно. Но не так и мало. Больше недели.

Она будет молиться регулярно – как положено женщине, по крайней мере, раз в день. Она позвонит классной руководительнице Михальки, с которой не успела встретиться, – что-то ей помешало прийти в начале года на родительское собрание. Она сходит с мамой в банк оформить какие-то документы – давно обещала. Она приведет свою жизнь в порядок.

Конечно, не у всех такая манера – спохватываться в последнюю минуту. Люди, приученные к порядку, все начинают заранее, в отведенный для раскаяния месяц элуль. А Ответственная Женщина – та и в течение года живет как положено, у нее все обязанности, перед семьей ли или перед Всевышним, распределены и разложены, как одежда и посуда на полочках в шкафах, так что ей ни к чему уст-

раивать суматоху ни в канун Песаха, ни в канун Рош га-шана. Правда, Ответственная Женщина замужем. Ей проще.

– Вот, шофар, – толкнула Алиса Дину в бок, – я же тебе говорила, что он еще будет.

– Сегодня предстают перед судом все, все творения. Как сыновья или как рабы...

Как сыновья. Или как рабы. Как это сказал про нее однажды Бени? Что у нее со Всевышним близкие отношения. Бени, как всегда, смотрел в корень. Она с тех пор, как вернулась к Торе, Всевышнего воспринимала не как хозяина, но – как отца, может быть, потому, что отца у нее считай, что не было. А Ему она приходилась дочкой, причем балованной дочкой – чего только Он ей ни надарил – и глаза зеленые, и волосы пепельные, и фигуру совсем неплохую, и способности, на которые тоже грех пожаловаться. И заветную мечту – уехать в Израиль – помог ей осуществить довольно быстро, другие провели в отказе много лет, и от трудностей избавил, полы ей мыть не пришлось, и диплом – устроил так, что она получила, и это с ее-то вечной неорганизованностью. И только одного Он почему-то ей не дал – жениха, хотя другие дочери, не такие любимые, не такие балованные – получили. Может, Он полагал, что она с этим справится сама? Но кому, как не отцу, выдавать дочь замуж?

Но главный вопрос, ответа на который у нее не было до сих пор, это – зачем Он привел на ее дорогу Йоси? Чтобы ее испытать? Так несчастных испытывать нечестно, а она с Хаимом была несчастна. Чтобы предоставить ей шанс? Но каким образом она этот шанс должна была использовать?

Конечно, если подумать, так это только в европейских сказках красавицы сидели в башне у окна в ожидании принца на белом коне. В Танахе женщины брали на себя инициативу. И шли на риск.

Тамар – та пустила в ход проверенное и, наверное, древнейшее из ухищрений – забеременела. Переоделась блудницей, чтобы заставить Йефуду сделать ей ребенка. Конечно, она была в своем праве. Младший брат в семье, Шела, был слишком мал, чтобы выполнять супружеские обязанности, и не исключено, что именно Йефуда как самый близкий родственник умерших мужей Тамар обязан был по закону взять в жены бездетную вдову. И она заставила его пойти на этот брак. Комментаторы, правда, утверждают, что нормальной супружеской жизни у нее не было. Что Йефуда с тех пор у нее на ложе не был ни разу. Но все-таки своего она добилась. Вошла в семью и родила близнецов. Наследников.

Рут тоже инициативу взяла на себя. Правда, по совету свекрови. Два или три месяца Рут подбирала колосья в поле у богатого влиятельного родственника, Боаза, и тот явно обратил на нее внимание. Расспрашивал о ее жизни, пригласил в первый же день разделить с ним обед. У Рут были все основания ожидать предложения руки и сердца, но шло время, закончился период жатвы, а Боаз медлил. Бывшая моавитская принцесса, гордая Рут, вполне возможно, так и провела бы оставшуюся жизнь в хибарке с обедневшей Наоми в ожидании посланца от Боаза, да только Наоми была умнее. Поверь мне, дочь моя, сказала она, я знаю, что для тебя лучше. И что она посоветовала Рут? Красиво одеться и умаститесь и отправиться ночью на гумно, где Боаз будет один. Но перед этим – погрузиться в микву, как в канун брачной ночи. Рут – чтобы выйти замуж, разумеется, – ночью на гумне, в точности следуя инструкциям свекрови, соблазнила Боаза, и уже на завтра Боаз поспешил оформить с ней брак. Проблема заключалась в том, что у Дины, в отличие от Рут, такой Наоми не было. Мама придерживалась той точки зрения, что женщина должна ждать, сидя у окна. Бабушка на роль Наоми как раз подошла бы, но слишком плохо для этого разбиралась в местных реалиях.

Или взять, к примеру, Авигайль, жену Навала-кармелитянина. Давид, скрывавшийся со своими людьми от царя Шаула в горах к югу от Хеврона, обеспечивал заодно безопасность стадам местных землевладельцев, а землевладельцы время от времени снабжали его продовольствием. Когда Давид обратился к Навалу, тот ответил, что знать его не знает и об охране не просил. Давид, чтобы другим было неповадно, вышел во главе своего отряда в карательный рейд, пообещав во всеуслышание, что к вечеру не оставит в доме Навала «мочащегося к стене». Но навстречу Давиду поспешила с вином и припасами жена Навала Авигайль. Они встречаются на склоне горы на узкой тропинке, рыжеволосый и голубоглазый предводитель отряда и молодая и красивая жена хозяина имения, и между ними тут же вспыхивает искра. Давид, отменив карательный рейд, возвращается к себе в пещеры, Авигайль – домой, а там пирует со слугами Навал. На рассвете, только сошел с мужа хмель после ночного пира, она рассказывает ему об опасности, которой благодаря ей он избежал, – надо полагать, не щадя его самолюбия. Кровь бросается в голову тучному Навалу – апоплексический удар превращает его в паралитика, а через десять дней Авигайль становится вдовой, и Давид посылает людей за ней в Кармель, чтобы

взять ее в жены. Авигайль с готовностью соглашается и уходит с ними. Она, молодой девушкой выданная из бедной семьи замуж за сварливого, в летах, богача, этого предложения ждет еще с той встречи на склоне горы.

Все, казалось бы, случайно. Казалось бы, Авигайль бросается спасать имение, но заодно и мужа, значит, хочет его сохранить. Ведь если бы это было не так – что бы ей стоило остаться в стороне и подождать, пока люди Давида избавят ее от опостылевшего супруга. Но – нет. Авигайль знает, что делает. Разве обратил бы на нее внимание Давид в пылу набега, когда горит разгромленный дом Навала? Ее увели бы в обозе наложницей одного из воинов его отряда. Не более того. А так – он заметил, что она не только красива, но и умна. А Навалу не пережить унижения.

И, наконец, Бат-Шева. Еще одна несчастливая в браке женщина. Жаркое лето, муж на войне, она день за днем принимает ванну, раздеваясь на крыше маленького каменного дома – и ее замечает царь Давид. Правда, для него это поначалу – эпизод. Мимолетный летний роман. Когда выясняется, что Бат-Шева беременна, проблему он собирается разрешить классическим способом – представить дело так, будто Бат-Шева беременна от мужа, для чего и приказывает своему военачальнику Иоаву немедленно прислать Урию домой в отпуск. Все могло бы уладиться, но, в отличие от Давида, Бат-Шева к прежней жизни возвращаться не хочет. Для нее это не эпизод, а единственная любовь. Через посланцев ли или другим способом, только она доводит до сведения Урии, что домой ему возвращаться не следует. Конечно, ревнивый муж не смеет высказать царю своих подозрений, но домой к жене ночевать не идет две ночи кряду, а вместо этого располагается на ночь живым укором в воротах царского дворца. У Давида не остается выхода, кроме как подстроить гибель обманутого супруга на поле сражения. А что в браке с Урией-хиттийцем Бат-Шева была несчастна – очевидно, и не только потому, что она не отказала Давиду, когда тот за ней послал, увидев ее купающейся на крыше. За все годы супружеской жизни детей у нее от Урии не было, а от Давида она забеременела сразу, и потом, когда младенец умер, – еще раз. Она прожила свою жизнь во дворце любимой женой царя, и родила наследника престола – Шломо.

Но во времена Танаха было проще. Во-первых, евреи практиковали многоженство, так что Давиду не приходилось разводиться. Едва ли у Бат-Шевы оставался бы хоть малейший шанс, если бы,

чтобы взять ее в жены, Давиду, к примеру, потребовалось бы отослать домой к отцу прежнюю жену – дочь царя соседнего государства. Во-вторых, Бат-Шеве, как полагалось в те времена, муж, уходя на войну, дал условный развод. А что могла предпринять Дина?

Из задумчивости ее вывел звук шофара.

– Предстанут перед судом все творения, как сыновья или как рабы. Если как сыновья, пожалей нас, как жалеет отец сыновей...

Как отец жалеет сыновей – или дочерей? Может быть, прощает их, когда они нарушают им же установленные запреты? Алиса с самого начала утверждала, что, если с Йоси Дина не дойдет до конца, она никогда не будет ему нужна по-настоящему. Что нет другого способа создать у мужчины эмоциональную зависимость. Мы не можем на это пойти, объясняла ей Дина. Ни я, ни он. Не можем нарушить запрет. Алиса в ответ только пожимала плечами. С ее точки зрения, разница была чисто техническая. Ваши отношения, заявляла она Дине, это все равно измена. И с твоей стороны, и с его. А вот рассчитывать при тех ограничениях, которые ты на себя наложила, тебе не на что. Это не я их наложила, говорила Дина, он и сам так хотел. Глупости, отвечала Алиса, инициатива всегда исходит от женщины, хоть мужчины и думают иначе.

Но Дина инициативу проявлять не умела. Разве что на словах.

«Я собираюсь разводиться».

Сообщение застало Йоси врасплох. Они встречались уже больше года, все шло по-прежнему. Разговоров о будущем Йоси умело избегал. Ему нравилось жить настоящим.

Произнесла Дина эту фразу, уже собираясь уходить, правда, не в прихожей, а еще в салоне. Она стояла у окна, перебирая пальцами складки штор. Издалека кремовая ткань представлялась мягкой, на ощупь оказалась на удивление жесткой. Прошло больше года, и за окном снова шел дождь.

– Что? – переспросил Йоси, – что ты сказала?

– Именно то, что ты слышал. Он не стал переспрашивать и к окну тоже не подошел, напротив, отступил пару шагов назад и прислонился к стене, как будто искал опору.

– Ты уверена?

– Да, – сказала Дина.

Она не была уверена. Она и с Хаимом еще ни о чем не говорила.

Йоси глубоко вздохнул, запасаясь воздухом для предстоящего разговора, но садиться не стал. Остался стоять. Потом начал говорить и говорил долго.

Дина еще слишком молода и не знает жизни, а в жизни все не просто. Конечно, Хаим ей не пара, он, Йоси, с первой же их встречи это понял, но Дина в такой ситуации не единственная. Умной, образованной девушке трудно найти себе достойную пару, так уж получилось, что в последние годы женщины в религиозных кругах – а говорят, и не только в религиозных – тоньше и образованнее мужчин. Но это еще ничего не значит. Она останется одна с ребенком, семья за ней не стоит, он, Йоси, конечно, сделает все от него зависящее, поможет на работе, тут пусть она не сомневается ни на минуту, но она должна понимать, что и у него возможности ограниченные. Ей будет трудно. Из ишува придется уехать, снимать квартиру. Девочка будет расти без отца. А Хаим Дину любит. Ценит. Он, Йоси, это сразу заметил, с первой же встречи...

Смотрел он на нее и в то же время мимо, как будто видел что-то сквозь плотно задернутые шторы.

Дина вдруг почувствовала, что стоять больше не может, и опустилась тут же, у окна, на ковер. В этой комнате всюду были ковры. Она сидела спиной к окну, по щекам скатывались слезы, но она даже не пошевелила рукой, чтобы их утереть. Йоси сделал было движение навстречу, но тут же одернул себя и остался стоять, где стоял.

Что же делать – нельзя все иметь... Девочкой больше всего на свете она хотела уехать в Израиль. Земля Израиля, так говорит традиция, приобретается страданиями, а Дина такой цены не заплатила. Ни тяжелым, изнуряющим трудом, а ведь приехала в страну с пустыми руками. Ни кровью, а ведь сколько лет пересекала почти каждый день линию фронта по дороге в Иерусалим и обратно домой. Может быть, цена, которую ей предстоит заплатить, это – прожить жизнь без любви?

Ей припомнилась хасидская история. Муж хозяйки корчмы, молодой и красивой, пропал бесследно. Отчаявшаяся женщина обратилась за помощью к Бааль-Шем-Тову. Твой муж мертв, сказал ей праведник, я это вижу, но нет и не будет двух свидетелей, которые могли бы подтвердить его смерть, чтобы ты снова могла выйти замуж. Я бессилен тебе помочь, но, если ты сумеешь соблюсти себя в чистоте, будешь жить одна, могу пообещать тебе, что ты проживешь долгую жизнь, увидишь детей своих правнуков. И еще одно.

Ты будешь богата. Хозяйка корчмы послушалась, и все так и вышло.

Может, это и есть цена, которую требует от нее Всевышний? В таком случае хорошо бы Он подкинул ей и побольше денег. Как той женщине. Конечно, с голоду они с Михалькой не умирают. Но если уж жить одной, так, по крайней мере, в достатке. А заработок человека на предстоящий год определяется в Рош га-шана...

— Пойдем, — тронула ее за рукав Алиса, — ты что, не видишь, что все расходится? Михалька уже внизу. И, кстати, объясни мне по дороге, что там с главой правительства, все говорят, а я подробностей никаких не знаю. Но в его-то годы! Вот уж не ожидала...

На следующий день вечером, на исходе Рош га-шана, Дина снова позвонила Бени. Мобильный телефон был отключен. В квартире никто не отвечал.

ГЛАВА 16

— Дина, я могу задать тебе один вопрос?

Они сидели друг напротив друга за столиком в кафе на Бен-Йефуда. Дина и седьмой вариант. Третья встреча, а знакомы они две недели.

Дина не могла сама для себя определить, как она к нему относится. Алиса, к примеру, утверждала, что любовь — это жалость, и действительно, всех жалела. Жалела Мишу, бросившего ее ради невесты с приданым («он с ней наверняка несчастен»), жалела морочившего ей голову пять или шесть лет Бецалеля («он не может так сразу принять решение, ему тяжело, у него сложная ситуация»). Дина, если следовать этой теории, никогда никого не любила. Хаима она не жалела, потому что считала, что он сломал ей жизнь, а если и жалела иногда, так именно за то, что она его не любит. Йоси жалеть она не могла — невозможно испытывать жалость к символу успеха. Означало ли это, что она его не любила? Если да, то почему проведенных с ним минут и даже часов ей никогда не хватало и после каждого свидания ощущение у нее оставалось, как у путника в пустыне, у которого только что отобрали недопитый стакан с водой? Может, он ей просто больше нравился потому, что был старше и опытнее? Как-то раз, когда у них все еще только начиналось, она решила провести эксперимент. Включила в спальне электрическую

печку и попросила Хаима сделать ей массаж и натереть спину кремом. Хаим удивился, но возражать не стал. Крема подходящего не было, но Дина покопалась в шкафу в летних вещах и извлекла крем от загара. Потом оставила включенным только ночник. Но все было не то. В точности, как в рассказе Шолом-Алейхема, где бедняк приходит в гости к богачу и застает его с аппетитом поедающим яичницу. Дома он просит жену приготовить такое же блюдо. Нет муки, возражает она. Сделай без муки. Нет масла. Яйцо только одно. Пробуя поданную, наконец, яичницу, бедняк морщится. И охота же богачам есть такую гадость!

Нового знакомого, сидевшего теперь напротив, она, конечно же, не любила. Зато жалела. Он был весь такой кругленький, сдобный, как ребенок, с пухлыми щеками, широко раскрытыми глазами и неуверенными руками – их он все время не знал куда девать. Его хотелось погладить по голове, утешить и накормить горячим ужином. С Диной такое было в первый раз. Никогда прежде потенциальные женихи у нее материнского инстинкта не вызывали. Может, это и есть правильное начало будущей семейной жизни?

А вопрос, можно ли спросить о том или об этом, разумеется, риторический. Кто же ответит, что нельзя?

– Я бы хотел спросить... э... – седьмой вариант смотрел не на Дину, а себе в тарелку, – не приходилось ли тебе... ну...

– Не приходилось ли мне – что?

– Ну... пользоваться своей внешностью, чтобы добиваться успехов на работе.

Дина от неожиданности прикусила губу.

– Я не хотел тебя обидеть, – он поднял голову от тарелки, но тут же опустил снова, – просто, понимаешь, моя жена...

Дина, закрыв глаза, откинулась на спинку стула. Третья встреча, и историю про его жену она уже успела выучить наизусть. У жены на работе завязался роман, и она ушла к начальнику. Тот тоже был женат, но развелся. Седьмой вариант, начинающий адвокат, не мог, разумеется, конкурировать с этим подлецом, разъезжавшим на... вот марку машины Дина не запомнила и сейчас, выслушивая все подробности в очередной раз, снова как-то упустила. Сама она начальника подлецом не считала, а считала, напротив, человеком благородным. Подлец, получив свое, сделал бы вид, что между ним и приглянувшейся ему сотрудницей ничего не произошло, предложил ей продолжать работу, как ни в чем не бывало, и ей, конечно, пришлось бы уволиться. А в этой истории начальник, как положено

порядочному человеку, женился. А что ушел от прежней жены, кто знает, какие у него были обстоятельства. Может, он женился бездумно, по молодости лет. А может, в брак вступил по расчету, и теперь не побоялся оставить ради любимой женщины жену из богатой, со связями, семьи.

— Понимаешь, — завершил свои объяснения седьмой вариант, — поэтому я боюсь... нет, конечно, не боюсь, я не так сказал, — опасуюсь красивых женщин.

Дина подняла с пола сумку. Положила на колени. Из сумки извлекла записную книжку, сделала вид, что перелистывает.

— Нет проблем. Я тебе сейчас найду несколько некрасивых. Хотя лучше бы ты объяснил Шуламит, что ищешь некрасивую женщину. У нее наверняка в таких нет недостатка.

Он покраснел.

— Ты напрасно иронизируешь. Я говорю серьезно.

— Я тоже!

— Я не ищу некрасивую женщину. Я хотел бы красивую, но такую, чтобы сама она об этом не знала.

«Ты, дорогой, к Шуламит обратился не по адресу, — подсказала Дине следующую реплику Ухоженная Женщина, подсаживаясь к ним за столик. — Тебе не красавица требуется и не дурнушка. Психотерапевт, вот кто тебе нужен, и в срочном порядке!»

Дина покачала головой. Так ответить она не могла. Покопалась в сумке, вынула из кошелька купюру в двадцать шекелей, положила на блюдце. Этого, кажется, должно хватить. На всякий случай добавила еще пять.

— Вот как. Ну ладно, успеха тебе в поисках.

Ухоженная Женщина поднялась со стула, тряхнула волосами, закуталась небрежным жестом в длинную кашемировую накидку и направилась к выходу.

— Учти, — бросила она Дине через плечо, — у тебя осталось три варианта. Только три!

Дверца машины не открывалась. Дина вытащила ключ, снова вставила, повернула в замке, потянула дверцу на себя. Никакого результата. На всякий случай дернула за ручку задней дверцы — иногда по забывчивости Дина оставляла ее открытой. Сегодня, видимо, тоже оставила — дверца распахнулась. Она положила на заднее сидение сумку и тут только заметила брошенный рядом замшевый бежевый пиджак. Кто и когда мог оставить пиджак у нее в ма-

шине? Может, торопился на встречу, перепутал на парковке ее машину со своей и сунул пиджак внутрь, благо дверца была открыта? И как она теперь вернет его хозяину? Пиджак явно был мужской. Элегантный, с претензией, что-то в этом роде наверняка носит к вечеру, когда холодает, Рами.

Классический повод для знакомства. Стопка визитных карточек владельца в нагрудном кармане. Дина вечером набирает его номер. Ваш пиджак случайно оказался в моей машине. Огромное вам спасибо, когда я могу за ним заехать? Нет, домой не стоит, завтра я в городе, встретимся в центре. Правда, нет никакой гарантии, что обладатель замшевого пиджака носит кипу.

Визитных карточек в карманах не оказалось. Удостоверения личности тоже. Дина огляделась. Мужским был не только пиджак, мужской была вся машина. Водительское кресло отодвинуто назад, чтобы предоставить достаточно места длинноногому обладателю замшевого пиджака, в пепельнице между передними сидениями окурки. Курят, конечно, и женщины, но это уже детали – машина была не ее. Свою Дина обнаружила чуть подальше, возле мусорного ящика. Парковалась она возле зеленых жестяных баков не случайно – поставить там машину было проще, чем втискиваться в скупой промежуток между двумя машинами вдоль тротуара.

Дина вставила ключ в зажигание, включила радио. Остаться наедине с назойливой мыслью о том, что вариантов осталось только три, ей не хотелось.

– Поселения Ганим и Кадим в Северной Самарии, – продолжал диктор начатую прежде фразу, – а также поселения Ткоа, Нокдим, Мигдаль-Эдер, Эш-Цион и Кармей-Цур в районе Гуш-Эцион. Глава правительства остановился на этих поселениях на том основании, что они препятствуют территориальной целостности будущего палестинского государства. Осуществление плана намечено на ноябрь следующего года, после осенних праздников.

Мигдаль-Эдер. Что имел в виду диктор, что это за план? Видимо, поняла Дина, поселения из списка останутся за оградой, иначе внутри ограды оказался бы, к примеру, Аль-Харар. Как только ограду построят, дороги за ее пределами превратятся в сплошную линию огня. Вряд ли Дина тогда отважится ездить в Мигдаль-Эдер на машине.

Она вошла в подъезд. Из почтового ящика уголком наружу торчал белый с зеленым конверт. Распечатка из банка. Дина надорва-

ла конверт, еще поднимаясь по лестнице. Еще четыреста шекелей, и она превысит разрешенный минус. А она ведь выписывала отстроченные чеки.

Прямо из прихожей она позвонила Хаиму. Михалька смотрела видео в салоне, так что можно было не опасаться, что она станет прислушиваться к разговору.

Хаим ее звонка не ожидал. Или сделал вид, что не ожидал.

– Что-нибудь случилось?

– А ты не знаешь?

– Нет.

– Первого числа ты будешь мне должен алименты уже за три месяца!

– Но это только через две недели.

– Да, но ты уже должен за два!

Хаим вздохнул.

– Ладно. Мне не хотелось сейчас начинать разговор на эту тему, но я думаю, что запросы у тебя чрезмерные.

– Что ты хочешь этим сказать? Я не прошу у тебя ничего сверх положенной суммы!

– Да, но она чрезмерна. На ребенка столько не нужно.

– Не нужно? Я трачу на Михальку больше, чем ты платишь, когда ты платишь вообще! Одна только школа...

– Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Совсем не обязательно отдавать ее в такую дорогую школу. Почему бы ей не пойти в районную религиозную? Только не говори, будто тебя смущает, что там мальчики и девочки в одном классе! Тебе-то это все равно.

– Да, – согласилась Дина, – мальчики в классе – это мне не мешает. Но мне мешает, что они, как только выходят из школы, снимают кипу и суют в карман.

– Тогда, пока Михалька в начальной школе, она может пойти в «Бейт-Яаков». Это дешевле, чем «Хорев».

– Хаим, – мягко поинтересовалась Дина, – ты в порядке?

– Я-то в полном порядке! Просто прошел год и я вижу, что не в состоянии оплачивать частную школу, которая стоит бешеных денег, и квартиру в дорогом районе! Ребенок должен жить по средствам родителей! И потом, у меня могут измениться обстоятельства.

– В смысле – ты женишься?

Хаим помолчал в трубку.

– Прямо сейчас – нет. Но в принципе, конечно, да. В отличие от тебя, на меня возложена заповедь.

– Знаю. Плодиться и размножаться. Но в первую очередь ты обязан содержать ребенка, который уже есть. И деньги мне нужны до конца недели. Хотя бы часть. За позапрошлый месяц.

– Я постараюсь, – проговорил Хаим, – но обещать не могу. Ты вечно прижимаешь меня к стенке...

Дина положила трубку и тут только обнаружила, что рядом стоит Михалька.

– А я знаю!

Дина прошла в салон. Забралась с ногами на диван. Туфли, слишком узкие, сбросила на ковер. Ступни горели. Нагрузка оказалась чрезмерной. Сначала седьмой вариант. Теперь Хаим. Слишком много за один день.

– Что? Что ты знаешь?

– Почему у папы нет денег!

Это тебя не касается, немедленно осадила бы ребенка Ответственная Женщина, но Дина только поинтересовалась:

– Почему?

– Помнишь, на Рош га-шана в синагоге у одной женщины была шляпа, такая сиреневая, большая?

– Не помню, – неуверенно сказала Дина, – а что?

– Ну как это не помнишь! Ты еще сказала Алисе, такая шляпа стоит миллион денег, а надевать ее некуда!

– Не помню, – сказала Дина, – может быть. Но при чем тут это?

– При том! Папа купил шляпу. Новую. Конечно, она не такая большая, миллион денег не стоит, но я думаю, тоже дорогая. И костюм. Теперь денег у него совсем не осталось.

– Откуда ты знаешь?

– Он теперь в ней все время ходит. Когда меня брал вчера. И в прошлый раз тоже.

– Ах, вот как.

Картина начала проясняться.

– А какая шляпа, – уточнила Дина, – черная?

– Черная, – подтвердила Михалька, – и костюм тоже.

Хаим вернулся назад, на перекресток, с которого они, мальчики и девочки из подполья, в выстуженном ветрами с Балтийского моря северном городе вернувшиеся к древней традиции, начинали свою жизнь в Израиле. Вернулся – и выбрал, пусть с опозданием на две-

надцать лет, другую дорогу. Более надежную. Более утопанную. Не он первый, хотя из их компании наверняка он – последний.

Три подруги учили вместе иврит. Вместе зажигали субботние свечи – в сумрачные вьюжные зимние дни, когда суббота начинается в три часа с небольшим, и в белые ночи, когда заход солнца – понятие символическое, а за субботний стол садятся после десяти вечера. Вместе ощипывали на тесной кухоньке у Дины – получалось так, что собирались всегда у нее, – зарезанных в точности по правилам шхиты кур. Кур привозил на ночь глядя помощник единственного в городе шойхета, широкоплечий парень с окладистой рыжей бородой. Втискивался с трудом за маленький пластиковый столик, Дина поила его чаем. Он потом отправлялся дальше, развозить кур, девочки принимались за работу. Кур были неошипанные и неразделанные, совсем не то, что из магазина; перья разлетались по всей кухне, как будто тут вспороли подушку.

Три подруги – Диана, Алиса и Нина. Как и все в их компании, они взяли себе еврейские имена. Диане было проще всех, она выкинула всего одну букву и стала Диной, Алиса назвалась Леей, Нина – Нехамой. Но Лея как-то не привилась, имя, хрупкое, тихое, субтильное, для высокой брюнетки Алисы оказалось слишком тесным, зато Нехамы из маленькой, незаметной, темноволосой и сероглазой Нины получилась замечательная, так что прежнее имя забылось уже через несколько месяцев, как будто именно Нехамой задумали ее родители. Нехаме нравился помощник шойхета, помощнику нравилась Дина, но драматического треугольника не получилось. Нехамы, незадолго до того, как начали давать разрешения на выезд, вышла замуж – за другого. Помощник шойхета был хасид, новый избранник Нехамы – миснагед. Помощник шойхета напоминал ремесленника из местечка, жених Нехамы, невысокий, с мелкими чертами лица и кустистой бородкой, – выросшего в местечке ученика йешивы. Вот только горящими одухотворенными глазами не отличался – взгляд у жениха был жесткий. Подруг жены он не одобрял – считал их слишком эмансипированными. Дина на месте Нехамы начала бы войну за независимость и если бы окончательной победы не одержала, уж во всяком случае продолжала бы встречаться с подругами вне дома; Нехамы полагала, что долг еврейской женщины – слушаться мужа, и после свадьбы контакты с Диной и Алисой свела на нет. В Израиль Дина с Нехамой приехали почти одновременно, но не встречались, и только через год, на скамейке в коридоре в очереди за сохнутовской ссудой, Дина взглядела в маленькую женщину в

коротком искусственном парике и с коляской – и узнала прежнюю подругу. Разговорились. Как дела? Нет, замуж еще не выхожу. Пошла учиться в «Бар-Илан». А что у тебя? Все как обычно, муж учится в йешиве, я дома с ребенком, вот, девочка. Еще смотрю за ребенком соседки. Слово за слово, Нехама заметила, что вот прошел год, а она даже не знает, сколько стоит курица в Израиле. Им приносят, перед каждой субботой.

Дине кур никто не приносил. Еще не спустившись с трапа самолета, она для себя уже твердо решила, что ее жених будет носить не черную, а вязаную кипу. Работать и служить в армии, желательно, конечно, офицером. Выбрала независимость, а за независимость надо было платить. Из пособия министерства абсорбции деньги приходилось выкраивать не только на кур, но и на посуду, а это больно ударило по бюджету, – набор молочной посуды, набор мясной, набор на Песах. Хаим, когда приехал в Израиль, вязаную кипу выбрал из-за нее. Из-за нее поехал жить в Мигдаль-Эдер. Теперь он хочет начать с начала. Пойдет в йешиву, получит стипендию, будет понемножку читать лекции олим. О нем позаботятся. На субботу принесут курицу, а вскоре подберут жену – ненамного моложе, тоже из России, разведенную и с ребенком. Строго по ранжиру. Ему так будет проще. Вот откуда эта его идея перевести Михальку в «Бейт-Яков», где ей заплетут волосы в две косы и оденут в форму – синяя юбка, голубая блузка с рукавами до запястий, плотные чулки и закрытые туфли...

Вечером, уложив Михальку спать, Дина включила выпуск новостей. Снова с запозданием.

Нет, говорили не о строительстве ограды. Глава правительства выдвинул новую программу. В ноябре следующего года будут насильственно эвакуированы поселения, препятствующие территориальной целостности палестинского государства. В Гуш-Катифе, в Северной Самарии и в районе Гуш-Эцион.

Дина позвонила Бени. Его нет дома, объяснила тетя. Нет, когда будет, она не знает. Дина позвонила на мобильный телефон. Ответил почему-то молодой женский голос. Нет, Бени сейчас подойти не может. А кто это говорит? Дина? Хорошо, она передаст Бени, что Дина ему звонила...

Дина набрала номер Цукерманов. Трубку сняла Юдит.

– Можно, мы с Михалькой приедем на Йом Кипур?

– Ну конечно, – ответила Юдит, – конечно, можно.

Синагога в Мигдаль-Эдер – как замок на вершине холма. Широховатые желтые каменные ступени, обрамленные декоративным виноградом и кустами дикого шиповника, ведут вверх по склону к двухэтажному зданию из необработанного иерусалимского камня. Тяжелая дверь, скамьи и столы из сосны, Ковчег Завета – как огромный, развернутый с краю, каменный свиток Торы, в бронзовых канделябрах на стенах узкие искрящиеся лампочки – как свечи, женский балкон – как галерея, высокие узкие окна – как бойницы в средневековой башне. Строили давно, еще до Дины. Секретариат ишува не поспешил на архитектора.

На галерее, как в детстве в трамвае, Дина выбирает место у окна. Солнце склоняется к закату, и на склонах облаченных в привычную форму цвета хаки холмов тут и там мелькают красноватые блики.

Кровь на камнях. Мигдаль-Эдер расположен удобно, на вершине, но слишком уж неравны силы. Вот с легкостью берет высоту конная полиция. Всадники в касках, как в шлемах, забрала опущены. Латники с дубинками, одетые в черное, – форма спецподразделений. Первая же атака достигает цели. Рушатся ворота Мигдаль-Эдер, лошади сминают копытами защитников ишува – ведь те не откроют огонь. Вот падает навзничь первый – ему раскроило череп ударом копыта. Вот еще один – кажется, сосед Деби из дома напротив, Дина никогда не могла запомнить, как его зовут, – опускается на землю: получил удар дубинкой по голове. Кровь заливает ему глаза, тонкими параллельными ручейками стекает на бороду, как будто кто-то заостренным металлическим гребнем разодрал ему щеку. Пытаясь привстать с земли, он поднимает руку и протирает окровавленные стекла очков. Подростки, столпившиеся у ворот, рассыпаются по холмам, их преследуют всадники и бойцы спецподразделений. Тащат за волосы девочек, за ноги – мальчиков, склоняясь с седла, дергают за рубашки, трещит и рвется ткань, мелькают в воздухе дубинки, с силой обрушиваются на обнажившиеся спины. Дина, не отрываясь, смотрит в окно. Боже мой, там же дети. Пятнадцатилетние близнецы Цукерманов. Дочка Деби, старшая, кажется, ей шестнадцать. Крик, пронзительный крик стоит над холмами. Кровь на камнях.

Дина отворачивается от окна. Закрывает глаза, проводит пальцами по векам, пытается стереть жуткую картину. Нельзя настолько давать волю воображению. Она просто слишком много читала книг о погромах, вот и все. И как удачно, что глаза у нее не накрашены,

сейчас непременно размазалась бы тушь. Но она не красится перед Йом Кипуром.

Темнеет. В сумерках в узких проемах окон смутно вырисовываются очертания холмов. Больше не видно крови.

Иначе. Все будет иначе. Солнце склоняется к закату. На вымощенном камнем дворе синагоги собираются жители ишува. С младенцами в колясках, с детьми, цепляющимися за материнские юбки. Растерянno слоняются вокруг дети постарше. Тут же, на каменных плитах, и в стороне, на земле, возле зарослей дикого шиповника, свалены в беспорядке сумки, баулы, собранные в дорогу узлы. Поодаль молчаливой стеной выстроились солдаты – следят, чтобы никто не вернулся в оставленные только что дома. Мужчины собираются возле крыльца синагоги на прощальную молитву. Выносят из здания бережно укутанный в синий бархатный чехол свиток Торы. Резкий осенний ветер треплет чехол, отворачивает уголок, открывает глазу беззащитный, как обнажившаяся под палочными ударами кожа, пергамент. Раввин ишува – он стоит тут же, на ступеньках, – наклоняется и закутывает свиток, тщательно, как младенца. Раввину только немного за сорок. Дина к нему приходила, когда решила разводиться. Он не отговаривал. Дай Бог, сказал, чтобы у тебя все прошло гладко и быстро. Если твой муж будет тянуть с разводом, скажи сразу, я постараюсь помочь.

Послеполуденная молитва. Последняя молитва в Мигдаль-Эдер. Да будет эта минута минутой милости... Почему они это поют, ведь это из службы Йом Кипура? Потому, что эта молитва последняя? Да возвеличится и да освятится имя Его. Кадиш. Они читают кадиш. Можно ли читать поминальную молитву по ишуву? И что делает женщина, когда плачут мужчины?

Еще несколько минут, и процессия двинется в путь. Впереди раввин, прижимая к груди свиток Торы. Потом община. Все это уже было. Сейчас все рассядутся по телегам, взмахнет кнутом вечный извозчик-балагула – и вперед, в неизвестность. Оглянувшись, они увидят охваченную пламенем синагогу. Хотя нет, их, конечно, рассядут не по телегам. По автобусам. А подожженную синагогу покажут потом, на экране телевизора. Старая еврейская история, но с поправкой на технический прогресс.

Кончается все быстро. Площадь перед синагогой пустеет. Ветер гоняет по каменным плитам бумажки, обрывки газет и яркие пустые пакетики из-под бамбы. Солдаты обходят площадь – убедиться, что

никого не осталось. Сзади, из пристройки, где собиралась раньше молодежь из «Бней-Акива», появляется девочка лет пятнадцати с металлической клеткой в руках. В клетке, прикинув к полу и прижав к головке уши, сидит котенок. Не породистый, ничем не примечательный испуганный серый котенок. Его тоже собрали в дальнюю дорогу. Рядом с ним жестянка с молоком, одет котенок в плотную вязаную фуфайку – день промозглый. По спинке фуфайки вышивка крупными буквами: «Мигдаль-Эдер». Девочка в автобус садится последней.

Дина смотрит в окно. Уже совсем стемнело. В оконном проеме худенькая женщина в белой блузке склонилась над молитвенником. Поверх темных локонов повязана белая косынка. В синагогу Дина надевает головной убор. Косынка вообще-то голубая с белым цветком, но в черном стекле она кажется белой. Молитва закончилась. Дина осталась последней на балконе.

Она спускается вниз. Выходит во двор. Вечер теплый, ни ветерка. У крыльца Штайнер, Деби с мужем, Юдит, еще несколько человек – Дина знает не всех.

– Избавление Всевышний посылает мгновенно, – с уверенностью заявляет Деби. В белом платке, в желтоватом свете фонаря она кажется смуглой. – Мало ли было за все эти годы планов и угроз. Помните все эти разговоры о выселении, в годы Осло? А Мигдаль-Эдер с тех пор вырос почти вдвое.

– Вполне возможно, что ты и права, – по ступенькам спускается Илья, становится рядом, – но нельзя надеяться на чудо. Премьер-министр пойдет на все, чтобы только улестить прокуратуру.

– Ему это не поможет, – вступает мягкий баритон, – у него слишком мало времени. После праздников вернется с каникул кнесет, и в течение ближайших недель правительство падет. Как бы ни отреагировала прокуратура, на выборы он уже пойти не сможет. Вся его программа останется на бумаге...

Знакомый голос. И лицо знакомое. Ну конечно, это же сосед Деби. Тот самый, что совсем недавно, получив удар дубинкой по голове у ворот ишува, протирал непослушными пальцами залитые кровью стекла очков.

На исходе Йом Кипура Дина возвращается в город. Машина мягко пружинит, подъезжая к туннелям. У КПП Дина замедляет ско-

рость, опускает стекло, привычно улыбается солдату. Тот улыбается в ответ, машет рукой – проезжай.

– Мама, – внезапно поднимает голову Михалька, задремавшая в дороге на заднем сидении, – правда, ведь это глупости, что они говорят? Правда, не может такого быть, чтобы разрушили ну даже один дом?

– Ну, разумеется, – подтверждает, обернувшись к дочке, Дина, – разумеется, этого не может быть.

•

—

Лея Алон (Гринберг)

НАЕДИНЕ С ИЕРУСАЛИМОМ

Мой Иерусалим – за окном. Просыпаясь, я вижу, как мягкий желтоватый свет солнца рассеивается за округлыми покатыми холмами. Пепельно-серые, обнаженные, протянувшиеся длинной неровной линией, они все время перед глазами. За ними поднимается новая гряда. И где-то чуть в стороне, возвышаясь над всей округой, – Иродион. Узнаю в туманной дымке его усеченную вершину. Иудейская пустыня кажется совсем близкой. В этом пейзаже – древность, суровость, величие земли. Без обещаний, без прикрас. И суть Иерусалима. Не всем дано почувствовать и принять его. Он или притягивает к себе или остается для тебя чужим: значит, твоя душа ищет другие краски. Я приняла его сразу.

Хорошо помню первую с ним встречу. И улицы, пустынные в ранний час, и свет солнца, пока сдержанный, скрытый в глубине неба. Мы, новые репатрианты, ехали в Иерусалим на экскурсию. И он был еще так далек от меня, хотя сердце мое уже потянулось к нему. Трудно было представить, что я обрету «статус иерусалимца», как однажды сказал о себе ныне покойный Андре Неер, выдающийся религиозный философ. Профессор Страсбургского университета, переживший Катастрофу, он репатрировался после Шестидневной войны. «Иерусалим – моя молитва, – писал он. – Я возродил свой статус жителя Иерусалима. И этот город горит во мне, как горящий терновый куст». Он восходил к Иерусалиму из Франции, я – из России. Мы принадлежим к разным поколениям, выросли в разных странах, но каждый из нас вернулся в свой дом после долгой разлуки.

Есть мгновения, когда тебе дано почувствовать это особенно остро. В тот вечер я впервые оказалась на Масличной горе. Провожали в последний путь мою тетю – дорогого и близкого мне человека. Сгущались сумерки. Голос ветра звучал, как голос одинокого путника. Памятники из белого камня на квадратной, огороженной каменной оградой площадке словно прилепились друг к другу и будто составили единый узор. Иерусалим сегодняшний, с его красками, его живым дыханием, был далеко внизу, а мы – на самой вершине горы. Словно вознеслись над ним. Казалось, за-

бтели в другой век. И ничего нет, кроме тишины, ветра и камня. И ощущения боли от вечной разлуки. Над свежим холмиком появилась табличка: «Фрейда Стамблер». Стоя здесь, я задумалась – может быть, впервые – об истории моего рода со стороны мамы. Семейное предание гласит, что были они изгнанниками из Испании. Осели в Турции и прожили там триста лет. Потом семья оказалась в России, и только фамилия хранит память о непростом пути одного еврейского рода. И вот – последнее пристанище: Иерусалим, Масличная гора. После всех страданий обретен вечный покой. Не об этом ли месте последнего упокоения мечтали во все века рассеянные по миру евреи? И она, Фрейда Стамблер. Пожилой нездоровый человек, живя в Тель-Авиве, подрабатывала к пенсии, чтобы оплатить место на Масличной горе, с той же верой, что пронесли все поколения до нее. Как будто не прошли века и ничто не изменилось в мире. А рядом с ней лежит ее сестра – моя мама, чьи сила воли и ум привели, нас, ее детей, в Израиль, и мой отец, ставший на склоне лет иерусалимцем, на могиле которого черным по белому вывели его настоящее еврейское имя: Натан бен Авраам Дубнов. Не то имя, что записано в документах, не то, с которым шел по жизни, а это – данное при рождении, в синагоге, в белорусском городе Гомеле. Возвратившись на эту землю, обрел он свое настоящее имя. И зазвучало оно во всей первозданной красоте, напомнив о наших праотцах и пророках. Словно ветер принес дыхание тех далеких дней...

Шай Агнон обобщил наш путь к Иерусалиму в Нобелевской речи, пропустив через свою душу всю горечь и боль еврейской судьбы. «Вследствие исторической катастрофы, из-за того, что Тит, император римский, разрушил Иерусалим, родился я в одном из городов изгнания, но повседневно и постоянно воспринимал себя как родившегося в Иерусалиме. Во сне, в ночных видениях я видел себя стоящим с братьями моими левитами в святом Храме, поющим вместе с ними псалмы Давида, царя Израиля. Таким напевам не внимало ничье ухо – с того дня, как наш город был разрушен и обитатели его ушли в изгнание».

Каждое поколение открывает Иерусалим заново. Его первым псалмопевцем был царь Давид. Он посвятил своему городу пророческие строки. Написанные около трех тысяч лет назад, они и сегодня звучат как только что рожденные: «Стоят ноги наши в воротах твоих, Иерусалим. Иерусалим отстроенный подобен город, слитому воедино, куда восходили колена Израиля, колена Господни... пото-

му что там стояли престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, покоя любящим тебя... Ради моих братьев и близких говорю: «Мир тебе!»» (псалом 122:2-6,8). Кажется вся судьба города прошла перед его мысленным взором: он видел Иерусалим разрушенным и восставшим из пепла, молил о благополучии и мире для него. Разве и сегодня не та же молитва звучит в нашем сердце? Мы повторяем ее как заклинание. Именно мира не хватало нашему городу – и тогда, и сейчас. Еще все было впереди: и величие его, и падение, – но Давид почувствовал и передал суть: вечную устремленность к нему народа. Так было, и так будет, потому что дух города связан с его прошлым: коленами Израиля и домом царя Давида.

Над этой связью не властно время. Говорят, в тот час, когда рождается невеста, Небеса провозглашают имя ее суженого. Мы пришли в мир друг для друга: Иерусалим и евреи. И когда жених произносит святыя слова: «Ты посвящена мне в жены по закону Моше и Израиля», – он тут же вспоминает Иерусалим – символ союза, выдержавшего испытание временем.

Я люблю оставаться наедине с Иерусалимом. Наслаждаться ощущением покоя и тишины. Небольшой отрезок пути от нового иерусалимского района Гар Хома до Гило. На этой дороге почти нет пешеходов, только машины мчат по шоссе. Узкий тротуар прижимается к гряде холмов, которые то мягко опадают, то круто вздымаются ввысь. На пустынном холме – старые маслины с кривыми темными стволами. Одно дерево растет прямо на камне. Почти висит над холмом. Видны корни, вцепившиеся в камень. Пока корни крепки – дерево будет стоять. Стелется по склону виноградная лоза. Яркие кусты розмарина чередуются с иссушенной ветром травой. Красуется желтая колючая головка на высохшем стебле. Ели с зелеными, совсем молоденькими шишками источают запах хвои...

Как рождается наша связь с городом? В минуты ли экскурсий, когда ты останавливаешься перед стеной, построенной во времена первых израильских царей, или касаешься рукой огромного блока, выпавшего из арки, соединявшей Верхний и Нижний город времен Второго Храма? А может быть, эта связь рождается в часы вечерних прогулок, когда сгущаются сумерки и дневной свет уходит, уступая место синеве, которая меняет облик города и очертания гор, порождая ощущение таинственности и печали. Иерусалим опоясывается огнями поселений, арабских деревень, высоких до-

мов, которые издали напоминают сторожевые башни времен царя Давида.

А может быть, эта любовь рождается в нас в утренние часы, когда солнце всходит из-за гор и освещает своим мягким светом древние террасы, оливковые плантации и дома из белого иерусалимского камня?.. У каждого из нас свой путь к нему, своя с ним связь. Связь душ твоей и его, когда твой настрой соответствует его настрою и тебе не мешает его суровость и неприветливость в дни холодной осени, тишина его узких улочек, холодность каменных стен и унылая оголенность гор. Ты принимаешь его и в печали, и в радости, как любимого, душу которого чувствуешь.

В Иерусалим я возвращаюсь всегда, как возвращаются домой после разлуки: с чувством облегчения и тихой радости. Всматриваюсь из окна автобуса в знакомые улицы. Часть из них по вечерам неярко освещена, и только рекламы как бы излучают свет. Однажды я провела субботу в Рамат-Гане – открытом, жизнерадостном, похожем на Тель-Авив городе. Кончилась суббота, и двинулись автобусы, открылись магазины, улицы оживились, по тротуару покатали коляски с малышами в сопровождении нарядных мам и пап. Меньше часа езды отделяло один город от другого, но контраст был разителен. После атмосферы тепла, света, праздника Иерусалим встречал тебя суровый, сосредоточенный. Ветер вырывал зонтики, холодный и неприятный дождь колотил по ним. Шла демонстрация. Она начиналась почти при въезде в город. И ты сразу окунался в атмосферу беспокойной израильской реальности. Демонстранты вытянулись вдоль всей дороги, горящие факелы под порывами ветра рождали в душе чувство тревоги. Десятки плакатов призывали народ проснуться, обвиняли правительство в измене, требовали прекратить политику сдержанности. Иерусалим, как самый чуткий орган в организме, первым реагирует на происходящее в стране. И тогда готовые ко всему полицейские в момент перегораживают улицы, чтобы не дать демонстрантам растечься ручьем по проезжей дороге.

Я видела Иерусалим таким разным... Временами его душа была переполнена радостью, и, казалось, часть этой радости перепала и тебе. Он делился с тобой, как щедрый человек делится со своим близким. Он бывал суровым, этот город. Его улицы в синеватом вечернем свете несли неведомую тебе печаль. И казалось, ты причастен ей. Он бывал трагичным, и ты делил с ним его тяжелую скорбную ношу. Ты проходишь с ним часть жизненного пути, толь-

ко то, что для тебя четверть века, для него – мгновение. Помню, как мы, жители Гило, стали мишенью арабских снайперов. Стреляли из соседней деревни Бейт-Джала или из близкого к нам Бейт-Лехема. Так продолжалось целый год. К этому нельзя было привыкнуть, но надо было жить и работать, как жили и работали люди в осажденном Иерусалиме или в Шестидневную войну, когда бои шли рядом с домами.

Израильский поэт Йеѓуда Амихай несколькими штрихами нарисовал картину воюющего города: «Расцветают первые битвы, как страшные любовные цветы, целующие смертельно, точно осколки. Прекрасные автобусы нашего города увозят молодых солдат. Все маршруты: пятый, восьмой, двенадцатый – заканчиваются на линии фронта».

О Иерусалиме не сказано ни слова, но ты ощущаешь его: суровый, с бетонными надолбами, мешкам, набитыми песком у входов в дома и в окнах. Война шла рядом с жилыми домами, а иногда прямо в домах. И оставляла свои следы в сердцах иерусалимцев и в памяти города. Никогда и ничто нам не давалось легко. И каждое новое утро – новый бой за такое естественное и привычное право для других народов: жить на своей земле. За все в нашей жизни мы платим тяжелую цену: и за нашу любовь к Иерусалиму, и за мечту укорениться на этой земле.

...Когда раздался взрыв, площадь озарило огнем и светом, отзвуки его потрясли все вокруг. Потом наступила тишина. Страшная тишина, в которой растворились все звуки. В такой тишине все мелкое в мгновение ока смывает волна захлестнувшей тебя боли. Остается главное, как во сне Яакова, когда ему открылся Бог: «Как страшно место это! Не что иное, как дом Всесильного, а это – врата Небес!..». Вдруг вспыхивает мысль: как страшно место это! И вслед за ней – другая: о вечной твоей связи с ним, местом этим, потому что праотцы наши получили землю в наследный удел, а ты всего лишь звено в цепи. Спросил Авраѓам у Бога: «Дай мне знать, чем они, мои потомки, заслужат право оставаться на этой земле». И дал Бог знак ему: жертвоприношениями».

Я вспомнила Ури-Цви Гринберга. Иерусалим воспет тысячекратно, но Ури-Цви писал о нашем Иерусалиме. Он чувствовал его высокое духовное напряжение, его необычный внутренний свет. И он испытывал боль, когда видел, как унижают великий город, страдал, как страдает человек от раны, которую нанесли лично ему. Он писал:

*В пепле, изрезан, истоптан,
В седой крови союза Бога с нами –
Тебя я вижу, мой Иерусалим, избитый!
Избитый, горький, страждущий...*

(Здесь и далее пер. П. Гиля)

Он был до основания разрушен, сровнен с землей. Его лишили собственного имени, посягнув на душу города – память. Трагедию разрушения Первого и Второго Храмов предсказали пророки. Картину борьбы и падения оставил Иосиф Флавий. Возрождение города происходит на наших глазах. Трудное, как и у нас, евреев. Иерусалим Ури-Цви Гринберга, как Иерусалим каждого из нас, не призван дать душе покой, скорее – чувство тревоги. В нем все ощущения остры, как ощущения от взлетов и падений.

*И я взошел на гору в День Иерусалима.
Великий город в радости и гимнах
Великого народа, что сравним лишь с чудом,
Но у меня в душе – великий ужас:
Что день нам завтрашний несет?
И ужаснулся я: там вражий купол
Тяжелым золотом гноится
Боль моего позора, рана, что нанес мне Тим, –
На месте Храма, что разрушен!*

Для Ури-Цви величие Иерусалима символизирует величие народа. Сила одного питает силу другого. Мы всегда были единым целым. Когда Иерусалим лежал в развалинах, а другие города продолжали жить, мы оказывались без родины. Для нас он был не просто городом, но олицетворением независимости. И потому так остра борьба за него. «Припомни, о Бог, день Иерусалима сынам Эдома, говорившим: «Разрушайте его, разрушайте до основания!» (псалом 137:7). Пророческое предвидение царя Давида исполнилось сполна. Кто только ни разрушал Иерусалим за века, истекшие с тех пор!.. И сегодня при мысли о наших врагах тревогой сжимается еврейское сердце. Уже на нашей памяти, в совсем недалеком прошлом, судьба Иерусалима была брошена на чашу весов. Готовилась очередная сделка с нашими врагами. Еврейские лжепророки вновь трубили о ми-

ре. На фоне непрекращающейся гибели людей, на фоне неутихающей ненависти они пели сладкие песни о мире. Иерусалим первым оказался в опасности, и боль его отозвалась во многих сердцах. Нельзя забыть тот вечер и минуты высокого духовного единения, которые пережили люди, собравшиеся у стен Старого города, чтобы выразить чувства любви к Иерусалиму и преданности ему.

Спускалась ночь. В вечернем свете растаяли очертания гор. Внизу, словно на дне чаши, столпились дома. Казалось, они вот-вот поползут вверх. Там начинался Иерусалим – город царя Давида. Он был воином и псалмопевцем, этот великий царь, одна рука его держала Тору, другая опиралась на меч. Он оставил нам в назидание мудрые строки о психологии завоевателей: «...только заговорю о мире, они сразу – к войне» (псалом 120:7). Мы пронесли через века его слова: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня десница моя, пусть прилипнет язык к гортани моей, если не буду помнить тебя, Иерусалим...» И была то самая первая клятва на верность Иерусалиму. И вот спустя три тысячи лет наше поколение повторило слова верности: «Иерусалим, я клянусь!»

Иерусалим, сколько клятв верности приносили тебе евреи! Сердце твое откликнулось на мольбу, не прекращавшуюся две тысячи лет. Слышишь ли ты, что происходит вокруг тебя сегодня, знаешь ли ты, что борьба за тебя разгорается с новой силой? Вновь над тобой сгущаются тучи. Пока они еще скрыты за пеленой лжи. Но она, эта пелена, спадет, и тогда мы увидим, как опасна реальность. Устоим или нет? Выдержим испытание или нет? За тебя всегда нужно было бороться, терять и обретать вновь. До Израиля я не молилась о Иерусалиме, но Иерусалим был в моей крови. И потому сегодня я молюсь за него. За его благополучие, за его неразрывную связь с нами. За его и нашу верность друг другу.

КОРНИ РОДОВОГО ДЕРЕВА (три этюда)

1. «СЛОВА ВЫШНИЕ И ТАЙНЫ ВОЗВЫШЕННЫЕ»

Над головой – небо, под ногами – камень, обкатанный временем. Кажется, нога вот-вот соскользнет, настолько он отшлифован. Чуть сбоку – пещера в скальной породе. В нее ведет узкий темный проход. В полумраке глаз различает огонек свечи на большом камне, ветер шевелит пламя, и оно клонится то влево, то вправо, отбрасывая тени. Мрак в пещере лишь оттеняет его яркость. Ты невольно следишь за ним: маленькое пламя оставленной кем-то свечи – продержится или погаснет? Черные дорожки от парафина напластовались на поверхности камня. Должно быть, сюда часто приходят люди. Темный свод. Паутина обметала углы. Душно, хотя снаружи хозяйничает ветер.

Деревья, подобно великанам, прислонившим друг к другу головы, прикрыли собой площадку с пещерой, схоронили от глаза людского. Это место где-то в стороне от дороги, как прошлое, которое отдалилось, но не ушло. И вдруг оно, это прошлое, ожило и приблизилось к нам. И представилось, как оказались здесь, неожиданно вырванные из привычного круга жизни, раби Шимон бар Йохай и его сын Эльазар. Что чувствовали они, когда мир сузился для них до пятка земли с пещерой? Приговоренный римлянами к смерти, раби Шимон бар Йохай – Рашби – бежал сюда в поисках убежища. Он знал, что его ищут, – преследования законоучителей и гонения на них становились все тяжелее. Уже погибли, приняв страшные муки, многие его собраты. Четыре года, пока раби Акива сидел в тюрьме, Рашби продолжал, навещая узника, брать у него уроки Торы, ибо не было равных его учителю и каждая встреча с ним была для него даром свыше, но и раби Акива ушел, благословляя в минуты последних страданий Имя Всевышнего. Ему, Шимону бар Йохая, и тем, кто остался, дано беречь огонь свечи от ветра ненависти, который грозит ее загасить. Он вспоминал слова Ирмеягу: «Это бедственное время для Якова, но он будет спасен». Только вера давала в такие минуты силу выдержать и не сломаться, только вера и сын, ученик, соратник, друг, который преданно следовал за ним.

Темный проем пещеры смотрел на них своим бесстрастным взглядом. Там внутри – каменное ложе. Когда-то Эрец Исраэль

сжалась до размеров такого же ложа под праотцем Яаковом, и именно тогда обещал ему Бог отдать землю, на которой он лежит. Мир видимый, реальный пугал неизвестностью, вызывал чувство тревоги. Мир скрытый предсказывал духовное возвышение и землю в наследие ему и его потомкам. Только тот, кто проникал в тайны Торы, чувствовал эту связь. Позже, все в той же пещере, он, раскрывая эту связь между земным и духовным, напишет в своей книге «Зофар»* («Сияние»): «Раби Шимон сказал: «Горе тому человеку, который считает, что Тора пришла для того, дабы пересказать простые сказания, поведать об обыкновенных делах... Все слова Торы – это слова вышние и тайны возвышенные. Приди, взгляни. Вышний мир и мир нижний на одних весах взвешены: Израиль снизу, и вышние ангелы – сверху...» Об этом сказал Давид: «Раскрой глаза мои, и вижу чудеса в Торе Твоей!» (119:18).

Отсюда, с этого галилейского холма, мир виделся иным. Тишина обострила слух и внутреннее зрение, мысль работала четче. Раби Шимон чувствовал: при всей тяжести его физического состояния, при всей горечи изгнания именно здесь ему дано подняться на новую духовную высоту. Он хорошо знал свой склад ума, и его предвидение сбылось, но не раз бывали минуты отчаяния и он плакал от чувства беспомощности, когда мысль его останавливалась перед преградой, не в силах разрешить противоречие. И тогда случалось чудо – приходил к нему пророк Элиягу, чтобы утешить и помочь, и звал его: «Встань, раби Шимон, пробудись от сна! Блаженна участь твоя, ибо Святой, благословен Он, печется о славе твоей». Так сам он пишет в книге «Зофар».

Ты стоишь на камне рядом с пещерой, ветер шумит в кроне деревьев, иногда доносятся голоса из деревни, которая расположена над холмом. Это Пкиин – древнее поселение, которое евреи не покидали даже в дни галута. И все равно создается впечатление полной оторванности от жизни. Где-то далеко внизу проходит дорога. Раби Шимон хорошо видел ее сверху. Она была вся перед глазами. Галилея, с ее зелеными холмами, порой теряющими очертания за серою дымкой тумана, звала его. Он хорошо знал каждую тропку. У подножья горы Мерон был Дом учения, там собирались его ученики и собраты, с ним вместе учили Тору. Казалось, один только шаг – и он ощутит землю под ногами, и она даст ему силы, как

* Литературный перевод фрагментов из книги «Зофар» с арамейского, комментариев и приложение к текстам – М. Кравцова.

давала всегда... Тринадцать лет перед ними была пещера, рожковое дерево, питавшее их своими плодами, родник... Проходили годы. Самым тяжелым в этом одиночестве была разлука с братьями. И оставшиеся на воле не забывали раби Шимона. Им не хватало его высокой мудрости. Книга «Зоѓар» передает эту обоюдную тоску почти в поэтической форме.

«Увы нам, что отсутствует сын Йохая, и нет никого, кто знает о нем. А если кто и знает, то не вправе открывать.

— Голубь, голубь верный со дня потопы! Образ святого народа тебе подходит, тебе подобает! Ступай туда, где находится сын Йохая, и передай послание мое.

Взял голубь записку в клюв, прилетел к раби Шимону и подал ее крылом. Вгляделся тот в эту записку — и заплакал, он и раби Эльзар, сын его. Сказал он:

— Плачу я из-за того, что отделены мы от братьев. И из-за того плачу, что эти слова не открыты для них. Что же станут делать следующие поколения?».

И была его связь с миром сокрытым такой глубокой и сильной, что, казалось, ему открыты все тайны мироздания. «...Полна земля владением Твоим» — вспоминал кабалист псалом Давида (104:24). Он писал: «Есть одежда, которая видна всем. И глупцы, глядя на человека, рассматривают лишь одежду, которая хорошо видна им. Одежда эта предназначена для тела. Тело предназначено для души. Точно так же и Тора: у нее есть тело, и это заповеди Торы, называемые вещественностью Учения. И это тело одевается в одеяния, те самые сказания о делах этого мира. Горе тем нечестивцам, которые говорят, что Тора — не более чем простые сказания. Они замечают лишь одежду эту. Блаженны праведники, которые вглядываются в Тору должным образом». Он был из тех немногих, чей взгляд проникал за «одежды Торы», и ему открывалась ее истинная духовная сущность. И это знание наполняло его любовью, и книга его, выстраданная и выношенная в страданиях, отражает великую эту любовь к Торе.

Когда умер император Адриан и они вышли из пещеры, тело раби Шимона было покрыто ранами, и, обмывая его, плакал один из его братьев: «Горько мне, что я вижу тебя таким».

И ответил раби Шимон: «Блажен удел мой, что таким ты увидел меня».

Он благословлял страдания, видя в них высший умысел, который позволил ему подняться до духовных высот и оставить после себя книгу «Зоѓар».

В Талмуде, мидрашах, в книге «Зоѓар» не раз вспоминаются эти тринадцать лет, проведенных раби Шимоном бар Йоханом и его сыном Эльазаром в пещере, но только увидев своими глазами ее, рожковое дерево с тяжелым поседевшим стволом, подобной шатру кроной, услышав отдаленный голос пробивающегося где-то источника, проникаешься ощущением, что это не предания далекой старины, а страница твоей истории. И все это было. Был раби Акива и казненные Римом десять праведников, о которых евреи вспоминают каждый год в Йом-Кипур. Были Хана и семь ее сыновей, убитых по приказу Антиоха, но не поклонившихся идола. Сколько веков прошло, сколько таких матерей и детей унесла ненависть к нам, евреям, но и сегодня история Ханы и семерых ее сыновей волнует нас.

— Я брошу кольцо, а ты подними его, и никто не будет знать, что ты поклонился, — сказал Антиох младшему мальчику.

— Горе тебе, если ты так беспокоишься о своей чести. Как же я должен беспокоиться о чести Бога! — ответил мальчик и разделил участь своих братьев.

Помню, как поразила меня могила Ханы и ее сыновей на цфатском кладбище. Среди серых надгробий я вдруг увидела указатель с надписью: «Хана и ее сыновья», — и поймала себя на мысли: «Значит, это было в действительности». Указатель привел к пещере. К ней вела крутая тропинка. Заглянув внутрь, я увидела, как прилепились друг к другу могильные камни, под которыми покоился прах Ханы и семерых ее сыновей. Легенда, обретшая плоть...

Каждое время, отдалившись от нас, оставляет свои легенды. Свои легенды оставило время Антиоха и свои — время Адриана, но только мудрость, истинная преданность народу, чистота и бескорыстие помыслов вознаграждаются долгой, сохранившейся на века памятью.

Обо все этом думаешь, стоя на стершемся от времени камне. Глаз схватывает детали: старые стволы, обнаженные корни деревьев, впившиеся в камень, огромная раскидистая крона...

Около трехсот лет назад побывал здесь еврейский путешественник из Цфата и написал о рожковом дереве слова, прочтя которые, я представила себе человека, прожившего долгую жизнь и освятившего ее: «Оно уже старое и не дает плодов, неевреи обожествляют его и если падает ветвь — непременно ее сжигают. А иногда

под кроной собираются евреи и читают книгу “Зоѓар”, будто возвращаются в те времена, когда создавалась она под этим деревом».

Целый сад произрос от одного корня. Прошло более восемнадцати столетий с тех пор, как рожковое это дерево дарило первые свои плоды раби Шимону и его сыну... Упали на землю семена, и выросло новое поколение, но по-прежнему говорят о нем как о дереве Рашби.

Не так ли и с нами, людьми? Много новых поколений прошло со времени Шимона бар Йохая, но мы произросли из того же дерева, от того же семени, однажды упавшего в землю. По сути своей мы все те же, и дух раби Акивы, дух раби Шимона бар Йохая, дух Ханы и ее сыновей живет в нас.

...Бросаю прощальный взгляд на пещеру. Свеча по-прежнему горит. Пламя колеблется под ветром, но не гаснет. Когда это случится, загорится огонь свечи, зажженной другим человеком. В честь раби Шимона бар Йохая и его сына Эльазара.

Земное и небесное... Он верил в неразрывность этой связи. Она чудесным образом воплотилась в его судьбе. И когда зажигают в день его памяти костер, искры света освещают тьму, как он освещал ее своей жизнью.

2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОКИНУТОМУ ИСТОЧНИКУ

Строки Самуила Маршака об ушедшем детстве я повторяю как рефрен любимой песни: «Сколько лет прошло с малолетства, \ Что его вспоминаешь с трудом. \ И стоит вдалеке мое детство, \ Как закрытый ставнями дом. \ В этом доме все живы-здоровы – те, которых давно уже нет. \ И висячая лампа в столовой льет по-прежнему яркий свет».

Приходят мгновения, когда и ты, подобно поэту, вспоминаешь свой дом, и тепло тех дней согревает тебя через годы и расстояния. Словно по волшебству маршаковских этих строк, отворились закрытые ставни памяти и вернулась картинка из прошлого. Пятничный вечер в доме деда, в тесной квартирке на Урале, где никогда не исчезал запах стружки и лака. Отложив в сторону рубанок, дед присаживался за низенький столик и запевал своим хрипловатым голосом песню на идиш. Бородка у него была маленькая, седая, он то и дело поглаживал ее.

*Цорес оф едер ид асах,
Цорес ин де пекелах,
Цорес инде хекелах
Цорес ис дос ниткайн гуте зах.*

Горя у каждого еврея в избытке, горе в мешочках, горе в торбочках, горе —недобрая вещь. Он пел, постукивая по столу костяшками пальцев, и в глазах его была извечная еврейская печаль. Слеза иногда наворачивалась на глаза, и он незаметно смахивал ее. Помню стопку водки по субботам, добродушное покрякивание рабочего человека и песню: «Фрайтык оф дер нахт — аз едер ид амелех». «В пятницу вечером каждый еврей — царь». И он действительно чувствовал себя царем в этот час, старый еврей, потерявший свой дом и брошенный далеко от родных белорусских мест. Он пел, и за песней вставал мир еврейского местечка, мир, который ушел навсегда, как навсегда ушли два его сына, унесенные войной, но эти воспоминания приносили душе успокоение, согревали ее теплом.

В последнюю нашу встречу, накануне моего отъезда в Израиль, он был совсем другим. С длинной белой бородой, скуластым светлым лицом, он напоминал мне стариков с картин Рембрандта. Ему шел девяносто первый год. Он полусидел-полулежал на своей постели, а под подушкой, в изголовье, держал аккуратный кошелек для цдаки. Всю жизнь, сколько помнила его: и тогда, когда был крепким и энергичным стариком, и сейчас, в свои девяносто, когда уже почти не мог ходить, собирал деньги для бедных. Едва я подошла к кровати, он привстал, достал кошелек, попросил деньги на цдаку и лишь потом заговорил со мной обо всем остальном. Куда бы ни забрасывала его судьба, где только он ни жил, пока пятеро его сыновей воевали, дед помнил и соблюдал те традиции, что вынес из своего дома, от своих родителей.

Я вспоминаю деда, но думаю о тех, чью частицу мы несем в своей крови. Мой дед Абрам Дубнов был одним из них. Он нес в себе частицу своего деда, чья вера была сильнее и глубже его веры. Мы далеко ушли от своих дедов и праотцев, тех самых выходцев из местечек и гетто, что несли свое еврейство как Божью милость, видели в нем величие и благословение. Их вера была так сильна, что ее хватило на много поколений, и даже на наше, насильственно оторванное от своих корней. Это возвращение к нашим дедам, назад от поколения к поколению, приведет к самому первому еврею, который один противостоял всему окружающему миру. Поэтесса

Зельда передала это чувство в стихотворении, посвященном своему деду:

*Праотцу Авраѓаму,
Считавшему ночью созвездия,
Взывавшему к Творцу
Из пламени,
Приносившему в жертву сына
Был подобен мой дед.
Та же незыблемая вера
В огне
И тот же взор росистый
И борода в мягких волнах.*

(Пер. Ф. Гурфинкель)

Тот, чей мир сформировала Тора, во сне и наяву видел перед собой библейские образы. И они питали творчество писателей, поэтов, художников. Скрипачи Шагала играли на крышах, а его влюбленные парили в воздухе. Из теснин жизни уводил он своих героев в мир мечты. И небо окружало влюбленных, и звезды изливали свой свет, и мир казался прекрасней и радостней. Палитрой Шагала была память. И у Ицика Мангера – все было пронизано памятью. Ицик Мангер искал своего дедушку. Тихого дедушку Аврама. У его дедушки была седеющая борода и большие грустные глаза. На своей лошадке он возил мальчика в маленькое восточно-галицийское местечко Стопчеты. И это была самая прекрасная дорога в мире. Но вдруг дедушка перестал приходить. Дедушка просто исчез. И мальчик, которому неведомо понятие смерти, отправился искать своего дедушку. Он кружил по площади среди людей, телег, лошадей. Он заглядывал в лица прохожих. Нет, среди них не было его дедушки, дедушки Аврама из Стопчет.

Прошло много лет, прежде чем образ ушедшего дедушки возник в воображении писателя. «Дедушка ожил для меня как трагическое воплощение праотца Авраѓама из Пятикнижия. Однако на этот раз он влечет на жертвенник не Ицхака – своего сына, а Ицика – своего внука. И никакое чудо не спасает жертву, – пишет Ицик Мангер и заключает: – Образ праотца Авраѓама из Пятикнижия и образ балагулы из Стопчета слились воедино. Они связаны горестным историческим жребием».

Родовое дерево... Знаем ли мы, в какую глубину уходят его корни и как развилась его крона, сколько ветвей разошлись от него, что видело оно на своем веку и куда разбросало его потомство? Тридцать лет назад, когда мой дед был еще жив, его младший сын, а мой дядя Давид Дубнов решил проследить генеалогию рода. Его отец помнил своего прадеда, жившего в Мстиславле Могилевской губернии. Звали прадеда Михл-Велвл Дубнов. Это был тот корень, от которого выросло родословное дерево. Оно обрастало ветвями. Одни отпадали, другие появлялись. Крона его становилась все пышней, и уже здесь, в Израиле, у него появилось богатая новая поросль. Но как бы далеко ни отстояли от первоосновы, мы все равно связаны с ней как кроны и корни одного дерева.

Они уходили от нас, наши деды и прадеды, время стирало живые черты, нам же оставалось нечто непреходящее – их духовная суть.

Эли Визель, потерявший своего деда-хасида в огне войны, всю жизнь помнил его слова: «Слушать – значит получать. Наш народ стал таким, каков он есть, потому что умел слушать и умел получать. И он получил Тору... Так вот, хоть Тору нам дали всего один раз, но каждый из нас должен получать ее ежедневно сызнова».

Шимон Дубнов, запечатлевший весь путь еврейского народа, тоже думал о своем деде. Он вспоминал его вдали от родных мест, будучи изгнанником. Ему, еврейскому историку, был закрыт доступ к дорогим могилам. И, пройдя долгий земной путь, размышляя над своей жизнью, он думал о давнем споре с дедом, талмудистом раби Бенционом из Мстиславля. «Помнишь мой бунт против священной для тебя традиции, твои волнения и грустное пророчество, что я когда-нибудь вернусь к покинутому источнику? Твое пророчество сбылось, хотя и в другой форме. Мы – две вехи на распутье веков, но обе вехи указуют путь к истокам еврейства». Он выстрадал это признание – и не только своей жизнью. Кому, как не ему, мысленно прошедшему со своим народом долгую дорогу его странствий, видевшему, как, подобно высохшей ветви, отпадали на этом пути те, кого больше не питало родовое дерево, дано было понять, что вера предков сохранила народ. Йешаягу сказал в своем пророчестве: «...и как от теребинта и дуба останется в листопад ствол их, так святое семя народа станет стволом его».

3. ЧУДО СОХРАНЕННОГО ИМЕНИ

Амука спряталась высоко в горах Галилеи. Ах, какие там горы и какие леса! Деревья поднимаются по склонам все выше и выше, будто обгоняют друг друга. И кажется – автобус спешит вслед за ними, петляя по узкой, проложенной в горах тропе. Но вот он миновал подъем, и лес будто принял тебя в свои объятия. Он шумит по обеим сторонам дороги, ветви совсем близко от тебя, и ты видишь, как осела на них придорожная пыль. Выжженная трава, огромные кактусы, серебристые оливы, миндаль, старые многолетние дубы, сосны, вытянувшиеся как солдаты на карауле, – все это составляет единую симфонию. Кружит голову запах хвои, солнце бросает веселые блики на землю, порывшую от осыпавшихся листьев. Лето в самом разгаре...

Но вдруг ты вынырнул из объятий леса, и тропа, ведущая вверх, неожиданно оборвалась. Автобус вынесло в живописную, полную солнца и света долину. Это Амука.

Амука совсем близко к Цфату, но добраться туда непросто. Словно специально спряталась она в горах, в глубине леса, – попробуй, найди. Когда-то на этом месте было древнее еврейское поселение, и земля хранит его следы.

По-видимому, имя это от слова «омек» – «глубина». Говорится в «Мишлей»: «Ров глубокий – уста чужих; на кого прогневается Господь, тот упадет туда». В словаре Эвен-Шушана одно из пояснений к слову «амука» – «ров», «глубокая впадина». Но судьба вознесла Амуку, выделила ее из тысяч других древних мест, память о которых стерло время. Не само по себе осталось это имя, оно срослось с именем Йонатана бен Узиэля, мудреца и праведника, жившего в первом веке. Был он учеником Гилеля, одного из самых известных наших законоучителей, на протяжении сорока лет возглавлявшего Сангедрин. Однажды попросил его нееврей рассказать о Торе, пока он стоит на одной ноге: «Не делай другому то, что ненавистно тебе самому. Это вся Тора – остальное комментарий. Иди и учись», – сказал ему Гилель, и слова эти остались в памяти поколений как квинтэссенция нашего учения. Прежде всего – не делай другому зла, иди и учись творить добро.

Были у Гилеля восемьдесят учеников. И сказано о них: «Тридцать, подобно Моше-рабейну, были достойны того, чтобы на них покоилось Божественное присутствие, тридцать – чтобы ради них остановилось солнце, как остановилось оно ради Йефошуа бин Ну-

на, двадцать ничем особым не выделялись. Но самым выдающимся среди всех был Ионатан бен Узиэль».

Отшумели века, как шумят над Амукой деревья, и остались легенды.

И рассказывают легенды, что когда Ионатан бен Узиэль говорил о Торе, ангелы из небесных чертогов спускались на землю, чтобы послушать его. И рассказывают легенды, что когда он учил Тору, птицы сгорали в лучах его святости. Но есть среди легенд одна совсем земная и очень понятная нам, обычным смертным. Видно, высокая эта святость не помогла Ионатану бен Узиэлю в обычных мирских делах – он не создал семью, а быть может, создал слишком поздно и не успел оставить потомство. И покидая этот мир с чувством невыполненной заповеди, обещал на смертном одре: «Каждый, кто захочет жениться, пусть придет с молитвой на мою могилу, не пройдет и года – и он найдет свою судьбу».

Передавались эти слова из поколение в поколение и дошли до наших дней. Глубока вера еврейской души в слова праведника. И приезжают люди на могилу Ионатана бен Узиэля, и просят о милосердии для себя и для своих близких. И утром, едва луч солнца озаряет долину, кто-то первым приближается к могиле. Мир вокруг тих и спокоен. И та же гармония рождается в душе человека, и приходят минуты высокого духовного просветления. Суждено ли ему обрести счастье после посещения этой могилы? Он верит и надеется. Но побывав в Амуке, унесет в душе воспоминания о святости этого места, о чуде сохраненного имени. О чистоте человеческой жизни, которая остается нам в назидаение.

И еще долго будет помнить он весь путь, который проделал, чтобы добраться до Амуки. И горы, вздымающиеся к самому небу, и свет солнца, пробивающийся сквозь зеленые вершины сосен, и памятники еврейским мудрецам у этой дороги, навечно оставшимся в земле Галилеи. И легенды, которые родились на этой земле и дожили до наших дней.

Вильям Батқин

НЕЗНАКОМЫЙ СИМОНОВ

Пора отдавать долги, платить по счетам, по зову зоркой памяти, не истаявшему в шеренговом шелесте лет. В ее чутких ячейках сохранил я достойные и высокие имена людей, встреченных на долгой ниве; их свет, невесть когда вспыхнувший, изменил, невольно и ненавязчиво, ориентиры моей судьбы. И нынешнее доброе слово о них – в меру сил и дара отпущенного – плата по счетам. Пора отдавать долги.

Один из таких людей – Константин Симонов. Именно ему принадлежат слова: «Нравственные долги надо платить».

1

Начну – издалека. Мой дядя Гриша был военным корреспондентом газеты «Правда».

Не исключено, кто-то помнит имя – Г. Григоренко; это его псевдоним, настоящая фамилия – Ляхт. Его фронтовые корреспонденции, продиктованные или выкриканные в московскую редакцию в сорок первом и сорок втором, прямо с передовой – из оставляемого врагу Киева, из руин осажденного Сталинграда, – несли правду о войне, хотя и процеженную густым ситом военной цензуры. Дядя Гриша писал просто и коротко, читатели и я, тогда мальчишка, в героях его очерков, прежде всего – рядовых красноармейцах, угадывали и мужество автора строк. Однажды его вызвал в Москву главный редактор – Н. Пospelов.

– Гриша, – сказал он, наполнив хрустальные рюмки коньяком и дружески похлопав дядю Гришу по плечу, – мы тебя любим и ценим как талантливого газетчика и храброго человека. Днями тебе будет присвоено очередное звание – капитана... Но наверху, – редактор на мгновение замолк и воздел руки к люстре, – наверху недоумевают: отчего у твоих героев сплошь еврейские имена и фамилии? Что – воюют только евреи?

– Но евреи тоже воюют! – негромко отозвался дядя Гриша, покрываясь холодным потом. Это он-то, сильный и храбрый, прошедший все круги фронтового ада?!

Месяц спустя, уже после пленения Паулюса под Сталинградом, его уволили из «Правды» – отправили на офицерские курсы «Выстрел», где и присвоили звание капитана. Войну, дважды раненный, дядя закончил в Вене, майором, начальником штаба дивизии.

Думая о дяде, я остро и опечаленно вспомнил Харьков – город, в котором едва ли не вся жизнь прожита, пьянящий, каштановый, – там чистое свечей свечение сквозь арки парковых аллей оставлено на попечение души встревоженной моей. Семь лет назад мы распрощались, похоже, навсегда, полуторамиллионный город вряд ли приметил мое исчезновение.

Но вернусь в Харьков, в август сорок первого. Тогда мое радужное детство оборвалось в густых разрывах осколочных бомб, рухнувших в одночасье на город, скрылось и дверь прикрыло за собой, когда проводил в армию отца, – с солдатской котомкой за плечами, в накрученных обмотках, он вскочил на ходу в воинский эшелон. Мы с мамой и трехмесячной сестренкой остались жить в семье маминной родной сестры Бебы, жены дяди Гриши.

Изредка дядя приезжал с фронта домой – в выгоревшей гимнастерке с тремя красными квадратиками в петлицах, обожженный солнцем, обветренный, худой, небритый. Обычно это было на рассвете – он вваливался в свою харьковскую квартиру, протягивал жене несколько густо исписанных листочков, падал на диван, мгновенно засыпая. Я подкладывал ему под голову подушку, стягивал заляпанные грязью сапоги. Уже тогда я любил дядю какой-то необъяснимой любовью – не детской, не родственной. Несколько часов спустя он вскакивал, словно по побудке, долго и шумно плескался под душем, выходил – гладко выбритый, подтянутый, не прикасался к приготовленному для него завтраку – жареной картошке, залитой яйцами, и уезжал, наскоро обняв любимую дочь Стеллочку и потрепав меня по плечу. Уезжал на фронт, в места тяжелых боев, о чем мы узнавали из его корреспонденции, продиктованной тетей Бебой в редакцию «Правды» из специальной телефонной кабины в углу столовой. За несколько часов в кругу семьи дядя не проронил ни слова, если не считать крики во сне. Но мы-то привыкли к нему иному – весельчаку и шутнику.

Изредка, словно на огонек, к нам забредали военные корреспонденты московских газет, шумно здоровались, вваливались в большую столовую, сбрасывали в угол скатки, автоматы и трехлинейки, отталкивая друг друга, диктовали по телефону свои лаконичные тексты, раскладывали на обеденном столе фронтовые пайки. Жад-

но заглатывали из плоских металлических фляжек водку или трофейный шнапс. На сигналы воздушной тревоги – вой уличной сирены и по радио – они не реагировали. Глядя на них, и я не откликался на приказ мамы спуститься в бомбоубежище, забившись в угол, уткнувшись в книжку, я слушал батальные подробности их бесед. По трубному зову военной машины они вскакивали, быстро одевались и исчезали в дверном проеме – в недалеком кровавом месиве боев, в беспорядочно отступающих фронтах.

Для нас, меня и моих друзей, десятилетних сверстников, Яшки Гольдберга и Петьки Тарнавского, отступление Красной Армии, любимой и непобедимой, было необъяснимой трагедией, но если мы с Яшкой свято верили в тактический план Сталина – «Кутузов даже сдал Москву», то бесцеремонный Петька гневно орал на всю Сумскую:

– Драпают!

И он был прав: центр Харькова, улица Сумская, была непривычно пустынна, а окраины –

Новоселовку, Безлюдовку, Холодную Гору – заполняли беспорядочные толпы отступающих.

Немцы бомбили Харьков педантично и регулярно. Ежедневно, после четырех вечера, мы слышали приближение самолетов, раньше сигналов воздушной тревоги они пролетали низко, на бреющем; мы видели кресты на крыльях и головы летчиков в подшлемниках, и отделившиеся от самолетов бомбы и бежали на грохот разрывов. Однажды, услышав ликующий вопль толпы: «Сбили!» – мы с Яшкой и Петькой рванули к саду Шевченко, где выставили на обозрение остатки «мессершмитта». Пока милиция устанавливала ограждения, мы в мальчишечьей орде пробились к сгоревшему остову с ненавистными крестами, свистя и подпрыгивая, исполняли на нем дикую пляску, доламывали остатки чудовища, которое еще час назад несло смерть. Впрочем, мы, мальчишки, тогда о смерти не задумывались. Мне достался крохотный дюралюминиевый обломок крыла со следами фашистской отметины.

С такой драгоценной добычей я и заявился домой, ближе к полуночи. Увесистый мамин подзатыльник был лишь малой долей того, к чему я был приговорен, но в столовой были трое незнакомых военных. Мгновенно оценив ситуацию, один из гостей, чернявый молодой толстяк, навел на меня объектив «лейки» и щелкнул.

– Борька, – закричал он второму командиру, плотному русоволосому крепышу, – оцени кадр, еврейское дитя войны! «Если враг не

сдается – его уничтожают». Как тебе подпись, снимок расхватают все газеты!

– Мишка, во первых, подпись проблематична – слова не твои, – Максима Горького! А во вторых, – он махнул рукой и замолчав, продолжал писать – за письменным столом дяди моего.

Но Мишка не уgomонился:

– Костик! Взгляни на этого мальчишку с обломком «мессера»! – он обратился к третьему. Из телефонной кабины доносился приглушенный голос – тот диктовал в Москву свою корреспонденцию.

– Молодой человек, – гость протянул мне руку, – рад познакомиться. Ваш трофей заслуживает внимания, но долгое отсутствие взволновало вашу матушку. Впредь – соблюдайте дисциплину...

Молоденький командир, высокий, ладный, затянутый в гимнастерку – по одной шпале в петлицах, с боевым орденом на груди, смолистые кудри, тонкая полоска усов, – он походил на цыгана или грузина, но легкая картавость, различимая, отчетливая, в его речи напоминала еврейский акцент. Уже тогда, в свои десять, я знал наши отличительные признаки. Мишка – еврей, не вызывало сомнений, но Костик?

– Костик, а где нынче твоя матушка? – спросила тетя Беба, но ответ я не услышал.

Присев на диван, я крепко спал, вздрагивая во сне от разрывов бомб. Кто-то снял с меня ботинки, укрыл простыней. Проснулся под утро – рассвет настойчиво продирался и сквозь полотно августовской ночи, и сквозь плотную светозащитную штору. Разбудил меня громкий шепот.

– Бебочка, дорогая, оставаться в Харькове – безумие: в город вот-вот ворвутся немецкие танки! – по голосу я узнал Костика.

– Константин, только не паникуй! Я женщина не слабонервная. Не брошу я дом, вещи, библиотеку, архивы Гриши... А сестра Клара с двумя детьми? Да и не так страшны немцы!

– Страшны, Бебочка, фашисты! Они уничтожают, с присущей им методичностью, всех евреев – детей, женщин, стариков! Я прошел с отступающей армией от самой границы. В Харьков я заскочил по случаю – в Белоруссии и на Смоленщине я видел своими глазами – земля шевелилась над свежими захоронениями.

– Но почему об этом молчат и власти, и Сталин, и вы, журналисты? Из этой телефонной кабины я передала десятки фронтовых корреспонденций – никто, ты слышишь, Костик, никто об этом не пишет! – тетя Беба расплакалась.

– Это уже другой разговор! Слезами не поможешь... Заклинаю тебя: через сутки, не более, уезжайте... Иначе, – не шевелясь, укрытый с головой простыней, я услышал, как Константин закашлялся, – иначе нам с Гришей доведется стоять над вашими могилками. Если их обнаружим.

Трое суток спустя дядя Гриша, примчавшись с фронта, буквально на ходу забросил нас в товарняк, едва ли не последний эшелон, уходивший из Харькова на Восток. Под Валуйками нас бомбили – уже знакомые мне «мессеры» кружили на бреющем, но железное кольцо танкового десанта захлопнулось позади нас... Через несколько месяцев мы очутились в Омске.

2

Дядя Гриша писем не писал, о том, что он жив, мы узнавали из его фронтовых корреспонденций в «Правде» – за газетой, как за хлебом, выстаивал я длинные очереди, озябшие, галдящие, колышущиеся. Если доставался мне экземпляр со статьей дяди – в доме праздник, если несколько недель не было его публикаций – тетя Беба, мужественная, сильная, кричала по ночам:

– Его уже нет!

Однажды, в феврале сорок второго, распластав на школьной парте газетную полосу, я обнаружил непривычные для «Правды» узкие столбики стихов: Константин Симонов, «Жди меня, и я вернусь...». Имя автора мне ничего не говорило, но поэтические строки – напряженный ритм, чуткие созвучия и простые слова – мгновенно запоминались и поражали мальчишечье воображение. Я показал стихи маме и тете, одноклассницы переписали их в альбомчики – тогда не было семьи, где бы ни ждали отцов, братьев, мужей, женихов. Мария Михайловна, молоденькая учительница русского языка и литературы, принесла мне несколько книжечек Константина Симонова: «Сын артиллериста», «Стихи 1941 года», «Лирика», – брала меня с собой в госпитали, и раненые сопровождали наши поэтические концерты аплодисментами. Некоторые плакали. Так в мою жизнь вошла поэзия, но в самых радужных или страшных снах я не мог представить, что сам начну рифмами строчки сколачивать, и так доныне, до седых волос. Окончив офицерские курсы «Выстрел», дядя Гриша был направ-

лен на фронт, а ранней зимой сорок третьего, после тяжелого ранения, приехал к нам в Омск, на побывку.

В один из дней повел я дядю в городскую баню.

– Мужики, поддайте жару! – кричал дядя Гриша, растянувшись на верхней полке парной.

Мужики, два одноруких инвалида, послушно плескали воду из металлических ковшиков на раскаленные кирпичи, и густой и тяжелый пар плыл к закопченному потолку. Я яростно хлестал дядю березовым веником, он стонал и кряхтел от удовольствия, и вдруг сквозь пар, на правом плече, рядом с прилипшим листиком, я разглядел широкий шрам.

В душном предбаннике дядя, оживленный, улыбающийся, натянул офицерскую шинель с капитанскими погонами, подпоясаясь, и я, отступив на шаг, с нежностью и гордостью им любовался.

– «Подпоясан, как в строю, шел солдат в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою», – выпалил я к месту знакомые строки.

– Ты любишь Твардовского? – дядя обнял меня.

– Больше – Симонова! – выкрикнул я, не раздумывая.

– Чем же тебе приглянулся Костя? – он заинтересованно посмотрел на меня.

Назвав моего кумира по имени, словно близкого приятеля или друга, дядя еще выше поднял поэта в моих глазах.

– Вы, вы знакомы с самим Симоновым? Виделись с ним?

– Не обо мне речь, дорогой мой Виленька, он и твой хороший знакомый, и ты с ним встречался.

Я оторопел. Да, тот молоденький командир Костик – с боевым орденом на груди, смолистые кудри, тонкая полоска усов, легкая картавость – августовской харьковской ночью сорок первого уговаривавший мою тетю Бебу бежать от фашистов, – Константин Симонов, русоволосый крепыш – Борис Полевой, чернявый весельчак Мишка – Мишка Бронштейн, военный фотокорреспондент, погибший в окружении под Харьковом...

Шли годы. Под их обжигающими лучами, настойчиво и необратимо истаивало детское восприятие случайного знакомого, но на смену ему, ухватившись за отроческие отметины, вошел в мою судьбу и вырос во весь рост, сам не ведая того, образ поэта К. Симонова, – именно так, резко оборвав свое имя на первой букве, подписывался он и в частных письмах, и на титульных листах своих книг, подаренных друзьям и почитателям, и на тисненых обложках

собраний сочинений. Впрочем, имя было не истинное, по паспорту он был Кирилл, но легкая, отчетливая картавинка, словно вишневая косточка ворочаясь во рту, оказалась назойливой, мешала общению, и, вопреки воле мамы, он сменил имя на просторное и стремительное – Константин. Так его и запомнили.

3

В августе пятидесятого трое студентов-второкурсников Харьковского горного института после производственной практики возвращались в родные пенаты, на ростовском вокзале ждали попутный поезд, жадно заглатывали пиво. Вспоминали поистине поленовские места – южная оконечность Среднерусской возвышенности, близ шахты Аютинская, на окраине поселка Аюта. По программе мы, завтрашние горные электромеханики, должны были работать дежурными слесарями, но шахте срочно требовались проходчики, нас включили в бригаду добровольцев зашибать большие деньги, и три месяца, день в день, с предрассветной полутьмы до поздних сумерек мы пробивали подземный динамитный склад. После смены, отмывшись в бане, вымотанные и распаренные, еле передвигая ноги, брели мы от столовой до шахтерского общежития, и я, пытаюсь приободрить товарищей, приноровился читать стихи; особенно в чести у двадцатилетних была симоновская любовная лирика.

«Мы тосковали по-мужичьи на грубом нашем языке» или «От женских ласк отвыкшие мужчины, как женщину, мы ждем ее сюда». На диво благолепные места поселка Аюта, как и очаровательных молодежи, разглядели мы лишь в последний день, когда, распахав по карманам немалые пачки заработанных купюр, торопились к пригородной электричке.

В вагон-ресторан скорого «Сухуми – Москва» ввалились мы шумно и развязно, заказали по максимуму – и закусить, и выпить, по пустякам спорили до хрипоты, и вдруг один из нас, Алик Докукин, сказал:

– Вилька, за соседним столиком твой Симонов.

– Не фантазируй, – отмахнулся я, но, отставив недопитую рюмку, оглянулся. Двое мужчин, загорелых, седоголовых, мирно беседовали, прихлебывали чай.

– Не фантазируй, – повторил я Алику, – сходство неуловимое, но это не Симонов, – и я разлил остаток медового рома по рюмкам.

Мы рассчитались и в тамбуре столкнулись с теми двумя.

— Вы — Симонов? — спросил я, пошатываясь.

— Я — Симонов, — спокойно ответил высокий человек, придерживая меня за плечо, — а вы, как я понимаю, пишете стихи?

— Угу! — кивнул я растерянно и поспешил за товарищами.

Несколько часов спустя, отославшись и протрезвев, бежал я по грохочущему составу, изредка распахивая двери купе. В одном — не ошибся:

— Будьте добры, заходите, — Симонов приветливо улыбнулся и протянул руку. — Как вас зовут, молодой человек?

Я представился и мог бы опознать его — и по облику неповторимому, по милой картавости, по щетинке усов, — но девять лет, прошедшие после нашей первой встречи, вместившие фронт и послевоенные тревоги, успехи и провалы на взлете литературном, зависть недругов и потерю друзей, — изменили его, если не до узнаваемости, то всерьез. Смолистые непослушные кудри покорно уступили место плотной седине — коротко остриженному ежику, веселье в глазах — затаенной печали, распахнутая на загорелой груди, свободного покроя сорочка не скрывала чрезмерно расплывшуюся статью, но я-то помню его, ладного, затянутого в комсоставскую гимнастерку. Ему узнать меня было немыслимо: долговязый студент подшофе, раздавшиися плечи сдавливают узкая тельняшка, из-под сдвинутой на затылок форменной фуражки — черные нестриженные пряди, ничего общего с десятилетним харьковским мальчишкой. Напоминать о себе я не намеревался.

На одной из полок двухместного купе спал попутчик, на столике — плетеная корзина с фруктами: багровые яблоки, лиловые виноградные гроздья, зеленые плоды инжира.

— Угощайтесь, это плоды моего сухумского сада, — Симонов усадил меня рядом с собой. — Дом в Сухуми — моя особая любовь, так вдохновенно писалось, не поверите, только на фронте, в землянке. (Спустя много лет, когда Константина Михайловича уже не стало, его грузинскую обитель купил Евгений Евтушенко. Узнав об этом, я с горечью подумал, что проживание в доме большого писателя не обеспечило новому кумиру безоговорочное народное признание, которого удостоился его старший коллега).

— Жора, вставай, у нас гость, — негромко произнес Симонов, — будем слушать стихи.

— Георгий Гулиа, — попутчик пожал мне руку. К тому времени я знал другого поэта Гулиа — Дмитрия, и прочел полюбившуюся строфу.

– Это – мой отец, – Георгий мягко улыбнулся. – Папе будет приятно, что он известен в русских переводах.

Так начался поэтический вечер: два признанных профессионала дружески потеснились, предоставили слово третьему, начинающему, ни одним словом, жестом или мимикой не умалив его, – не опешившего рядом с ними.

Скорый «Сухуми – Москва» мчался практически без остановок, но стук и грохот вагонных колес не был нам помехой, придавал встрече особый настрой. Я был в ударе – вдохновенно и нараспев на память читал стихи: и свои, неуклюжие, нескладные, порой витиеватые, подражательные, и других поэтов, моих кумиров, или просто случайно прочитанные, удивившие строки. Слушали меня внимательно, почти не перебивая, но когда я прочел на украинском Арона Копштейна, Симонов взволнованно встал, положил руку мне на плечо:

– Вам знаком Арон?

Я молча кивнул головой, прочел: «Може, я не приїду до дому, може, долю я маю таку, що звалитись моєму шолому на чужому сухому піску»...

(Сколько минуло лет, я много переводил с украинского, в том числе и Копштейна, но достоверный перевод этих обугленных строк мне не удался.)

Лишь в одном ошибся поэт – шлем его, пропахший потом, порохом, кровью, свалился не в сухих песках у озера Хасан, а на снег, глубокий, карельский, – у озера Суо-Ярви в карельской тундре...

Симонов молчал, и я спросил:

– Как понимать Николая Асеева, написавшего: «Если бы Литературный институт за всю историю своего существования выпустил одного Арона Копштейна – он оправдал бы свое существование»?

– Слова Асеева об Ароне – возможно, и гипербола, мои однокашники восприняли их оскорбленно, но в основном прав наш мэтр: Арон Копштейн – первый военный поэт, он – предтеча поколения фронтовых поэтов, талантливый, мужественный, неповторимый. Такой когорты больше не было и не будет; я имею в виду, прежде всего, Михаила Луконина и Семена Гудзенко, Бориса Слуцкого и Юлию Друнину. Узнав о гибели Арона, – друзья его называли Ароша, – я ужаснулся и, кажется, заплакал, хотя к тому времени отвык от слез. Многие приходят в Литинститут в подростковых брючках, а Арон тогда шагнул в поэзию мастером – в грубых кирзовых сапогах, в темном военном кителе, из коротких рукавов неуклюже высывались его большие и сильные руки.

– Костя, ты полагаешь, что все, и ты в том числе, подражали Арону Копштейну? – спросил Георгий Гулиа. В его вопросе услышал я и обиду, и недоумение.

– Разумеется, мы не подражали, но пойми, друг мой Жора, и у моего «Жди меня...», а я по сей день, седой и славой насыщенный, им горжусь, и у стихов Иосифа Уткина «Если я не вернусь, дорогая, нежным письмам твоим не внемля, не подумай, что это другая, это значит...сырая земля» – у всей нашей военной лирики – есть истоки, увы, напрочь вычеркнутые из памяти... «Мы с тобой простились на перроне, я уехал в дальние края, у меня в «смертельном медальоне» значится фамилия твоя...» – это не я написал, и не Семен Гудзенко, а Арон Копштейн... – Константин Михайлович цитировал по памяти.

И тогда, в вагонном купе, и спустя много лет недоумеваю: почему Симонов тогда заговорил именно об Ароне Копштейне, ведь я читал стихи многих поэтов, – неужели разглядев мой выразительный иудейский профиль?

– Молодой человек, какие у вас планы? – спросил Симонов, но вместо меня ответил Георгий Гулиа:

– Естественно, Литературный! Человек вы способный и ваше будущее видится мне в поэзии, – он вопросительно глянул на своего попутчика, но тот молчал.

К тому времени Харьковская писательская организация рекомендовала меня на учебу, в Москву отправили документы, мне внушали: вопрос решенный. И я поделился своими сомнениями.

– Я убежден в противоположном, дорогой Вильям, – наши китайские друзья говорят: «Долгий путь начинается с первого шага», – вы только что шагнули в жизнь, в суровые шахтерские будни, ваше, скажу так, большое начало мне по душе, смотрю на него оптимистически. А поэзия от вас никуда не уйдет, не отпустит.

Поезд ворвался в харьковские предместья, я заторопился.

– Приветствуйте Харьков, в нем я был лишь дважды – проездом, одну ночь в августе сорок первого, и в декабре сорок третьего, вместе с Алексеем Толстым и Ильей Григорьевичем Эренбургом – на судебном процессе над фашистами... А это вам, Вильям, – он протянул мне записочку: домашний московский адрес и телефон. Харьковскую ночь я прекрасно помнил, но промолчал.

В июне пятьдесят третьего, одновременно с защитой диплома в Харьковском горном институте, я закончил поэму «Большое начало» – о своих шахтерских буднях, и отправил ее Симонову. Вскоре пришел ответ, мама переслала его мне на шахту, где я работал механиком добычного участка. «Дорогой Вильям, – писал Константин Михайлович, – рад, что тогда, в поезде “Сухуми – Москва”, не ошибся. Засылаю поэму в “Новый мир”, наш отдел поэзии с вами будет работать». Позже Михаил Луконин рассказал мне, что буквально выхватил поэму из набора: «Старик, через год ты будешь ее стесняться. Напишешь новую!»

Работа на шахте требовала полной отдачи, было не до стихов; я позвонил Симонову лишь в начале шестидесятых, во время очередной московской командировки.

– Жду вас завтра к десяти – вам удобно?..

Мне было удобно. В доме писателей на улице Аэропортовской, в дверях квартиры я столкнулся с выходившей из нее молодой красивой женщиной, женой Симонова Ларисой, – несколько лет назад он женился на вдове Семена Гудзенко, мне об этом, тоскуя о друге, рассказал Булат Окуджава. Многочисленные любители поэзии Семена Гудзенко с болью узнали о смерти поэта, талантливого и мужественного, друзья звали его «Сарик». «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем»...

– Входите, Вильям, – из глубины квартиры навстречу мне торопился Константин Михайлович, – несколько поручений по дому и мы поговорим, – он протянул мне руку и увлек за собой в кабинет.

– А это моя младшенькая, Сашенька, у нее сегодня день рождения. Мы ее проводим в детский сад.

Розовощекая девочка лет четырех-пяти, с оттопыренными косичками, доверчиво протянула мне ручку, Симонов подхватил пирог домашней выпечки, уложенный в белую наволочку.

– Так скромно? – удивился я.

– Детский сад – писательский, мы с женой решили не выделяться, дочь одеваем без затей, во избежание ненужных разговоров.

Константин Михайлович раскурил изогнутую трубку, сжимая ее в кулаке.

Годы изменили писателя: плотная седина стала реже и белей, нос заострился, полоска усов сузилась, от былой полноты – ни следа; собранный, худощавый, он быстро вышагивал по кабинету, из-

редка отвечая на телефонные звонки. Неизменен был лишь выговор, но легкая картавость стала резче. Больше всего Симонова интересовали мои производственные проблемы – шахта, ее проектирование, строительство, сдача в эксплуатацию, современный рабочий класс, его настроения и квалификация. И я увлеченно рассказывал, изредка, к слову, дополняя подробности набежавшими строчками: «Однажды меня завалило в лаве, как от бригады отстал – не помню...», «Выносила нас клеть на дневную поверхность, вымывала нас баня крутым кипятком...», «Я привозил из Западной Сибири неслыханные запахи тайги...».

Симонов слушал внимательно, иногда просил повторить.

– Вильям, – сказал он вдруг и постучал трубкой по пепельнице, – вам непременно следует писать прозу...

И тут я обиделся:

– Вы хотите сказать, – поэт из тебя не получился, попытайся писать рассказы?

– Зря вы оскорбились, знаю из личного опыта: у прозы возможность глубже, ярче, со всеми деталями описать увиденное, главное – человека и его характер, а вы, дорогой Вильям, о жизни знаете, на зависть, не понаслышке. И я пишу сегодня романы не оттого, что из меня поэт не получился. Ой, как хочется порой писать стихи!..

Мы дружно курили, Константин Михайлович распахнул окно – морозный воздух освежил кабинет.

– Без обиды, но вы засиделись в девушках – в литературу приходят молодыми. Вы женаты?

– Да, и не просто женат: «Нет друга, нет товарища, чтоб среди бела дня из этого пожарища мог вытащить меня!» – как у вас сказано.

Симонов рассмеялся:

– Это мне знакомо... Есть дети?

– Двое – один сын общий, второй от первого брака супруги. Сложностей – не занимать!

– Увы, и это мне знакомо: перед войной у меня родился сын, живет со своей матерью (он назвал еврейскую фамилию первой своей жены), со мной – никаких контактов. Когда я женился на Валентине Серовой, у нее уже был сын – Толик Серов, парнишка из трудных.

– Константин Михайлович, вспомнил ваши стихи: «Двум сыновьям хотел я пожелать»...

– Далеко не всегда наши пожелания в стихах исполняются, с годами я стал суеверным: в своих текстах – минимум сугубо личного.

Таким вот, седовласым, впервые по-настоящему семейное счастье обрел в браке с Ларисой Алексеевной Жадовой, вдовой

Гудзенко, хотя долго сомневался – покойного Сережу я хорошо знал; но дочь его Катеньку удочерил, это был верный шаг, да и уехали мы в Ташкент – «ссылка» пошла нам на пользу, вдали от московских пересудов... У меня много друзей, но самый близкий – жена!

– А какова судьба Валентины Серовой, ведь мы ее, и ваши стихи, посвященные ей, очень любили?

– Страшная судьба! – Симонов вновь раскурил свою трубку, глаза наполнились печалью, – разрыв назревал давно, со строки «Я больше не пишу тебе стихов», наша общая дочь Машенька живет с ней, и я не по своей воле знаю все подробности... – после заминки, Симонов произнес: – Пьет Валентина... Привыкшая к всесоюзной славе – не в силах признать, что забыта. Звонит мне – слушать ее бред невыносимо.

5

Следует объяснить... Отчего, спустя долгие десятилетия, просвистевшие вихрем, я лишь в Израиле, обнаружив себя седобородым евреем далеко не первой молодости, решил написать о Константине Михайловиче? Его неповторимая поэзия, проза прозорливая, мужественная, в последние годы – на пределе исповеди, еще на слуху у моих ровесников; не исключено, в современной России молодые обратятся к его творчеству, но я не намерен его анализировать, речь веду об ином. Всю жизнь в Союзе я ощущал себя евреем – по выразительному иудейскому облику, по паспортной графе, – но только в Израиле осознал свою кровную принадлежность к великому, гонимому в веках народу. Именно на этом, крохотном и цветущем, политом еврейской кровью клочке земли, бок о бок с ее гортанными и горячими обитателями, я впервые воспринял себя евреем.

Сколько ни силюсь, не могу вспомнить, в какую из встреч с Симоновым, намеренно или исподволь, коснулись мы еврейского вопроса. Кажется, я прочел ему свои стихи, никогда не опубликованные: «Мастера пера, не подмастерья, властелины дум, а не вожди, – мальчишки из маленьких местечек, из еврейских праведных местечек, в русскую

поэзию вошли». Вновь, как когда-то в сухумском скором, заговорили об Ароне Копштейне, и я рассказал о своем знакомстве, многолетнем и неровном, с Борисом Слуцким.

— Почему-то у нас с Борисом Абрамовичем не сложились дружеские отношения, — грустно и негромко заговорил Константин Михайлович, — но высоко ценю его поэзию, самобытную и по-еврейски мудрую, и его фронтовое мужество. Среди моих литературных героев много политруков, не всегда у них еврейские имена, но Слуцкий воспел и увековечил их, отважных и преданных.

— Я могу при случае Борису Абрамовичу рассказать о ваших словах?

— Непременно, и добавьте, что в гуще растревоженного болота писательского антисемитизма мне дороги его стихи:

*...но отчество — Абрамович. Абрам —
отец, Абрам Наумович, бедняга.
Но он — отец, и отчества, однако,
я, как отчества, не выдам, не отдам.*

Едва ли из-за моего разговора, но у них установились доверительные отношения, Симонов многократно помогал Слуцкому. Однажды Константин Михайлович, навещавший Слуцкого в больнице — одной из лучших московских, куда он, всесильный, определил заболевшего Бориса, сказал мне:

— Врачи ничего страшного, безысходного не находят, кроме старых ран и контузий, но их беспокоит депрессия, а меня более всего испугали глаза — столько в них боли, тоски, обреченности, сопротивления.

(Позже, в 1979 году, уже о симоновской предсмертной тоске напишет в некрологе Эдуардас Межелайтис, тоже, по моему ощущению, — из еврейских праведных местечек.)

В нашем взволнованном и тревожном диалоге о Слуцком не могли мы обойти молчанием и выступление на писательском пленуме Бориса Абрамовича, осудившего роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Погрешил я против правды: не мы, именно я допытывался у Константина Михайловича истинных подробностей, а он деликатно отмалчивался. Однажды — прорвалось:

— Как и многие из нас, Слуцкий всю жизнь надеялся — наивно, но искренне, — на светлые страницы в советской истории, хотя бы в будущем, и, человек честный, прямой, не мог принять лютую анти-

советскую ненависть романа, что имело место быть... Эта ненависть буквально захлестнула или ослепила подлинный талант большого русского поэта. Я был в числе первых, кто прочел роман в рукописи, откровенно сказал Борису Леонидовичу свое мнение и твердо решил опубликовать роман в «Новом мире», на исходе «хрущевской оттепели». Как главный редактор рекомендовал редколлегии, но неожиданно для себя встретил яростное сопротивление коллег. Борис Леонидович вознегодовал, выхватил у меня из рук рукопись, решил печатать за границей. Я вновь собрал редколлегия: зарубежная публикация романа Пастернака вызовет международный ажиотаж – и как в воду глядел, – Симонов вздохнул с облегчением, словно избавился от тяжелого груза.

Но меня интересовала иная ненависть Пастернака – не антисоветская, а к братьям по крови, к евреям... Симонов долго молчал, несколько раз испытующе глянул на меня:

– Таким, Вильям, я вас не знал. Вероятно, Борису Абрамовичу также были тяжки нелюбимые отзывы Пастернака о своем народе. Нет, русский поэт Пастернак никогда не ощущал себя ни советским, ни еврейским. И все же, – Симонов торопился закрыть тягостную для себя тему, – депрессия Слуцкого – долгое покаяние за свое выступление против Бориса Пастернака.

6

Впереди был еще один, тягостный для Константина Михайловича, разговор со мной, я мог бы и обойти его в своих воспоминаниях, но он важен для меня нынешнего, израильского. Вернусь в шестидесятые годы. В моем харьковском доме и среди друзей запоем читали журнальную периодику, в основном, «Новый мир» и «Знамя», отвергали «Октябрь», праздничные и именинные посиделки не обходились без яростных споров, и вдруг, словно из небытия, возник роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В мгновение ока две книжицы журнала «Москва», до того мало популярного, перехватывали друг у друга – именно в них в № 11 за 1966 год и в № 1 за 1967 год – был опубликован роман. Читательская реакция – однозначно восторженная, сравнимая с единодушным откликом на романы Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Народ наш любит юмор, но бытовая сатира, едкая и тонкая, воспринимается на ура, ибо в ней

завуалирована сатира политическая. Воланда и фантазмагорические действия его окружения приняли как реальность, щеголяли друг перед другом обильными цитатами. Зная о моем знакомстве с Симоновым, друзья просили передать свое восхищение его подвигом: муссировались слухи, что именно благодаря ему была рукопись обнаружена и опубликована.

Загруженный работой, мотаясь в постоянных командировках по шахтам, прочел я роман намного позже других. И не принял творение Булгакова, и возмутился, и отторгнул напрочь, и так по сей день... Тогда, в середине шестидесят седьмого, разглядел я не только булгаковский антисемитизм, завуалированный в текстах писателя, но и упрямое следование укоренившемуся «кровавому навету» на мой народ – легенде распятия, и нежелание постичь суть происходившего. Мой протест был интуитивным, но даже позорное незнание еврейской истории не заглушило голос крови, услышанный в те июньские дни и ночи, когда мы, советские евреи, с тревогой ждали вестей с фронтов Шестидневной войны. И дома, и друзья меня не поняли.

На мой монолог, гневный, отрывочный, сумбурный, Константин Михайлович отреагировал неожиданно – промолчал. Пока я вышагивал по его кабинету, он, сидя в кресле, печально провожал меня взглядом, попыхивал трубкой, пожимал плечами, полагал я – он пытался понять человека, к которому на протяжении долгих лет питал дружеское расположение.

– Мое отношение к антисемитизму вам известно, – сказал Симон и резко поднялся, – и хотя мои недруги распространяют молву о моем якобы скрываемом еврействе, человек я русский, и мне трудно вас понять, тем более, что ваши мысли для меня новы. Никогда с подобным суждением не сталкивался! Михаил Афанасьевич – большой русский писатель, переживший гонения в трагические времена советской истории. И если мне выпала честь вернуть его рукопись из небытия – горжусь...

Впервые мы распрощались прохладно, несколько лет не встречались, вышли мои сборники – и стихи, и переводы, я отправлял их Симонову, в ответ получал уже не письма, лишь книги писателя с дарственной надписью. Никогда не просил Константина Михайловича о протекции – помочь в издании. Некоторые встречи предстояли, и я намерен к ним вернуться. Тот мой интуитивный протест против одного из сюжетно-композиционных планов в романе «Мастер и Маргарита» – вымышленного Ерушалаима – нашел конкретные подтвержде-

ния в современном Иерусалиме. И в книге Рамбама «Послание в Тэйман, или Врата надежды», в переводе и с комментариями Натана Файнгольда, и во фрагменте Вавилонского Талмуда...

7

У памяти — непредвиденная программа, разборчивая, своевольная: казалось, напрочь забытое, истаявшее неожиданно выплескивает, но ко времени. Так, в Израиле, десятки лет спустя, в точных деталях, в ярких подробностях вспомнил еще одну встречу с Симоновым. Дело было в середине шестидесятых. Константин Михайлович только что вернулся из «ташкентской ссылки». Сидели, беседовали у него дома, выяснилось — шофер заболел, и мы поехали на метро — полупустой вагон, время полуденное. Вдруг на Симонова с криком: «Тебя опять купили!» — набросился стоявший в углу пьяный немолодой человек, заросший густой щетиной, по виду опустившийся интеллигент. Симонов окинул его презрительным взглядом, оттолкнул:

— Тебя, Вася, и тогда не покупали, и сегодня не возьмут!..

Инцидент исчерпан, Константин Михайлович к нему не возвращался, но при следующей встрече я о нем напомнил:

— В войну, подростком, читал в госпиталях ваши стихи, позже, естественно, любовную лирику, — Симонов внимательно и дружелюбно слушал меня, улыбался, — но после той встречи в метро ваши «Друзья и враги» натолкнули меня на иное их прочтение — враги Симонова не только «сидящие в первых трех рядах», в залах за океанских, но и тутошние, аборигены...

Улыбка исчезла с лица моего визави:

— Точно вы подметили, Вильям, но именно вам, пока только вам, расскажу две истории...

Вы, уверен, помните: в феврале пятьдесят первого, после статьи Михаила Бубеннова в «Комсомолке» «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?», в обществе, словно сушняк подожженный, вспыхнула дискуссия, и на меня обрушились злопыхатели.

— Не только помню, но и откликнулся тогда эпиграммой, но читать мне вам неловко.

— Читайте, раз уж упомянули.

— «В гневе гонора мнимого вспыхнул поэт не один, и даже открылся Симонов, что он Кирилл-Константин», — промямлил я смущенно.

– Рифма – достойная, но все не так смешно... Мнимая проблема псевдонимов, высосанная из пальца, имела целевую направленность: у многих еврейские фамилии. Однажды я был приглашен в комиссию по Сталинским премиям в области литературы и своими ушами услышал слова Сталина: «Кому-то приятно подчеркнуть, что у этого человека двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем насаждать антисемитизм?», – Константин Михайлович прошелся по кабинету: – Тогда я, свято веривший в Иосифа Виссарионовича, вздохнул облегченно – слухи об антисемитизме Сталина – ложны... В святой вере пребывал я, увы, долго, но слепота медленно таяла. И от ежечасных усилий сочетать несочетаемое зачастую мозги вспухали и лопались.

История вторая. Страшные дни января пятьдесят третьего. Тринадцатого одновременно два сообщения ТАСС: «Арест группы врачей-вредителей» и «Убийцы в белых халатах». Уже не псевдонимы – сплошь еврейские фамилии, многих я знал лично. Вспокоенное сознание не вмещает параллельно: сталинские слова «Зачем насаждать антисемитизм?» и призыв к еврейскому погрому – русские запомнили слово «Джойнт»!.. Не раз побывав в Америке, я знал, что это «Общество помощи нуждающимся евреям», но большинство – поверили! В один из вечеров – телефонный звонок: «Костя, надо встретиться!» – друг мой, Алеша, Алексей Александрович Сурков, голос встревоженный...

– Не только ваше «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», но и ответ Суркова подтвердил крепость мужской дружбы: «Мы побратались возрастом в бою, помножив мой двадцатилетний опыт, на твой порыв и молодость твою», – напомнил я Симонову достойные строки.

– После войны разница в возрасте не бросалась в глаза, но он исподволь сохранял шефство надо мной. Так было и в тот раз – Сурков только что вернулся из ЦК КПСС, где ему, как одному из руководителей Союза писателей, вручили несколько подметных писем обо мне. «Надеюсь, ты понимаешь, что там, – Сурков указал за спину, – там и не предполагают, что я тебе расскажу... Слушай и мотай на свой поседевший ус. Первое: в Москве действует, главным образом, в писательской среде, тайная организация, связанная с «Джойнтом», а во главе ее никто иной, как Константин Симонов. И завербовали его в Америке, где он не только стишки почитывал... Второе: переполненная сверх меры лицами еврейской национальности редколлегия «Литературной газеты» во главе с Симоновым – яркое подтверждение

его скрытого еврейского происхождения. Не случайно его первый брак был с еврейкой. Далее – по достоверным данным, он не Симонов, а Симонович, родился в бедной еврейской семье, но его усыновила графиня Оболенская, ныне здравствующая».

Излагая мне «новые» факты своей биографии, Константин Михайлович насмешливо улыбался, пощипывал и без того короткие усики:

– Каково, Вильям? Могло оказаться, что мы с вами соплеменники, – и, мгновенно стерев улыбку, добавил: – Все это было бы смешно, но это трагедия страны, к слову, мной любимой и воспетой, в которой люди опускаются до такой низости...

– Мне искренне жаль, дорогой Константин Михайлович, что мы с вами не соплеменники.

Моя реплика удивила Симонова, и я дополнил:

– Но мы – современники, и я этим горжусь...

В своем дневнике 30 марта 1979 года Симонов записал: «После войны что-то изменилось в этом смысле. Проблемы ассимиляции или неассимиляции евреев, которые попросту не существовали в нашем юношеском быту, в школе, в институте до войны, эти проблемы начали существовать. Евреи стали делиться на тех, кто считает свою постепенную ассимиляцию в социалистическом обществе закономерной, и тех, кто не считает этого и сопротивляется ей. В этих послевоенных катаклизмах, кроме нагло проявившегося антисемитизма, появился и скрытый, но упорный еврейский национализм – все это наличествует и в жизни, и в сознании».

8

В последний раз живого Константина Михайловича я видел летом семьдесят пятого. Я улетал в ту ночь в Сибирь, на одну из кузбасских шахт, вечером – времени в обрез, на вахтанговскую премьеру не успел, заглянул на Герцена, в Центральный дом литераторов. По вестибюлю в окружении почитателей торопился Симонов – в строгом темно-синем костюме, в неизменной плоской кепке, он показался мне постаревшим, чуть сгорбленным. Я поздоровался, Симонов, узнав, улыбнулся, приветливо взмахнул рукой, но прошел мимо. Таким он и запомнился мне.

Константин Михайлович умер 28 августа 1979 года – страшный недуг поразил легкие. Лечиться в швейцарском Давосе он отказал-

ся. По воле писателя сын Алексей развеял прах Симонова на Буйничском поле, в нескольких километрах от Могилева, где в июле сорок первого он принял бой с немецкими танками. Рассказывают, что там теперь стоит гранитная плита – на ней факсимиле писателя. Прочел у Расула Гамзатова: «И навсегда повенчанный с войною, победоносный в прозе и стихах, живой и мертвый Симонов со мною, чей с полем боя породнился прах».

Для меня Константин Михайлович навсегда остался живым.

В августе девяносто первого, назавтра после провалившегося путча, улетаю я на шахту Чегдомынскую, на севере Хабаровского края. Несколько раз регистрацию в центральном аэровокзале откладывали, я уезжал в центр Москвы и возвращался. В троллейбусной толчее кто-то тронул меня за плечо:

– На следующей выходите? Следующая – улица Константина Симонова.

И я понял, что город к нему привык.

9

Еще одна встреча – май восемьдесят девятого. Нет, я не обмолвился – иногда дни между Первым мая и Днем Победы по наработанному праву проводил в пансионате «Шахтер» – вечнозеленый массандровский парк, обрыв над галечным пляжем, вблизи – яркая, расцвеченная, праздная Ялта. На рассвете сбегал к морю, холодные майские волны на время смывали тревогу производственных и будничных забот, а их – навалом. Однажды с берегового обрыва разглядел пассажирский лайнер, трехпалубный, белоснежный, он стремительно летел к ялтинскому порту – восходящее из-за гор солнце осветило крутую, словно обрубленную, корму и четкие крупные буквы: КОНСТАНТИН СИМОНОВ.

Защемило сердце, и я прошептал:

– Здравствуйте, Константин Михайлович!

*Йежуда Векслер***ПРАВДА И ЛОЖЬ СТЕФАНА ЦВЕЙГА**

Согласно закону, открытому Л. С. Выготским¹, любое художественное произведение строится на противоречии между «эмоциями, вызываемыми формой» и «эмоциями, вызываемыми материалом». «Они находятся в постоянном антагонизме, (...) они направлены в противоположные стороны», и «аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях (...) в своей завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничтожение». Этот момент Выготский обозначил древним термином *катарсис*, который у него означает точку «разряда нервной энергии» и превращения отрицательных эмоций в свою противоположность, что и составляет «истинный эффект художественного произведения». Особенно ярко, как Выготский показал в своем анализе «Гамлета», все это проявляется в трагедии.

Таким катарсисом, разрешившим в заключительном взрыве сильнейшее «аффективное противоречие», завершилась жизнь Стефана Цвейга. 23 февраля 1942 г. 61-летний писатель и его молодая жена Элизабет-Шарлотта (Лотта) Альтманн приняли яд – через полгода после того, как, спокойно покинув Англию и задержавшись на несколько месяцев в тихом пригороде Нью-Йорка, обосновались в курортном горном городке Петрополис на востоке Бразилии.

Накануне, 22 февраля, Цвейг написал следующую «Декларацию» (в смысле «разъяснение») – объяснение, почему он принял такое решение:

Прежде чем расстаться с жизнью по моей доброй воле и в ясном сознании, я чувствую потребность исполнить последний долг: воздать глубочайшую благодарность этой чудесной стране, Бразилии, обеспечившей меня и мою работу столь дружеским и гостеприимным покоем. С каждым днем я все больше и больше учусь любить ее, и никакое другое место я не предпочел бы, чтобы строить новое существование сейчас, когда мир моего языка для меня исчез и когда моя духовная родина, Европа, сама себя уничтожила.

¹ Психология искусства (Минск, «Современное слово», 1998), с. 238, 237.

Но в 60 лет требуются особые силы, чтобы начать свою жизнь с самого начала. А мои – истощены долгими годами странствий. Так что я думаю, что лучше положить конец своевременно, с высоко поднятой головой, – существованию, в котором духовная работа всегда была самой чистой радостью, а личная свобода – высшим благом в этом мире.

Я шлю привет всем моим друзьям! Пусть увидят они еще зарю после этой долгой ночи! Я, слишком нетерпеливый, иду раньше них.¹

Стефан Цвейг, Петрополис, 22.II.1942

Это письмо совершенно непонятно. Во-первых, Цвейг направился в Бразилию не потому, что не имел другого выбора, но совершенно сознательно. Он уже бывал там раньше и высоко оценил ее, считая «страной будущего», способной занять ведущее положение в мире – как в плане культурном (который для Цвейга стоял на первом плане), так и в экономическом и прочих аспектах. Не без основания он надеялся обрести в ней «дружеский и гостеприимный покой», и Бразилия не обманула его ожиданий. Она встретила Цвейга буквально с распростертыми объятиями, и он действительно нашел в ней все условия, нужные для спокойной жизни и плодотворной работы. Отметим также, что правительство Бразилии устроило Цвейгу и его жене «национальные похороны» как знак особой признательности и глубокого почитания. Во-вторых, совершенно непонятно, что он имел в виду, говоря, что его силы «истощены долгими годами странствий». На творческое бессилие жаловаться ему было нечего: уже после приезда в Бразилию он опубликовал эссе «Бразилия, страна будущего» и закончил книгу воспоминаний «Вчерашний мир», работал над двумя романами (написать которые он давно мечтал, желая удалиться от жанра биографий), большой книгой о Бальзаке (в личности и творчестве которого ему удалось открыть совершенно новый – трагический – аспект) и биографией Монтеня (которые оставил неоконченными). Перед отъездом из Европы Цвейг шесть лет прожил в Англии, а перед тем – пятнадцать в Зальцбурге, многочисленные же путешествия он предпринимал единственно по своей доброй воле, причем повсюду встречал исключительно теплый прием со стороны читателей и почитателей его таланта и заводил преданных, близких друзей. Так что, в действительности, не было ни «странствий», ни их «долгих лет». И непостижимо, как эти слова вообще мог написать убежден-

¹ Подчеркнуто С. Цвейгом (и так же во всех цитатах – подчеркивание авторское).

ный космополит, который, встретив в Париже в 1920-х годах Дмитрия Мережковского, пожаловавшегося на запрещение своих книг в своей родной стране, ответил: «Но ведь это не имеет никакого значения для их международного распространения во всем мире!» Так что могло значить для Цвейга «исчезновение мира его языка» (даже если допустить, что действительно это произошло), если книги его были переведены, практически, на все языки земли? Далее: что означали слова «своевременно, с высоко поднятой головой»? Нет никаких свидетельств о том, что Цвейг имел основания опасаться «несвоевременной» смерти и каких-то унижений, которые могли бы заставить его «опустить голову». Ничто, кажется, не мешало ему продолжать свою «духовную работу», от которой он получал «самую чистую радость», и сохранять свое «высшее благо в это мире» – свою «личную свободу». И уже совершенно непостижимо окончание: «я, слишком нетерпеливый, иду раньше». Очевидно, что для Цвейга эти слова были самыми главными в его «декларации» – ведь он подчеркнул их! – но куда «иду»? Из контекста следует, как будто бы, что, не имея терпения дожидаться прихода «зари», он сам спешит к ней. Но ведь это абсурд: Цвейг, атеист-интеллектуал, не верил в загробную жизнь, и смерть для него отнюдь не была «зарей» (новой жизни). И еще: он, осудивший «нетерпение сердца» в замечательном романе, теперь оправдывал «нетерпением» свое решение уйти из жизни?!

Недаром самоубийство Цвейга вызвало изумление и недоуменное удивление его друзей¹ и даже возмущение (как деяние, которое враги еврейского народа могли истолковать в свою пользу). Вплоть до нашего времени оно продолжает считаться загадкой и побуждать к новым гипотезам².

Вопрос еще более заостряется, если обратить внимание на то, как на редкость счастливо (не в пример слишком многим его современникам!) складывалась вся жизнь Цвейга. Родился он в Вене в 1881 году, в очень хорошо обеспеченной ассимилированной еврейской семье. О своих предках со стороны отца Цвейг пишет, что они, «очень рано эмансипировавшись от ортодоксальной религиозности,

¹ Томас Манн, например, совершенно справедливо счел цвейговскую «Декларацию» попыткой скрыть истинные причины самоубийства (только в своей попытке объяснить его проявил полное непонимание личности Цвейга).

² См., например, в Интернете сайт <http://geocities.com/Athens/Agora/9308/SZ>, и см. там же библиографию по этой же теме.

были страстными приверженцами религии времени – “прогресса”, а, переселившись в Вену, «с удивительной быстротой подладились к высшей культурной сфере, так что их личный подъем оказался связан со всеобщим взлетом того времени»¹. Мать же Стефана принадлежала к семье еврейских банкиров – тоже ассимилированной. Естественно, Цвейг получил прекрасное образование, как полагалось сыну из еврейской «хорошей семьи», и страстно увлекся поэзией (в особенности Рильке и Гофманшталя), литературой, философией, историей и изобразительными искусствами. Очень рано он сам начал писать стихи, и когда ему было всего 17 лет, его поэма уже была напечатана во влиятельном художественном ревю «Die Zukunft»; в 19 лет он отважился послать книгу своих стихов в то немецкое издательство, которое издавало произведения самых выдающихся поэтов того времени, и – о чудо! – она была принята к напечатанию. А те стихи, которые сам Цвейг позже не включал ни в одно собрание своих сочинений, считая их слишком незрелыми, удостоились очень теплого отзыва обожествляемого им Рильке, маститый же Макс Рeger испросил у Цвейга разрешения положить на музыку шесть его стихотворений.

Спустя много лет Цвейг писал, что потом так никогда и не смог постичь, откуда в 1901 году он почерпнул отвагу предложить свое сочинение газете «Нойе фрайе прессе» – «оракулу моего отца и обители семижды помазанных»². Заведующий литературным отделом (не кто иной, как Теодор Герцль), к крайнему удивлению Цвейга, тут же, в его присутствии, внимательно прочитал рукопись, а затем «поднял свой тяжелый, темный взгляд и сказал с намеренной, замедленной торжественностью: “Я рад возможности сказать вам, что ваша прекрасная работа литературным отделом ‘Нойе фрайе прессе’ принята”. Это было, как если бы Наполеон на поле битвы прикрепил юному сержанту к груди крест Почетного легиона»³. И с этого началась поистине триумфальная литературная карьера Стефана Цвейга.

¹ Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. London-Stockholm, 1941, S. 13.

² Там же, стр. 109.

³ Там же, стр. 114. Заметим, однако, что отношения Цвейга с Герцлем так и остались чисто литературными. Продолжая встречаться с ним время от времени, Цвейг не проявлял никакого интереса к сионистскому движению. Настоящее значение личности Герцля он ощутил, лишь увидав, сколько евреев со всех концов мира съехались на похороны основателя сионизма и

Ему неслыханно повезло: очень рано он нашел «свое» издательство, которое затем в течение более чем тридцати лет издавало и распространяло его книги. Некто Альфред-Вальтер Хаймель, очень богатый человек и поэт-дилетант, решил основать книжное издательство, которое, не в пример всем остальным в Германии, не придавало бы никакого значения материальной выгоде и рыночному спросу и издавало бы исключительно те произведения, которые выражали «чистейшую художественную волю в чистейшей форме преподнесения»¹. Даже внешний вид книги должен был соответствовать ее содержанию: все – бумага, обложка, шрифт и т. п. вплоть до мельчайших деталей – каждый раз выбиралось заново. Цвейг вспоминает, что за все годы его работы с этим издательством (получившим название «Остров» – «Инзельферлаг») он лишь один раз (!) обнаружил опечатку в одной из своих книг и еще один раз – исправленную букву в письме из издательства. «Не могло быть ничего более счастливого для автора, чем в молодости натолкнуться на молодое издательство и вместе с ним расти, оказывая все большее влияние: лишь такое совместное развитие, собственно, и творит живую органическую связь между автором, его творчеством и миром»². Благодаря этому всего за несколько лет у Цвейга сложился устойчивый круг читателей, с нетерпением ждавших от него новых произведений, веривших своему писателю, который, со своей стороны, чувствовал свою ответственность перед ними и прилагал все старания, чтобы их доверие не обмануть. Цвейг вспоминает, что при выходе в свет каждой новой его книги в Германии в первый же день продавалось 22000 экземпляров – раньше, чем газеты успевали сообщить о новинке³.

Защитив в 1904 году диссертацию и получив звание доктора философии (тем самым удовлетворив честолюбие своей семьи), Цвейг получил свободу и независимость, которые использовал прежде всего для знакомства с другими странами: Францией и Бельгией, Итали-

их «стихийную и экстатическую скорбь», подобную которой он «никогда не видел ни до, ни после этого». Вот тогда-то Цвейг причислил Герцля к тем, кто совершил «неимоверный поворот в истории нашего времени», и позже посвятил ему несколько страниц в своей книге воспоминаний (*Die Welt von Gestern*, S. 110-118). Тем не менее, включить литературный портрет Герцля в свою серию «Строители мира» Цвейг, видимо, не помышлял.

¹ *Die Welt von Gestern*, S. 176.

² Там же, S. 177.

³ Там же, S. 331.

ей, Англией, Голландией, Испанией и Алжиром, позже – с Индией и Индокитаем, США и Центральной Америкой... Его друзьями стали Эмиль Верхарн и Франс Мазерель, Жюль Ромен и Мартен дю Гар, Ромен Роллан и Шолом Аш, Арчибальд Рассел (лучший знаток поэзии Блейка), Бруно Вальтер и Артуро Тосканини, министр иностранных дел Веймарской республики Вальтер фон Ратенау и Максим Горький, Рихард Штраус... Его пьесы охотно принимали к постановке в лучших театрах Европы и Америки. Очень хорошо обеспеченный материально, он приобрел в тихом Зальцбурге старинный дом, одиноко стоящий на холме, и перестроил его по своему вкусу. Он собрал уникальную коллекцию рукописей великих поэтов, философов, писателей и композиторов, а также вещей, принадлежавших им и как бы сохранившие на себе некий отпечаток их личности. Стремясь проникнуть в тайну творчества, Цвейг разыскивал у антикваров и на аукционах именно такие автографы, на которых запечатлен самый миг рождения нового – и не просто нового, а нового художественного шедевра. Его гордостью стали лист из рабочей тетради Леонардо да Винчи; гранки целого романа Бальзака с тысячей поправок на каждой странице; «Рождение трагедии» Ницше в первой, никому не известной редакции; рукопись кантаты Баха, редчайшие манускрипты Глюка и Генделя, никогда полностью не опубликованные письма Моцарта к его сестре, канон на весьма скабрёзный текст и ария для «Милосердия Тита», сочиненная Моцартом совсем незадолго до смерти; 15 страниц, исписанных рукой Гете, включивших в себя всю его жизнь: от листка латинского перевода, сделанного им в 11 лет, до стихотворения, сочиненного в 82 года уже незадолго до смерти; целая коллекция рукописей и вещей Бетховена, отражавших самые трагические и самые счастливые моменты его жизни...

Стоит особо отметить поездку Цвейга в СССР, так как все, связанное с ней (как и подробное описание ее во «Вчерашнем мире»¹), весьма характерно для его личности и общей жизненной позиции.

Съездить в Россию Цвейг собирался еще в 1914 году, во время работы над книгой о Достоевском, но осуществить это намерение помешала Первая мировая война и последовавший за ней экономический хаос. Тем временем Россия, «благодаря проводившемуся в ней большевистскому эксперименту, стала для всех людей умственного труда самой притягательной страной послевоенного времени, возбуждавшей, по причине отсутствия точного знания о том, что в ней

¹ Там же, S. 341-352.

происходит, такое же восторженное удивление, как и фанатическую враждебность». Однако не было никакого сомнения в том, что там шло «испытание чего-то совершенно нового – чего-то, что в хорошем или в плохом может оказаться определяющим для будущего облика нашего мира». Уже посетившие «новую Россию» европейские интеллектуалы вынесли из нее совершенно противоположные впечатления, и для Цвейга, человека «абсолютно не связанного духовно и открытого всему новому», было чрезвычайно заманчивым побывать в ней самому и со своей собственной точки зрения представить себе, по возможности, картину происходящего там. Книги его, благодаря, в частности, усилиям Максима Горького, уже получили в России широчайшее распространение, так что были все основания рассчитывать на хороший прием. Однако, как пишет Цвейг, ему мешало, что «каждая поездка в Россию априори означала тогда своего рода присоединение к какой-либо партии и вынуждала или к открытому признанию, или к открытому отрицанию». А он, «испытывавший глубочайшее отвращение ко всему политическому и догматическому», не надеялся за пару недель хотя бы поверхностным взглядом окинуть «необозримую страну» и не желал затем быть принуждаемым к какому бы то ни было суждению о «неразрешенной проблеме». Поэтому почти десятилетие он подавлял свое «пылающее любопытство» и никак не мог решиться на посещение Советской России.

Но в 1928 году Цвейг получил приглашение приехать в Москву в качестве представителя австрийских писателей на празднования 100-летнего юбилея Льва Толстого. Это был долгожданный повод посетить Россию, не будучи связанным никакими партийными и политическими интересами. Естественно, Цвейг сразу же согласился и никогда впоследствии в том не раскаивался. Правда, его надежда познакомиться с русским народом – таким, как его описывали Толстой, Достоевский, Аксаков, Горький, – осуществилась лишь в очень малой степени: все встречи находились под строжайшим контролем, все разговоры фиксировались, свобода передвижения, фактически, была сведена на нет. Тем более ограничивало незнание русского языка и необходимость постоянно пользоваться услугами приставленной переводчицы. Тем не менее, проницательный Цвейг увидел и понял намного больше, чем хотелось бы принимавшим его советским службистам. Не поддавшись большевистской эйфории, которой, как непроницаемым облаком, старательно окружали его, помогло анонимное письмо, незаметно подложенное ему в карман во время встречи со студентами. Написанное по-

французски, оно предупреждало его: не верить слепо всему, помнить, что «простые советские люди» говорят ему не то, что хотели бы, а то, что должны говорить; что кроме всего показываемого ему есть чрезвычайно много такого, что ему не показывают; что за всеми, кто попадает в поле зрения Цвейга, пристально следят; что переводчица передает в соответствующие инстанции каждое его слово; что телефон прослушивается и каждый шаг контролируется. Поэтому, вернувшись домой, Цвейг, в отличие от всех посетивших СССР западноевропейских писателей, написал о своей поездке лишь пару небольших статей, ссылаясь на то, что впечатления от столь короткого визита не могут иметь никакого объективного значения. «И я хорошо сделал, что проявил такую сдержанность, — пишет Цвейг в своей книге воспоминаний¹, — так как уже через три месяца многое стало иным, чем я это увидел, а через год, благодаря стремительным изменениям, каждое слово уже было бы фактами изобличено во лжи. Но все-таки, — прибавляет он, — в России я так сильно чувствовал стремительность течения нашего времени, как редко в моей жизни».

* * *

Что же так быстро сделало Цвейга любимым и популярным писателем?

В своем эссе о Диккенсе он писал: «Пожалуй, отличительный признак гения и состоит в том, что он, олицетворяя дух нарождающейся традиции, враждует с традицией отживающей и, являясь родоначальником нового поколения, вызывает на кровавый бой отмирающее. Гений и его время подобны двум светилам, свет и тень от которых, правда, смешиваются, но чьи орбиты, хотя они и пересекаются, никогда не совпадают». Насколько редки случаи, когда «на звездном небе тень одного светила полностью закрывает светящийся диск другого, и они сливаются», столь же редко случается, что субъективные замыслы писателя целиком совпадают с духовными потребностями эпохи. Однако и здесь Цвейгу «посчастливилось»: его ненависть к отживающим традициям XIX века и борьба (художественными средствами) за обновление морали полностью совпали с главной тенденцией его времени.

¹ Там же, S. 351-352.

Начиная с опубликованного в 1910 году эссе о Верхарне, Цвейг почти полностью перешел на прозу, и именно прозаические произведения принесли ему мировую славу. Два жанра первостепенным образом представлены в его творчестве: художественная биография и психологическая новелла. Однако различие между ними – внешнее. В первом – в центре повествования стоит реальная историческая личность, и все, что Цвейг описывает, прочно опирается на тщательно проверенные им документальные данные. Во втором – героями являются вымышленные фигуры с вымышленной жизнью (хотя в ряде случаев толчком для написания новеллы могли служить реальный факт или встреча, происшедшая в действительности). Гораздо важнее сходство между этими жанрами. И в том, и в другом внимание автора обращено на внутреннюю жизнь человека, его психологию, и при всей внешней объективности Цвейг старается смотреть глазами своего персонажа и объяснять все события с его точки зрения. И в биографиях великих людей, и в своих художественных произведениях Цвейг, по собственной аттестации – «разгадыватель психологических загадок» («Шахматная новелла»). «Психологические загадки неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не успокаиваюсь до тех пор, пока мне не удастся проникнуть в их тайну; люди со странностями одним своим присутствием могут зажечь во мне такую жажду заглянуть им в душу, которая немногим отличается от страстного влечения к женщине», – говорит рассказчик новеллы «Амок», и нет сомнения, что здесь Цвейг говорит действительно от своего имени.

Чтобы понять, насколько революционным был такой подход, и оценить глубину впечатления, произведенного Цвейгом на своих современников, нужно представить себе фон, на котором появились его сочинения. Дважды – в эссе о Фрейде и, особенно, в первых главах «Вчерашнего мира» – Цвейг дает подробную характеристику общественной морали на рубеже XIX и XX веков: морали пуританской, переходящей в ханжество. Кризис религиозности и бурное распространение атеизма лишили основания и разумного объяснения нравственные нормы, порожденные христианством, в свое время яростно боровшимся «с плотскими устремлениями человека ради одухотворения, ради спасения вечно заблуждающегося человеческого рода»¹. Церковные нормы нравственности еще являлись какой-то «осязаемой формой неосязаемой идеи». Одна-

¹ Эта и последующие цитаты – из эссе Цвейга «Зигмунд Фрейд».

ко в XIX веке – «чувственном, грубо материалистической и падком до наживы без тени религиозной воодушевленности», громко провозглашающем «начала демократии и права человеческие», – эти нормы выродились в категорическое требование лишь «соблюдения внешних приличий». Вместо «действенной морали, подлинно нравственного поведения» – лишь «видимость морали». В результате в «планомерный поход против искренности» были мобилизованы все силы, против нее «организованным порядком» выступили искусство и наука, мораль, семья, церковь, все уровни образования. И все они руководились одинаковым принципом ведения войны: «уклоняться от всякой схватки, не приближаться к противнику, но обходить его на далеком расстоянии, ни в коем случае не вступать в настоящую дискуссию. Бороться единственно молчанием, бойкотом и игнорированием. Все щекотливое более не подлежало обсуждению». Все вопросы психологии, внутренней жизни человека, лишь слегка касающиеся даже нормальной половой жизни, стали запретными – так что же говорить о проблемах людей, «ненормально предрасположенных»? «Ибо видимость моральности важнее для этой эпохи, чем **суть человеческого существования** [выделено мной – Й. В.]». Поэтому такой ужас вызвало первое выступление Зигмунда Фрейда на открытом заседании Общества врачей, в сухой академической манере сообщившего, что, согласно его наблюдениям за пациентами, многие неврозы (а возможно, что и все) имеют своей причиной «подавленные сексуальные влечения». Однако Фрейд «интересовали не приличия, а истина». И календарное наступление XX века ознаменовалось опубликованием его первой работы «Толкование снов», за которым вскоре последовали «Психопатология обыденной жизни» (1901), «Остроумие и его отношение к бессознательному» и «Три очерка по теории сексуальности» (1905), а в 1910 году в Нюрнберге уже состоялся первый международный конгресс по психоанализу. Вот главная идея Фрейда: инстинкты не подавляются разумом, а лишь вытесняются в подсознание, но тогда они скопляются и «своим непрерывным брожением порождают нервное беспокойство, расстройство, болезнь». А игнорируемые официальной моралью силы libido «являются стихией, которую ни в каком случае нельзя устранить, но, самое большее, можно переключить на безопасную для человека работу путем перенесения их в сознание». Процесс осознания – единственно надежный (и безопасный для человека) метод укрощения инстинктов.

И именно эта идея легла в основу художественного метода Цвейга. Излюбленная тема его новелл (написанных, в основном, в 20-х годах, которые, собственно, и доставили ему всемирную славу) – взрыв инстинктов, ранее скрытых под тонкой пленкой культуры, созданной воспитанием, образованием, привычкой следовать общепринятым нормам поведения и морали. Цвейг как бы «проигрывает» различные варианты, показывая, как эта коллизия происходит у совершенно различных людей в различных странах при различных обстоятельствах, и чем может окончиться подобный пароксизм.

Герой новеллы «Фантастическая ночь» – барон фон Р.: «джентльмен, принятый в лучшем обществе, офицер запаса, пользующийся всеобщим уважением». Безо всякой нужды он совершает наглую кражу и при этом испытывает необъяснимую «алчную радость». Пытаясь разобраться в самом себе, он изумляется, что слово «вор», которое он твердит себе, пытаясь им, «словно ударом хлыста», разбудить в себе ощущение стыда, не оказывает на него ровно никакого воздействия. И вдруг, словно «яркий свет молнией», озаряет его сознание понимание, что по какой-то таинственной причине он горд и даже счастлив своей нелепой выходкой. «Радость, буйная радость разгоралась ярким огнем, взвилась дерзкими, озорными языками пламени, ибо я сознавал, что сейчас, в эти минуты, впервые после долгих лет, я опять живу». Окостеневший, загасивший в себе все проявления жизненной энергии светский лев, думавший, что он испытал все и что все чувства в нем давно уже умерли, ликует, ибо убедился: несмотря ни на что, он остался «человеком с пылкими, злыми страстями». Совершенно в духе Фрейда герою помогает воспоминание о событии в дни детства, когда в школе он украл у товарища перочинный ножик и испытывал злорадство, наблюдая, как тот его ищет. И теперь он понимает, что сам изломал, раздавил свои чувства «погоней за химерой, за идеалом светского джентльмена», но что, несмотря на это, в нем, «как во всех людях, только глубоко, очень глубоко, на дне засыпанных колодцев, таится **родник жизни** [выделено мной – *И. В.*]». И теперь он почти в буквально смысле воскресает из мертвых, полностью преобразаясь: теперь он «пылко любит жизнь», теперь он понимает всех вокруг – и людей, и животных, теперь его потрясают чужие несчастья. «Несколько мимолетных, на первый взгляд почти не связанных между собой происшествий одного вечера смогли каким-то чудом разжечь уже угасшую жизнь».

Совершенно противоположный случай – в новелле «Амок». Здесь причина взрыва подавленных инстинктов – семилетнее пребывание врача из Германии в джунглях Индонезии, «почти исключительно между туземцев и животных», хандра во время сезона тропических дождей, «яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине». И непосредственный повод – появление настоящей европейской дамы: красивой, сильной, обладающей поистине «демонической силой воли», с «железной, чисто мужской решимостью» требующей от врача противозаконной помощи. Завязывается поединок двух душ – не на жизнь, а на смерть, и оба в нем гибнут в буквальном, физическом смысле. Она – из-за своей силы, он – из-за своей слабости.

Еще две новеллы, в центре которых – женские персонажи. У миссис К., героини новеллы «Двадцать четыре часа из жизни женщины», в отличие от барона фон Р. из «Фантастической ночи», один-единственный раз, когда эмоции оказались сильнее ее разума, на всю жизнь остался воспоминанием, жгущим ее огнем стыда. В силу естественной женской стыдливости и чопорности викторианского воспитания она всегда старалась подавить, скрыть от себя самой этот эпизод, пока (опять-таки совершенно по Фрейду!) не представился повод рассказать все внимательному и доброжелательному собеседнику, в способности которого хранить тайну она была совершенно уверена. Вот тогда «камень свалился с ее души», и ей стало «легко и почти радостно».

В новелле «Женщина и природа» фактором высвобождения подсознательных инстинктов является мучительное, изматывающее душу ожидание дождя знойным, засушливым летом. В этом плане – воздействие необычных природных условий на человеческую психику – эта новелла является параллелью к «Амоку», но здесь появляется очень существенный дополнительный фактор: героиня – сомнамбула. Взрыв страсти происходит во сне, а проснувшись, она уже ничего не помнит. Встретившись днем с мужчиной, в комнате которого была ночью, она лишь какое-то мгновение смутно ощущает что-то вроде воспоминания, связанного с ним, но оно тут же пропадает, оставляя ее такой же веселой и беззаботной, как прежде.

Такое же мощное стремление к психологической правде – в зарисовках великих людей в кульминационные моменты их жизни: мгновения, «предопределяющие судьбу сотен поколений» (как пишет сам Цвейг в предисловии к сборнику «Звездные часы человечества»). Описывая открытие Тихого океана Нуньесом Бальбоа, сочинение «Марсельезы», битву при Ватерлоо, достижение Южного полюса, возвращение Ленина в Россию в запломбированном ваго-

не, Цвейг ставит себе задачу «в едином миге видеть вечность» (Блейк). Но и в более пространных биографиях главное внимание Цвейга устремлено на те периоды жизни человека – безразлично, долгие или краткие, – когда его полностью подчиняет себе какая-то высшая сила, когда все его существование сосредоточивается на каком-нибудь едином стремлении и достигает невообразимой концентрации, когда личность раскрывается полностью – и в дурном, и в хорошем. Поэтому в книге о Марии Стюарт, например, описание двух лет ее роковой страсти к Босуэлу занимает такое же место, как рассказ о предыдущих двадцати трех годах ее жизни и о последующих двадцати годах заключения. Потому что, «подобно некоторым поэтам, писателям или музыкантам, исчерпавшим свое дарование в каком-то одном гениальном произведении», Мария Стюарт «в едином взрыве страсти расточила весь свой любовный потенциал», которого иным – «более уравновешенным, **обывательским** [*выделено мной – Й. В.*]» – натурам хватает на всю жизнь. И очень примечательна параллель с новеллой «Женщина и природа», которая открывается в следующем авторском замечании (очень примечательном также в плане раскрытия личной жизненной позиции Цвейга): «Страсть, как болезнь, нельзя осуждать, нельзя и оправдывать; можно только описывать ее с все новым изумлением и невольной дрожью пред извечным могуществом стихий, которые как в природе, так и в человеке внезапно разражаются вспышками грозы». Любимая тема Цвейга – «моно»: монострасть («Магеллан»), монодрама («Ницше»), мономания (новеллы «Мендель-букинист», «Незримая коллекция», «Шахматная новелла», биографии Фуше, Бальзака и Мэри Бейк-Эдди). «Потому что, – объясняет он свой «моноинтерес», – чем теснее рамки, которыми ограничивает себя человек, тем больше он в известном смысле приближается к бесконечному».

Другой фактор чрезвычайного распространения сочинений Цвейга – его выдающийся литературный талант и в особенности его художественное мастерство. Упорнейшим трудом и поистине безжалостным отношением к плодам своего пера писатель выработал свой собственный стиль: мощный и чрезвычайно выразительный, в весьма лаконичной форме выражающий очень многое. Свой процесс творчества Цвейг описал так, как если бы рассказывал о ком-то другом¹. Если его интересовало реально существовавшее историческое лицо, то началу работы предшествовало и во время ее продолжалось при-

¹ Die Welt von Gestern, S. 333-334.

стальнейшее изучение первоисточников. Так, при написании «Марии-Антуанетты» писатель использовал «почти все мыслимые документальные частности», которые смог получить в свое распоряжение: он заново проверил каждый счет, чтобы твердо установить личные расходы французской королевы; изучил все газеты и памфлеты того времени, «пропахал все протоколы ее процесса до последней буквы». Его «амбиция», однако, состояла в том, чтобы «знать больше, чем это видно снаружи»: из всех этих сведений в текст входила лишь небольшая часть. Огромная часть материала оставалась на заднем плане – в качестве некоего фона, придающего особую достоверность повествованию (и, прибавим от себя, вероятно, служащего источником вдохновения). Первый набросок, как правило, Цвейгу давался легко: он «пускал перо бежать свободно по тому пути, который возник в сердце». Но в напечатанной книге из всего написанного вначале зачастую «невозможно было более найти ни одной буквы», потому что едва первая, приблизительная редакция книги была переписана набело, начиналась «собственно работа – работа по конденсации и композиции». Постоянно неудовлетворенный собой писатель писал версию за версией, добиваясь максимальной «уплотненности и ясности внутренней архитектуры» своего произведения. Не без гордости Цвейг сравнивал себя с иными писателями, не осмеливавшимися столь же постоянно, как он, «сбрасывать за борт балласт» и «никак не могущими решиться умолчать о чем-либо» из-за «известной влюбленности в каждую удавшуюся букву и желания показать себя более дальновидными и глубокими, чем они, собственно, есть на самом деле». Затем начиналась работа с гранками. «Процесс конденсации и одновременно драматизации» текста повторялся еще раз, второй и третий, а в заключение начиналась «веселая и сладострастная охота» за еще одним абзацем или даже словом, которое можно было вычеркнуть, не нанеся урона точности и одновременно повысив темп изложения. Это вычеркивание доставляло Цвейгу наибольшее наслаждение в писательской работе. Он вспоминает, как однажды встал от своей работы особенно удовлетворенный, и на замечание жены, что, как ей кажется, сегодня ему удалось сделать что-то необыкновенное, гордо ответил: «Да, мне удалось вычеркнуть еще один целый абзац и тем самым найти стремительный переход».

Так что прижизненная слава Цвейга было вполне им заслужена. Талант и мастерство в сочетании с ошеломляющей (по крайней мере, для того времени) новизной тематики быстро сделали его самым читаемым автором мира. Согласно статистике «Интеллекту-

ального сотрудничества», издававшегося женеvской Лигой наций, книги Цвейга были переведены на самое большое число языков земного шара, и ему пришлось приобрести «огромный стенной шкаф» для своего дома в Зальцбурге, чтобы ставить туда авторские экземпляры своих книг на самых разнообразных языках.

* * *

Итак, как следует из его произведений, «сущностью человеческого существования» Цвейг считал свободное, ничем не скованное изъяснение эмоций вплоть до «первобытных», подавленных было внешним воздействием культуры, инстинктов. Соответствовал ли этому идеалу образ жизни, избранный Цвейгом? Были ли у него самого в жизни кульминационные моменты, подобные тем, которые он воссоздавал в своих произведениях с таким глубоким проникновением в человеческую психологию?

В предсмертном письме Цвейга сказано, что «самой чистой радостью» в жизни для него была «духовная (то есть интеллектуальная, творческая) работа», и в истинности этого мы только что имели возможность убедиться. Но столь же правдива вторая половина признания: что «личная свобода» была для Цвейга «высшим благом в этом мире». Будучи очень хорошо обеспеченным материально, он никогда не принимал ни одного предложения о работе где бы то ни было и принципиально не участвовал в политической жизни, не желая оказаться хотя бы в минимальной степени связанным с чем или с кем бы то ни было (как мы видели это на примере его отношения к посещению СССР). Это положение позволяло ему оставаться «над миром» в позиции наблюдателя, который видит всех и разгадывает загадки человеческого бытия, но сам остается почти невидимым.

«Каждый гений носит маску», – утверждал Ницше, и в отношении Цвейга этот афоризм почти абсолютно верен. Своими книгами Стефан Цвейг скрыл свой внутренний мир, отгородившись ими от внешнего мира.

Вообще-то весьма нередко писатель воплощает себя в своих персонажах. Так, Андрэ Моруа указывает¹, что все персонажи Стендаля – это различные ипостаси личности автора. Главный герой – это тот человек, которым Стендаль хотел бы быть: в «Красном и

¹ См. его «Литературные портреты».

черном» – он юный семинарист, человек из народа, в «Люсьене Левене» – сын банкира, в «Пармской обители» – тот, кем «бы был бы Анри Бейль, родись он итальянским вельможей». Первая героиня – это та женщина, которую Стендаль мечтал любить; вторая героиня – «женщина, которой мог бы быть сам Стендаль, если бы он родился женщиной». Кроме них, в каждом из романов есть «могущественный и благородный человек, своего рода маг-волшебник, который одним взмахом палочки мог бы превратить самого Стендаля в человека богатого, уважаемого и способного удовлетворить все свои желания». И неизменно этому «доброму и могущественному, чуть насмешливому персонажу, который за иронией скрывает свою душевную доброту, противостоит негодяй, первейший негодяй, можно сказать глава негодяев: он враждебен герою и мешает осуществить его мечты». Однако и «маг-волшебник», и «глава негодяев» – тоже персонификации самого Стендаля – вернее, различных аспектов его характера. Аналогичным образом строится структура действующих лиц почти во всех романах Фейхтвангера: каждое из них – олицетворение какой-либо из сторон личности автора. Свой собственный внутренний конфликт между эмоциями и разумом Фейхтвангер воплощает в паре главных героев. Первый из них, как правило, эмоционален и страстен порой до безумия, но ему противостоит (и уравнивает его) другой: воплощение разума. Так, напротив Зюсса – Габриэль, Мартина Оппермана – Жак Тюверлен, донна Йеѓуды – Муса, а у Иосифа Флавия даже две антитезы: Юст Тивериадский и Гамалиэль (второму из которых автор, между прочим, придает черты портретного сходства с самим собой)... И их антагонист также переходит из романа в роман, сохраняя все свои характерные черты (вплоть до такой мелкой, казалось бы, детали: ладонь, сверху – узкая, а изнутри – неожиданно пухлая). Еще один пример: в Левине из «Анны Карениной» легко угадывается сам Лев Толстой, а его объяснение с Кити – воспроизведение реального эпизода жизни автора.

Совершенно иначе – у Цвейга. Конечно, нет сомнения, что самоанализ поставлял ему немало материала для создания достоверной картины образа мыслей и переживаний персонажей его книг – укажем хотя бы на подростка, о котором рассказывается в новелле «В сумерках». Тем не менее, ни с одним из действующих лиц произведений Цвейга отождествить автора невозможно (за одним лишь исключением: в Эразме Роттердамском явно просматриваются черты самого Цвейга). И в новеллах, и в романах, и тем более в

биографиях великих личностей он не выходит из роли наблюдателя, всегда стоящего выше своих героев и событий их жизни. Голос его постоянно звучит как бы «за кадром», и лишь по нему мы в какой-то степени можем судить о том, насколько интересуют его и насколько более или менее явную симпатию они у него вызывают. Личность же самого рассказчика нигде не приоткрывается. Даже «беллетрист Р.», получивший «письмо незнакомки» (в новелле того же названия), не обнаруживает никаких черт самого Цвейга. Совершенно правильно будет сказать, что Цвейг старательно прячется за своими персонажами. Недаром он (как признается в своих воспоминаниях¹) в более поздние годы сожалел, что не стал печатать свои книги под псевдонимом, чтобы еще более усилить в них элемент анонимности.

Без сомнения, в этом проявились особенности его натуры. Если внешне Цвейг был очень похож на свою мать – веселую, изящную уроженку Италии с черными искрящимися глазами, то характер свой он унаследовал от отца – сдержанного до безликости, сурового до аскетизма. Характерно, что даже в книге своих воспоминаний Цвейг не уделяет никакого внимания своей эмоциональной жизни. В то время как другие – и очень многочисленные – мемуаристы подробно рассказывают о женщинах, оказавших хоть какое-то влияние на их жизнь, Цвейг допускает всего два мимолетных упоминания о своей первой жене и (в конце книги) сообщает о решении зарегистрировать брак со второй женой только потому, что без этого было бы непонятно, как он очутился в мэрии (где внезапно узнал о начале Второй мировой войны). Ненамеренно или намеренно Цвейг создает впечатление, что жены не играли никакой роли в его внутренней жизни.

Совершенно очевидно, что интеллектуальный анализ был его главным, если не единственным интересом. Материалом для него становилось все: даже собственное творчество, даже собственные любовные переживания. Об очень многом говорят записи в дневнике Цвейга в декабре 1912 года – самый романтический момент его жизни: во время его романа с Фридерикой-Марией фон Винтерниц (урожденной Бургер), позже (в 1920 г.) ставшей его первой женой. Из них видно, что наибольшее удовольствие он получает от совместных прогулок, во время которых они ведут «превосходные беседы», и Цвейг предостерегает себя: нельзя допускать, чтобы влюбленные

¹ Die Welt von Gestern, S. 338.

«впали в эротизм полностью». Общение с возлюбленной дает ему интереснейший материал для постижения сущности женщин в сравнении с мужчинами и их взаимоотношений, который он хладнокровно анализирует, а результаты записывает – по-видимому, чтобы использовать в своих сочинениях.

Следовательно, хотя Цвейг был убежден, что сутью человеческого существования является эмоциональная жизнь (и чем более напряженная, тем более ценная), своим эмоциям (тем более подсознательным инстинктам) он воли отнюдь не давал. Всем своим образом жизни он подтверждал правильность идеи Фрейда: перевод подсознательного в открытое сознание – надежный способ овладения опасными эмоциональными силами, дающий возможность их правильного, полезного использования. В случае Цвейга – для творческой деятельности, которая для него являлась (опять-таки по Фрейду) формой сублимации. Прилагая усилия, чтобы «заключить в сжатую форму то зыбкое и ускользающее, что составляет суть всего живого» («Фантастическая ночь»), он заключал свои переживания в крепкие рамки, гарантируя себе душевное равновесие.

* * *

В отличие от некоторых других художников, ассимилированных евреев, Цвейг никогда не скрывал своего еврейства, а даже, наоборот, в известной мере его демонстрировал. Так, первая опубликованная новелла Цвейга («В снегу», 1901 г.), рассказывает о средневековой еврейской общине, вынужденной спастись бегством от христианских фанатиков-флагеллантов. Однако необходимо сразу же подчеркнуть, что отношение Цвейга к еврейскому народу не выделялось, в общем, из рамок его общегуманистической позиции цивилизованного европейца. Первое представление о евреях у него сложилось на образце венской еврейской буржуазии, составлявшей основу культурной элиты и благодаря которой на рубеже XIX-XX веков Вена по степени интенсивности научного и художественного творчества успешно соперничала с Парижем. Хотя евреев в Вене было меньше 9% от всего ее населения, во всех так называемых «свободных профессиях» евреи преобладали. «Безмерно было участие, которое еврейская буржуазия принимала в венской культуре на свой манер: одновременно содействуя и предъявляя требования. Она и была настоящей публикой, которая наполняла театры, концерты, она покупала

книги, картины, она посещала выставки и со своим живым, менее отягощенным традициями пониманием, преимущественным образом, была тем, кто требовал нового и боролся за все новое... Девять десятых того, что в девятнадцатом веке составляло славу венского культурного мира, было отвечавшим запросам венского еврейства, вскормленным им или даже самостоятельно созданным»¹.

Аутентичного же, не ассимилированного еврея Цвейг впервые встретил только в 1903 году в Берлине, где он заканчивал свое университетское образование работой над диссертацией. Там произошло его знакомство с новым для него миром художественной богемы, нищеты, безнравственности, насилия... Именно тогда в нем проявилось то «пристрастие ко всем интенсивным и необузданным натурам»², которое столь заметно в его произведениях. Ощушая привитый с детства «комплекс уверенности» как нежелательный груз, он страстно пленялся каждым «мономаном **чистого существования без цели** [*выделено мной – Й. В.*]», в глазах которого время, здоровье, деньги да и сама жизнь не имели никакого значения. Каждый из них по-своему утолял пробудившуюся страсть Цвейга «к экзотическому, чужеземному», принося «подарок его любопытству» из какого-нибудь дотоле не известного ему мира. Некоторые из новых знакомых Цвейга произвели на него особенное впечатление, и одним из них был подлинный еврей. «В рисовальщике Е. М. Лилиене, сыне бедного токаря по дереву из Дрогобыча, я впервые встретил настоящего восточного еврея и вместе с ним – еврейство, в своей силе и своем упорном фанатизме дотоле мне неизвестное». Но характерно для Цвейга, что он не выделяет еврея из ряда других лиц. Ограничившись лишь этим кратким упоминанием, он сразу же переходит к «молодому русскому», переведшему для него «самые прекрасные места из “Братьев Карамазовых”», тогда еще не известных в Германии», и к «одной юной шведке», благодаря которой он в первый раз увидел картины Мунка.

Вторично Цвейг встретился с восточноевропейским еврейством во время Первой мировой войны, когда военный архив (в который удалось устроиться, чтобы избежать призыва в действующую армию) командировал его в прифронтовую зону для сбора всех уцелевших русских прокламаций и плакатов [1]. Весной 1915 года, сразу после наступления германо-австрийских войск, одним мощным ударом выбросивших русских из Польши и Галиции, Цвейг выехал в район недавних

¹ Die Welt von Gestern, S. 29-30.

² Эта и последующие цитаты – из Die Welt von Gestern, S. 126, 127.

боев. «Каждый раз, когда я приезжал в один из тех галицийских городов – в Тарнов, в Дрогобыч, в Лемберг [Львов], на вокзале там стояло несколько евреев, так называемые “факторы”, специальностью которых было доставать все, что когда-либо кто-то хотел. Достаточно мне было сказать одному из этих универсальных практиков, что я собираю прокламации и плакаты русской оккупации, чтобы этот фактор побежал, как ласка, и таинственным образом передал это поручение дюжине низших факторов. Через три часа, без того, чтобы сам я сделал хоть один шаг, у меня был этот материал в самой прекрасной, какая только была мыслима, полноте. Благодаря этой образцовой организации у меня осталось время, чтобы увидеть многое, и я увидел многое. Я увидел, прежде всего, страшное бедствие гражданского населения, на глазах которого, как тень, лежал ужас пережитого. Я увидел то, о чем никогда не подозревал: бедствие еврейского населения гетто, жившего по восемь, по двенадцать человек в одной наземной или подземной комнате»¹. Но так же, как и в передаче берлинских впечатлений Цвейга, за еврейской темой сразу же следует русская: в Тарнове Цвейг впервые увидел «врага» – пленных русских солдат. Но для нас в наших попытках разгадать загадку жизни и смерти Цвейга важно дальнейшее: после описания братских отношений между конвоируемыми и их конвоирами, «пожилыми, большей частью бородатыми тирольскими ополченцами», он пишет о том, что для него явилось «по-настоящему ужасным» впечатлением от войны, – тем, «вид которого превзошел самые мои худшие опасения». А именно поезд-лазарет, в котором ему пришлось два-три раза ехать. Свое описание ужасного состояния поезда, страданий раненых и отсутствия квалифицированной медицинской помощи гуманист-интернационалист Цвейг заканчивает словами «старого, с белоснежными волосами» священника – «единственного, кто в какой-то степени мог помочь»: «Мне шестьдесят семь лет, и я многое видел, но такое преступление против человечности я не считал возможным».

Впрочем, впечатление от восточного еврейства было достаточно сильным, чтобы дать Цвейгу тему для размышлений о судьбе евреев после войны. Так, он писал философу и публицисту Аврааму Швадрону (позже Шарону) приблизительно летом 1916 года: «Я знаю слишком хорошо, до какой степени положение евреев трагично. В моих статьях я мог делать на это только намеки. (...) И сверх всего, самое важное – что в виду страшных страданий жителей Га-

¹ Там же, S. 258, 259-261.

лиции, сражающихся на стороне Австрии, находят аргументы в пользу антисемитизма!..». Принципиально воздерживаясь от участия в какой бы ни было политической деятельности, Цвейг, тем не менее, всегда старался понять и трезво оценить ситуацию. И в данном вопросе он весьма проницательно предсказал рост австро-германского антисемитизма после войны: «Я твердо убежден, что раздражение, которое в настоящее время уже тлеет, но скрытно, будет сорвано не на тех, кто развязал войну, (...) но на евреях. Я убежден непоколебимо, что после войны антисемитизм совет себе гнездо из этой “великой Австрии”, что именно в антисемитизме Польша и венцы найдут себе, наконец, какой-то образ единства»¹.

Следует также отметить, что в годы войны Цвейг написал пьесу «Иеремия» – единственное из его произведений на сюжет, заимствованный из Танаха. Правда, как его художественное претворение достаточно вольно воссоздает исторические события, так и очень, очень далеко оно от того раскрытия их сути, которое предлагает Писание. Из всего, что связано с образом Иеремии, Цвейг взял лишь один аспект: пацифизм – выступление пророка против войны, против сопротивления царю Вавилона и страстный призыв к миру. В этой пьесе впервые поднята тема, позже развитая в книге об Эразме Роттердамском: трагедия выдающейся личности, бессильной перед лицом массового безумия и разгула жестокости, получающей в награду за проповедь гуманизма и человеколюбия клеймо труса, пораженца и предателя. Но, несмотря на такую очень уж осовремененную трактовку глав из Танаха, сам факт обращения к эпизоду именно из еврейской истории достаточно примечателен².

Другим художественным плодом размышлений Цвейга о впечатлениях, полученных в Польше и Галиции, стала одна из его лучших

¹ Les aspects de Zweig на сайте Интернета http://www.stefanzweig.org/asp_f06.htm.

² Добавим, что, опубликовав «Иеремию» в 1917 г., Цвейг ожидал, что пьеса будет принята в штыки. Но произошло обратное: книги были моментально раскуплены, а несколько театральных директоров обратились к нему с просьбой предоставить им право премьеры после войны (что сам Цвейг объяснил тем, что два с половиной года войны уже принесли достаточное отрезвление). Цюрихский же театр принял «Иеремию» к немедленной постановке, и Цвейг, получив разрешение выехать на премьеру, задержался в Швейцарии до восстановления мира в Европе.

новелл: «Мендель-букинист»¹ – о судьбе гениального самородка-библиографа, попавшего в шестерни военно-политической машины. В сущности, Цвейг в ней поднял именно ту тему, которая в те же самые годы стала ведущей в творчестве Франца Кафки: принципиальная несовместимость личности и государственного аппарата, целенаправленно нивелирующего любые проявления индивидуальности. Но Цвейг развил эту тему в своем характерном реалистически-психологическом стиле, а у Кафки она приобрела гротескно-экспрессионистский характер.

С тех пор тема еврейства неизменно занимала ум Цвейга. Но катализатором его самоидентификации, как это нередко, к сожалению, бывает, явился именно антисемитизм. В 1933 году книги Цвейга были объявлены «ядом для германского народа» и публично сожжены; несмотря на то, что, переселившись в Англию, он принципиально воздерживался от любых публичных высказываний о нацистах и их угрозе европейскому гуманизму (так как считал, что для «гостя» неэтично «давать советы» стране, предоставившей ему убежище), нацисты удостоили его почетного титула «самого опасного еврея-интеллектуала». В Англию начали прибывать беженцы из Германии, затем – и из Австрии, среди которых Цвейгу приходилось встречать и своих давних знакомых. Постоянные размышления о еврейских судьбах и попытки понять смысл еврейской истории произвели на свет повесть «Погребенный светильник» (опубликованную в 1937 г. и посвященную «моему другу Шалому Ашу»). В этой полностью вымышленной, не опирающейся не на какие исторические данные, истории храмовый Семисвечник, по мысли Цвейга, символизирует еврейский народ. Менора переходит из рук одних завоевателей в руки других, но остается все такой же прекрасной и драгоценной; в конце концов она как бы исчезает из этого мира, но, надежно спрятанная, сохраняется в полной неприкосновенности и «ждет предначертанного часа».

* * *

Итак, жизнь Цвейга с полным правом можно было бы назвать завидной. Даже его уход в «английское изгнание» в 1934 году не был связан ни с каким принуждением. Поводом был обыск, произ-

¹ В оригинале – «Мендель-книга».

веденный в его доме (правда, очень поверхностно, чисто формально) в связи с социалистическими волнениями в стране. Воспитанный в понятиях предыдущей эпохи, Цвейг не мог стерпеть такого «осквернения святости» своей собственности, своего «дома-крепости» культуры и искусства, и покинул Австрию. Его отъезд был гордым жестом независимого интеллектуала, оскорбленного в своих лучших чувствах. Единственным потрясением, **им до тех пор** пережитым, было полное крушение идеалов европейского гуманизма и духовного братства в начале Первой мировой войны, когда внезапно Европу захлестнул вал «темных, бессознательных первобытных импульсов и инстинктов людозверей», «желаний вырваться разок из буржуазного мира законов и параграфов и позволить разыграться древним кровавым инстинктам»¹. Хотя попытка Цвейга, вдохновленного примером Ромена Роллана, объединить германоязычных писателей для выступления против войны не имела никакого успеха, все же она – свидетельство немалого мужества и решительности. Приняв позже деятельное участие в восстановлении загубленных войной идеалов, Цвейг, казалось бы, получил опыт и закалку, которые должны были помочь ему справиться с новыми испытаниями.

Почему же он не только сам не устоял в них, но даже увлек за собой в бездну отчаяния другого человека – преданную ему, любящую женщину? Что могло заставить его потерять все прежние ориентиры, перестать видеть путеводные огни, освещавшие ранее его жизненный путь, и лишиться всякой надежды дожить до лучших времен? Как произошло, что его, сложившего «гимн изгнанию – этой властной силе, творящей судьбу, которая возвышает падающего человека и под суровым гнетом одиночества заново восстанавливает и заново сочетает поколебленные силы души»², – совершенно сломило изгнание, в которое он ушел по своей доброй воле?

Как разгадать загадку Цвейга – как выявить суть его душевного кризиса, который, без сомнения, зародился задолго до того, когда столь ужасным образом вырвался наружу, но который до того последнего момента удавалось прятать под маской цивилизованного интеллигента?

¹ Die Welt von Gestern, S. 234.

² Жозеф Фуше. Портрет политического деятеля, начало гл. 4.

* * *

«Тора» – от слова *horaа*, «указание»¹. В Торе есть все, и когда мы сталкиваемся с трудной проблемой, то если найти ее аналогию в Торе, можно получить указание, объясняющее то, что нам непонятно.

В 1931 году Цвейгу исполнилось 50 лет. Прежде, чем распечатать и прочесть великое множество поздравительных писем и телеграмм, он задумался о том, что для него означала эта дата².

Пятидесятый год жизни означает поворот: озабоченно смотрят назад, сколько своего пути уже прошли, и потихоньку спрашивают себя, все ли еще идут вверх. Я мысленно обозрел прожитое время; словно из моего дома на цепь Альп и отлого ниспадающую долину, взглянул я назад на эти пятьдесят лет и должен был сказать себе, что было бы преступно не быть благодарным. В конечном итоге, мне было дано больше, неизмеримо больше, чем я ждал или надеялся достичь. Посредник, с помощью которого я хотел развить и донести до выражения мою сущность – поэтическая, литературная продукция, – имела эффект, перелившийся далеко за мои самые отважные мальчишеские мечты. Здесь лежала, изданная как подарок «Инзельферлага» к моему пятидесятилетию, библиография моих книг, вышедших в свет на всех языках, которая сама по себе представляла целую книгу: не отсутствовал ни один язык – ни болгарский и финский, ни португальский и армянский, ни китайский и маратхи. На слепом шрифте, в стенографической записи, на всех экзотических буквах и наречиях мои слова и мысли пошли от меня к людям, мою личность я безмерно расширил над пространством моего существования. Лучших людей нашего времени я заполучил в качестве личных друзей; я упивался совершеннейшими исполнениями; я смог увидеть и насладиться вечными городами, вечными картинами, прекраснейшими ландшафтами земли. Я остался свободным, не зависящим ни от какой должности и профессии, моя работа была моей радостью и, более того, она доставляла радость другим! Что плохого тут могло бы еще произойти? Здесь были мои книги: мог ли их кто-нибудь уничтожить? (Так думал я, ничего не предчувствуя в тот час.) Здесь мой дом – может ли кто-нибудь меня из него выгнать? Здесь мои друзья – могу ли я их когда-нибудь потерять? Без страха думал я о смерти, о болезни. (...)

¹ «Зофар», ч. 3, 53б.

² Последующие цитаты – из *Die Welt von Gestern*, S. 369-370.

Я мог быть доволен. Я любил мою работу и к тому же любил жизнь. Я был защищен от забот: собственно, если бы я больше не написал ни одной буквы, мои книги позаботились бы обо мне. Все казалось достигнутым, судьба – **обузданной** [выделено мной – И. В.] Уверенность, которую я знал в ранние годы в доме моих родителей и которая была утрачена во время войны, – та самая уверенность была снова завоевана собственной силой. Что мне оставалось желать еще?

Очень похожую ситуацию – достижение человеком кульминации своей жизни, когда, как ему кажется, больше желать нечего, – мы находим во второй книге Шмуэля, в главе седьмой. Давид, пройдя тяжелейшие испытания, наконец избран царем над всем народом Израиля; нет более ни внутренних, ни внешних врагов; он счастлив в семейной жизни; перенеся священный Ковчег в свою новую столицу, Йерушалаим, он превратил ее, таким образом, также в духовный и религиозный центр. Более того: Всевышний обещал Давиду, что только его потомки будут иметь исключительное право на престол в Израиле, и Давид уверен, что так же, как Всевышний исполнил все свои предыдущие обещания, Он исполнит и это.

Что еще может желать человек?

И пришел царь Давид, и сел пред лицом Господа, и сказал: «Кто я такой, Господь Бог, и что такое дом мой, что привел Ты меня к такому величию?! И еще малым показалось это в глазах Твоих, Господь Бог, и также Ты говорил о доме раба Твоего на отдаленное будущее! И это – указание о человеке, Господь Бог?! И что еще скажет Давид Тебе – а Ты ведь знаешь раба Своего, Господь Бог! Ради Твоего слова и в соответствии с тем, что в сердце Твоем, совершил Ты все это великое – позволив узнать обо всем этом рабу Твоему!..»¹.

И рассказывает мидраш², что Давид пожелал сравняться с Авраа́мом. «Авраа́ма Я подверг десяти испытаниям, – ответил Давиду Всевышний, – и он устоял во всех». «Испытай и меня!», – предложил Давид. «Ты не устоишь», – ответил Всевышний, но Давид, уверенный в своей силе и в своей праведности, продолжал настаивать. «Хорошо, – согласился, наконец, Всевышний, – Я пошлю тебе испытание, но лишь одно, с тебя хватит и его. И более того: Ав-

¹ «Шмуэль II», 7:18-21.

² «Мидраш Теѓилим», 18.

раѓама Я никогда не предупреждал, какого рода испытание предстоит ему, но тебе Я открою: это испытание будет связано с замужней женщиной, и предупреждаю тебя последний раз: ты в нем не устоишь». Тем не менее, Давид не отступил, и хорошо известно, что произошло потом и какие несчастья принесло это Давиду¹.

Так же, как у Давида на вершине успеха и благополучия возникло искушение снова, как в прежние времена, подвергнуться испытанию и, пройдя его, подняться еще выше, в подобный момент своей жизни Цвейг, когда «он не знал, что желать»² тоже ощутил таинственное побуждение изменить свою жизнь.

Было ли бы это действительно хорошо, – спрашивало нечто во мне (**это не был я сам** [выделено мной – Й. В.]), если бы твоя жизнь дальше шла так же: столь же безветренной, столь же упорядоченной, столь же доходной, столь удобной, столь же лишенной новых напряжений и испытаний? Разве тебе, разве самому существенному в тебе, не чуждо это привилегированное, совершенно в себе уверенное существование?

Я прошел, задумавшись, по дому. Он стал красивым за эти годы и точно таким, как я хотел. Но все же: должен ли я жить здесь всегда, сидеть всегда за тем же самым письменным столом и писать книги – еще книгу и еще одну книгу, а потом получать тантьемы, все больше тантьемов, постепенно становясь достопочтенным господином, имеющим имя и труд, которыми должен распоряжаться благопристойно и сдержанно, изолированным от всего случайного, всех напряженностей и опасностей? Должно ли это так идти всегда – до шестидесяти лет, до семидесяти – по прямой, гладкой колее? Не лучше ли было бы для меня (так дальше **это мечтало во мне** [выделено мной – Й. В.]), если бы пришло нечто другое, нечто новое – нечто, которое сделало бы меня более беспокойным, более напряженным, более молодым и в этом состоянии требовательно вызвало бы меня к новой и, может быть, даже опасной борьбе? Ведь внутри каждого художника всегда обитает таинственный разлад: швыряет его бешено жизнь – так он страстно желает покоя, но когда ему дарован покой, так он тоскует, мечтая опять о накаленных ситуациях. Вот так я в тот пятидесятый день рождения имел в самой своей глубине некое преступное желание: пусть бы произошло нечто, которое бы меня еще раз оторвало от этой уверенности и комфортности, что меня принудило бы не только лишь продолжать, но снова начать с начала. Боялся ли я старости, утомленности, отяжеления? Или же это было

¹ См. «Шмуэль II», гл. 11-13, 15-16 и 18-20.

² Эта и следующие цитаты – из Die Welt von Gestern, S. 370-371.

таинственное предчувствие, которое тогда побуждало меня желать другой, более суровой жизни ради внутреннего развития? Я этого не знаю.

Можно предположить с большой степенью вероятности, что внезапный отъезд из Зальцбурга в 1934 году был обусловлен этим тайным побуждением в степени, по крайней мере, не меньшей, нежели причинами явными, о которых уже было сказано. Цвейг, подобно Давиду, сам напросился на новое испытание, которое было послано ему как раз для того, чтобы он мог «начать снова», ради нового «внутреннего развития». Также подобно Давиду, Цвейг не устоял в этом испытании, однако вышли они из него в совершенно различных направлениях.

Давид, когда понял смысл притчи, рассказанной ему пророком Натаном, ни одного слова не сказал в свое оправдание – несмотря на то, что у него было, как мы бы сказали, полное алиби¹: «Давид был невиновен и союза святого своего поруганию не предал». Бат-Шева была в разводе со своим мужем; вместо полагающихся трех месяцев со дня развода, Давид прежде, чем, взять ее к себе, выждал четыре. Тем более что Бат-Шева вообще была предназначена ему в жены «со дня, когда был сотворен мир» и даже после брака с Урией оставалась девственницей. Но, несмотря на все это, Давид сразу признал: «Я виноват перед Господом!», – так как отчетливо сознавал: перед лицом Абсолютной Истины ни один человек не может претендовать на полную чистоту от греха. И Всевышний немедленно даровал ему прощение: «Ты не умрешь». Однако теперь началось новое, гораздо более тяжелое испытание с целью выяснить, искренне ли Давид признал свою вину и не станет ли позже оспаривать справедливость Божественного решения. Его постигают четыре беды, к которым он сам себя приговорил²: смерть ребенка Бат-Шевы, драма страсти сына Давида Амнона к дочери Давида Тамар, убийство Амнона его братом Авшаломом и, наконец, попытка Авшалома отнять царство у Давида. В результате – потеряно все, что дорого, уничтожены плоды многолетних трудов; кажется, что Всевышний, прежде Сам назначивший его быть царем, теперь решил поступить с ним так же, как с Шаулем. И все-таки Давид безропотно

¹ См. «Зоѓар», введение, 8а-б.

² «Заплатит четырехкратно!», – воскликнул он, услышав притчу пророка Натана («Шмуэль II», 12:6).

(и даже с радостью!) принимает все обрушившиеся на него беды, так как сознает, что в них — высшее для него благо. И когда во время бегства от Авшалома он достигает дна унижений — когда один из величайших людей поколения проклинает и поносит его, Давид видит в этих оскорблениях лишь побуждение свыше к еще более глубокому раскаянию:

*...Пусть так проклинает,
потому что Господь подсказал ему:
«Проклинай Давида», —
и кто спросит: почему Ты так сделал?
.....
Оставьте его в покое, и пусть проклинает,
потому что Господь подсказал ему.
Быть может, посмотрит Господь на глаза мои
и воздаст Господь мне добром
за проклятье его в этот день...¹*

Даже Авшалома Давид требует пощадить, так как знает, что тот, в сущности, лишь является исполнителем Божьего приговора. Но и вернувшись на царство, до конца своей жизни Давид не имел покоя: восстание Шевы, сына Бихри, трехлетний голод, потом мор, наконец, попытка Адонии воцариться при жизни отца... Тем не менее, самые последние слова Давида, уже перед самой смертью, — неомраченное, светлое признание высшей справедливости.

Зная, насколько Цвейг слабее Давида, Всевышний послал ему гораздо более легкое испытание. Однако и оно Цвейга совершенно сломило — как видно из его воспоминания о годах, прошедших со дня его пятидесятилетия, 28 ноября 1931 года, до времени написания «Вчерашнего мира»². Оглядываясь назад, он видит их как нечто «бессмысленное и абсурдное», но надо признать, что не менее бессмысленно и абсурдно его изображение своего тогдашнего состояния. «Лишенный родины» — какой «родины»? Ведь он, убежденный космополит, гордился тем, что на первом месте для него — «духовная родина», всеевропейская культура. «Затравленный, преследуемый» — кем? Спокойно живя в Англии, Цвейг не подвергался никакой «травле», никаким «преследованиям». Он пишет, что «в каче-

¹ «Шмуэль II», 16:11, 12.

² Die Welt von Gestern, S. 369-370.

стве изгнанника еще раз (?) должен был странствовать из страны в страну, через моря и моря», но на самом-то деле из Англии он уехал сам – причем сразу же после того, как получил британское гражданство, а из США в Бразилию – отнюдь не «в качестве изгнанника», но как persona в высшей степени grata. То, что его имя «было заклеено в Германии как имя преступника», что его книги там были запрещены и подверглись поношению, должно было бы, скорее, наполнить его гордостью: если нацисты так его ненавидели и так боялись влияния его книг, значит, видели в них реальную силу! Если (как пишет он) те самые друзья, которые прислали Цвейгу к его пятидесятилетию столько писем и телеграмм, немного времени спустя «бледнели, случайно встретив» его (непонятно: где?), то у него еще оставалось множество друзей во многих странах в различных частях света, которые остались ему верны и открыто выражали ему свою солидарность. «Все, что было достигнуто за тридцать и сорок лет упорным трудом», вся его жизнь – «выстроенная, крепкая и очевидно непоколебимая» – отнюдь не «развалилась», так как успех Цвейга как писателя в тридцатые годы еще более возрос, книги его получили еще более широкое распространение в мире. Жена его, Фридерика-Мария, уехала из Австрии вместе с ним, а когда в 1938 году он с ней развелся, сохранила с ним, тем не менее, очень близкие дружеские отношения. И в свете этого внешнего полного благополучия совсем уж непонятно, почему Цвейг пишет, что «еще раз начинать сначала» он был «**принужден** [*выделено мной – И. В.*] с уже слегка утомленными силами и растерянной душой» – он же сам того пожелал!

Но эта невозможность (а скорее – нежелание) видеть истину как нельзя лучше свидетельствует о страшном внутреннем разладе, переживавшимся Цвейгом в то время¹.

¹ Возможно, внутренняя тайна Цвейга слегка приоткрывается в хронологическом перечислении тем, к которым он обращается: «Страх» (1920), «Амок» (то есть крайне опасное агрессивное безумие – 1922), «Борьба с демоном» (о Клейсте, Гельдерлине и Ницше – 1925), «Нетерпение сердца» (1938), «Опасное милосердие» (1938), «Хмель преображения» (не оконч.). Какие личности интересуют Цвейга в последнее десятилетие его жизни? Мария-Антуанетта (1932) и Мария Стюарт (1935) – две выдающиеся женщины, погибшие из-за своего упорства, нежелания поступиться малейшим элементом своего внутреннего мира, гордо вступившие в безнадежную борьбу с направлением времени; Эразм, Кастеллион и Монтень – три ва-

Причиной этого разлада было внутреннее, скрытое в самой глубине души ощущение, что в мире происходит нечто, перед лицом чего нет никакой возможности сохранить прежнюю жизненную позицию, прежнюю жизненную философию, мировоззрение, выработанное в предыдущие годы. Тот самый «комплекс уверенности», от которого он стремился избавиться в молодости, новый вариант которого затем создал для себя после Первой мировой войны и за который теперь цеплялся, вместе с тем ощущая полную безнадежность своих попыток.

Вызволненный из аннексированной Австрии и доставленный в Лондон Зигмунд Фрейд оказался для Цвейга незаменимым собеседником, alter ego, равным ему по уму и степени культуры, представителем той европейской цивилизации, по которой Цвейг подспудно всегда испытывал ностальгическую тоску. С Фрейдом он смог обсуждать мучившие его темы и получать ответы, на время возвращавшие ему душевное равновесие, — но лишь на время¹. В «ужасающем взрыве зверства» в нацистской Германии Фрейд («как человек — глубоко потрясенный, но как мыслитель — ни в коей мере не удивленный») видел подтверждение правоты своего всегдашнего мнения, «что варварство, что элементарный инстинкт уничтожения в человеческой душе неистребим». Правда, добавлял он, это подтверждение дается столь ужасным образом, что ни в малейшей степени не наполняет его гордостью.

Однако на самый жгучий вопрос, точивший душу Цвейга, — о смысле бедствий евреев, — Фрейд никакого ответа не давал: «Здесь научный человек в нем не находил никакой формулы, а его лучезарный дух — никакого ответа»². Но, в отличие от Фрейда, Цвейг был

рианта разрешения конфликта между гуманистом, далеко обогнавшим свое время, и его современниками; Магеллан, не доживший до осуществления цели всей своей жизни. Последняя опубликованная биография — «Америго» (1940): горький юмор факта, что целая часть света названа именем человека, не имевшего никакого отношения к ее открытию.

¹ См. Die Welt von Gestern, S. 440-441.

² В те последние дни своей жизни Фрейд уже раскаивался, что оскорбил только что опубликованным, якобы, «в интересах научной истины» эссе «Моисей» «благочестивых евреев в той же степени, как и национально сознательных» и признавал «слабую научную обоснованность» своей точки зрения, что Моше-рабейну был египтянином. Однако показательно, в каких словах свое раскаяние он выразил: «Теперь, когда у них [здесь и

не в силах сохранить научную беспристрастность. Тот жил в тихом пригороде, на вилле, окруженной прекрасным садом, в обществе своих любимых древнеегипетских статуэток, спасенных из Вены, и, чувствуя близость конца, непрерывно писал, стремясь зафиксировать максимум своих идей. Цвейг же встречался с евреями-беженцами, прибывавшими в Англию из Европы, – все в большем и большем количестве, более и более обобранных, обнищавших, все более и более растерянных¹. И он ужасался, понимая, что та «толпа призраков», которую он видел, была лишь ничтожно малой частью «чудовищной армии из пяти, восьми, может быть, десяти миллионов евреев» – тех, что уже находились в пути, и тех, которые все еще ждали посылок от благотворительных учреждений, разрешения от властей и денег на проезд, – «гигантской массы, которая, насмерть перепуганная и панически убегающая от гитлеровского лесного пожара, на всех границах Европы осаждала вокзалы и переполняла тюрьмы, – целого изгнанного народа, которому отказали в праве быть народом и который все же был народом, уже 2000 лет ничего так не желавшим, как более не быть принуждаемым странствовать и землю – тихую, мирную землю – ощутить под отдыхающей стопой». Видя их, разговаривая с ними, слыша их рассказы, Цвейг не мог оставаться на прежней позиции абстрактного гуманизма и не ощутить своей особой сопричастности страданиям еврейского народа.

Однако самым трагическим и для беженцев, и для самого Цвейга было то, что в их страданиях им не открывалось никакого смысла. Прежнее утверждение, что судьба евреев в том, чтобы «оставаться странниками на вечные времена», чтобы «находиться всегда в дороге, с тоской оглядываясь назад и с надеждой смотря вперед, всегда жаждать покоя и никогда не обретать его, ибо лишь тот путь священен, цели которого не знают и по которому, тем не менее, упорно идут»², теперь уже не убеждало. Но и сейчас Цвейг не был в состоянии высказать что-либо иное, нежели предположение, что «последний смысл Еврейства» заключается именно в том, чтобы «своим загадочно для-

далее выделено мной. – Й. В.] все забирают, я забираю у них еще их самого лучшего человека»!

¹ См. Die Welt von Gestern, S. 442-443.

² Погребенный светильник (Иерусалим, 1989), с. 25, 36.

щимся существованием Иова снова и снова задавать вечный вопрос Богу и благодаря этому не быть полностью забытым на земле»¹.

Размышляя о прошлых временах, Цвейг завидовал своим предкам: те, по крайней мере, думали, что знают, за что страдают: «за свою веру, за свой Закон»². Он нашел замечательные слова для описания их (по его мнению) «иллюзии» в сравнении с единоплемниками своего времени:

...Они обладали еще как талисманом души – тем, что сегодня давно потеряно, – нерушимым доверием к их Богу. Они жили и страдали в гордой иллюзии, что им предопределено быть народом, избранным Творцом мира и человека ради особой судьбы и особой миссии, и слово обещания Библии было их заповедью и законом. Когда их бросали в костер, они крепко прижимали к груди священные тексты и сквозь свой внутренний огонь ощущали убийственные языки пламени не столь жгучими. Когда их гнали через страны, у них оставалась еще последняя родина – их родина в Боге, из которой никакая земная власть, никакой кайзер, никакой король, никакая инквизиция не могли их изгнать. Все время, пока религия соединяла их вместе, они были единой общностью и потому единой силой; когда их вытаскивали и травили, тем самым они искупали свою вину быть народом, сознательно самостоятельным и обособленным от других народов земли своей религией, своими обычаями.

Евреи же двадцатого века уже давно больше не были никакой общностью. У них не было общей веры, они ощущали свое бытие как еврея скорее как груз, чем как источник гордости, и не сознавали никакой своей миссии. Они жили в отрыве от заповедей своих **некогда священных книг** [выделено мной – Й. В.], и они более не желали знать свой древний, общий для всех них, язык. Вжиться, влиться в народы вокруг них, раствориться во Всеобщем все время было их нетерпеливым стремлением – только бы получить покой перед лицом всех преследований, отдых во время вечного бегства. Так что они более не понимали друг друга – они, спаявшиеся с другими народами, ставшие французами, немцами, англичанами, русскими уже давно в большей степени, чем евреями. И лишь теперь, когда их всех бросили вместе и как грязь на улицах вместе смели – директоров банков из их берлинских дворцов и синагогальных служителей из их ортодоксальных общин, парижских профессоров философии и румынских кучеров дрожжек, обмывальщиков мертвых и нобелевских лауреатов, концертных певиц и плакальщиц на похоронах, писателей

¹ Die Welt von Gestern, S. 445.

² Там же, S. 444-445.

и винокуров, имущих и неимущих, великих и малых, благочестивых и просвещенных, ростовщиков и мудрецов, сионистов и ассимилированных, ашкеназов и сефардов, праведных и неправедных, а за ними еще растерянную толпу тех, кто давно спасся бегством от проклятия быть верующим, крестившись и вступив в смешанный брак, — только теперь евреев в первый раз за сотни лет принудили снова стать общностью, которой они уже давно более себя не ощущали: с египетских времен постоянно повторяющейся общностью изгнанных.

Но почему эта судьба — их судьба, и постоянно, снова и снова — их одних? Какой могла быть основа, какой смысл, какова цель этого бессмысленного преследования? Их выгоняли из стран и не давали им никакой страны. Говорили: не живите с нами, но им не говорили, где они должны жить. На них взваливали вину и отказывали им в любом средстве ее искупить. И так тарасили они пылающие глаза на поток беженцев: почему я? Почему ты? Почему я — с тобой, которого я не знаю, чей язык я не понимаю, чей образ мысли я не постигаю, с которым меня ничто не объединяет? Почему мы все? И никто не знал никакого ответа. Даже Фрейд, ясный ум этого времени, с которым я часто в те дни говорил, не знал никакого пути, никакого смысла в этой бессмыслице.

Вот тут-то и кроется ключ к раскрытию загадки Цвейга, и вот тут из-под маски, которую он носил всю свою жизнь, показывается лицо.

Действительно, Цвейг не был в состоянии понять миссию еврейского народа, так как пытался подойти к ней с позиции разума и собственного понимания истории. А миссия еврейского народа — иррациональна, то есть *a priori* выше возможностей человеческого разума, и потому здесь он бессилён. Лишь изучая Тору с полным сознанием того, что она — воплощение разума Божественного, человек в состоянии, прежде всего, осознать ограниченность своего интеллекта и затем приблизиться к пониманию Божественной сути истории, что, в свою очередь, уже может дать ему некоторое представление о смысле еврейской миссии. Иной путь, кроме **религиозного** познания, невозможен. (Поэтому, заметим в скобках, даже не-евреи-философы — однако именно религиозные философы — приблизились к разрешению загадки существования народа Израиля куда ближе, чем еврей Цвейг¹.)

¹ Так, Вл. Соловьев называл еврейство «осью всемирной истории» (в статье о Талмуде, 1886) и проявлял удивительно верное понимание еврейской сущности и еврейской религии. Вечность народа Израиля Соловьев объяснял наличием у евреев особого «живого сознания» того, что их националь-

Однако Цвейгу (и тем более Фрейду) даже в голову не приходило поискать ответ в Библии. Будучи детьми XIX столетия, они, при всем своем старании избавиться от его наследства – его психологии, его нравственных принципов, его мировоззрения, – несмотря ни на что, сохраняли самый типичный из его «комплексов»: слепую веру в безграничные способности человеческого интеллекта. По этой же причине оба «яснейших ума» эпохи были не в состоянии разглядеть, за какую вину так страшно расплачиваются массы евреев: ведь для этого им следовало обратиться к «некогда священным книгам», углубиться, по крайней мере, в изучение двух глав Пятикнижия – двадцать шестой главы книги «Ваикра» и двадцать восьмой – книги «Дварим». Тогда Цвейг, может быть, понял бы, что сам уже дал себе ответ на вопрос о смысле бедствий еврейских беженцев. Но поистине непостижимо, как он, стоя лицом к лицу с Истиной, упорно отказывался увидеть, что, несмотря на все различия, которые евреи создали сами между собой, они продолжают оставаться «единой общностью»; что поскольку они отрицают свою общность, ее им навязывают силой; что их наказывают именно за отречение от своей веры, от своей миссии, от заповедей (которые-то и делают их особым, святым народом), от своего языка, а за то, что они са-

ный Бог – «Бог всемирный», «Бог силы и правды», из чего следует, что «для тех, кто верен Ему, физические бедствия суть **только испытания** [выделено мной. – *Й. В.*], способы и средства духовного совершенствования и благополучия». Это сознание Соловьев обозначал как «поистине пророческое» и подчеркивал, что лишь оно одно «могло спасти еврейский народ в крайних бедствиях, непосильных для других народов» («О вере еврейского народа», 1896). И даже В. В. Розанов, несмотря на свое более чем двойственное и непоследовательное отношение к евреям вообще, признал в своей последней книге «Апокалипсис нашего времени» (1917-18), что именно в евреях – ««цимес» всемирной истории» и в конечном счете «все сводится к Израилю и его тайнам», а в своем завещании написал: «Веря в торжество Израиля, радуюсь ему». Один из крупнейших современных европейских религиозных мыслителей, французский философ Ж. Маритэн написал книгу «Тайна Израиля», посвященную именно миссии еврейского народа, данной ему «Богом Истинным, пребывающим над космосом, Вездесущим и Единым, Творцом и Владыкой мира, человеческого рода и всего сущего» (см. журнал «Менора», № 14, с. 85-86).

мовольно покинули свою «последнюю родину», духовную «родину в Боге», их лишают той земной «родины», которую они произвольно выбрали для себя. А если бы Цвейг еще вспомнил о книге пророка Йехезкеля, он мог обнаружить в ней слова Всевышнего, предупреждающего евреев, что произойдет, если они захотят стать подобными тем, которых знал и описывал Цвейг:

*А тому, что вы вообразили себе, –
этому не бывать!
Тому, что вы говорите:
станем, мол, как все народы, как племена всех земель, –
будем прислуживать камню и дереву!
Клянусь: как Я жив! –
– речет Господь Бог, –
что сильной рукой,
и мощью великой,
и изливаемой яростью
воцарюсь Я над вами!
И выведу вас из народов,
и соберу вас с земель,
в которых рассеялись вы,
сильной рукой, и мощью великой,
и изливаемой яростью,
И приведу вас
в пустыню народов,
и буду с вами судиться там –
лицом к лицу!
Как судился с отцами вашими Я
в пустыне страны египетской,
так с вами буду судиться! –
– речет Господь Бог.
И проведу вас под жезлом,
и приведу вас в узы союза,
И вычищу из вас
тех, кто поднимает мятеж
и кто восстает на Меня:
из страны проживания их уведу их,
и никто из них на землю Израиля не придет,
и будете знать, что Я – Господь!¹*

¹ Йехезкель, 20:32-38.

Но Цвейг не верил в Бога, хоть не раз ощущал на себе воздействие некой высшей силы. Так, рассказывая «историю с привидениями» (о трех случаях внезапной смерти выдающихся артистов, с энтузиазмом взявшихся за его пьесы)¹, Цвейг говорит об исполнении на нем «некоего мистического проклятия», но тут же начинает противоречить сам себе. Заявив, что не видит в трехкратном повторении смертей «ничего, кроме случая», он затем вспоминает, что в то время «ощущал себя преследуемым судьбой», но сразу же отказывается от отождествления «случая с судьбой» как от юношески незрелого и пишет замечательные слова, вплотную, казалось бы, подходя к еврейскому представлению о Божественном Провидении: «Позже человек узнает, что подлинный путь его жизни был предопределен изнутри; насколько бы косо и бессмысленно отклоняющимся от наших пожеланий ни казался наш путь, он всегда ведет нас, в конечном счете, к нашей невидимой цели». Однако рассказ о своих раздумьях в день пятидесятилетия он заканчивает совершенно иначе: «То, что в тот особенный час поднялось из сумрака бессознательного, было отнюдь не отчетливо выраженным желанием и, безусловно, не тем, что связано с бодрствующей волей. Это была лишь мимолетная мысль, которая меня овеяла, — может быть, вообще не моя мысль, но какая-то пришедшая из такой глубины, о которой я не знал. Однако темная власть над моей жизнью — та, непостижимая, которая уже позволила мне достичь столь многого, чего я сам никогда не смел пожелать, — должна была дать мне ее уловить. И она уже послушно подняла руку, чтобы мне мою жизнь вплоть до последней основы разрушить и принудить меня из ее обломков совершенно другую, более суровую и тяжелую, с самого низа заново выстроить»².

Может показаться, что это написали два разных человека: один — верящий в предопределение и видящий целесообразность в жизненном потоке, другой — воспринимающий высшую силу, направляющую

¹ Die Welt von Gestern, S. 185-188.

² Там же, S. 371. Цвейг не подозревал, что в еврее сосуществуют две силы, два *йецера*, один из которых побуждает к добру, а другой — к противоположному. Хоть он и чувствовал, что временами говорящий в нем голос — это не он сам, убежденность в правоте Фрейда не позволяла ему допустить возможности наличия самостоятельных, не связанных с физической сферой, духовных сил. Поэтому он старался не обращать на свой «внутренний голос», чувствуя к нему глубокое недоверие (см. моменты в цитатах из его воспоминаний, отмеченные нами жирным шрифтом).

его жизнь, как нечто темное и враждебное. Однако в действительности противоречия между этими отрывками отражают расщепленность сознания еврея, не желающего знать о своей Божественной душе, но не могущего от нее избавиться; превозносящего разум в ущерб вере, но помимо воли ощущающего некую могущественную силу – непостижимую для разума, но, тем не менее, достоверную.

Вот где корень того «аффективного противоречия», которое непрерывно нарастало в последние годы жизни Цвейга и, наконец, сделалось для него столь невыносимым, что этой душевной муке он предпочел смерть¹. Свой внутренний разлад он скрывал весьма искусно, и потому это удавалось ему достаточно долго – но не от самых близких людей. Так, в своих воспоминаниях его первая жена, Фридерика-Мария, отмечает, что наиболее постоянным состоянием его духа была внутренняя подавленность, что он носил в себе «какое-то глубокое противоречие» и (несмотря на внешнее бесстрашие) был «крайне ранимым». И не случайно в последнее два десятилетия своей жизни все смены местожительства – внезапны и поддаются лишь одному логическому объяснению: его обуревал страх, терзали какие-то мрачные предчувствия. Недаром один из друзей Цвейга, писатель, журналист и литературный критик Роберт фон Нойманн, позже упрекал его в трусости – что «всю свою жизнь он выбирал бегство украдкой»: от Первой мировой войны – укрылся в Швейцарии; от нацизма – бежал в Англию; перед лицом бомбардировки Лондона – в маленький безопасный городок в провинции; перед лицом угрозы высадки Гитлера на Британские острова – в США; когда Рузвельт решил вступить в войну – в Бразилию, а из столицы Бразилии – на курорт минеральных вод в горах. «Оттуда уже не было, куда сбежать»².

Конечно, на такое обвинение Цвейг мог бы ответить словами Эразма Роттердамского (единственного, повторим, персонажа Цвейга, в котором нетрудно угадать самого автора): «Это был бы жестокий упрек, будь я швейцарским наемником; но я ученый, и для работы мне нужен покой». Но покоя-то Цвейг все равно не находил, а слово разоблачения истинных планов Гитлера по завоеванию Европы, сказанное вовремя самым известным писателем времени, могло бы быть услышано. Почему же Цвейг отмалчивался? А ведь перед ним стоял при-

¹ О степени этого страдания свидетельствует тот факт, что Цвейг бросил незаконченными целый ряд произведений (хотя каждому художнику свойственно стремление доводить до конца начатое).

² См. сайт Интернета www.stefanzweig.org: R flexions.

мер высоко ценимого им Ромена Роллана, не боявшегося выступать и против Первой мировой войны в самый разгар милитаристского безумия, и против уничтожения европейской культуры нацистами, не обращающая внимания на их угрозы! Но Цвейг слишком был занят собой, своим душевным кризисом. Его силы в самом деле были «истощены» (как написал он в завещании), но не «долгими годами странствий», а непрекращающейся борьбой с самим собой (из-за чего, впрочем, годы действительно могли казаться ему слишком «долгими»). Его «странствия», как верно подметил Нойманн, были попытками убежать – но не от внешней опасности, а **от самого себя**. Вернее – **от своей еврейской души**. Потому что, в отличие от Эразма, Цвейг был евреем, а на евреев возложена в этом мире совершенно особая миссия: превращать мир в «обитель для Творца»¹ посредством осуществления указаний Торы. Однако от осознания этой миссии Цвейг упорно отвращался, и потому его переезды были **бегством от Истины**.

Не обладая «талисманом души» своих предков, он не имел смелости признать это недостатком, так как такое признание неизбежно влекло за собой необходимость измениться, трансформировать свой образ жизни. Но его разум (которому он привык полностью доверять) отвергал эту необходимость, однако в то же самое время душой Цвейг ощущал, на нем лежит какая-то обязанность, что он должен что-то делать². Он убеждал себя неубедительными аргументами, оправдывая свое бездействие, но никак и нигде не мог обрести столь желанного им спокойствия.

Он, столь проницательно указавший (в своем эссе о Фрейде), что первопричина всех заблуждений XIX века и, в частности, столь характерного лицемерия в сфере морали – не что иное, как гордыня,

¹ Как объясняется в учении хасидизма – см. последний *маамар* Любавичского Ребе, р. Йосефа-Ицхака Шнеерсона, «Бати легани» («Пришел я в свой сад»), 5710.

² В учении хасидизма разъясняется, что конечная цель человеческого разума – достижение с его помощью того, что превышает границы интеллекта («Беседы Любавичского Ребе», «Дварим», гл. «Праздник Сукот», п. 14; вып. 2 (дополнения), гл. «Праздник Шавуот», п. 3) – готовится к печати (Иерусалим, «Шамир»). Когда же свой разум используют не для служения Всевышнему, он способен помешать достижению истинного понятия о Божественном и даже элементарной практике иудаизма (там же, «Брейшит», гл. «Ноах», п. 12 и гл. «Лех леха», п. п. 10-13; вып.3, кн. «Шмот», «Глава “Захор”»).

как он сам не видел, что она же – причина его душевных мучений? Именно гордясь своим разумом, своей образованностью, своей культурой, Цвейг представлял себя иным, нежели другие евреи вообще и в особенности – восточноевропейские «фанатики», а свой образ мира мнил слишком ценным, чтобы ему изменить. И именно по той же причине он, не желая знать элементарных основ иудаизма, никогда не помышлял о том, чтобы восполнить этот пробел. Его отношение к еврейскому народу носило скорее характер снисходительной сентиментальности, и именно поэтому избранность народа Израиля виделась ему лишь в одном аспекте: как избранность ради нескончаемых страданий (и потому, естественно, нежелательная).

Стоя вплотную к совершению *тшувы* – возвращению в аутентичный иудаизм, ощущая душой мощный императив, толкавший его прочь от идеала гуманиста-космополита, стоящего «над схваткой» хладнокровного наблюдателя, Цвейг предпочел покончить с собой, только бы не сделать этот последний шаг¹. Отвергнув «талисман души», он тем самым опроверг основной принцип психоанализа: эти смутные образы подсознания перевести в открытое сознание он не пожелал. Осознание же и конкретизация иных подспудных ощущений – то, что он сделал основой своего творчества, – в конечном счете облегчения ему не принесли. Говоря правду о человеке вообще, он лгал себе как еврею². **Не желая совершить *тшуву*, но стремясь избавиться от самой возможности совершения *тшувы* по своему свободному выбору, он убил себя³.** Правоту психоанализа

¹ См. Die Welt von Gestern, S. 428, где Цвейг пишет о сильнейшем внутреннем конфликте после потери им австрийского гражданства. «Ясное мышление» подсказывало ему, что его переживания – лишь «абсурдный каприз», но «когда это разум может нечто противопоставить собственному ощущению?!». Он, «в течение полувека воспитывавший свое сердце биться космополитически», ничего не мог поделать с ощущением, что «вместе со своей родиной потерял больше, чем пятнышко на безграничной земле».

² А отсюда – другой вид лжи, проповеднической: «Слушай, что я говорю, но не смотри, что я делаю сам». Восхвалив чужое изгнание (в «Жозефе Фуше»), был не в силах перенести собственное; выявив и осудив заблуждения гуманистов (в «Эразме Роттердамском»), сам продолжал разделять эти заблуждения...

³ Пример прямо противоположного разрешения аналогичного конфликта – демонстративное возвращение в еврейство 24 июля 1933 г. композитора Арнольда Шенберга. Но, возможно, в отличие от Цвейга, его побуждение

подтвердило его самоубийство: оно-то и стало тем кульминационным «взрывом первобытных эмоций», который окончательно загасил его разум.

* * *

В заключение вернемся к параллели с Давидом. Тот ясно сознавал, что является частью народа Израиля и все, что Всевышний сделал для него и обещал ему, – ради блага всему народу Израиля:

*Посему возвеличился Ты, Господь Бог,
ибо нет подобного Тебе,
и нет Бога, кроме Тебя,
во всем, о чем слышали мы своими ушами;
и кто еще, как народ Твой, как Израиль, –
единый народ на земле,
которого пошел Бог
освободить для Себя
и сделать народом
и создать Себе имя,
и совершить для вас – великое,
а грозные чудеса – для страны Своей...
И предназначил Себе Ты народ Твой, Израиль, –
Себе в народ на века,
а Ты, Господь,
Богом стал им!¹*

Давид «нашел в своем сердце достаточно смелости, чтобы вознести эту молитву» лишь потому, что исполнение данных ему обещаний на будущее должно служить дальнейшему возвеличению Бога в глазах всего человечества и вследствие этого возвеличению народа Израиля:

*А теперь, Господь Бог, слово,
которое говорил о рабе Твоем и о доме его,
осуществи навсегда,
и сделай, как Ты говорил,
И возвеличится Имя Твое навсегда,
чтобы все говорили:
«Господь Цваот –*

к возвращению усиливалось тем, что, будучи крещеным, он более остро ощущал свою оторванность от иудаизма.

¹ «Шмуэль II», 7:22-24.

*Бог над Израилем!», –
и дом раба Твоего, Давида,
будет непоколебим пред Тобою!¹*

«Муж, поставленный “над”, помазанник Бога Якова, сладостный певец Израиля»², прожив нечеловечески тяжелую жизнь, перед самой смертью произнес прекраснейшие слова, которыми подвел окончательный итог всему своему жизненному опыту. Слова, которые Писание сочло необходимым сохранить во всей их отрывочности и недосказанности, как вышли они из уст умирающего Давида – поэта, воителя, философа, святого и раскаявшегося грешника:

*Дух Господа говорил во мне,
и слово Его – на моем языке.
Сказал Бог Израиля,
мне говорил Оплот Израиля:
=властвующий над людьми –
праведник,
властвующий богобоязненностью;
И свет утренний, засияет солнце –
утро, нет туч,
от сияния, от дождя
зелень из-под земли...
Ибо не таков ли дом мой пред Богом?
Ибо
вечный союз
установил мне...
.....
А бесчестные –
как репей, что отшвыривают,
все они:
ибо рукой не взять...
.....
И в огне
без остатка сгорят, на месте...³*

¹ Там же, 7:25,26.

² Там же, 23:1.

³ Там же, 2-7.

Михаил Копелиович

ПТЕНЦЫ, ВЫПОРХНУВШИЕ ИЗ ГНЕЗДА

Гнездо – российское (советское) еврейство. Птенцы – выдающиеся русские поэты, евреи по национальности, нейтрально или даже неприязненно (чтобы не сказать враждебно) относившиеся к своему национальному статусу и по этой причине либо никак не отозвавшиеся – в своем творчестве – на две еврейских катастрофы (инспирированные германскими нацистами и российскими коммунистами), либо активно выступавшие за ассимиляцию евреев в Советском Союзе, против иудаизма и традиционного еврейского образа жизни.

Количество евреев, внесших в XX веке заметный, если не выдающийся, вклад в русскую культуру вообще, в литературу в частности, в поэзию в особенности, неисчислимо. Среди евреев – русских поэтов и прозаиков были как обласканные советской властью, так и гонимые и даже уничтоженные ею (иногда, но далеко не всегда в силу их национальной принадлежности). И такие, которые не забывали про свое еврейство и сочувствовали соплеменникам – не в душе, а в своих сочинениях! – тоже встречались. Но их было несопоставимо мало, и голос их в советское время был едва слышен (не по их вине, разумеется).

Из огромной плеяды русских поэтов-евреев, далеко отошедших от своего еврейства, возьму четверых, весьма именитых и по-настоящему талантливых: Бориса Пастернака (1890-1960), Эдуарда Багрицкого (1895-1934), Давида Самойлова (1920-1990) и Иосифа Бродского (1940-1996). Почему именно этих? По ряду причин, представляющихся мне достаточно вескими.

Во-первых, все четверо общепризнаны как большие поэты; двое из них – лауреаты Нобелевской премии по литературе. Во-вторых, их «дезертирство» из национальных рядов (еще раз подчеркну – в творчестве и отчасти в личной переписке; их отношение к собственному происхождению, выраженное в частных беседах и интервью, меня интересовало не будет, так как нельзя уверенно утверждать, что все высказывания подобного рода авторизованы) неоспоримо, а в иных случаях прямо-таки манифестально. В-третьих, все они как поэты (да и как прозаики: Пастернак – автор ряда сильных художе-

ственных произведений в прозе; Самойлов и Бродский – незаурядные эссеисты и мемуаристы) высоко ценимы мною лично; причем мною не в качестве исследователя их текстов, а в качестве страстного читателя. И наконец, в-четвертых, по той (еще одной личной) причине, что я, родившийся много позднее первых трех из выбранной четверки и будучи почти ровесником Бродского, в некоторых отношениях еще дальше их отстоял от своего многострадального племени, пока (до 1990 года) обретался в Советском Союзе. Подробно обо всем этом ниже.

* * *

Борис Пастернак вырос и сформировался в среде, весьма далекой от всего еврейского. С одной стороны, его отец, известный живописец, проявлял в своем творчестве интерес к еврейской тематике, а по жизни его связывали дружеские отношения с Х.-Н. Бяликом. С другой стороны, занимая (с 1894 года) место профессора в Училище живописи, ваяния и зодчества (Москва), он был близок как со своими коллегами – известными российскими художниками, так и с выдающимися представителями русской культуры вообще. Тут достаточно назвать имена Л. Н. Толстого и А. Н. Скрябина.

Что касается детей Л. О. Пастернака, и в том числе сына Бориса, то все они получили русское образование и сызмальства никак не соприкасались ни с национальной традицией, ни с укладом жизни рядовых российских евреев, все еще сохраняющимся в традиционных местах их проживания, ни тем более с сионизмом, постоянно укреплявшим свои позиции в политическом раскладе России начала XX века.

«Повестью наших отцов» в поэме «Девятьсот пятый год» (1925-1926) Пастернак именует такие реалии, как: народовольцы, Перовская, Первое марта (1881; дата убийства Александра П), «нигилисты в поддевках, застенки, студенты в пенсне», то есть все что угодно – только не одесское детство своего отца, выходца из традиционной еврейской семьи. Впрочем, если тут и говорить о «вине» отрыва от своего народа, то Леонид Осипович Пастернак, в «девичество» Авраам-Лейб, совершил свой переход «из варяг в греки», то есть в данном случае из евреев в русские, еще, думается, до рождения Бориса Леонидовича. Кстати, в уже упомянутой поэме «Девятьсот пятый год» автор, рассказывая «повесть наших отцов», добавляет:

*Это было вчера,
И родился мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши –
Наши матери
Или
Пряательницы матерей.*

«Лет на тридцать раньше», то есть в 60-х годах века XIX-го. В этот период родились и отец поэта (1862), и его мать, пианистка Роза Кауфман (1868). Что касается «тех лаборантш», то имелись в виду изготовительницы бомб, которые, когда их («лаборантш») отлавливали, бесстрашно «шли на казнь и на то, чтоб красу их подпольщик Нечаев скрыл в земле, утаил от времен и врагов и друзей» (последняя сентенция малопонятна).

А вот как выглядит детство будущего поэта в изображении поэта состоявшегося:

*Близость праздничных дней,
Четвертные.
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра,
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
И хоть бы вот столько взамен.*

Ну вот. Праздничные дни – рождественские. Четвертные – очевидно, оценки за четверть. Инструмент – рояль (или фортепьяно). Эмоции же подростка целиком отданы «елкам», каковые в данном случае могут рассматриваться не просто как атрибут христианской обрядности, а как олицетворение самого христианства. Ему, как и всему русскому, отдано все, а взамен получено «хоть бы вот столько», в том числе такой «пустяк», как порожденная христианством великая европейская (в том числе русская) культура.

В своем дальнейшем (и предшествовавшем) творчестве – как поэтическом, так и прозаическом, вплоть до романа «Доктор Живаго» (1945-1955), – Пастернак не касался еврейской темы ни в каком ее аспекте. И не потому, что боялся (в 20-30-е годы минувшего века это было еще совершенно безопасно) или старательно «примазывался» к «большому» народу, что, конечно, сулило (примазавшимся; таких евреев и в политике, и в культуре советских лет было более чем достаточно) разнообразные выгоды. Он просто не ощущал себя евреем и был предельно искренен в своем отождествлении с народом – носителем родного ему русского языка.

*Народ, как дом без кром,
И мы не замечаем,
Что этот свод шатром,
Как воздух, нескончаем.*

*Он – чащи глубина,
Где кем-то в детстве раннем
Давались имена
Событиям и созданьям.*

«Путевые записки», 1936.

В не меньшей, если не большей, степени поэт Пастернак был гражданином мира природы, всех этих лугов и лесов, дождей и снегопадов, а он, этот мир, никогда, и даже в «строгое» советское время, не интересовался «пятым пунктом» в паспорте. Как сказано в позднем (1958) стихотворении «Заморозки»:

*Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.*

Еще о Пастернаке можно сказать заключительными словами его «Охранной грамоты», обращенными к Маяковскому: «Весь он был странен странностями *эпохи* (курсив в цитатах везде мой. – М. К.), наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись привычкой к состоянию, хотя и подразумеваю-

щимся нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу». Это писалось в 1930 году, по свежим следам гибели поэта – друга и соперника. Самому Пастернаку исполнилось сорок лет, а до конца оставалось еще тридцать.

Если вернуться к нашей теме, стоит упомянуть, что стихи, написанные Пастернаком во время Отечественной войны и сразу после нее, до такой степени замешены на русском национальном начале, что даже А. Фадеев публично упрекнул поэта в *великодержавном шовинизме*. Должен, впрочем, заметить, что стихотворение «Зима приближается», датированное октябрем 1943 года, вряд ли дает серьезные основания для подобного рода обвинений. Мало того. Упомянутый здесь, наряду с такими выразителями русского национального начала, как Чехов и Чайковский, еврей Исаак Левитан, подобно самому Пастернаку певец России, все же никак не вписывается в рубрику великодержавного шовинизма.

Да, конечно, Пастернак страдал во время антикосмополитической кампании конца 40-х. Думается, что и Катастрофа европейского еврейства во Второй мировой войне не оставила его равнодушным. Но в его поэтическом творчестве ни то ни другое никак не отразилось. А что касается прозы...

Я не стану подробно анализировать еврейский (скорей антиеврейский) аспект «Доктора Живаго». Укажу лишь, что строчка «О, если б я прямей возник!» из стихотворения 1931 года «Любимая, – молвы слащавой...», из-за содержащегося в ней явного сожаления, что он не русский по происхождению, могла бы быть предпослана в качестве эпиграфа ко всем «еврейским» пассажам романа. И, конечно, слова Пастернака из письма кузине Ольге Фрейденберг от 13 октября 1946 года, в котором он определяет основную направленность задуманного и начавшегося осуществлением «Живаго», адекватны тому, что вышло из-под его пера десятью годами позднее. Атмосфера вещи – христианство Пастернака, принятое им с благодарностью и энтузиазмом. Пастернак «Живаго» – сторонник полной и безоговорочной ассимиляции евреев, их выхода из своей «узости» и «внеисторичности».

Резюмирую:

1. То, что Пастернак тяготился своим еврейством, не подлежит людскому суду. Ну, не хотел он быть евреем – и не надо. Быть кем-то по крови – еще не значит быть этой самой кровью. Не притязая ни в малейшей степени на какое-либо сопоставление себя с Пастернаком, хочу все же признать, что и я, хотя не так манифе-

стально и категорично, ощущал себя в молодости в гораздо большей степени русским, чем евреем.

2. Даже то, что Пастернак порицал евреев за отказ принять христианство, из его же лона и вышедшее, — в конце концов его личное дело. Не он первый, не он последний. Кто прав в историческом споре, не нам решать. Вот ведь, к примеру, русский Владимир Соловьев (поэт и философ), который тоже в какой-то степени противопоставлял еврейство всему человечеству, делал это с явной симпатией к нашему племени. И даже Василий Розанов к концу жизни перешел от продолжавшегося многие годы неистового юдофобства к истовому преклонению перед евреями. Каждому — свое.

3. Единственный горький упрек, который, на мой взгляд, заслужил Пастернак, — это его нежелание замечать страдания евреев в XX веке. Ладно, на евреев как таковых ему, допустим, было наплевать. Но ведь можно бы пожалеть по человечеству... Бог ему судья.

* * *

Эдуард Багрицкий, появившийся на свет пятью годами позднее Пастернака, в родном городе его отца — Одессе, слывшей среди российских евреев чуть не собственной неофициальной столицей, к тому же родине русского сионизма (именно в Одессе жил и работал и написал свою «Автоэмансипацию» Лев Пинскер; впервые издана в Берлине на немецком языке в 1882 году, за восемь лет до рождения Пастернака и за тринадцать — до рождения Багрицкого), был на самом деле Дзюбиным. Еврейская семья его родителей была бедной и, по всей видимости, патриархальной. Другой еврей, Иосиф Гринберг, ленинградский сервильный литературовед, в предисловии к тому стихов Багрицкого, изданному в Москве в 1956 году, писал о ранних годах поэта: «Ученик реального, а затем землемерного училища, он вырастал в обстановке нужды, жалкого прозябания, беспросветной и унижительно-покорной бедности». Боюсь, что Гринберг создает ложную, во всяком случае одностороннюю, картину — в угоду своим хозяевам. Но опорой ему служат классические тексты Шолом-Алейхема (правда, у того описания скорее едко-юмористичны, а не пафосно-разоблачительны) и, главное, стихи самого Багрицкого. А он, надо отдать ему должное, был поэт милостью Божьей.

Небольшая (73 стиха) поэма «Происхождение» (1930) – вещь того пошиба, которая способна оправдать любые наветы (не столько, может быть, кровавые, сколько пошло-обывательские) на евреев, верных традиции, на их мир и образ жизни. Занятно, с каким нешуточным аппетитом «анализирует» эту поэму ручной «жидок» Гринберг: «...он (Багрицкий. – М. К.) показывает тот убогий, жалкий и до предела (какого? – М. К.) ограниченный «местечковый» мирок (даже само слово «местечковый» заключается в презрительные кавычки, а слово «мир» прирастает уменьшительным, но в этом контексте отнюдь не ласкательным, суффиксом «-ок». – М. К.), в котором и рождались нелепые, кошмарные, чудовищные образы. Самые простые и добрые чувства в этом мирке изуродованы, принижены, извращены капиталистическим строем. Любовь, родительские чувства – все он испакостил и осквернил». Одним словом, на кого вы похожи, евреи?! При этом критик не замечает, что сам себе противоречит. Если местечковый мирок *убогий и жалкий*, то как же он может порождать *чудовищные* образы? И при чем здесь капиталистический строй? Одно из двух: либо этот строй всюду и везде все и вся уродует и оскверняет, либо велосипедисты при нем не хуже социалистических, а вот евреи – да, хуже. Заглянем, однако, и в первоисточник.

Багрицкий не чета Гринбергу. У этого – карикатуры а ля Борис Ефимов и Кукрыниксы. У того – мощные поэтические образы уровня гоиевских «капричос»: «Сон разума порождает чудовищ» и других в том же роде.

*Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.*

Это, понятно, намек на ритуал обрезания (брит-мила на иврите). Далее – о детстве.

*Его опресноками иссушали,
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали –
Врата, которые не распахнуть.*

Для поношения все сгодится: «еврейские павлины на обивке, еврейские скисающие сливки...» Еврейские сливки – это ведь все равно что «еврейская физика», выдуманная нацистами!

А как вам такая картинка?

*И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне капала вода.*

Медленно? Ну да, конечно. Если в кране нет воды... — помните?
Еще учили бедного ребенка, что он должен — должен! — «на мир
облокотиться, как на стол». Это уже форменный криминал, почти
жидо-масонский заговор...

И наконец:

*Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.
Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.*

Впечатляющее зрелище! Вши жрут косы — вы когда-нибудь слы-
хали такое? Даже физические недостатки служат обвинением «мес-
течковому миру»! А каковы «ржавые евреи» и их кулаки, обросшие
щетиной! Не знаю, как они кидали свои кулаки в юношу Дзюбина, но
вижу, что зрелый 35-летний мужчина Багрицкий бросает булыжный
поэтический кулак в мир своего детства, в собственных стариков-
родителей, нарушая тем самым одну из основополагающих запове-
дей Священного Писания: «Чти отца своего и мать свою, дабы про-
длились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе»
(Шмот — Исход, 20:12). Дни Багрицкого на земле составили непол-
ных четыре десятилетия...

Автора «Происхождения» с полным основанием можно на-
звать антисемитом. Мне, пожалуй, возразят: но вот в поэме «Ду-
ма про Опанаса» (1926) и одноименном либретто оперы (1933)
выведен большевистский комиссар Иосиф Коган — «молодой ев-
рей в студенческой фуражке, с большим маузером через плечо»,
как сказано в либретто. Он «большевицким разговором мужиков
смущает» (поэма) и героически погибает, захваченный бандита-

ми Нестора Махно. Все дело, однако, в том, что Коган, как и сам Багрицкий-Дзюбин, лишь по происхождению еврей, а по образу мыслей — большевик-интернационалист (или, как стали в конце 40-х называть евреев в Советском Союзе, «безродный космополит»). Перед расстрелом Коган поправляет, улыбаясь, окуляры и призывает своего палача Опанаса «работать чисто» (тот ему посоветовал «утекать в кукурузу», чтобы иметь моральное право выстрелить ему в спину): мол, «неудобно коммунисту бегать, как борзая».

И еще замечу: есть в поэме живописный пассаж а ля Гоголь («Тарас Бульба»), в котором упоминается «шуба с мертвого раввина», снятая Опанасом под Гомелем. Раввин — мертвый, зато шуба «живая»: «Шуба — платье меховое — распахнута — жарко!» Раввин, конечно, не мог бы стать героем поэмы Багрицкого, как Коган или Опанас. Раввин автору почти столь же чужд — если не враждебен, — сколь и батько Махно, и сам Опанас, но эти хоть обладают неким отрицательным шармом, а раввин, даже живой, мертв с точки зрения поэта-художника!

Интересно, как бы реагировал Багрицкий на Катастрофу европейского еврейства, а затем на гонения евреев в сталинском Советском Союзе, доживи он до этих событий? Осудил бы, как Василий Гроссман? Отвернулся бы, сделал вид, что ничего не происходит, как Пастернак? Или, подобно Давиду Самойлову, следующему персонажу моих заметок, отнесся бы ко всему окружающему по более поздней формуле израильских левых: «Вести переговоры с палестинцами, как будто нет террора, и бороться с террором, как будто нет переговоров»? В «переводе» на контекстный язык обсуждаемой здесь проблематики это бы звучало так: писать стихи, как будто нет гонений, но в душе эти гонения осуждать, пользуясь единственным оружием, доступным рядовому гражданину тоталитарного государства: дулей в кармане.

* * *

По возрасту Самойлов мог бы быть сыном хоть Пастернака, хоть Багрицкого. К тому же он — однофамилец матери Бориса Леонидовича, тоже Кауфман. К тому же и родился в Москве, как и Пастернак. Что ж, от последнего он, быть может, и «унаследовал» во многом свое отношение к национальному вопросу. Пастернаку был во-

все не свойственен интерес к его родословному древу. Самойлов хотя бы номинально интересовался своими предками и даже вставил одного из них в стихи («Маркитант», 1973). Но, во-первых, это – «предок полупоэтический», а во-вторых, русского духа в «Маркитанте» больше, чем еврейского. Сверх того, не сразу и поймешь, что Фердинанд – нашего роду-племени. Одним словом, и это не более чем дуля в кармане.

Кажется, во всем поэтическом наследии Самойлова, а оно весьма велико, еврейская тема не нашла себе места. Разве что в шуточных текстах, не предназначавшихся для печати. Да и то один из них называется «Русской народной песней» и представляет собой чистой воды дуракавалянье. Может быть, это до некоторой степени и автошарж: шестеро зятьев «у тещеньки» – явные евреи, а седьмой – скрытый. Те все – Рабиновичи, а «Ванюшенька-душенька» один из них – Каплан!..» (Я знал когда-то другого Ванюшеньку, который был по матери евреем. Он трудился в некоем институте, где был небольшим начальником. У него имелась дежурная шутка: заходя в комнату, где работали преимущественно евреи, он их приветствовал словами: «Привет, антисемиты!» А когда появлялся в кабинете больших, чем он, начальников, сплошь, разумеется, славян – дело происходило в конце 40-х-начале 50-х, – гаркал: «Здорово, евреи!»).

Есть еще – из той же серии – псевдоинвектива «О нелепости сионизма» (из «Посланий Льву Копелеву»). Ну, это мог накропать и нееврей.

*В Газе гордые арабы,
В Пярне смелые евреи.
Там теплее? Ну хотя бы.
Там теплее – здесь милее.*

Короче: «Мне выпало счастье быть русским поэтом». Это написано Самойловым в последние годы жизни.

Самойлов был гуманистом. Первый признак гуманности человека – его способность сочувствовать тем, кому плохо, жалеть их, «унижать жалостью» (по М. Горькому). А также ощущать вину за содеянное, а не перекладывать ее на других. «И жалко всех и вся». «Жаль юношу Илюшу Лапшина». «У меня пред тобою вина». Это все – Самойлов. Но хоть бы раз пожалел он своих братьев-евреев! Увы, чего нет – того нет.

Я не осуждаю – и даже не упрекаю, как это может показаться, – Самойлова. Во-первых, потому, что знаю: надо ценить поэта за то, что он сделал, а не вменять ему в вину не сделанное. И во-вторых, потому, что у самого рыльце в пуху. Еще один эпизод из моей жизни. Я очень переживал происходившее в бывшем Бельгийском Конго (впоследствии Заир) в 1960-1961 годах и сочувствовал бедному Лумумбе – тому самому, чье имя носит Университет дружбы народов в Москве и о ком сложена знаменитая частушка: «Был бы ум бы у Лумумбы – был бы Чомбе ни при чем бы!» (Чомбе – конкурент Лумумбы, предавший его). И был у меня старший друг, по своим взглядам сионист, причем сионист пламенный, чье сочувствие Израилю было не показным, а самым что ни на есть подлинным – если хотите, экзистенциальным. Так вот, слушая однажды мои сетования по поводу несправедливостей, творящихся в Конго, он с невыразимой горечью произнес: «Ну что тебе дался этот Лумумба? Что ты потерял в Конго? Не лучше ли, не правильнее ли, не благороднее ли было бы посочувствовать той стране – а ей тоже приходится далеко не сладко, – где живут твои соплеменники? Уж они-то, кажется, претерпели в этом веке куда больше всех остальных народов мира». Теперь-то я понимаю своего друга, а тогда – нет, не понимал (до самого 1967 года, до Шестидневной войны).

Проза Самойлова. У него есть «Памятные записки» (другое название – «Перебирая наши даты», заглавная строчка стихотворения 1961 года, посвященного друзьям юности, молодым поэтам, погибшим на войне; это как раз год гибели «моего» Лумумбы). Из них явствует, что:

1. Автор понимал, в каком положении оказались евреи в Советском Союзе после войны 1941-1945 годов. Они были – ВРАГ (пишу заглавными буквами, вслед за самим Самойловым).

2. Он помнил свое родословие. Деда по отцу, которому нравились молитвы – «по содержанию и еще потому, что он знает к ним комментарии и толкования, и потому, что хорошо выучил древнееврейский». О нем же чуть дальше сказано, что «на жаргоне (идиш. – *М. К.*) никогда не говорил, предпочитая другие языки, но с теткой ругался только на этом наречии». Кстати, именно этот дед, по собственному признанию внука, оказал на него наименьшее – «из всех людей детства» – влияние.

Про отца Самойлов написал, что «он принадлежал к нации, как к религии и к семье, то есть принимая эту принадлежность как главные постулаты своего существования». Про себя он так сказать не

мог (как и я, даже как мой отец, ровесник не Самойлова, а Багрицкого). Вот фраза, которая выдает автора с головой: «О его (отца. — М. К.) вере я уже сказал. Скажу о его нации».

3. Рассуждая об этой самой нации, с которой он, как видно, себя не отождествлял, Самойлов признавал уникальность ее судьбы. Но: «существование и складывание российского еврейства внутри черты оседлости» полагал концом этой уникальности. «В черте оседлости еврейская нация стала загнивать» (перекличка с Багрицким). «И была фатальная перспектива загнить или подняться до уровня имперской нации, стать ее органической частью». Итак, в глазах Самойлова альтернатива выглядела просто: загнивание при варке в собственном соку или возрождение через ассимиляцию.

Еще одна — уже, на мой взгляд, совершенно дикая — гипотеза автора «Памятных записок»: переход еврейской интеллигенции из черты оседлости в «имперскую нацию» был легким — в силу воспринятого ею (еврейской интеллигенцией) «исконно русского понятия о народе как о крестьянстве. С этой точки зрения еврейского народа не существовало. Тем легче было воспитанникам русской идеи уйти от полународа к народу». Мне кажется, что эта ложная концепция просто задним числом оправдывала собственное дистанцирование поэта от своего народа («полународа»).

Итак, по Самойлову, мы имеем «органическое вживание еврейского элемента в сферу русской интеллигенции». Оставляя в стороне подлинные причины такого вживания, оставшиеся для Самойлова терра инкогнита, нельзя не признать справедливым сам этот вывод. Как и другое его утверждение: что среди вышедших из черты оседлости евреев были не только интеллигенты с их «понятием об обязанностях перед культурой», но и будущие «красные комиссары, партийные функционеры» с их «требованием прав, реванша. Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали».

4. Ужасны, совершенно неприемлемы рассуждения Самойлова о Катастрофе. С одной стороны, он не отрицал того, что Гитлер уничтожал *еврейскую нацию*, с другой же — что «русских евреев он уничтожил не в большей степени, чем другие сорта *русской нации*». «Сорта нации» — как сорта вин. К тому же получается, что евреи, как утверждал и «великий Сталин», не нация, что русские евреи и вовсе уже не евреи, а «сорт русской нации». И еще. Признавая на словах, что надо изучать статистику потерь разных наций в мировой войне, Самойлов на деле не постеснялся заявить, что не в этом «главная магистраль нашего

времени. Важно то, что евреи после войны перестали быть нацией». Были «сортом», стали вообще неизвестно кем!

Смешно читать сегодня, что русская антисемитская власть (по Самойлову, а может быть, и по жизни она всегда была таковой) «не сможет избавиться от этого элемента (русских евреев – теперь еще и «элемента»! – М. К.) путем вытеснения. Да и большой кровью не сможет избавиться. Для этого нужно вырезать половину русской интеллектуальной элиты, до четвертого колена». Но ведь именно это в интеллектуальных элитах всех завоеванных стран делал Гитлер, и с немалым успехом. Да и Сталин в подобного рода мероприятиях добился внушительных результатов. Не смог довести дело до конца? Право, он в этом не виноват...

5. В главе «Литература и общественное движение 50-60-х годов» Самойлов помянул – иногда не злым, а порой и весьма злым – словом таких советских прозаиков и поэтов, как И. Эренбург (его он назвал «старым слугой» коммунистической власти), Л. Мартынов, К. Симонов, А. Твардовский, Я. Смеляков. Особое место в этом ряду занимает Борис Слуцкий, многие годы один из самых близких Самойлову людей – при всей разноте и даже противоположности их поэтик. Поэзии Слуцкого, его гражданской позиции посвящено несколько прочувствованных пассажей, однако ни единым словом не выражено отношение к еврейским мотивам в его творчестве, в котором, не в пример самому Самойлову, а также Пастернаку и Бродскому, они занимают очень большое место (большое не только по «метражу», но, главное, по сути). «Слуцкий выступил от имени поколения, прошедшего и выигравшего войну». Это, конечно, верно. Но в этой фразе имя Слуцкого легко заменить (или, по меньшей мере, дополнить) именем Самойлова. Элементарная справедливость, однако, требует подчеркнуть и другое. Слуцкий выступил от имени евреев, внесших немалый вклад в общую победу, больше других пострадавших в этой «войне геноцидов» и больше других оклеветанных «советским народом-победителем», охотно поддерживавшим соответствующие инициативы партии и правительства.

9 июля 1978 года Самойлов сделал следующую запись в своем так называемом «Общем дневнике»: «Сионисты или космополиты, со своим эгоцентризмом, в сто раз честнее, чем наши еврей-диссиденты, со своими клятвами в любви к России и русской культуре и со своими жалкими словами о том, что не хотят, чтобы обижали их детей. Для русского еврея обязанность быть русским выше права на личную свободу».

Пусть эти слова останутся на совести большого русского поэта и «по совместительству» русского еврея среднего роста Давида Самойлова.

* * *

«Еврейской теме Бродский уделил, кажется, меньше внимания, чем античной, английской или итальянской». Кто это сказал? Солженицын, этот, по мнению многих, судей решительных и строгих, зоологический антисемит. А я с ним соглашусь, добавив лишь к его примерам («Еврейское кладбище около Ленинграда»; «Исаак и Авраам», – о последней вещи Солженицын справедливо замечает: «Но это уже на высоте общечеловеческой»; одна главка из «Литовского дивертисмента») несколько своих собственных. Как из стихов Бродского, так и из его эссеистики. Начну с последней.

Дважды, насколько мне известно, он обращался к автобиографическому жанру: в 1976 году («Меньше единицы») и в 1985-м («Полторы комнаты»). В обоих эссе речь идет и о еврейском происхождении автора, и о положении евреев в Советском Союзе в первые послевоенные годы (они же – последние при жизни Сталина). Обо всем этом Бродский пишет адекватно, то есть в полном соответствии с реальным положением вещей.

«Я стыдился самого слова “еврей” – независимо от нюансов его содержания» («Меньше единицы»). Автор свидетельствует о своих школьных годах; подтверждаю, как современник и друг по «несчастью». И также подтверждаю, что по своему статусу слово «еврей» было в те годы (да и потом) «близко к матерному слову или названию венерической болезни».

Феномен антисемитизма воспринимался Бродским-юношей как «неотъемлемый аспект отрицательной роли в наших жизнях» школьных учителей. Тут у меня – другой опыт. Я бы выразился более обобщенно: неотъемлемый аспект всего советского образа жизни. Больше того, собственное еврейство на фоне происходившего тогда (конец 40-х-начало 50-х) ощущалось как знак некоей избранности, пусть даже и негативной.

В этом же эссе Бродский рассказывает (точнее, пересказывает) совершенно дикую историю: якобы одной из групп бывших полицейев, служивших нацистским оккупантам, руководил некто Гуревич (или Гинзбург); «иначе сказать, он был еврей, хотя еврей-полицай –

существо трудновообразимое». В пересказе Бродским газетной «утки» наиболее уместным мне показалось словечко «естественно», повторенное дважды: «Фамилия их главаря была, естественно, Гуревич или Гинзбург» и «Они получили разные сроки. Еврей, естественно, высшую меру». Для сталинской эпохи было естественным объявить еврея гитлеровским наймитом и расстрелять его, для хрущевской – судить евреев за так называемые экономические преступления и... расстрелять их.

В очерке «Полторы комнаты» с той же привычной незлобивостью автор констатирует невозможность зарубежных поездок для своего отца-фотокорреспондента «как еврею, как сыну книгоиздателя и беспартийному». Еврейство отца стоит на первом месте, и это правильно, это было главным камнем преткновения. Далее Бродский фиксирует еще одну невозможность (почти) для еврея в 50-е годы: «устроиться на работу в журнал или газету». Еще бы: в самом разгаре была борьба с «безродными космополитами», а «за ней в 1953 году последовало “дело врачей”, не окончившееся привычным (! – М. К.) кровопролитием лишь потому, что его вдохновитель, сам товарищ Сталин, в апогее кампании неожиданно-негаданно сыграл в ящик». Впрочем, и после смерти означенного товарища «возможности беспартийного еврея устроиться в журнал или газету представлялись жалкими».

Обращу внимание на один пассаж в этом тексте. В 22-й главке Бродский однозначно идентифицирует себя с русскими – даже не с русскими евреями. «Я готов поверить, что *русским* труднее, чем кому бы то ни было, смириться с разрывом уз. Ведь *мы* куда более оседлые люди, чем другие обитатели континента...»

Справедливости ради упомяну еще воспроизводимый в эссе «Набережная неисцелимых» (1989) разговор с бывшей подругой Эзры Паунда, происходивший в Венеции в 1977 году. Еще одна участница этого разговора (и, собственно, его устроительница), известная американская писательница Сюзанна (Сьюзен) Зонтаг (Сонтаг), обвинила Паунда в антисемитизме, на что «старая дама» ответила категорическим «нет», аргументируя его тем, что ее друга не случайно звали Эзрой, и что у него были друзья евреи. Комментарий автора: «Столь же знакомая, столь же длинная песня – минут на 45...»

Передо мною сборник И. Бродского «Перемена империи. Стихотворения 1960-1996» (М., «Независимая газета», 2001), коему предпослана следующая аннотация:

«Лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский скептически относился к возможности составления кем бы то ни было посмертного “избранного” поэта и неоднократно высказывался против подобных изданий. Однако в 1988 году (то есть за восемь лет до смерти. — М. К.) он составил проект собственного *идеального избранного* (курсив издательства. — М. К.), до сих пор остававшийся нереализованным. В основу предлагаемого тома избранной лирики лег именно этот проект, дополненный книгой стихотворений «Пейзаж с наводнением» (1996) — последним авторским сборником Бродского, ставшим его литературным завещанием».

В сборнике шестьсот пятьдесят страниц и двести пятьдесят текстов, причем даже такие циклы, как «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» и «Речь о пролитом молоке» (сорок октав) считаются за один текст. Словом, это во всех отношениях репрезентативное собрание стихов Бродского.

Мы находим в нем: дифирамбы *русскому* алфавиту и русским же именам («Пророчество», 1965), сожаления по поводу того, что «теперь так мало *греков* в Ленинграде» («Остановка в пустыне», 1966), озорные «ссылки» на нееврейские источники: «Тьфу, тьфу, мы выросли не в *исламе*»; «Я не воспитывался на *софистах*»; «Как *Аристотель* на дне колодца» («Речь о пролитом молоке», 1967), и снова «ризы *Христа* иль чалма *Аллаха*»; «Слышишь, опять *Персефоны* голос?» («Памяти Т. Б.», 1968). А еще: «... но *кайсацкое* имя язык во рту шевелит в ночи, как ярлык в *Орду*»; «... а слюна во рту слаще халвы *Шираза*» («Часть речи», 1975-1976).

Очень любопытно в интересующем нас аспекте большое стихотворение «Пятая годовщина (4 июня 1977)»; имеется в виду пятая годовщина недобровольного отъезда автора из России. Эту вещь можно назвать своего рода лексиконом космополитической терминологии. В самом деле:

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.

.....
Неугомонный Терек там ищет третий берег.

«Там» — в оставленной родине. «Третий берег» — нечто метафизическое, как «лукоморье», коему чуть выше кивает «оцепеневший дуб». А еще там «зимой в пустых садах трубят гипербореи...» И лирический герой «привык к свинцу небес и айвазовским бурям», и самым честным казался ему в тех краях «на одном мосту чугунный

лик Горгоны», и он «чувствовал нутром, как Парка нитку треплет». И вот концовка стихотворения:

*Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.*

А еврею есть что сказать? Еще более «нечего», если можно так выразиться. Хотя в многофигурном тексте упомянута и Палестина, но самым формальным образом – в сравнении: «Отбрасываешь тень, как пальма в Палестине». Звукопись (паль-пале) здесь важнее, чем смысл. Нутром поэт Палестину не чувствует.

Что же остается? Мало, ничтожно мало.

В упомянутом Солженицыным «Литовском дивертисменте» еврейские реалии («желтые переулки гетто», пейсы ортодоксов) старого Вильнюса воспринимаются такими же *бездушными, лирически непрочувствованными* эмблемами, как Палестина в «Пятой годовщине». А в позднем (1987) стихотворении «Резиденция» еврейка понадобилась поэту лишь в совершенно непристойном контексте, и это при том, что он с нею «был в молодости знаком» (из контекста явствует, что весьма близко). Занятно, что почему-то Бродский иногда (не только в «Резиденции», но и в еще более позднем, 1994 года, «Послесловии к басне») вспоминает своих соплеменников в соседстве с... воронами: то «воронье гнездо», то и вовсе «еврейская птица ворона».

Если вернуться к поэме «Исаак и Авраам» (а это возвращение вспять на три десятка лет), то, не считая библейского сюжета, в ней мало еврейского, зато много русского. Вот, пожалуйста: «По-русски Исаак теряет звук». «Вот то, что ИСААК по-русски значит». И разве не по-русски звучит обращение Авраама к Исааку: «Чего ты там *застрял?*»?

Мы видим, что Бродский, подобно Пастернаку и Самойлову, а может быть, еще в меньшей степени, чем они, идентифицировал себя как еврея. Возможно, это как-то связано с тем, что главным гонителем поэта в начале 60-х был тоже еврей – Лернер.

Бродский, в отличие, скажем, от Александра Галича, не посетил Израиль ни разу, хотя бывали моменты, когда он находился почти рядом с нашей страной (в Турции и, кажется, в Египте).

* * *

Пора мне закругляться. Читатель этих заметок увидит, что я не предавал поношению своих героев, даже в самых «криминальных» случаях их отталкивания от своего роду-племени. Назвав Багрицкого антисемитом, я лишь констатировал факт. А что касается ассимиляторских поползновений Пастернака и Самойлова, их мне и во все не пристало бы «клеить позором»: ведь «и я такой же праведник в родню», как признавался – по другому, правда, поводу – русский Борис Чичибабин, не зря сказавший о себе: «Я самый иудейский меж вами иудей».

Есть, разумеется, и среди советских поэтов-евреев такие, кто никогда не дистанцировался от «своих», – напротив, всегда, даже – и особенно – во времена гонений, заступался за свое злосчастное племя. Таким был Борис Слуцкий. А из более молодых (поэтов же) – те, кто смог, во многом преодолев самих себя, воссоединиться с родиной своих предков и хоть все на том же, русском, языке, но благословить еврейскую землю и еврейский народ.

ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

*Василий Розанов и Владимир Соловьев
о еврействе и иудаизме*

Говорят, со стороны видней. Смотря кто «сторона». Два автора, о которых пойдет речь в настоящих заметках, – сторона, несомненно, зоркая и приметливая, хотя далеко не всегда объективная. Но объективность – птица вообще чрезвычайно редкая, особенно в вопросах, касающихся «соревнования» религий и национальных миссий. Тут подчас бушуют такие страсти...

Василий Васильевич Розанов (1856-1919) в своем отношении к евреям в разные годы жизни проявлял крайнюю непоследовательность. Бывали времена, когда почтенный Любомудр, говоря о евреях, опускался едва ли не до площадной брани, впадал в злобную истерику и на всех углах кликушествовал о «еврейской угрозе». В ряде статей, написанных им в первой половине десятих годов XX века, и в «Опавших листьях» (1913-1915) встречаются такие перлы, что порой краснеешь за автора. Тем интересней познакомиться с его серьезным (не злобою дня продиктованным) исследованием

сущности иудаизма, предпринятым в 1903 году. В нем нет той экзальтированной, «натащенной» (из чувства вины) восторженности, которая отличает позднейший (1918) опус «Почему на самом деле евреям нельзя устраивать погромов?», в коем все прежде отвратное в евреях кажется просветленному – в ощущении близкого конца – Василию Васильевичу привлекательным и завидным. Зато есть в «Юдаизме» (так угодно Розанову называть еврейское вероучение) другое.

Розанову был всегда присущ интерес к тайнам. Он искал их и находил (а подчас вносил от себя) повсюду, а потом с аппетитом разгадывал, высасывал, как пес – мозговую косточку. Этот подход он сохранил и в отношении иудаизма. Но прежде чем решать, насколько плодотворными оказались на сей раз его усилия, оценим по достоинству их интенсивность и всеохватность. Помимо Священного Писания, в фокус его штудирования попал и Талмуд (в единственном на ту пору русском переводе Нехемии Переферковича), и литература о Кабале (конечно, не сама Кабала, ибо никаких переводов ее тогда не существовало), и Филон Александрийский, и Моше (Мозес) Мендельсон.

Розанов обнаруживает в иудаизме глубину и внутреннее единство. «Еврей все взял глубже (чем европеец. – *М. К.*); все взял в сути». «Какой камень неразбиваемый – весь юдаизм! От него нельзя отщипнуть крошечки...»

В чем же, по Розанову, суть иудаизма, и что скрепляет различные его положения в «камень неразбиваемый»? Иудаизм, как считает русский мыслитель, покоится на «трех китах»: обрезании, субботе и микве.

«Через обрезание существование человека становится “в Боге”».

«Суббота есть то же, что обрезание, но только выраженное ритмически».

Вода микве – это «“обрезанная” вода, воды и воды обрезания».

На первый (еврейский) взгляд, все это довольно смешно. Но не будем торопиться. Розанов берет иудаизм, так сказать, «снизу», со стороны заповеди «плодитесь и размножайтесь».

«Чудо и тайна Израиля, тайна его “обрезания”, и “субботы”, и “очистительных погружений”, о чем упоминает Талмуд как о вещах, за которые евреи “положили душу свою”, – заключается в том, что это, с арийской точки зрения, есть в точности “черная водица”, но из “черной” этой “водицы” исшел Господь наш; и, как было сказано уже Аврааму: “О семени твоим благословятся все народы”. История Израиля есть история “святого семени”...»

Конечно, такая постановка вопроса тоже страдает односторонностью, но примем во внимание, что данный подход к иудаизму, к «чуду и тайне» Израиля настраивает Розанова не на враждебный или насмешливый, а на апологетический лад.

Казалось бы, «угаданная» Розановым половая (или брачная) природа иудаизма («Вся религия Израиля есть религия брака») диаметрально противоположна возвышенности (в смысле устремления ввысь) родного ему христианства. И если бы целью писателя было опорочить иудаизм, где же и было бы лучше «поплясать на его костях», как не в этом «штанд-пункте» еврейского вероучения. Но тон Розанова в «Юдаизме» скорее торжественен, как проповедь. «Суббота есть “да!” Господу всего мира, в ответ на “да!”, которым Господь сотворил мир». И еще о субботе: она «есть способ и метод разрешения великой и даже мировой проблемы пола». А «обрезание есть религиозное устройство точек брака». Мало того: Розанов приходит к заключению, что именно эта, истовая (и уж по крайней мере вполне серьезная) сосредоточенность еврейской религии на «мировой проблеме пола» является источником завидной спаянности еврейской религиозной семьи. Автор «Юдаизма», не обвиняя, ставит еврейскую семью в *пример* русской. С чрезвычайной экспрессией живописует он разные «манеры» русского и еврейского семейств на всех стадиях богослужения (начиная еще с похода в храм молитвы), обнаруживающие в одном случае «кучку», в другом – «совокупную единицу», в одном – несовпадение, в другом – едва ли не слияние (в духовном смысле) понятий дома и храма.

Еще две выразительные черточки, характеризующие подход Розанова к иудаизму и еврейству. Мы знаем, что ненавистники евреев, среди прочего, не выносят нашей «шумливости». (Например, есть подобные «охулки» в письмах Достоевского.) Розанов, напротив, настаивает на «тишине и неговорливости евреев», называя их замечательными. После этого уже не удивляешься, встречая в «Юдаизме» похвальный отзыв о... еврейской молитве.

«Печаль и восторг – это самая суть молитвы еврейской. У нас вовсе не так: это – чтение, в ровном голосе, на протяжении всей молитвы и даже всех молитв. (...) Наконец, пение молитв у нас бывает умильное или трогательное, но, например, чтобы оно перешло в угрозу или восторг, или, наконец, в прямой плач – этого просто нельзя представить себе! (...) Заметим, что он (еврей. – М. К.) не ритуально плачет, не “по тебе”, не потому, что требует

текст читаемый: (...) он сам так молится, это его собственные сменя души».

Резюмирую: в своем очерке о «тайне» иудаизма (а он, надо сказать, не мал по размеру: двенадцать печатных листов!) Розанов не удерживается на сознательно выбранном уровне «низа» и, ведомый исследуемым материалом, то и дело взмывает «в небеси». И – в конечном счете – хотя бы отчасти преуспевает в попытке истолкования еврейского духовного наследия как *вечно живой* воды, из которой «исшел» и сам основатель христианства.

Но если для Розанова духовно-нравственная сторона иудаизма – это все-таки только «надстройка», то Владимир Соловьев (1853-1900) видит в нашем наследии стройное единое *здание* (не розановский «камень неразбиваемый»), прекрасное не своей монолитностью, а прямо-таки математически совершенной соразмерностью всех своих пропорций и связей.

Изложу тезисно капитальные воззрения мыслителя на иудейскую религию, предназначение иудейства, его историческую и мистическую судьбу, как они отразились в его главном труде на интересующую нас тему («Еврейство и христианский вопрос», 1884).

1. Средоточием еврейской религии является союз Бога с Израилем – «явление единственное во всемирной истории, ибо ни у какого другого народа религия не принимала этой формы союза или завета между Богом и человеком как двумя существами, хотя и неравносильными, но нравственно однородными». (Заметим: здесь нет ни слова о *форме* этого завета, столь волновавшей Розанова.)

2. Христианство не является религией отдельной от «древнего завета Авраама и Моисея», но другой ступенью (Соловьев, конечно, считает ее более высокой, но из деликатности прямо об этом не говорит) «одной и той же богочеловеческой религии. (...) Эта единая истинная богочеловеческая еврейско-христианская религия идет прямым и царским путем посреди двух крайних заблуждений язычества, в котором то человек поглощается божеством (в Индии), то само божество превращается в тень человека (в Греции и Риме)».

3. Глубочайшая вера в Бога соединяется в иудействе «с высочайшим напряжением человеческой энергии». Иудеи «не хотят, чтобы их Бог оставался в сверхмирной области; видя в нем идеал всякого совершенства, они непременно требуют, чтобы этот идеал воплотился на земле, чтобы Божество дало Себе внешнее видимое выражение, создало бы Себе Храм, вещественную обитель своей силы и славы...»

Это «нетерпеливое стремление воплотить божественное на земле» Соловьев называет «еврейским материализмом». В устах человека, не слишком расположенного к евреям, это понятие расшифровывается, так сказать, наоборот: «слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения», – именно эту идею называет жидовской не кто иной, как Достоевский. Соловьев же, употребив двусмысленное словосочетание, спешит исчерпывающе его разъяснить и вводит классификацию «материализмов»: практический, научно-философский и религиозный, приписывая евреям лишь последний, наивысший, который «происходит не от неверия, а от избытка веры, жаждущей своего исполнения, не от слабости человеческого духа, а от его силы и энергии, не боящейся оскверниться материей, а очищающей ее...»

4. Иудеям свойственно сильнейшее чувство своей «народной личности». В правильном сочетании с крепкой верой в живого Бога и религиозным материализмом эта черта способствовала божественному избранию еврейского народа, но в какой-то момент получила перевес над религиозным элементом и даже подчинила его себе. Это привело к искажению национального самочувствия и превращению его в национальный эгоизм. Отсюда, как считает Соловьев, и неприятие евреями Христа. «Отвергая Богочеловека как единый общий для всех начаток спасения, как знамя языков, иудеи тем самым искажали и смысл богочеловечества, делая из него исключительное преимущество народа израильского». Впрочем, и в этом пункте христианский мыслитель готов признать известную правоту за своими *невольными* оппонентами, чье *реалистическое* мировоззрение *справедливо* видит в народе «хотя и собирательное, но все-таки реальное, явное существо, тогда как человечество со времен Вавилонского столпотворения превратилось в отвлеченное понятие».

5. «Христианство и еврейство имеют общую теократическую задачу – создание праведного общества. (...) По еврейским понятиям, такое идеальное общество должно воплотиться в народе израильском (в царстве Мессии), по христианским понятиям, к нему одинаково призваны все народы». Но, готов на уступки Соловьев, «если евреи имеют притязание на особое положение и значение во всемирной теократии, то нам нет надобности заранее отвергать это притязание, особенно если мы вспомним, что говорит об этом предмете апостол Павел...» Не суть важно, что именно говорит апостол Павел, потому что, как кажется, если бы он вовсе не затра-

гивал данный предмет, его духовный потомок все равно не стал бы отвергать даже это, с точки зрения христианина чрезмерное, притязание евреев только в силу благородно-уступчивой направленности своего братолюбивого интеллекта.

6. «Обе нации, представляющие собою два противоположных полюса в славянстве – Россия и Польша – еще не отреклись от начал христианской теократии. (...) В средУ этих двух религиозных наций, имеющих каждая свою теократическую идею, история вдвинула третий религиозный народ, также обладающий своеобразным теократическим представлением, – народ израильский». Соловьев видит в этом некий перст судьбы. Он склонен думать, что «внешняя связь трех теократических народов подготавливает их духовное соединение в одной всеобъемлющей теократической идее, несмотря на разделяющую их доселе вражду».

Конечно, мы сегодня знаем, что, сколь резонным этот прогноз ни казался автору, прошедшее со времени его опубликования столетие его опрокинуло. Но как же привлекательна, независимо от степени своей осуществимости, эта мечта о единении трех наций – носительниц мощных теократических идей!

7. «Когда евреи войдут в христианскую теократию (ах, как хочется этого Владимиру Соловьеву! – *М. К.*), они принесут ей то, в чем их сила. (...) Ныне главные силы еврейства обращены преимущественно на деятельность экономическую. (...) Здесь окончательное выражение еврейской силы, и эта область останется за евреями и в христианской теократии. Но иной будет у нее характер, иная цель и иное отношение к предмету деятельности. (...) И в теократии материальная природа будет служить человеку, (...) и человек с любовью будет ухаживать за природой. И какой же народ более всех способен и призван к такому ухаживанию за материальной природой, как не евреи, которые изначально признавали за ней право на существование и, не покоряясь ее слепой силе, видели в ее просветленной форме чистую и святую оболочку божественной сущности? И как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения Божества, так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечения материальной жизни и природы, для создания новой земли, идеже правда живет».

На такой торжественной ноте завершается главный труд Владимира Соловьева по еврейскому вопросу. Благородный подход мыслителя сказался здесь с исчерпывающей полнотой. Роль, ка-

кую русский автор отводит евреям в идеальном мире восторжествовавшей иудео-христианской теократии, есть роль в высшей степени почетная. Она почетна и сама по себе, в свете нынешних экологических представлений. Но она почетна еще и тем, что на фоне современных и соплеменных Соловьеву представлений о евреях «модель» еврея – бескорыстного возделывателя и улучшателя природы выглядела неслыханной дерзостью, чуть ли не изменой собственному национальному духу. Да вот, чтоб недалеко за примером ходить: «Они (евреи. – *М. К.*) избегают и не выносят трудных работ. (...) За дело ли они возьмутся – это будет развешивание товаров, притом легких (аптека, аптекарский магазин), конторское занятие, часовое ремесло» (В. Розанов, «В соседстве Содомы», 1914).

И вот что еще интересно. Совершенная теократия, предсказанная Соловьевым, ныне так же далека от воплощения, как во времена самого предсказателя. Лишь в одном пункте вышло по слову его: евреи наглядно продемонстрировали всему миру, что они и земледельцы не хуже других, и что солдатский ранец для них не слишком тяжел – вопреки утверждениям Розанова.

Увы, не оправдался оптимизм Соловьева и в отношении будущности самих евреев. Обращаясь к некоему еврейскому автору, Соловьев следующим образом формулировал благоприятные перспективы российского еврейства:

«И неужели возможно хоть на мгновение вообразить, что после всей этой славы и чудес, после стольких подвигов духа и пережитых страданий, после всей этой удивительной сорокавековой жизни Израиля ему следует бояться каких-то антисемитов! Если бы эта злобная и нечистая агитация возбуждала во мне какой-нибудь страх, то, конечно, не за евреев, а за Россию. Но, признаюсь, и такого страха я не чувствую. (...) Русский народ – себе не враг; он достаточно умен, чтобы не прать против рожна и не спорить с Божьими судьбами. И недаром Провидение водворило в нашем отечестве самую большую и самую крепкую часть еврейства».

Увы, русский народ под водительством большевиков решился в прошлом веке поспорить не только с Божьими судьбами, – он и самого Бога «положил на лопатки». Русские евреи (их самая большая, хотя и не самая крепкая часть) пошли за русскими соотечественниками, а иногда и впереди последних. В конечном итоге ничего не нашли они, евреи, а потеряли много, почти все. Вина ли здесь «недостаточность» ума населявших Россию наро-

дов? Этого я не знаю. Но знаю другое: *ум* хорош, да чтобы не попасть ему в дураки, необходима еще некоторая просветленность ума – *благодать*, как именуют это качество люди религиозные, *доброта*, как понимают все.

Розанов особой добротой не отличался. Какова же должна быть сила учения, к которому этот вечный скептик и «язва» обратился из сильнейшего интереса, но отнюдь не из сочувствия, если и он, вопреки первоначальному замыслу (говорить об иудаизме «без раздражения, гнева или тайного, и тогда корыстного, благожелательства»), оказался в конце концов плененным этим учением! Он, Розанов, мог бы сказать об иудаизме набившими оскомину ленинскими словами, адресованными учению Маркса: всемогущ, потому что верен. Конечно, ни Соловьев, ни Розанов не променяли бы христианство на иудаизм. Но они показали своим единомышленникам всю мощь и неотразимость еврейского вероучения, его благородную логичность и духовное благородство. А всем нам, независимо от вероисповедания, показали пример научной добросовестности и умения заразиться *чужим*, если оно *доброе*.

Эли Корман

В ПОСТАНОВКЕ ВОЛАНДА

Посвящается 40-летию первой публикации «Мастера и Маргариты»

ВВЕДЕНИЕ

Когда в середине шестидесятых годов прошлого века булгаковский роман, еще в усеченном виде, увидел свет, он поразил читателей главным образом вставным романом Мастера (здесь мы понимаем «роман Мастера» широко, то есть включаем в него и рассказ Воланда литераторам на Патриарших прудах, и сон Ивана в клинике Стравинского).

Поразил прежде всего своим стилем, напоминавшим мерно-тяжелую поступь римских центурий. Поразил строгой выдержанностью требований единства места и времени действия: действие укладывалось в одни сутки и было ограничено Ершалаимом и его окрестностями. Поразил, наконец, удивительной, ни на что не похожей трактовкой гибели Иуды.

То, что вставной роман никоим образом нельзя было назвать исторической прозой, никого не смущало. Больше того, это говорило в его пользу, ибо термин «историческая» в применении к прозе подразумевает некую второсортность. Точнее говоря, историческая проза может быть хорошей, но не может быть великой. А тут – сама правда! Художественная, психологическая, пронзительная правда.

И рядом с этими великими, потрясающими главами – «скромные» московские. Нет, безусловно, и они написаны с блеском и с гражданской смелостью – все так, спору нет. Но как-то это... слишком уж знакомо. Нечистый на руку председатель жилтоварищества, нижняя жилища-скандалистка... Как-то это все... ну, мелковато, вторично. Советская сатирическая литература двадцатых-тридцатых годов (с участием того же Булгакова) все это нам уже сказала. Правда, присутствие нечистой силы придает всему особый сатирический и фантастический колорит, это да. «Но все же, все же, все же...»

Никак нельзя было отделаться от мысли, что уж если Булгаков способен на *такое* (то есть на роман о Пилате), то от него можно ожидать большего.

Да, великий замысел Булгакова тогда, в середине шестидесятых, не был понят. И потому сформировались ошибочные толкования, из которых главное – взгляд на роман Мастера (а заодно и на весь булгаковский роман) как на апологию христианства. Или хотя бы как на выражающий симпатию к нему.

Были, конечно, и сомнения – как сказал бы Коровьев, «как же без сомнений!» Ну, скажем, такое: если роман «Мастер и Маргарита» написан как бы в защиту (пусть необычными средствами) христианства, почему в таком случае все московские персонажи, о которых достоверно известно, что они верующие христиане (православные) – их как минимум трое: Чума-Аннушка, Никанор Иванович Босой и Андрей Фокич Соков (и, быть может, к ним следует добавить домработницу Анфису) – почему все они суть персонажи отрицательные? И еще: как быть с балом ста королей? Это громадное действо никак не хочет быть христианским.

Приведем еще одно ошибочное толкование, согласно которому Воланд и его свита прибыли в Москву, чтобы восстановить – пусть по отношению к очень ограниченному кругу лиц – справедливость (наказать дурных – например, взяточника Босого; спасти хороших – Мастера и Маргариту). Справедливость, которую восстановить иными, посюсторонними средствами, было – увы! – невозможно.

Конечно, и тут были сомнения. Какая уж тут справедливость, когда беда постигает невинных – например, тишайшего бухгалтера Ласточкина!..

Но сомнения приходили и уходили, а ошибочные толкования оставались. Пожалуй, они живы и сегодня. И понять, в чем состоял великий замысел Булгакова, нельзя, не покончив хотя бы с первым – с главным из них.

1. БЕЗ КРЕСТА

Итак, христианство в романе Мастера. Рассмотрим эту тему на двух уровнях: а) сюжетном; б) стилистическом.

а) Мы уже говорили, что роман Мастера нельзя назвать историческим (если считать его материалом новозаветную историю Пилата и Иисуса). Нельзя – хотя бы из-за серьезнейших сюжетных расхождений с Евангелиями. Отметим некоторые из них.

- Вместо двенадцати учеников у Иешуа всего один, да и тот бес-толковый, со своими нелепыми писаниями.

- Учение Га-Ноцри наивно и прекраснодушно – и нежизнеспособно. И очень мало напоминает христианство: достаточно сказать, что в учении Иешуа нет Бога, нет религиозной составляющей.

- Где тысячные толпы слушателей, ходивших за Учителем? Где творимые им чудеса? воскрешение мертвых? Впрочем, одно чудо – исцеление Пилата – он все же совершил. Но опять же – вопреки Евангелиям.

- Иешуа, погребенный по приказу Пилата (!), *не воскресает* (в рамках романа Мастера).

- Иешуа не помнит своих родителей («Мне говорили, что мой отец был сириец»), а в Евангелиях у Иисуса есть мать и братья.

- Иешуа не считает себя сыном Божиим, да, по-видимому, им и не является – опять-таки в рамках романа Мастера, разумеется.

(Последние два пункта сближают Иешуа, героя романа Мастера, с талмудическим Йешу.)

И т. д. и т. п.

Но если в первых двух главах – «Понтий Пилат» и «Казнь» – наблюдается хоть какое-то согласование с христианской традицией, то главы «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» и «Погребение» демонстрируют во всем, начиная с названия первой из них, решительный разрыв с ней.

Иешуа симпатичен. Его учение о том, что все люди добры, привлекательно. Но симпатичность и привлекательность еще не составляют христианства.

б) Теперь поговорим о стиле, об угле зрения на события. Вот, например, всюду, где христианская традиция сказала бы «*распятие*» (как действие), у Мастера сказано «*повешение*»; где традиция сказала бы «*крест*», говорится «*столб*»:

- «...Проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: “*Повесить* его”».

- «Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме... приговорены к позорной казни – *повешению* на *столбах*!»

- «За повозкой осужденных двигались другие, нагруженные свежееотесанными *столбами* с перекладинами». (Все-таки с перекладинами. Столбы с перекладинами – это кресты, не так ли? Но этого слова – «*крест*» – мы нигде не найдем. Впечатление такое, что по тексту написанного Мастером романа прошелся антихристианский цензор – Воланд.)

- «Да, для того, чтобы видеть казнь, он выбрал не лучшую, а худшую позицию. Но все-таки и с нее *столбы* были видны.

- «...Вынужден был отказаться от своих попыток прорваться к повозкам, с которых уже сняли *столбы*».

- «С ближайшего *столба* доносилась хрипкая бессмысленная песенка».

- «Молчать на втором *столбе*!»

- «Прошло несколько минут, и на вершине холма остались только эти два тела и три пустых *столба*».

- «А скажите... напиток им давали перед *повешением* на *столбы*?»

Насколько нам известно, из всех христианских направлений и сект только «свидетели Иеговы» считают, что Иисус умер не на кресте, а на столбе, и отвергают крест как символ христианства.

Вечером, после казни Иешуа, в ожидании начальника тайной службы Афрания прокуратор «глядит на две *белые* розы, утонувшие в *красной* луже», пролитой *чернокожим*. Весьма многообещающая цветовая символика: достаточно вспомнить «белый плащ с кровавым подбоем», предвещающий пролитие невинной крови.

Но, давая нам очень много в одном отношении, в другом от нас что-то скрывают. Нам не говорят об одной детали, без которой картина вопиюще неполна, неполна эстетически и символически: **розы лежат крестом!**

Косвенным доказательством этого служит, помимо упомянутой вопиющей неполноты, столь же вопиющее отсутствие креста в других местах романа Мастера. Если «антихристианский цензор» столбом заменил крест и повешением – распятие, то, скорее всего, он же сработал и здесь, в сцене с красной лужей.

В Евангелии от Иоанна Иисус несет свой крест, и отсюда вырастает средневековая антисемитская легенда о Вечном Жиде Агасфере. А у Мастера осужденные и «столбы с перекладинами» едут в разных повозках. Тем самым исключается возможность эпизода с Агасфером и подрубаются корни христианской легенды: для христианства опять не находится места!

Не находится места для *предписанного римским законом* бичевания осужденных (есть только слабый след бичевания – одиночный удар Марка Крысобоя), для тернового венца, для ударов кулаками, пощечин, плевков и словесных издевательств.

Разумеется, Мастер – свободный художник и не обязан воспроизводить евангельские картины. Но и нам не возбраняется отметить, в какую сторону направлен вектор отличий: налицо явная тен-

денция затушевывать «страсти Господни». И как будто слышишь одобительно-насмешливую реплику Воланда: «Не так уж он и страдал, этот ваш Христос».

Впрочем, один раз крест у Мастера все-таки появляется, но так, что лучше бы не появлялся. «Убийцы быстро упаковали кошель вместе с запиской, поданной третьим, в кожу и *перекрестили* ее веревкой». Этот веревочный крест, сотворенный язычниками, агентами тайной службы, убийцами, крест убийства и провокации – такой крест способен лишь компрометировать христианство. Может быть, потому-то он и появляется.

* * *

Но странное дело! Блистательно отсутствуя (с единственным – только что названным – исключением, лишь подтверждающим правило) в романе Мастера, крест появляется в объемлющем тексте – как в «бытовых» московских главах, так и в пятом измерении. Но появляется как-то странно, каким-то неподобающим, сниженным образом...

- «Кухарка, простонав, хотела поднять руку для *крестного* знамения, но Азazelло грозно закричал с седла:

- Отрежу руку!»

- А вот буфетчику удалось-таки перекреститься, но не помог ему крест, а напротив – навлек немедленное и жестокое наказание: «Буфетчик *перекрестился*. В то же мгновение берет мяукнул, превратился в черного котенка и, вскочив на голову Андрею Фокичу, всеми когтями впился в его лысину» (о дополнительном смысле этого эпизода см. во второй части).

- И ещё один раз не помог крест буфетчику: «*Крестясь* и что-то бормоча, пролетел печальный человек без шляпы, с совершенно безумным лицом, исцарапанной лысиной и в совершенно мокрых штанах».

- И у председателя жилтоварищества Босого какая-то несуразица выходит с крестом: «Кровь отлила от лица Никанора Ивановича, он, дрожа, *крестил* воздух, метался к двери и обратно, запел какую-то молитву и, наконец, понес полную околесину».

- И у бухгалтера Ласточкина: «Аккуратный и исполнительный Василий Степанович упаковал деньги в газетную бумагу, бечевкой *перекрестил* пакет...» Ну, раз перекрестил – жди неприятностей.

Долго ждать не придется: «Лишь только шоферы трех машин увидели пассажира, спешащего на стоянку с туго набитым портфелем, как все трое из-под носа у него уехали пустыми, почему-то при этом злобно оглядываясь».

Далее следует цепь неловких для бухгалтера ситуаций и неудач, с последним звеном – арестом. Причиной ареста стало содержимое того самого пакета с крестом.

• И только в «пятом измерении» появление креста обходится без последствий: «Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно вскричал:

– Аллилуйя!

Он хлопнул себя по коленке раз, потом *накрест* по другой – два...» –

и

«Послышался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась *крестом* перед Маргаритой».

Здесь и крик «Аллилуйя», и кресты суть как бы вражеские знамена и штандарты, бросаемые к ногам победителя – черной королевы.

* * *

Но не только крест ведет себя неподобающим образом. Слово *распятый*, «которому сам Бог велел» находится в романе Мастера, обнаруживается вовсе не там, а в главе «Вести из Ялты», причем опять-таки в сниженном контексте: «Варенуха проделал все, что полагается человеку в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздымал руки, как *распятый*, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина, и восклицал:

– Не понимаю! Не понимаю! Не по-ни-маю!»

* * *

Еще более настойчиво и наглядно проводится та же политика в отношении другого слова с религиозной (иудейско-христианской) коннотацией – *аллилуйя*. Его, разумеется, нет в романе Мастера. Зато оно есть в главах.

1. «Было дело в Грибоедове»:

«И ровно в полночь ... что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз»;

и

«Где-то в рупоре голос командовал: “Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!” Тонкий голос уже не пел, а завывал: “Аллилуйя!” Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад».

Аллилуйя соотносится с адом!

2. «Неудачливые визитеры»:

«Тут за стенкой, в комнате дочери профессора, заиграл патефон фокстрот “Аллилуйя”, и в то же мгновение послышалось воробьиное чириканье за спиной у профессора... Паскудный воробушек... приплясывал фокстрот под звуки патефона».

3. «Великий бал у Сатаны» – об этом мы уже говорили (дирижер и *аллилуйя*).

Итак, налицо тенденция (или, если угодно, политика): слова с христианской коннотацией:

- *крест* и производные от него,
- *распятие* и производные от него,
- *аллилуйя*

– не допускаются в роман Мастера. Они могут появиться вне его, но обязательно в сниженном, нехристианском (или даже антихристианском) контексте.

И еще одно: какое, милые, у нас тысячелетие на дворе? По какому календарю, в каком летосчислении построено действие в романе Мастера? «...Утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду меж двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Первая фраза романа Мастера устанавливает временные (четырнадцатое нисана) и пространственные (дворец Ирода) характеристики, в рамках которых будет проходить действие большей части главы. Что ж, такое с первыми фразами случается довольно часто (см. «В строку упала звездочка» в [1]). – Месяц нисан – это месяц иудейского календаря. Стало быть, «у нас на дворе» месяц нисан три тысячи семьсот какого-то года от сотворения мира. Прекрасно.

Противоречия тут пока что нет никакого: просто повествователю в романе Мастера (не путать с «правдивым повествователем» объемлющего романа) угодно пользоваться иудейским календарем – тем более что и действие-то происходит в Иудее. Противоречия нет, но некоторая странность имеется, надо признать. Да, имеется странность во 2-й главе! И состоит она в том, что вошедший в колоннаду Пилат – это римский сановник высокого ранга, ненавидящий город Ершалаим, ненавидящий иудеев и их праздники, их календарь и их летосчисление. У римлян есть свой календарь, и не к лицу им пользоваться календарем иудеев.

А в 32-й главе эта странность разрастается – и, пожалуй, и в самом деле становится противоречием! А именно: Воланд объясняет Маргарите, что когда сидящий перед ними человек спит, «то видит одно и то же – лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, *четырнадцатого числа весеннего месяца нисана*».

На сей раз действие происходит не в Иудее, а на горе Пилат в Швейцарских Альпах, и «у нас на дворе» 1929 год (см. «Свидетель находит автора» в [1]) – почему же Воланд прибегает к иудейскому календарю? Одно из возможных объяснений состоит в том, что Воланд как был, так и остался врагом христианства и не желает признавать, что «у нас на дворе» XX век «от Рождества Христова»; он предпочитает этому признанию иудейское летосчисление и иудейский календарь! (Второе возможное объяснение: Воланд пользуется календарем, установленным в романе Мастера, в его первой фразе. Вся сцена – сидящий Пилат, пес Банга, невысыхающая красная лужа – перенесена в горы из романа Мастера. Перенесена вместе с остановившимся временем этой сцены, с ее календарем.)

2. ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ

То, что у некоторых событий «современного» слоя романа есть второй план, ощущали, в той или иной мере, многие читатели. Так, многие видели сходство между Берлиозом и 12-ю литераторами несостоявшегося заседания, с одной стороны – и Иисусом и 12-ю его учениками, с другой.

Б. М. Гаспаров в [3] указал на пародийное сходство между армавирским котом, ведомым в милицию, и Иисусом, ведомым на Голгофу.

Однако, насколько нам известно, систематического анализа «современного» слоя на предмет обнаружения «христианских» аналогий проведено не было. Предлагаем вниманию читателя первую, по-видимому, попытку такого анализа, обнаружившего, что все основные герои «современного» слоя и почти все основные его события и ситуации имеют аналогии либо в Новом Завете, либо в христианских апокрифах и сказаниях – и пародируют их.

- Назначено заседание 12-ти литераторов под председательством Берлиоза ~ Тайная Вечеря Иисуса и 12-ти учеников.

- Хотя дважды сообщается о том, что ждавших Берлиоза и начала заседания литераторов было двенадцать («в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились двенадцать литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича» и «Ровно в полночь все двенадцать литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан»), только девять из них названы поименно: Бескудников, Двубратский, Штурман Жорж, Загринов, Иероним Поприхин, Абабков, Глухарев, Денискин, Квант. Трое почему-то не названы ~ в Гефсимании Иисус «говорит ученикам: Посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать». Таким образом, возвращения Иисуса ждали не 12, а 9 учеников.

- «Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному номеру 930» ~ та же ситуация: 12 (учеников) = 9 (оставшихся ждать) + 3 (ушедших с Иисусом) + 0.

(Скрытым образом число 9 присутствует и в названии комнаты, в которой, ожидая Берлиоза, томятся литераторы: «Правление МАС-СОЛИТа». Дело в том, что в главе «Было дело в Грибоедове» приведены названия 13-ти (! – дело не обошлось без нечистой силы!) комнат второго этажа Грибоедовского дома. Первая – «Рыбодачная секция»... Седьмая – «Квартирный вопрос»... Тринадцатая – «Бильярдная». «Правление МАССОЛИТа» оказывается *девятой* по счету).

- Аннушка разливает масло ~ глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».

<Разлитое масло – подсолнечное, в народе именуемое «постным». Оно заменяет сливочное масло во время Великого поста на Страстной неделе. Оно, стало быть, «христианское». Получается, таким образом, что «атеист поскользнулся на христианстве».>

- Аннушка проживает в квартире номер 48, в одном подъезде с Лиходеевым и Берлиозом ~ «Тут была также Анна пророчица...

Вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славилла Господа и говорила о Нем всем». Перестановка цифр номера квартиры *Аннушки* дает, с одной стороны, возраст *Анны*, а с другой – номер другой квартиры: Латунского в Доме Драмлита.

- Берлиоз читает Бездомному лекцию о том, что никакого Иисуса Христа не было и он никогда не рождался ~ Ирод, «собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?» *<Таким образом, здесь Берлиоз – это царь Ирод, а роль «первосвященников и книжников», знатоков Писания, с которыми советуется царь, играет невежественный Понырев: «Иванушка-дурачок».>*

- Трамвай отрезает голову Берлиозу ~ усекновение главы Иоанна Крестителя; *<Только что Берлиоз означал Ирода, а теперь вдруг – Иоанна Крестителя. На этот счет см. ниже замечание «а».>*

- Берлиоз теряет жену («рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером») ~ Ирод заводит любовницу (Иродиаду, жену своего брата Филиппа и мать Саломеи).

- Балетмейстер ~ Саломея, плясавшая перед Иродом и его гостями.

- Харьков ~ «Итурея и Трахонитская область» – то есть одна из четырех административных составляющих Палестины. Начало главы 3-й Евангелия от Луки: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником (тетрархом – Э. К.) в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее...»

- «...Голова отрезана женщиной» ~ Иоанн Креститель обезглавлен по требованию племянницы Ирода Саломеи, а потребовать голову Крестителя подсказала ей ее мать Иродиада.

- Наличие дяди у Берлиоза ~ наличие племянницы у Ирода.

- Голова Берлиоза на великом балу у Сатаны ~ голова Крестителя на дне рождения Ирода.

<Однако голову Берлиоза можно поставить в ассоциативную связь не только с головой Иоанна Крестителя, но и со святым Граалем. Нам еще не раз представится возможность указать на многозначность булгаковского текста.>

- Похищение головы Берлиоза из гроба в грибоедовском зале ~ обретение святого Грааля.
- На балу у Сатаны голова Берлиоза наполняется кровью *предателя* (Майгеля) ~ святой Грааль наполняется кровью *преданного* (Иисуса).>
- Воланд велит послать Поплавскому телеграмму, вызывающую того в Москву ~ Иисус велит Андрею Первозванному следовать за ним. Отчество Поплавского – Андреевич. По преданию, Андрей Первозванный дошел до Киева.

<11 следующих аналогий связаны с Иваном Бездомным:>

- Иван написал поэму об Иисусе Христе ~ на Востоке возшла звезда, и ее увидели волхвы.
- Во время погони за «профессором» в голову Ивану приходят, с интервалом в несколько минут, две мысли: «Он, конечно, спрятался в ванной» и «Ну конечно, он на Москве-реке». В обоих случаях Иван связывает местонахождение «профессора» с водой ~ скрытая тема крещения водой.
- Иван врывается в ванную, где моется гражданка ~ Иисус приходит на Иордан к Иоанну Крестителю (см. ниже замечание «г» о сомнении Иоанна).
- «Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу...» ~ Иоанну Крестителю.
- «...Курящему самокрутку» ~ см. ниже – в конце аналогий, связанных с Лиходеевым.
- «Возле рваной белой толстовки» ~ «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса».
- Купание Ивана в Москве-реке ~ крещение.
- Кража одежды и облачение в «новую» ~ обновление духа как результат крещения, отречение от «ветхого Ивана» в пользу нового.
- Шествие с иконкой и свечой ~ крестный ход.
- Удар по уху в ресторане ~ отсечение уха рабу первосвященника.
- Драка и захват Ивана ~ арест Иисуса.

<Большая группа аналогий связана с Лиходеевым и его исчезновением из квартиры номер 50.>

- Лиходеев на даче у Хустова пьет после водки портвейн ~ «Дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью».

- Кто-то доставляет пьяного Лиходеева с дачи в «нехорошую квартиру» ~ Иосиф Аримафейский снимает Иисуса с креста и хоронит в гробнице.
- Опечатан кабинет Берлиоза ~ ко входу в гробницу привален камень, а к камню приложена печать.
- Воланд сидит в кресле у постели Лиходеева ~ ангел сидит на камне у гробницы.
- «Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной... черт ее знает, кто она... кажется в радио служит...» ~ Мария Магдалина. В одном из апокрифических евангелий имеются намеки на эротический характер отношений между Иисусом и Магдалиной. А «осталась неразъясненной» потому, что из канонических Евангелий нельзя заключить ничего подобного.
- «...Прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре... Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать» ~ Иисус «неосторожно» отозвался об Иоанне как о величайшем из пророков: «Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка... Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя» – а Иоанна заключили в темницу и обезглавили.
- «– Здравствуйте, Григорий Данилович, – тихо заговорил Степа, – это Лиходеев. Вот какое дело... гм... гм... У меня сидит этот... э... артист Воланд... Так вот... я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?..»
- Ах, черный маг? – отозвался в трубке Римский. – Афиши сейчас будут.» Иными словами, Римский (Петр. См. ниже «Аналогии, связанные с финдиректором Римским») успокаивает Лиходеева (Иисуса): афиши будут, вечер состоится, беспокоиться не о чем. ~ А в Новом Завете ситуация обратная: Петр пытается отговорить Иисуса от его намерения предать себя на страдания и смерть: «И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» И если в Новом Завете инициатор разговора – Петр, то в Варьете – Лиходеев-Иисус.
- «Вообще, они в последнее время жутко *свинячат*» ~ знаменитый евангельский эпизод с изгнанием бесов, вошедших в *свиней*.
- «Пьянствуют...» ~ на свадьбе в Кане Галилейской Иисус превратил воду в вино.
- «...Вступают в связи с женщинами, используя свое положение» ~ среди последователей Иисуса было немало женщин.

- Переброс Лиходеева в Ялту ~ исчезновение тела из гробницы. Отчество Лиходеева – *Богданович* – подтверждает соответствие Лиходеева Иисусу.

- Лиходеев, «как был в носках», переброшен в Ялту, обувь же его остается, надо полагать, в «нехорошей квартире» ~ погребальные «пелены... и плат» остаются в гробнице.

- «Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном...» ~ на престоле Господнем.

- «На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать (но не курить – Э. К.) <...>

- Умоляю, скажите, какой это город?

- <...>

- Ну, Ялта...»

- ~ Ялта – «небесный Иерусалим», курильщик – Бог-Отец, дым от курения – Святой Дух (вот почему «приятный бородач» курил самокрутку).

<Аналогии, связанные с председателем жилтоварищества Босым.>

- Отчество Босого – *Иванович* – соответствует имени *Иоанн* (иными словами, Никанор Иванович Босой – это Иоанн Богослов).

- Босого доставляют в ГПУ для допроса ~ Иоанна в узах везут из Эфеса в Рим.

- Допрос не дает результатов, и его приходится прекратить ~ попытки властей расправиться с Иоанном терпят крах: Иоанна пытаются отравить, но яд чудесным образом не действует. Иоанна бросают в кипящее масло, но он невредимым выходит из котла.

- Босого доставляют в клинику Стравинского ~ Иоанна ссылают на остров Патмос.

- Сон Никанора Ивановича в палате № 119 ~ видение Иоанна на острове Патмос (Апокалипсис).

- Содержание сна: арестованных «валютчиков» свозят в театр и держат там, пока они не сдадут валюту ~ гонение на христиан.

- Театр ~ тюрьма.

- «Валютчики» ~ христиане.

- Валюта ~ вера в Иисуса Христа.

- Сдать валюту ~ отречься от веры.

<На этом примере видно, сколь многозначен булгаковский текст. Ведь ближайшим историческим фоном и, так сказать,

прототипом сна Никанора Ивановича была «золотая лихорадка» 1932-го года: проводившееся органами ГПУ изъятие у населения валюты и драгоценностей. Подозреваемых обладателей ценностей арестовывали, неделями (а то и месяцами) держали в тюрьмах (вот почему все мужчины в «театре» – бородатые), подвергали психологической – а нередко и физической – обработке. Происходящее должно было казаться им концом света, Апокалипсисом.

Но за этим ближайшим, сохраняющим – на момент написания главы «Сон Никанора Ивановича» – жгучую актуальность «Апокалипсисом» скрывается другой, далекий «Апокалипсис», другой прототип: гонения на христиан, одного из которых, Иоанна, посетило видение («сон»).

<Аналогии, связанные с администратором Варьете Варенухой.>

- «Администратор был возбужден и полон энергии. После нагло-го звонка он не сомневался в том, что хулиганская шайка продельывает скверные шуточки и что эти шуточки связаны с исчезновением Лиходеева (воскресением Иисуса – Э. К.). Желание изобличить злодеев душило администратора...» ~ Савл был ревностным гонителем христиан. На это имя указывает отчество администратора – Савельевич.

- Римский вручает Варенухе телеграммы для доставки их в ГПУ ~ перед путешествием в Дамаск Савл заручается письмами от первосвященника;

- Избиение Варенухи сопровождается вспышками молний ~ свет с небес ослепляет Савла на пути в Дамаск.

- Азazelло и Бегемот волокут избитого администратора к дому номер 302-бис ~ спутники Савла ведут его, ослепшего, в Дамаск.

- Превращение Варенухи в вампира ~ превращение Савла в Павла.

<Аналогии, связанные с подмосковным городом Пушкино.>

- Пушкино ~ Гефсимания.

- Мнимые бесчинства Лиходеева ~ необычное поведение Иисуса: «бодрствуйте со Мною», моление о чаше и т. д.

- «Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву» ~ «Быв-

шие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! Не ударить ли нам мечем?»

<Аналогии, связанные с финдиректором Римским.>

- Римский в своем кабинете в пустом ночном здании ждет неизвестно чего ~ Петр во дворе первосвященника ждет окончания суда над Иисусом.

- Гелла пытается проникнуть в кабинет Римского ~ «И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином».

- Троекратный крик петуха ~ троекратное отречение Петра.

<Здесь можно повторить сказанное выше о многозначности булгаковского текста. Ведь готовящееся нападение нечистой силы (Геллы) на охваченного ужасом Римского и троекратный спасительный крик петуха – это сюжет гоголевского «Вия», не так ли? Но под этой очевидной аналогией залегает еще один слой – евангельский.>

- Римский едет курьерским поездом в Ленинград ~ апостол Петр отправляется в странствия, чтобы проповедовать веру в Иисуса Христа.

- Римский и Варенуха, возвращенные в Москву, просят поместить их в бронированную камеру ~ апостолов Петра и Павла, доставленных в Рим, заключают в темницу (фамилия «Римский» означает, что соответствующий ему, Римскому, персонаж Нового Завета станет основателем римско-католической церкви и примет смерть в Риме; впрочем, это не отменяет и «музыкального» смысла фамилии – см. «Подготовка к визиту» в [1]).

- Кот Бегемот отрывает голову Бенгальскому ~ по приказу императора Нерона христиан отдают на растерзание диким зверям.

- Гелла и Варенуха суть вампиры ~ «И взяв чашу... сказал: пейте из нее все; Ибо сие есть кровь Моя нового завета». Жертва вампира приобщается к «новому завету» Воланда.

Здесь уместно привести цитату из Б. М. Гаспарова (см. [4]): «Любопытна автобиографическая проекция... образа inferнального причастия, сделанная самим

Булгаковым в письме к П. Попову (5 октября 1936 г.):

“Сегодня у меня праздник. Ровно десять лет тому назад совершилась премьера ‘Турбиных’. Сажу у чернильницы и жду, что откроется дверь и появится делегация от Станиславского и Немировича с адресом и ценным подношением.

<...> Ценное подношение будет выражено в большой кастрюле какого-нибудь благородного металла (например, меди), наполненной тою самою кровью, которую они выпили из меня за десять лет”.

Иронически используя в буквальном смысле идиому “пить кровь из кого-либо”, Булгаков создает картину, в которой парадоксально сочетаются мотивы причастия и вампиров, Тайной вечери и нечистой силы. Такой же парадоксальной двуплановостью отличается аналогичный образ в “Мастере и Маргарите”».

<Еще одна большая группа аналогий связана с Мастером и его романом (в обоих смыслах этого слова). Предмет беседы Ирода с волхвами – рождение царственного младенца (Христа), дата этого рождения. Работа Мастера над романом уподобляется беременности Марии царственным младенцем.>

- Роман Мастера ~ царственный младенец.
- Мастер завершает роман ~ Мария рождает младенца.
- Мастер начинает сочинять роман, еще не будучи знаком с Маргаритой ~ Мария зачинает Иисуса, еще не будучи женой Иосифа.
- Знакомство Мастера с Маргаритой ~ Мария и Иосиф заключают брак.
- Мастер выигрывает сто тысяч по облигации (и, таким образом, получает возможность заняться сочинением романа о Пилате) ~ Ангел возвещает Марии о предстоящем зачатии от Духа Святого – то есть о скором начале работы над романом о Пилате.
- Мастер переселяется с Мясницкой улицы в «переулок близ Арбата» ~ Иосиф и Мария, «имеющая во чреве», переселяются из Назарета в Вифлеем.
- «Переулок близ Арбата» не имеет названия, и Мастер снимает комнаты в *подвале* ~ младенец Иисус появится на свет в *хлеву*, и его колыбелью станут ясли (кормушка) для скота.
- Коровьев, Воланд и Бегемот появляются в Москве на Патриарших прудах, когда там находится Берлиоз ~ три волхва приходят в Иерусалим и встречаются с царем Иродом.
- Воланд рассказывает литераторам главу из романа Мастера ~ Ирод узнает от волхвов о рождении царственного младенца.
- Мастер начал сочинять роман «два года назад» ~ «Ирод... послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже».

- Редакция некоего печатного органа, куда Мастеру предстоит отдать свой роман ~ «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего».

- Члены редакционной коллегии читают рукопись Мастера ~ «пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».

- Разгромные статьи против Мастера и его романа ~ избиение младенцев.

- Авторы статей ~ посланные Иродом убийцы.

- «Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон» ~ убийцы опасаются, что, несмотря на их усердие, царственный младенец все же уцелеет и в будущем, став царем, взыщет с них за невинную кровь.

- Мастер, вышедший из заключения и обнаруживший, что лишился жилища (при том, что угроза повторного ареста, по-видимому, сохраняется), отправляется в клинику Стравинского ~ бегство Иосифа и Марии с младенцем в Египет и пребывание там.

- В среду вечером Берлиоз гибнет под трамваем, а в ночь на пятницу Маргарита видит вещий сон ~ «По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте».

- Служащие Ваганьковского филиала поют «Славное море, священный Байкал» ~ исполнившись Святого Духа, верующие пророчествуют и говорят на иных языках.

- «А в половине одиннадцатого явилась милиция. Первый же и совершенно резонный вопрос ее был:

- Что у вас тут происходит, граждане? В чем дело?

Команда отступила, выставив вперед бледного и взволнованного Василия Степановича» ~ Стефан предстает перед Синедрионом. И снова, как в случаях с Поплавским, Лиходеевым, Варенухой и Босым, оказывается значимым отчество персонажа – *Степанович*, что значит *Стефан*.

- Основанием для допроса Стефана в Синедрионе стали показания лжесвидетелей ~ честная рублевая выручка Варьете была зловредным образом подменена иностранной валютой. Здесь – и во многих других аналогиях – последовательность московских событий нарушена относительно последовательности иерусалимских событий-прототипов.

- Арест Василия Степановича ~ казнь Стефана.

- Аресты председателя жилищного товарищества Никанора Ива-

новича Босого, секретаря Пролежнева, члена правления Пятнажко, жильца Тимофея Квасцова ~ новые гонения на христиан.

- Буфетчику Сокову, пришедшему в «нехорошую квартиру» с жалобой на финансовый ущерб и при этом умолчавшему о своих богатствах, возвещают близкую смерть ~ супруги Анания и Сапфира, утаившие от апостолов часть выручки от продажи имущества, умирают <см. ниже замечание «д»>.

- Котенок царапает лысину буфетчика ~ терновый венец на голове Иисуса.

- «Было темно, как в подземелье... Но тут вдалеке и вверху замигал огонек какой-то лампадки и начал приближаться... Огонек приблизился вплотную, и Маргарита увидела освещенное лицо мужчины, длинного и черного, держащего в руке эту самую лампадку... Это был Коровьев, он же Фагот» ~ христианская лампадка освещает лик Спасителя – это во-первых; во-вторых, «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

- «Перед кроватью стоял... стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи... ~ «...Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей».

- В праздничную полночь между пятницей и субботой время остановилось ~ «И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба... И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю... И клялся Живущим во веки веков... что времени уже не будет».

- «...совершенно необъятный камин» с «холодной и черной пастью» ~ преисподняя.

- Из камина появляются виселица и гробы с полуразвалившимися телами, превращающимися в гостей Великого бала у Сатаны ~ воскресение мертвых.

- Маргарита, Коровьев и Бегемот приветствуют поднимающихся гостей (смертных грешников) и пропускают их в помещения, предназначенные для Великого бала ~ после Страшного суда праведники попадают в рай.

- «Острая боль, как от иглы, вдруг пронизала правую руку Маргариты», от поцелуев распухло и посинело колено ~ крестные муки.

- «Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья». Из которых можно приготовить вино. Иными словами, Маргариту успокаивают тем, что она пьет не кровь, а вино ~ пресуществление крови Христовой в вино.

По поводу всех этих аналогий, одиночных и групповых, сделаем несколько замечаний:

а) нет строгого закрепления ролей за актерами. Одну роль могут играть разные актеры (так, роль Иисуса играют Лиходеев, Бездомный, Соков, Маргарита), и один актер может играть разные роли (Воланд играет роли волхва и ангела, а Берлиоз – Ирода и Крестителя);

б) Почти в каждой аналогии есть деталь, затрудняющая признание ее аналогией.

Например:

- Волхвы приходят с востока, а черти – с запада (с горы Брокен в Германии, где накануне участвуют в шабаше Вальпургиевой ночи).

- Иисус не стал пить «уксус, смешанный с желчью», а Лиходеев водку и портвейн – пил.

В ряде случаев затрудняющая деталь является перевертышем, то есть меняет значение соответствующего параметра (сторона света, откуда троица невиданных гостей прибывает в столицу; цвет одежд возвещающего небывалую весть и т. д.) на противоположное: восток становится западом; белый цвет одежды ангела, сидящего у гробницы, сменяется черным цветом одежды Воланда, сидящего у постели Лиходеева, и т. д.

Эти детали (перевертыши и не-перевертыши) нужны для того, чтобы затруднить опознание Нового Завета как литературного источника «Мастера и Маргариты».

Но, конечно, главное препятствие к опознанию – гений Булгакова. Ибо Аннушка и Иванушка, Лиходеев и Варенуха настолько типичны и характерны, настолько плоть от плоти своего времени и своей страны, что крайне трудно заподозрить, будто они всего лишь разыгрывают – на новый лад и помимо своей воли – очень старые сюжеты.

в) *Водные фамилии*

В «Мастере и Маргарите» три «водные» фамилии: Понырев, Поплавский, Карпов (Штурман Жорж – это не фамилия, а псевдоним). Для первых двух легко указать их связь с Новым Заветом.

Понырев – от корня *ныр* – нырять, погружаться в воду. То есть – креститься. Понырев – это тот, кто уверует и примет крещение.

Поплавский – от *поплавать*. Отсюда – *поплавок*. Удочка, удить рыбу. Быть рыбаком. Быть Андреем Первозванным.

г) *Сомнение Иоанна*

Почему эпизоду крещения Иисуса (в Евангелии от Матфея) соответствуют два московских эпизода: в ванной, где моется гражданка, и – на Москва-реке?

Вот евангельский текст: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну – креститься от него.

Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда *Иоанн* допускает Его».

Иоанн выразил сомнение в своем праве крестить Иисуса. У Булгакова это сомнение приняло форму самостоятельного эпизода в ванной: несостоявшегося крещения.

д) *Удвоенный буфетчик*

В рассказе Г. К. Честертона «Странные шаги» некий персонаж, вор, для исполнения своего воровского замысла чередует две походы: поспешно-озабоченную походку слуги и неторопливую, полную достоинства походку господина.

Нечто подобное имеет место при описании визита буфетчика Сокова в «нехорошую квартиру»: явственно различимы его, буфетчика, прерывисто-возвратные и, если можно так выразиться, удвоенные движения.

Буфетчик:

- останавливается на лестнице, чтобы задать вопрос Поплавскому;
- пугается при виде Геллы;
- падает с табурета и пересаживается на другой;
- его объяснение цели визита прерывается Воландом;
- покинув квартиру и «пройдя немного вниз», он останавливается, чтобы проверить червонцы;
- обнаружив отсутствие шляпы, возвращается в квартиру;
- сбежав по лестнице вниз, не сразу справляется с дверью.

Все это объясняется довольно просто: *один* буфетчик вынужден играть роли *двух* новозаветных персонажей – Анании и Сапфиры. Вот соответствующий отрывок из «Деяний апостолов»:

«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфиною, продав имение,

Утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.

Но Петр сказал: Анания! Для чего *ты допустил* сатане вложить в сердце твое *мысль* солгать Духу Святому и утаить из цены земли?

Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоём? ты солгал не человекам, а Богу.

Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех слышавших это.

И вставши юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили.

Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.

Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько.

Но Петр сказал ей: что́ это согласились вы искушать Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.

Вдруг она упала у ног его и испустила дух; и юноши вошедши нашли ее мертвою и вынеся похоронили подле мужа ее».

Падение буфетчика с табурета означает, конечно, смерть Анании. А возвращение за шляпой – приход Сапфиры. Разговоры о том, сколько у Сокова имеется сбережений, соответствуют разговорам о размере суммы, вырученной за продажу имения.

е) Отношение Воланда к Евангелиям определяется двумя фразами, сказанными им литераторам на Патриарших прудах:

«Имейте в виду, что Иисус существовал» –

и

«Помилуйте... уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда».

Относительно первой фразы проблем не возникает. С нею согласны все: читатели, Евангелия, роман Мастера. Берлиозовский атеизм терпит быстрое и легкое поражение.

А вот относительно второй фразы возникают недоразумения. Многие читатели полагают, что эта фраза не отражает подлинной позиции Воланда и произнесена лишь для того, чтобы посмеяться над Берлиозом, сбить его с толку. Такое понимание было бы оправданным, если бы в «Мастере и Маргарите» противостояли друг другу лишь две позиции: атеизм *а la* Берлиоз и Евангелия. Но на самом деле позиций три!

«Иисус существовал» – это то единственное, в чем Воланд согласен с Евангелиями. Во всем остальном они, по его мнению, исказили истину и монополизировали право возвещать ее.

Но пришло время новой благой вести. Читателям булгаковско-го романа явлена новая благая весть – роман Мастера о Пилате и Га-Ноцри (Иисусе). Воланд – провозвестник и защитник этой вести.

Итак, три позиции: атеизм, старый Новый Завет, роман Мастера. Будучи защитником Мастера и его романа, Воланд ведет войну на два фронта: против атеизма Берлиоза и против Нового Завета, причем второй фронт – тайный.

Вышеприведенные пародийные аналогии и глумливые соответствия суть эпизоды тайной войны Воланда и его слуг против старого Нового Завета.

ж) Сила изобретенного Булгаковым пародирующего приема настолько велика, что прием начинает жить самостоятельной жизнью и черпать материал для пародирования уже не в старой благой вести, как было задумано, а в новой, то есть в романе Мастера:

- во время визита буфетчика в нехорошую квартиру: «на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей». Траурный – то есть черный (~ «белый плащ с кровавым подбоем»);
- тогда же: «А на оленьих рогах висели береты с орлиными перьями» (~ «затем перед прокуратором предстал светлородый красавец с орлиными перьями в гребне шлема»);
- опухшая, с заплывшими глазами физиономия Степы Лиходеева, очнувшегося в нехорошей квартире (~ «распухшее от укусов, с заплывшими глазами» лицо Иешуа на столбе) – эта и следующая за ней аналогии замечены Б. М. Гаспаровым;
- пешие и конные наряды милиции приводят в порядок очередь под стеною Варьете ~ двойное оцепление Лысой горы;
- «подследственный из Галилеи», представший перед прокуратором, «одет в старенький и разорванный голубой хитон» ~ тут открываются широкие возможности для пародирования. По двум причинам. Во-первых, у древних греков хитон был *нижней* одеждой. Во-вторых, в христианской традиции хитон Христов играет важную роль, ибо считается, что его собственноручно изготовила «Пресвятая Богородица». Поэтому в московских главах мы *четырежды* встречаем пародийные уподобления хитону: а) Иван Бездомный шествует по Москве в *кальсонах*; б) в квартире № 50, «как показалось буфетчику, на артисте было только черное *белье*...»; в) «Воланд широко раскинулся на постели, был одет в

одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече». *Грязную*, ибо хитон Иешуа *старенький*. А *заплатанную* – ибо хитон Иешуа *разорван*; г) «Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в этот последний великий выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Все та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях». *Стоптанные* туфли, конечно, тоже не случайны: «луч пробрался в колоннаду и подползает к *стоптанным сандалиям* Иешуа».

Это еще не фронт, но уже отдельные вылазки на новом направлении. Воланд – ненадежный союзник и завтра может начать тайную (а то и явную) войну против романа Мастера, как сегодня ведет войну против старой благой вести.

* * *

Подведем итог. Московские главы «Мастера и Маргариты» вовсе не являются «скромными» или «вторичными». Они представляют собой пародийно-глумливое (дьявольское!) прочтение Нового Завета и вообще христианской традиции. Воланд и его слуги для того и прибыли в Москву, чтобы осуществить постановку грандиозного спектакля-прочтения, который они долго и тщательно готовили.

Для постановки спектакля – а не для свершения справедливости. Беда постигает Босого, Ласточкина и других героев московских глав не за их грехи, которых может и не быть, а потому, что когда-то, давным-давно, другая беда постигла тех героев Нового Завета, роли которых эти москвичи играют.

И если Воланд извлекает Мастера из клиники, то это не потому, что мессир такой добрый. И не потому, что он, наоборот, злой и вечно хочет зла, но вот поди ж ты – вечно совершает благо. Нет, вся эта философия здесь ни при чем.

Все просто: после смерти Ирода (Берлиоза) настало время возвращения Богоматери (Мастера) из Египта (палаты № 118 первого корпуса клиники Стравинского).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Сводка основных аналогий

1. Поэма Ивана Бездомного об Иисусе Христе ~ ЗВЕЗДА НА ВОСТОКЕ.
2. Роман Мастера о Пилате ~ МЛАДЕНЕЦ ХРИСТОС, О ЧЬЕМ РОЖДЕНИИ ВОЗВЕСТИЛА ЗВЕЗДА (*поэма возвещает о романе, как звезда – о Христе*).
3. Мастер (автор романа, «выносивший» и «родивший» его) ~ МАРИЯ БОГОРОДИЦА.
4. Маргарита ~ ИОСИФ ОБРУЧНИК.
5. Коровьев, Воланд и Бегемот на Патриарших прудах ~ ТРИ ВОЛХВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЗВЕЗДОЙ, ПРИХОДЯТ В ИЕРУСАЛИМ ВО ДВОРЕЦ ИРОДА.
6. Патриаршие пруды ~ ДВОРЕЦ ИРОДА.
7. Берлиоз ~ ИРОД / ИОАНН ПРЕДТЕЧА.
8. Иван Бездомный ~ «ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ И КНИЖНИКИ», СОЗВАННЫЕ ИРОДОМ.
9. Чума-Аннушка ~ Анна Пророчица.
10. Вагоновожатая ~ ИРОДИАДА + САЛОМЕЯ.
11. Поплавский ~ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ.
12. Лиходеев ~ ИИСУС.
13. Римский ~ АПОСТОЛ ПЕТР.
14. Варенуха (человек, потом вампир) ~ САВЛ, ПОТОМ ПАВЕЛ.
15. Дамский магазин на сцене Варьете ~ РИМ, УТОПАЮЩИЙ В РОСКОШИ.
16. Отрывание головы Бенгальскому ~ НЕРОНОВСКИЕ КАЗНИ ХРИСТИАН.
17. Бухгалтер Ласточкин ~ ПЕРВОМУЧЕНИК СТЕФАН.
18. Буфетчик Соков ~ АНАНИЯ + САПФИРА.
19. Босой ~ ИОАНН БОГОСЛОВ.
20. Статьи против романа Мастера ~ ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ.
21. Дом Драмлита ~ КАЗАРМЫ ДЛЯ УБИЙЦ, ИЗБИВАЮЩИХ МЛАДЕНЦЕВ.
22. Палата № 118 (Мастер) ~ ЕГИПЕТ.
23. Палата № 119 (Босой) ~ ОСТРОВ ПАТМОС.
24. Палата № 120 (Бенгальский) ~ ИМПЕРАТОРСКИЙ РИМ.
25. Великий бал у Сатаны ~ УМЕРШИЕ ЗЛОДЕИ ВОСКРЕСАЮТ И ПОПАДАЮТ В РАЙ.

Литература:

1. Корман Э. Зачем горят рукописи. Иерусалим, 2004.
2. Савельева О. Русский апокрифический Христос: к постановке проблемы. *Slavia Orientalis*. T.LII, №2, 2003, с. 159–178.
Также в Интернете: www.philology.ru/literature2/savelyeva-03.htm
3. Гаспаров Б. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова *Мастер и Маргарита*. В книге: Литературные лейт-мотивы. Очерки по русской литературе XX века. – М., 1993, с. 28-83.
Также в Интернете: mlis.ru/science/context/litera/bulg_gasparov
4. Гаспаров Б. Новый завет в произведениях М. А.Булгакова.
5. Ужанков А. Коту под хвост. «Литературная газета», 22 марта 2006 г.

Татьяна Лившиц-Азаз

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Наброски к портрету отца

Одно из самых ранних воспоминаний моего детства – первомайская демонстрация, первый раз вместо чулок надеты носки (свобода и раскрепощение после тяжелых зимних одежд), праздничная, веселая толпа, и я в центре, на плечах у отца – мы самые красивые, самые «первомайские», самые обаятельные! И, может быть, я даже похожа на ту девочку на обложке журнала «Огонек», которая дарит цветы дедушке Сталину! То ли реальное воспоминание, то ли самовнушение – от долгого вглядывания в эту самую фотографию.

После этой короткой весны наступила долгая осень: я – девочка, у которой нет папы, нет, просто нет, и с объяснением: папа в командировке в Киеве. Каждый раз, когда я выхожу во двор гулять, бабушка меня предупреждает: ты помнишь, что надо сказать, если тебя спросят, где твой папа? На самом деле во дворе это никого не интересует. Мы живем в большом П-образном доме на ул. Чернышевского, 15, в садике Победы. Там течет жизнь согласно своим четким законам: мальчишки воюют, девочки играют в классы, или в куклы, или в песок. Дворовая иерархия зависит от того, что ты умеешь: драться, или петь, или танцевать, или бегать быстрее всех.

У меня не было слуха, бегала я медленно, а уж о танцах не было речи, ну и, конечно, если играли в войну, то я попадала в плен первой, а освобождали меня последней. И обидеть было легко, потому что: «Та шо там, у нее ж отца нет, та побей ты ее как следует, как фрица».

Из этих лет не сохранилось ни одного воспоминания о лете. Всегда прибегаю домой из дождя или снега. Там тепло и полутемно – надо экономить электричество. На кухне бабушкины приятельницы пьют чай и рассказывают, в какой очереди и что удалось достать. Приходит с работы мама и наигранно бодрым голосом начинает спрашивать, как прошел день, с кем играла, что нового. Бабушкиных приятельниц она не любит, и они гуськом начинают выползать из дома. Рассказывать кому-то о дворовых унижениях и жгучих обидах – невысказано. И я забиваюсь в угол тахты с альбомом фотографий

– «когда я была маленькой». И вот она, самая главная – первомайская демонстрация, я на плечах у папы – неопровержимое свидетельство былого счастья и, кто знает, – залог будущего?

Следующая страница: мне 6 лет, и мы едем с мамой очень далеко – повидаться с отцом. Папа не видел меня уже 2 года, с осени я должна начать учиться читать по-русски и по-английски – так он просит, а пока мы должны повидаться. Я уже «почти взрослая», и мама мне объяснила, что папу перевели на работу из Киева в Челябинск, но это не обычное место, а «лагерь», папа там живет и работает, почему – мне объяснят потом, когда я пойду в школу. Мама добавляет, что в Челябинске мы остановимся у ее сестры, тети Ани, – я думаю, что, наверно, поэтому папу послали сюда, но спросить я не решаюсь.

Помню зной, скуку, куклу из разжеванного хлеба в платье из тряпок, которую сделала мне мама (как во время войны), вареную картошку и малосольные огурчики, их подносят к поезду. «Какая чудесная девочка, прямо с картинки, русые волосы, голубые глаза, на маму не похожа, папина дочка, а где твой папа, так ты едешь его навестить, он работает в Челябинске, а где он там живет?» И расширяющиеся мамины глаза, и холодок в сердце, и мгновенно изобретенная находка: «Он – инженер и работает на стройке».

Тетя Аня живет в барачном городке, там нет двора, а одна длинная улица, вдоль которой стоят бараки. Меня посылают гулять в одних трусиках – новых и очень красивых, специально сшитых для поездки. Я выхожу к местным ребятишкам – они сбежались большой толпой посмотреть на меня: я приехала «из европейской части нашей большой страны», так им объяснили. Я, наслаждаясь вниманием и почетом, подробно рассказываю о путешествии, потом – в какие игры мы играем во дворе. Мой триумф длится недолго и заканчивается очередным падением: на трусах, сзади, откуда ни возмись – маленькая дырочка, мальчишки начинают свистеть, улюлюкать; девочки окружают меня и провожают домой – ореол заморской гостьи утрачен безвозвратно. Но все чепуха: во-первых, здесь все знают слово «лагерь» и что я приехала навестить папу в лагере, и относятся к этому совершенно спокойно; во-вторых, завтра я увижусь с папой – ведь для этого мы так долго ехали!

И вот долгожданное свидание! Помню длинный, как тоннель, коридор, в конце его свет, и из него навстречу мне быстро идет отец. Он веселый и улыбающийся, совсем как на фотографии, подхваты-

вает меня и: «Цыбрик (как я соскучилась по этому его слову!), ты совсем большая!» Потом он начинает целовать и обнимать маму, и я думаю про себя: вот мы как обычная нормальная семья. Мы приходим в комнату с каменным полом и окном – ближе к потолку, чем к полу; под окном железный стол и два железных стула. Через некоторое время мама объясняет мне, что она должна идти, но я смогу остаться, провести весь день с папой, переночевать, а завтра утром она меня заберет. Я чувствую себя не в своей тарелке. Не знаю, о чем с ним говорить. Для меня он какой-то слишком бодрый и веселый. И я совершенно от него отвыкла. И здесь не очень приятно – эта комната, проволока и часовые с собаками, которые видны из окошка. У тети Ани меня ждут с рассказами о лагере ребята. Но сказать об этом неудобно и, скрепя сердце, я остаюсь. Мама уходит. Папа достает из ящика стола бумагу и цветные карандаши, и мы начинаем вместе рисовать. Получается непохоже, и мы смеемся, потом приносят две миски вкусного дымящегося супа, и я потихоньку начинаю оттаивать и отогреваться. Отец спрашивает меня очень серьезно о бабушке, дедушке, ребятах, с которыми я дружу, и внимательно вслушивается в мои ответы. А мне не верится – неужели это правда, а не сон?

И вдруг пронзительный вой сирены, в окно я вижу, как начинают мотаться часовые с собаками. Появляется испуганная женщина в белом халате: «Лев Яковлевич, тут нагрянула проверка, Танечку надо вывести из лагеря!» Меня срочно собирают с карандашами и рисунками. Появляется другая женщина в белом халате и объясняет мне, что она закончила работу, едет домой на специальном автобусе и возьмет меня с собой, у нее есть двое сыновей, а завтра утром привезет меня обратно, и я встречаюсь с мамой.

Прощания с отцом я не помню.

Помню удаляющийся силуэт лагеря, длинную жаркую степь, по которой мы трясемся в автобусе, потом улицы, городские дома. Женщина по дороге просит меня не рассказывать ее детям, что мы приехали из лагеря, просто вернулись с работы, и я – дочка ее сослуживца, которую она пригласила в гости. Мы входим в уютную богатую квартиру – после бараков! Всюду хрусталь, картины, натертые полы. Ее дети – два мальчика – ссорятся из-за мяча. Эта женщина начинает жарить котлеты. У меня на пятке волдырь, я не могу надеть сандаля, и, слава Богу, мне делают теплую ванночку для ног и оставляют в покое. Я думаю, почему нельзя сказать этим мальчикам слово «лагерь», почему папа

должен там жить? Что он там делает целыми днями? Что ему там могут сделать?

Утром той же длинной, но уже прохладной степью мы возвращаемся в лагерь. Точнее, из одного автобуса я перепрыгиваю в другой, а там уже мама – она улыбается, обнимает меня и начинает целовать, как будто я возвратилась из какого-то веселого путешествия, в духе: «Мы едем-едем-едем в далекие края, хорошие соседи, веселые друзья!» Как передать ей это – мгновения с отцом, к которому только стала привыкать, сирена, собаки, чужая женщина, чужая мама, благополучные дети, которым нельзя сказать слово «лагерь»? Я освобождаюсь из этих ее объятий и говорю: «У меня волдырь на пятке, очень больно, и я не могу ходить».

«До свадьбы заживет», – беспечно отвечает мама.

Осенью я начинаю учить с дедушкой азбуку, и чуть попозже – английский с одной очень серьезной преподавательницей, «которая не берет с нас денег, потому что ее папа – лагерный друг моего папы». После поездки в Челябинск слово «лагерь» утвердилось в нашем домашнем лексиконе без секретов от меня. Иногда на кухне я помогаю дедушке делать папиросы для посылке папе: на папиросной бумаге раскладывается табак, а потом закрывается в тугую узенькую трубочку.

Русское чтение и первые шаги в английском даются мне с ошеломляющей легкостью, и мои акции во дворе резко поднимаются. Следующее серьезное событие этого года – смерть Сталина. Бабушка рыдает и срочно призывает свою приятельницу портниху Марфу Даниловну шить траурные повязки, 6 марта мы идем на митинг, на площадь возле колбасного магазина на Сумской, напротив памятника Шевченко. Море голов, и все слушают трансляцию по радио. У всех повязки черные с красным ободком, а у меня красная с черным – я очень горжусь. Ночью страшно засыпать. Мы остались без «отца всех народов товарища Сталина», а вдруг теперь потухнут «московские звезды на Кремле» и на нас нападут американцы или чанкайшисты?

Сквозь сон слышу, как мама шипит бабушке: «Прекратите таскать ребенка на эти идиотские сборища. Только Ходынки нам не хватало». В отличие от бабушки, мама совсем не грустная, и даже вчера к ней приходила в гости приятельница. Они налили вина, чокнулись, и приятельница сказала: «Ну, Оленька, за тебя и за Лёвку!»

Люда Сотникова, из квартиры напротив (она на два года старше, но относится ко мне очень серьезно и учит кататься на качелях и

кувыркаться), говорит мне, отведя в сторону: «Я слышала вчера, как твоя мама смеялась. Когда вокруг такое горе!» Мне легче понять бабушку, и я стараюсь не обращать внимания на маму: она всегда ведет себя не так, как все.

И вот еще из воспоминаний этой весны. Громкий стук посреди ночи, все бегут к дверям. Бабушка громко кричит: «Кто там?». Любимый звук и любимая фраза этих лет – предвестие перемены и обновления: кто-то пришел к нам! На этот раз гость особенно дорог. На пороге стоит мужчина не старый и не молодой, с мешком за плечами, в одежде нищего – в ту пору их было немало на улицах. Он не говорит, а мычит! Но, о чудо, вместо того, чтобы немедленно захлопнуть дверь перед его носом, бабушка и мама с редким единодушием набрасываются его целовать и обнимать. Освободили из лагеря дядю Шурика Светова, папиного друга, он временно потерял способность разговаривать – все это мне объясняется потом. Но это замечательно. Он – один из лучших папиных друзей!

От папы приходят письма. Он просит записать меня в библиотеку, спрашивает, как мой английский, просит меня найти и пользоваться его англо-русским словарем – ведь теперь я могу читать на двух языках.

Первый класс. Учительница Любовь Григорьевна с красным обветренным лицом. Всегда называет меня по фамилии – Лившиц. В классе одни девочки. Самые жуткие часы – уроки ритмики и пения, особенно если заставляют петь публично. По всем остальным предметам я первая ученица. Для меня это очень важно. Во-первых – это положение в классе, во-вторых, избавляет родителей от явки на собрания: мама все равно всегда на работе, а папа далеко – слово «лагерь» здесь так же неприемлемо и неуместно, как у нас во дворе или для тех мальчиков в Челябинске.

Летом мы едем с бабушкой в Одессу на море к ее двоюродным сестрам. Там можно говорить открыто обо всем. И вот 17 августа, ровно за неделю до нашего возвращения в Харьков (потому я так помню дату), когда мы, разморенные жарой, возвращаемся с моря, к нам бежит навстречу бабушкина сестра и кричит: «Лёва! Лёва!» – и целует какую-то бумагу.

Это была телеграмма из лагеря – папу освободили, он приезжает в Харьков 2 сентября. На следующее утро бабушка на пляже, как всегда, в окружении приятельниц («Ты видишь, у меня всюду друзья, меня все любят, кроме твоей мамы»), рассказывает в десятый или двадцатый раз, как накануне получения телеграммы она нашла

в песке монету орлом вверх, но хотела ее выбросить, а какой-то моряк сказал ей: «Мадам, у вас замечательное лицо, эта монета должна принести вам удачу, не выбрасывайте ее». И она ее сохранила, а в 11 часов утра прибыла телеграмма, «а я с Танюшей была на пляже, и вот мы возвращаемся, и бежит навстречу Аня, а я ничего не могу понять: она что, сошла с ума?..»

Я сижу рядом, осоловевшая и убаяканная этими повторами и неповторимым, неизъяснимым счастьем – папа возвращается!.. И вот мы приезжаем в Харьков, пропитанный запахом антоновок и дынь, и начинается новая жизнь, абсолютно непохожая на прежнюю. Первого сентября я иду в новую, «смешанную» школу – девочки занимаются вместе с мальчиками. Мою новую учительницу зовут Алина Никифоровна. Она очень выдержана, ее все слушают, и между нами любовь с первого взгляда – она называет меня только по имени, я читаю лучше всех в классе, а к концу дня 2-го сентября меня выбирают старостой класса, и я получаю четыре записки от мальчиков! И вот ко всем этим дарам – самый главный: после школы я еду на вокзал встречать папу. Помню, на вокзале толпа, человек тридцать, большая часть – мужчины, и они говорят маме, что состав остановили в Рай-Еленовке и можно на пригородном поезде ехать туда его встречать. И мы едем. И вот полуосвещенный вагон, множество людей и папа в их окружении – все его обнимают, целуют. Я снова стесняюсь и не знаю, как мне себя вести. Он курит беспрерывно, большой и указательный пальцы пожелтели от табака, в общем, он точно такой, как на фотографии и в лагере. Дома, прямо с вокзала, – застолье.

Длинный стол, очень много людей, все говорят одновременно и громко, чокаются. Новые люди, громкие голоса, очень много мужчин (раньше к нам приходили только женщины) – так это врезалось в память: новая жизнь с папой.

На ноябрьские праздники мы втроем едем в Москву, на ВДНХ. На кухне разрушают старую дровяную плиту и ставят газовую. Появляется телефон. Жизнь необратимо меняется к лучшему!

Итак, отец вернулся и, как по мановению волшебной палочки, переменялся весь уклад и ход нашей жизни. Дом наполнился людьми, голосами, воздухом, светом. Все стало открыто, громко, и темп перемен набирал силу с каждым днем. Раньше я жила с мамой в одной комнате, а бабушка и дедушка – в другой. Теперь «большую комнату» отдали папе и маме, и она стала средоточием самого интересного в жизни дома.

Даже сегодня, закрывая глаза, я вижу ее обстановку. Прямоугольная комната с одним окном в центре короткой стены и дверью в противоположном конце. Вдоль одной длинной стены, ближе к окну и перпендикулярно к нему – тахта. Под окном – вдоль короткой стены – большой письменный стол. Напротив, вдоль второй длинной стены, от пола до потолка – дубовые книжные шкафы, застекленные сверху, а внизу – широкие отделения для папок. Эти шкафы были первой мебелью после папиного возвращения.

Ночью комната становилась спальней, днем превращалась в папин кабинет. Письменный стол стоял параллельно окну между тахтой и шкафами. Отец нещадно курил, и мама говорила, что две важнейшие функции, сон и работу, нужно выполнять при постоянном притоке свежего воздуха. На тахте ночью спали, а днем она превращалась в место, где сидел, забравшись на нее с ногами, тот очередной студент или студентка, которых папа «выводил в люди» в данный момент. Дальше шел большой – то ли полуовальный, то ли прямоугольный – стол. Немного позже вокруг этого стола будут сидеть папа и его дипломники, собирая листы хрестоматии.

Картину эту я заставляла несколько месяцев подряд, возвращаясь из школы в пятом-шестом классах. За этим столом, когда он раздвигался, отмечались все важные события. Когда из Москвы приезжали Окуджава, или Дзик Самойлов, или Евтушенко, когда отмечали первую годовщину брата, мой аттестат зрелости, 20-летие родительской свадьбы в 1960 году... В обычные дни большой стол был завален бумагами и папками, которые не помещались на письменном столе. И дальше – самый любимый и заветный угол, журнальный столик (новомодный, «как на Западе», – бесспорное свидетельство новых времен), кушетка и кресла. В этом углу сидели по вечерам забегавшие на огонек друзья, дядя Миля Школьник с тетей Галей, Марик Глузберг с Лидой, Юрий Владимирович и Евгения Марковна Багалеи, иногда Арончик Каневский, иногда Люсик Хаит, Зарик Лещенко. Все эти люди появились в доме вместе с папой и стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как ребенок, я очень ощущала, что центр этой жизни с меня переместился на него. Иногда я скучала по тем старым тихим временам, когда маму, бабушку и дедушку объединяли вечером разговоры о том, как прошел мой день и что организовать Лёве для следующей посылки.

Папа никогда не интересовался тем, как я поела или какое у меня сегодня настроение. Я не помню, чтобы он со мной во что-то играл. Но всегда очень важны были для него мои школьные успехи.

Помню, мы начали учить дроби, и я не разобралась сразу и принесла тройку – практически не встречавшуюся в моем дневнике оценку: плохих оценок я не любила. Это была первая тройка, которую я получила после папиного возвращения из лагеря. Он воспринял ее очень серьезно. Усадил меня на стул, взволнованно ходил вокруг меня (я – на стуле, как на судилище) и говорил, что очень легко запустить материал и скатиться вниз и никогда больше не подняться. Я чувствовала себя прескверно, но крепилась. Чувствовала, что, не успев к нему как следует привыкнуть, я опять его потеряю и что он меня разлюбит. Он вышел в другую комнату, я села делать уроки, и тут он возвратился, погладил меня по голове и спросил тем чудным, добрым, «прежним» голосом: «Ну, как дела?». Я заплакала так горько и безутешно, что он, по-видимому, растерялся. Мне отчаянно хотелось услышать, что он меня любит, и ничего страшного не произошло, и это просто недоразумение. Он сказал скороговоркой: «Ну ладно, ладно, хватит», и быстро ушел обратно в свою комнату. Так это у нас с ним осталось до конца его жизни. Никогда в отношениях с ним не было внутреннего «ты», а всегда немножко «вы».

Требования его ко мне и, я думаю, к другим людям, за которых он себя чувствовал в ответе, были очень жестки, категоричны. Если жизнь не укладывалась в схему его ожиданий, или взглядов, или мировоззрения, он взрывался яростно и неукротимо. Он был для меня до последнего дня огромнейшим авторитетом, хотя очень редко вмешивался в ежедневную ткань моей жизни, скорее, практически, в ней не участвовал. И теперь, когда я намного старше его и мои дети старше той меня, какой я была, когда он умер, я сама не понимаю, как и почему так важно было его слово. Он был требовательным, жестким, но не мелочным. Его требования, часто затруднявшие и осложнявшие жизнь, – по его настоянию я учила английский, вечно была в каких-то комитетах старостой, посещала (с колоссальным отвращением) кружки музыки и гимнастики, – тем не менее придавали моей жизни что-то особое, выделяли и приподнимали меня.

Именно эта утрата приподнятости в каждой минуте самого обыкновенного дня больше всего мучила меня после его смерти. Зато какой наградой было, когда, повернувшись в мою сторону (я – десяти-двенадцатилетняя девочка), он говорит какой-нибудь взрослой красивой даме (например, чтице Харьковской филармонии Александре Лесниковой): «А это – моя дочь Татьяна, она, безусловно, ваша будущая поклонница».

Вообще, он горячо и ревностно, я бы сказала, слишком горячо и слишком ревностно, следил и ждал проявлений способностей или таланта от людей, которых любил. И наоборот, был способен мгновенно влюбляться в незнакомых, но талантливых людей. Его смертельными противниками были быт, хозяйство, рутина. Быт всегда был «заскорузлым», или «смрадным», или «мещанским». Быт всегда «заедал», и жизнь представлялась иногда бесконечной борьбой с бытом. Быт входил в более широкое понятие – «мещанство». От меня ждали, что вдобавок к школьным успехам и многочисленным кружкам я должна успевать помогать маме и бабушке по хозяйству и делать такие серьезные дела, как мытье полов, посуды, стирка, приготовление пищи. Каждый год, с двенадцати лет, мои бытовые навыки усиленно наращивались. Требований было два: уметь делать – раз, никогда не скатываться до обсуждения бытовых тем – два. Делать, но как бы играючи, при этом читая наизусть стихи. Мама иногда восставала и кричала, что для ребенка это непосильная нагрузка. Но папа был несокрушим: «Эля – не дрейфь, пробьемся! У нас такая дочь на старости будет!»

Мой брат родился 12 декабря 1956 года. Роды были очень трудными – мама потеряла почти всю кровь, пережила 6 минут клинической смерти, и ее чудом вытащили с того света. До родов она долго лежала в больнице. Помню октябрьский день, в 4-м классе. Та же строгая наставница моей жизни, соседка Люда Сотникова, сказала мне в своей суховатой и четкой манере:

– Таня, а ты знаешь, почему твоя мама так поправилась и почему у вас ремонт и делают перегородку?

Я что-то промычала в ответ, и она тожественно заявила:

– Ну вот, пора тебе знать, у тебя скоро будет брат или сестра.

Благовещение – тогда я не знала этого слова, но оно наиболее точно описывает мое состояние. Меня окатила волна такой радости и гордости! Я теперь буду не одна! У меня будет брат или сестра. Наша семья растет. А потом маму забрали в больницу – что-то было не в порядке.

Помню, дом опять погрузился в темноту и молчание, и постаревший, бледный, осунувшийся отец ходит, хромя, с палкой (тогда у него был первый серьезный приступ тромбоза). Вечерами я танцевала перед зеркалом и пела куплет почти собственного сочинения. «Мы пробьемся, мы пробьемся, мы вернемся, мы вернемся, мы разведем эту тьму». На сердце было очень тяжело, маму видеть было нельзя. А папа только вяло и формально спрашивал меня

время от времени: «Ну как у тебя, все в порядке?» – и, не дожидаясь ответа, уходил в кабинет. Некого было попросить погладить школьную форму. Никого не интересовали мои школьные тетради. Весь этот тягостный период ожидания закончился в один теплый декабрьский день, когда снег, падая, таял еще в воздухе, в свете фонарей. Меня пришла забрать из школы после второго урока моя тетя. Родился брат.

И вот я – старшая сестра. Мама медленно приходит в себя. Дом постепенно возвращается к ставшему привычному ритму жизни – днем папа работает в кабинете-спальне-столовой за закрытой дверью один или с посетителями, вечером – друзья. Яшка растет толстым очаровательным синеглазым карапузом, и все стонут от избытка его энергии.

Я – в четвертом классе, и ранней зимой 1957 года у меня первый политический спор: все та же любимая Алина Никифоровна на одном из уроков начинает объяснять в классе, почему так важен был 20-й съезд партии и разоблачение Сталина. Не помню точно, какими словами она это объясняла, но помню это чувство в себе, как в библейской притче, – «правду скрыть невозможно, и все равно она выйдет на свет». Вот теперь получайте и слушайте, где был мой папа! Но один из мальчиков встает и говорит, что без Сталина мы бы не победили фашистов во время Великой Отечественной войны, и наша страна не стала бы такой могучей и сильной. Я взрываюсь. Она такая, потому что сотни тысяч людей ее строили и погибали, а Сталин только пользовался плодами их труда. Алина Никифоровна пытается остудить бушующие страсти, я – в полном одиночестве. Большинству или неинтересно, или трудно расстаться с привычным мифом. С тем мальчиком я не разговаривала потом все школьные годы.

Перехожу к восьмому классу Я занимаюсь в 17-й школе на Басейной улице. Моя любимая учительница Рахель Лазаревна Басина преподает русский язык и литературу. Ее окружает легенда. В 17-ю школу меня перевели из-за нее. Папа вел практику студентов по русскому языку и литературе в этой школе, и она была прикрепленным педагогом. После этого было решено, что Танька должна учить язык и литературу только у Рахели Лазаревны. Помню нашу первую встречу. Рахель Лазаревна жила вместе с сестрой и племянником во флигеле школьного двора. Мы постучались, и нам открыла дверь статная немолодая женщина с библейской – и теперь не могу найти другого слова – внешностью: темные, тронутые сединой волосы,

расчесанные на прямой пробор и собранные пучком на затылке, невысокий лоб, большие с поволокой темные глаза, овальное, очень правильной формы лицо, нос с тонкими «трепещущими» ноздрями и губы, тронутые еле заметно помадой. В одной руке у нее было яблоко, она держала его невероятно красиво, как на картине, и тут же извинилась за грызню. Весь ее облик излучал величественность и удивительное изящество. И такой она осталась на протяжении всех школьных лет, которые она меня учила. Русский язык, русская литература и ученики были смыслом и главным делом ее жизни. Нечего и говорить, как счастлив и горд был отец найти такую жемчужину и передать ей меня.

Долгие годы имя Рахели Лазаревны было как бы паролем входа в мир беззаветной любви к слову, к языку, к литературе. Помню организованный ею кружок литературы и живописи. Мы разбирали рассказы Тургенева или очерки Писемского, а потом шли в музей и анализировали картины передвижников. Это было приятно, но уже становилось архаичным по тем бурным временам: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский начинали волновать значительно больше.

К тому же периоду относится папина деятельность в харьковском Центральном лектории. Несколько лет спустя отец написал статью для «Вопросов литературы» о методах преподавания в высшей школе: «Студент – сосуд, который нужно наполнить, или светильник, который необходимо зажечь?». У него на этот счет сомнений не было. Я не знаю, характер ли это, природный темперамент, идеология и мировоззрение, но отец жил, горя и зажигая других людей. Иначе он не умел. Деятельность в Центральном лектории была одним из самых ярких проявлений этой потребности гореть и зажигать. В те годы казалось, что судьба советского общества решалась на поэтических вечерах, и он не жалел сил и нервов, чтобы привезти в Харьков из Москвы тогдашних кумиров: Евтушенко, Самойлова, Окуджаву и многих других. Успех этих вечеров был невероятен.

Помню один из таких вечеров (то ли Рождественского, то ли Евтушенко) – толпа и давка перед входом, с трудом я пробиваюсь к дверям, внутренне кляня и ругая себя, что не сообразила взять билеты заранее и холодея от мысли, что вдруг не попадем. Узкая щель приоткрытой двери, и я чуть слышно шепчу (использование его имени категорически отцом запрещалось): «Я – дочь Лившица». Меня втаскивает рука билетера, а мой спутник, которого я обещала провести – Витя Шрайман, – так и остается за дверью.

По сегодняшний день это мелкое предательство лежит на моей совести.

После одного из таких вечеров Евтушенко пришел к нам домой, и за ужином разгорелся между ним и отцом спор о его стихотворении «Идол». Если не ошибаюсь, отец уговаривал Евтушенко перестать «дразнить собак», не писать о Сталине, а смотреть вперед и делать все возможное, чтобы не появился новый Сталин. Вообще, он был экзистенциальный оптимист и активный деятель. Его отношение к студентам — не ко всем, а к тем, которых можно было зажечь, — было тоже активным и деятельным. Он ставил перед ними задачи и требования намного «выше» их роста и никогда не уставал возиться и нянчиться с ними, нередко добиваясь серьезных результатов. Я знаю, что они платили ему такой же преданностью и любовью. Не знаю, как родилась идея критической хрестоматии по литературе, над которой отец работал с М. Зельдовичем: от общения или от материала, но помню долгие часы вокруг большого стола групп из трех-четырех человек, которые вносили правки и собирали листы. И постоянные звонки — когда прийти помочь Льву Яковлевичу?

Лет двадцать назад Булат Шалвович Окуджава выступал в Иерусалимском театре, в зале «Шеровер». Зал был полон, концерт прошел с огромнейшим успехом. Окуджава пел в том числе и свои ранние песни, знакомые еще с тех лет: «Последний троллейбус», «Бумажный солдат», «Петухи». После концерта поэт отвечал на вопросы в своей знакомой еще с тех лет мягкой и уклончивой манере. Перестройка была в самом начале, прошлое объединяло с залом, настоящее стояло незримой стеной. После концерта я протиснулась к нему за кулисы: «Я — дочь Льва Яковлевича Лившица». Он взглянул на меня мимоходом: «Да? Очень приятно», — и отвернулся. Не узнал.

А было так...

Мы были в Харькове одной из первых семей, у которой появился магнитофон. Отец для сбора бабелевских архивных материалов регулярно по три-четыре раза в год ездил в Москву, и после одной из своих поездок привез магнитофонные ленты — бобины, с записью песен Окуджавы, тогда еще мало кому известного в Москве и совсем неизвестного в Харькове. Под эти бобины и купили первый магнитофон. Теперь, когда к нам забежали «на огонек», — слушали Окуджаву, когда специально приглашали в гости, — слушали Окуджаву, и утром в воскресенье за традиционным семейным завтраком с картошкой и селедкой тоже слушали Окуджаву. Помню, качество

записи было ужасное, с трудом можно было разобрать отдельные слова. Но отец этого не воспринимал. Он почти все песни знал наизусть после первого прослушивания живьем (память у него была феноменальная) и сердился, если кто-то двигался и переспрашивал непонятные слова. Ринулся он «в Окуджаву» так же яростно и безоглядно, как и во все другие увлечения.

Если кому-то Окуджава не нравился, то я думаю, что в тот период он выпадал из обоймы друзей. Способность «воспринимать Окуджаву» стала пробным камнем при новых знакомствах. Если я шла на вечеринку у друзей, меня спрашивали, есть ли в «том доме» записи Окуджавы, и если их не было, то репутация этого дома утрачивалась безвозвратно. Признание было абсолютным и не допускало никаких оттенков.

Ранним летом 61-го или 62-го года отец осуществил свою заветную мечту и пробил все в том же лектории вечер песен Окуджавы, который, конечно же, прошел с огромным успехом. Помню тихого, сосредоточенного и остранившегося Окуджаву и наэлектризованного отца – это была его победа над всеми скептиками, утверждавшими, что Окуджава – салонный бард, понятный только крошечной горстке снобов.

И все-таки главным знаком, под которым шли теперь годы его жизни и жизни нашего дома, была его работа, связанная с Бабелем. Нижняя часть книжных шкафов заполнилась папками «бабелевского архива». Каждая поездка в Москву заканчивалась каким-то удивительным новым знакомством или находкой. Вдова Бабеля Антонина Николаевна Пирожкова допустила папу к архиву Бабеля и его дневнику, который прятала почти 20 лет.

Об этом дневнике у нас в доме говорили года за два до того, как, наконец, появилась папина статья о «Конармии».

У сына Бабеля и Тамары Ивановой, скульптора Михаила Иванова, сохранилась не публиковавшаяся запись рассказа «Закат», потом работники ЦГАЛИ нашли сценарий «Старая площадь, 4», и отец доказал, что он принадлежит перу Бабеля. В нашем доме появился Леонид Баткин. Он сидел часами возле все того же магнитофона и переводил с листа из итальянского сборника бабелевские письма к матери и первой жене. От одной папиной поездки в Москву до другой время пролетало незаметно, и вот я снова бегу домой, как в театр, – за очередной порцией рассказов. Так же ревностно и дотошно теперь папа спрашивал меня, что я думаю о «Конармии», нравится ли эта книга моим друзьям?

Отец умер внезапно. Утром пошел в поликлинику удалить зуб, там был студент-практикант, к которому никто не соглашался пойти, и конечно же папа согласился – надо ведь и студентам на ком-то учиться. Придя домой, он почувствовал себя неважно, лекций в тот день у него не было, и бабушка уговорила его прилечь. Он прилег на диван с книжкой Азимова – мы тогда увлекались переводами американской фантастики. Мама пришла с работы поздно, я убежала на вечеринку в университет – по случаю 23 февраля и 8 марта. Мельком слышала, как она, заглянув в комнату, бросила ревниво: «Ну, тебя уже уложили, наслаждаешься Азимовым?». Я торопилась. Вернулась где-то около двенадцати. «На огонек» в тот вечер пришли друзья родителей – Багалеи и тетя Вита Гельзина. Входная дверь была распахнута. Папа лежал на тахте в окружении кислородных подушек, тетя Вита столкнулась со мной у входа: «Беги в аптеку, принеси еще подушек». Багалеи и мама были возле отца, бабушка ходила по коридору взад и вперед, ломая руки. Спросить, что случилось, было не у кого. Через несколько мгновений раздались хрипы, отец заметался и затих. Мама взяла его за руку, кто-то поднес зеркало, бабушка зарыдала. Я помню мамин очень громкий шепот: «Тише, тише, тише – все кончено, ничего изменить уже нельзя». И бабушкины крики.

Все было как во сне. Восемилетний Яшка продолжал спать в соседней комнате. Весть о папиной смерти распространилась моментально. В ту же ночь стали стекаться в наш дом люди. Рано утром Яшку увели в другую семью, потому, что «ребенок не должен этого видеть». Он провел там несколько дней в одной и той же кофточке. Мне кажется, что в те дни я почти не плакала. Папин друг со студенческих лет, анатом Яков Синельников, набальзамировал отца, и папа два или три дня лежал дома, в том же кабинете, из которого вынесли все, кроме книжных шкафов. Люди шли и шли бескончаемым потоком.

Потом помню панихиду. Она была в университетской Центральной научной библиотеке где-то в районе площади Тевелева. Гроб стоял на втором этаже. Помню, я смотрю вниз, на море голов, запрудивших всю широкую лестницу до самого входа. Я мало плакала в эти первые дни после похорон. Что будет с нами, что будет с папиной работой о Бабеле? Мы думали и говорили об этом очень много, этим как бы возвращая отца. Но дом зиял пустотой.

Это чувство непоправимой утраты и опустошенности, зияющей, ничем не заполняемой пустоты не покидало меня долгие годы. Мне

кажется, это было не только чувством утраты отца. Мы чувствовали непоправимость ухода незаурядной личности. Каждое мгновение, проведенное с ним, дарило совершенно особое неповторимое ощущение твоей личной ценности как личности и жизни как праздника, который нельзя растрачивать по пустякам.

Наступила весна. Я бросила ходить в университет (до летней сессии еще далеко) и сижу за папиным столом над бабелевским архивом, неустанно вглядываясь в круглый, удивительно понятный и четкий папин почерк. Многие бабелевские тексты, особенно пьеса «Закат», испещрены скрупулезными отцовскими отметками всех прежних бабелевских правок. Титанический труд! Архив в идеальном порядке. Все материалы разнесены по папкам, и на обложке каждой папки названия и списки материалов, которые она содержит. Вот их общий план. Произведения Бабеля. Письма Бабеля. Сценарии и киноматериалы. Выступления и речи. Документы. Все здесь есть, кроме отца. И ответа на самый главный для меня вопрос: почему Бабель стал отцу так важен? И я растерялась, не зная, как быть дальше.

Папина работа оборвалась, когда он, основываясь на всех собранных материалах и осуществленных исследованиях, собирался приступить к книге о творчестве Бабеля. Что мы можем и должны с этим делать? От Пирожковой из Москвы пришло письмо маме. Она писала, что много чего повидала в жизни, пережила и думала, что больше никакому смертному не дано проникнуть в ее душу. Но смерть Льва Яковлевича перевернула и взбредила все старые раны. Из ЦГАЛИ обратились с предложением продать им архив. Это немыслимо, как продать душу дьяволу – ведь это папина жизнь. Мама осторожно намекала, что, может быть, я смогу довести это до конца. Нет, я неспособна. Но меня поглощала мысль о том, как написать о папиной сгоревшей жизни...

Одним из последних проектов отца было издание книги воспоминаний о Бабеле его современников – проект, с которым он возился, как всегда, самозабвенно. Большая часть была уже собрана, и на семейном совете было решено, что этот материал надо передать Пирожковой, и она сможет пробить его публикацию.

Летом 1965 года мы с мамой приезжаем в Москву.

Помню вечер у Пирожковой, когда мы принесли рукопись. Я с удивлением и любопытством разглядывала ту самую квартиру, в которой жил Бабель, искала сундук, описанный Мунблитом. Сундука не было. Была обычная комната, мы сидели за четырехугольным столом и пили чай. Антонина Николаевна была серьезна, собрана, ари-

стократично проста и сердечна. Небольшого роста, как говорится, со следами былой красоты – большие синие глаза, вздернутый широкий нос, густые волосы, собранные в косу. Потом пришла дочка Бабеля – Лида, наверно, похожая на своего папу: черненькая, нос уточкой, слегка раскосые татарские глаза, ее облик был шаловлив и легок.

Я рассказывала, с кем из авторов будущего сборника воспоминаний успела поговорить и что они собираются сделать, они спрашивали подробно о нашей жизни. После этого связь с ними прервалась. Книга была издана в 1972 году в Москве, в основном так, как была задумана отцом, включила материалы, им подготовленные. Но ни в предисловии, ни на титульном листе нет упоминания отцовского имени – до сих пор не могу это понять, объяснить.

По сути дела, свои находки из бабелевского литературного наследия и свои основные, концептуальные идеи его творчества папа успел опубликовать при жизни. То, что осталось, было, как говорилось выше, рабочими материалами для того, чтобы начать писать книгу-монографию. Мы знаем, что когда отец умер, это было самое большое упорядоченное и систематизированное собрание материалов к биографии Бабеля. Он буквально стоял на пороге самого важного этапа своей работы.

То, что я пытаюсь сделать, – это понять его приговоренность к бабелевской судьбе: творческой и человеческой. Интерес к Бабелю возник после лагеря, Я так думаю, потому что среди тех имен, которыми он особенно дорожил в литературе (Салтыков-Щедрин, Лермонтов, А.Н. Островский, Пастернак, Ахматова, ранний Фадеев), Бабель появился последним. Перед моими глазами ребенка и подростка проходила история все большего его погружения в бабелевскую судьбу.

И той весной 1965 года, и на протяжении многих лет, когда тянулся и не решался вопрос с архивом, я нашла для себя еще одно, и думаю, главное объяснение отцовского увлечения Бабелем. Мне кажется, вглядываясь через призму трагической бабелевской судьбы в дилемму отношений художника и общества, творчества и времени 20-х – 30-х годов, отец искал ответов для себя, своего поколения и, наверно, моего.

Я не знаю, какие выводы извлек отец из бабелевской судьбы. Я не знаю, видел ли он итоги этой судьбы столь однозначно, как я. Но я знаю, что его напряженный «бабелевский» поиск гармонии в раздвоенности, упорная вера в выстраданные идеалы, бескомпромиссная борьба за их приближение также закончились трагической развязкой.

И он ушел так рано...

Виктория Орти

ТОХНОСФЕРА

Отрывки из книги

1. ОТ МЕТАФОРЫ К ФОРМУЛЕ. ОТ МИФА К ПОЗНАНИЮ

Танах являет собой самое великое литературное произведение, в котором за языком аллегории и метафоры проступают четкие законы семантики, образы несут смысловую нагрузку, соединяя реалии и метафоричность, и чем мощнее развитие человечества и чем обширнее «база данных» наших знаний об окружающем мире, тем яснее истинный смысл, стоящий за каждой метафорой. Ведь «призвание» метафоры – создать образное отображение мира, доступное пониманию его первобытным, «девственным» сознанием.

Представьте себе стопку книг, лежащую рядом с идентичным наслоением временных пластов. Некто homo sapiens снимает и пласты, и книги одновременно (стопка и наслоения убывают одинаково). Вместе со снятой книгой (прочитанной, осознанной, давшей знания и принесшей понимание новых истин) уходит в небытие метафорическое наслоение, ранее заменявшее эти знания. Чем тоньше стопка книг, тем homo sapiens отдаленнее от Начала Времен, современнее нам... Утончается пласт времени, знания растут (все больше прочитано книг), все меньше потребность в метафоре: обнажается суть и смысл истинной картины мира.

Отдельно стоит остановиться на свойствах языка, которым (не случайно, нет!) написана Книга книг.

Иврит напоминает набор математических формул или математических понятий: в основе – чаще всего трехбуквенный корень, реже двух- или четырехбуквенный, с ограниченным и точным сводом законов словообразования – это компактно умещается в голове, за каждым корнем стоит целая вселенная значений, смыслов, подтекстов, ассоциаций, что обеспечивает многоплановость изложения, не поддающуюся переводу; при изложении текста на другом языке приходится ограничиваться лишь каким-нибудь одним пластом, планом, смыслом – в ущерб другим. Объемность подменяется плоским отображением.

Математическая точность временных образований предоставила уникальную возможность использовать глагольные формы, не позволяющие адекватно перевести текст ни на один из существующих на земле языков: глаголы прошедшего времени созданы по законам будущего. Поэтому читателю становится ясно: это было, свершалось, но это же и будет, свершится! Повторяемость, преемственность; ветер возвращался, возвращается и будет возвращаться на круги своя.

Вослед сей хвалебной оде, вслед за этим романтическим описанием иврита, добавлю немного «соли земной», верну себя на грешную компьютеризированную почву. Тора была дана нам очень напоминающей архивированный файл. Любая программа записывается последовательностью операций и считывает определенные атрибуты (к примеру, фонты). В процессе архивирования из файла убираются интервалы, пробелы подразумеваются, но незримы, а то, что можно свести к одному выражению, – без лишних слов сводится к оному. В компактном виде файл складывается, занимая минимум места.

Лингвисты все чаще сравнивают процессы переработки синтаксической информации с компьютерной системой. Мы принимаем текст «извне», перерабатываем его, складываем, извлекаем, раскрываем... Текст Торы был подарен Моисею без гласных, без промежутков, без знаков препинания... Таким образом максимум информации уместился в минимуме места – для того, чтобы «раскрыться» для пользователя и стать Вселенной. Ибо не только слово, но буква Текста содержит множество смыслов.

Вернемся к метафоре и формуле. Представьте себе, что стоит за образом ада́ма, созданного из праха земного... Поколения мудрецов задумывались над этим образом, понимая, что – да́м-адама́-ада́м интерпретирует смысл Творения. Наше поколение прибавляет к комментариям о сотворении человека размышления об атомно-молекулярном составе праха земного, мы сравниваем его с человеческим, думаем про хромосомный набор... Красивая, исполненная аллегориями история превращается в простую биохимическую формулу, известную ученикам старших классов. Давайте посмотрим на смысл Текста.

Процесс сотворения человека описан в двух смысловых и словесных плоскостях. Изначально адам создан в едином мощном по-

** Да́м-адама́-Ада́м – в переводе с иврита означает «кровь-земля-человек».*

рыве одновременно со всем мирозданием, он – безусловная часть целого. За этим следует подробное и поэтапное развитие. Давайте посмотрим, приглядимся, вчитаемся.

Удивительная деталь – процесс первоначального Творения описан... дважды: в «Брейшит» существуют две последовательные главы: «Брейшит-алеф» («Бытие-1») и «Брейшит-бет» («Бытие-2»). В обеих повторены примерно одни и те же детали, но – с небольшой разницей, которую мы сейчас и попробуем обозначить. Для этого понадобится провести быструю инвентаризацию. В первом случае («Брейшит-алеф») последовательность такова:

- 1) сначала Б-г создал свет и тьму;
- 2) следом – воду и небо;
- 3) затем из воды выделил сушу и отделил сушу от вод, «создал зелень: траву семяносную, дерево плодоносное, производящее по роду своему плод, в котором семя его на земле»;
- 4) «светила в небосводе, чтобы отделить день от ночи»;
- 5) «рыб больших и все существа живые, пресмыкающихся, которыми воскишела вода, по роду их, и всех птиц крылатых по роду их»;
- 6) «существа живые по роду их, и скот, и гадов, и зверей земных по роду их. И человека, дабы властвовал над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле...».

...И сотворил Б-г человека по образу Своему, по образу Б-жю сотворил его; мужчину и женщину – сотворил Он их (28) И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владейте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле. (29) И сказал Б-г: вот, Я дал вам всякую траву семяносную, какая на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, семяносный, вам это будет в пищу. (30) А всем животным земным и всем птицам небесным, и всякому движущемуся по земле, в котором душа живая, – вся зелень травяная в пищу. И стало так. (31) И увидел Б-г все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.

Здесь все создано и функционирует наилучшим образом, по прочтении возникает ощущение прекрасного и гармоничного мира. Идиллия заканчивается описанием отдыха Творца на седьмой

день... Но это не является завершением «Брейшит-алеф» (что бы было бы закономерно), а открывает «Брейшит-бет»:

(1) И закончены были небо и земля, и все воинство их. (2) И закончил Б-г к седьмому дню работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал. (3) И благословил Б-г день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Б-г, создавая.

Последовательность Творения в «Брейшит-бет» иная:

- 1) пар поднимается с земли и орошает все лицо земли;
- 2) из праха земного создан человек и помещен в райском саду;
- 4) создана растительность и вкупе с ней – Дерево жизни посреди сада и Дерево познания добра и зла;
- 5) из земли образованы все животные полевые и все птицы небесные, которых Творец привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Адам выполняет роль лингвистического помощника Всевышнего – он дает удобные для произношения названия птицам, рыбам, зверям, вкладывая в них свой личный, «адамов», смысл;
- 6) создание Хавы (Евы) из ребра.

...А следом, в третьей главе, появляется змей, но о нем я пока умолчу.

Прочитав эти первые главки, столь схожие и несхожие одновременно, я поняла, что они породили у меня два совершенно разных отношения к Тексту:

первое – от начального текста (алеф) – эмоциональное, радостное, наполненное виденьем красок нового мира;

второе – от последующего (бет) – аналитическое, сухо отслеживающее ход событий.

Вопрос к самой себе:

Какое значение имеет твое ощущение, ведь Текст-то подарен не с целью помочь чьему-то самоанализу?

Ответ самой себе:

Текст подарен нам всем и каждому из нас одновременно. Я, подобно каждому из нас, априори способна к двоякому восприятию действительности – чувственному и умозрительному. У большинства превалирует то или иное, кому-то ближе язык формул, а кому-то – метафор... Подобно тому, как французы во всем ищут женщину,

мне во всем надо искать разум. Ведь именно мозг «сконструирован» персонально для каждого, и от действия тех или иных его зон зависит и наш мироподход. Тот, Кто подарил нам историю создания нашей среды обитания, знал об этом и все предусмотрел.

Кроме того, в разделе «алеф» **адам** (не имя человека, а лишь его обозначение) – существо, половая принадлежность которого не определена; быть может, это намек на некую стадию, возвышающуюся над делением на мужское и женское начало. Он, **адам**, принадлежит всему Созданию, и Создание принадлежит **адаму**.

Задумав Творение этого первого человеческого существа, Творец говорит: «...создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да властвуют над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» («Брейшит», 1:26), – употребляя образ и подобие как принадлежащие не Одному Единому, а всему созданному до **адама**... а значит – всей флоре и фауне, тверди и хляби, Мирозданию. Таким образом, Г-сподь впервые в метафоричной форме обозначил концепцию: **в первозданном мире все суть подобие всего, и все едино в Образе Творца, в том числе и человек**.

Но речь идет об описании «алеф». Кстати говоря, на иврите «алеф» не только первая буква алфавита, но и обозначение Начала всех Начал, принадлежащее Творцу.

А что же произошло в разделе «бет»?

Он начинается с описания... отдыха Творца – в **день седьмой**. Корень *шин-вет-айн* означает на иврите и цифру «семь», и понятие «клятва», «присяга», следовательно, фраза «**День седьмой**» может нести подтекст «**День Клятвы**».

(1) *И закончены были небо и земля, и все воинство их* (2) *И закончил Б-г 7 седьмому дню работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал.* (3) *И благословил Б-г день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Б-г, созидая.*

А следом идет описание Творения, которое я определила как сухое, логическое. Я уверена, что фрагменты этого описания станут впоследствии базой для обоснования тех или иных научных открытий, но я сейчас пишу о другом – о том, что в «Брейшит-бет» изложен иной момент Творения, отличный от первого.

ОТСТУПЛЕНИЕ. Хорошо людям творческим жить на этом свете. Испытавшие вдохновение знают, сколь оно прекрасно и неопишимо. Выплескивается все, что копилось в подсознании, – мир наполняется образами, красками, звуками, словами. Пишутся тексты, создаются картины, рождается музыка. В этом первом потоке присутствует порыв, но... вслед за всплеском начинается работа – утомительная и необременительная, счастливая и скорбная, быстротечная и долговременная. Творчество не бывает иным, оно всегда состоит из этих двух этапов – алеф и бет.

Так вот, по моему разумению, главка «бет» раздела «Брейшит» говорит именно о втором этапе Творения, наступившем после того, как **ВСЬ МИР УЖЕ БЫЛ СОЗДАН** в едином вдохновенном порыве. Просто наступил черед расставить акценты, ввести правила, установить законы, а это, судя по всему, оказалось не так-то просто. Обратите внимание: Тора начинается с буквы «бет» в слове **«БРЕЙШИТ»** («В Начале»). Мне кажется, что именно этим нам сказано: человеческая история начинается с **раздела «бет»**, а «алеф» – это изначально задуманная Гармония, к которой мир должен прийти, преодолев огромный путь. Замечу еще, что в части «бет» человек создается в первую очередь, и именно ему уделяется основное внимание. Здесь он вовсе не гармоничная часть Целого, а участок работы, над которым предстоит немало потрудиться.

Для начала (в первую очередь) в этот момент Творения создан не просто Универсальный пречеловек, бывший истинным подобием огромному миропорядку и Самому Творцу, а конкретный человек, которому подобрана пара, и появляются вполне обозначенные персонажи – женщина Хава (Ева) и мужчина **адам** (в отличие от универсального **адама** из «Брейшит-алеф», **адам** из «Брейшит-бет» – мужчина), **адам** и Хава (Ева) вводятся в «базу данных» Божественной Программы – после выполнения следующего действия:

И навел Г-сподь Б-г на человека этого крепкий сон; и, когда он уснул, вынул одно из ребер его и закрыл то место плотью.

И создал Г-сподь Б-г из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.

Это и есть пример прекрасного аллегорического повествования, которое современный школьник может изобразить простой формулой.

Представьте себе хромосомный набор мужчины **XУ** и женщины **XX**. Не правда ли, **XУ** – это всего лишь **XX** без правого нижнего «ребра» (а на иврите словом «цэла» обозначается и «ребро», и «сторона геометрической фигуры»)?

В разделе «бет» заложен научный подход к Созданию, это и генетика, и биология, и лингвистика, и физика, и химия, и всевозможные науки, известные нам и пока не ставшие частью нашего бытия... Но для того, чтобы увидеть **этот** смысл, надо быть человеком современным и уж никак не идти в пустыне за Моше... Хотя им, идущим тогда, можно только позавидовать: они слышали Глас Б-жий.

**** Очень важно отметить следующее: Адам как имя конкретного человека появляется намного позже. Этот конкретный мужчина по имени Адам является нам после сцены убийства Авеля Каином, родословная человечества переписывается уже с самого начала – Каин и Ёвель (Авель) уходят, а Адам и Хава рожают Шета... цепочка первых людей начинается так: Адам – Шет... Ёвель убит, а потомство Каина (хотя линия его не прервалась) исключено из дальнейших раскладов. Женский хромосомный набор **XX**.**

2. НООСФЕРА И ТЕХНОЛОГИИ

Этапы большого пути – технологии для нас, с нами, в нас

Разговор о ноосфере невозможен без попытки взглянуть на взаимодействие человека и Технологий, обучавших нас умению принимать и перерабатывать информацию – шаг за шагом, на протяжении долгих веков. Речь идет о МЕДИА-технологиях, от книги и до Сети. В этой главке я попытаюсь ограничить себя вектором КНИГА-РАДИО-КИНО-ТВ-СЕТЬ, а читатель сможет подумать и в ином направлении, припоминая развитие коммуникаций от зари человечества и до... нет, не заката – до нового дня.

По моему убеждению, ноосфера развивалась во времени-пространстве-качестве. Условно говоря, человек должен был пройти многоступенчатое развитие, прежде чем научиться воспринимать ОГРОМНЫЙ объем информации, уметь не потеряться в нем... К примеру, не все умеют ориентироваться в безразмерном Инете,

многие сидят и попросту «скользят», а в досетевую эру – занимались «зипзапами» ТВ, то есть бессмысленно переключали каналы. А что если взять и проследить становление медиа от книги до Сети?

Давайте попробуем воспринимать медиа в качестве посредника между нами и информационным полем, поставившим перед собой задачу воспитать человеческий разум для некой цели, определять которую я пока не буду, но обозначу уже в этой главе, ибо суть «воспитательного процесса» заключается в том, чтобы человек поднимался по ступеням развития, эволюционировал информационно. Я не буду вспоминать о том, что человеку всегда хотелось общения с себе подобными: появлялись племенные очаги, сборы у капищ, вече, амфитеатры, театры, Олимпиады и т. д. Это – отдельная тема, а мне хочется поговорить о контактах через неодушевленного посредника, ставшего детищем Технологий.

Судя по всему, происходило умное и постепенное расширение сознания: нас аккуратно провели от индивидуального восприятия информации к массовому (кино – апогей) и столь же аккуратно совместили несовместное – массовость и индивидуальность.

Начнем с книги. Ее можно было обсудить с приятелем в камерной атмосфере либо просто насладиться ею в одиночестве. Радио расширяет аудиторию реципиентов, но в этом случае принимающий и перерабатывающий «инфо» одинок или находится в камерном окружении, обсуждение принятой информации все еще не является важным навыком. Кино более коммуникативно, принимающий и перерабатывающий информацию человек находится уже в ТОЛПЕ (смех в зале заразителен, плач тоже, даже зевот от скуки – и тот повторяем соседом). Кино, кстати, явилось удивительным механизмом, подготовившим благодатную почву для фашизма и сталинизма. Эти идеологии жаждали общности масс, индивид поглощался и растворялся в желудочном соке Молоха...

Одним из наиболее значительных философов, писавших о взаимосвязи человека и технологий, был Вальтер Беньямин, трагически погибший в эпоху фашизма. Вот одна из его догадок:

«...Важен – в особенности в отношении еженедельной кинохроники, пропагандистское значение которой трудно переоценить, – один технический момент. Массовая репродукция оказывается особо созвучной репродукции масс. В больших праздничных шествиях, грандиозных съездах, массовых спортивных мероприятиях и военных действиях – во всем, на что направлен в наши дни киноаппарат, – массы получают возможность взглянуть

самим себе в лицо... массовые действия, а также война представляют собой форму человеческой деятельности, особенно отвечающую возможностям аппаратуры. (Публикация La Stampa, Torino.)

Телевидение начало аккуратно сужать круг воздействия на принимающего и перерабатывающего, все же лицезрение передачи в кругу семьи – вовсе не массовое мероприятие, но парадоксально появилось нечто иное, что дало огромный толчок построению ОБЩЕГО ОРГАНИЗМА на планете. И это – «племенной очаг» в виде ТВ экранов, создание глобальной деревни, о которой столь много говорили теоретики. Одни и те же передачи просматривали миллионы людей, одни и те же новости проникали в мозги населения Запада, одни и те же понятия питали мозги жителей соцстран. Мир сузился, границы стерлись, ведь этот огромный мир – всего лишь информация, принимаемая и перерабатываемая нашим мозгом. И тут – под занавес, для финальной и очень впечатляющей сцены, явилась Сеть. Хорошее название! Homo sapiens превратился в homo faber и быстро уступил место homo informaticus, оставшись один на один с невероятным информационным полем. Превращение неоспоримо, посмотрите на своих детей, столь легко и непринужденно владеющих компьютером и Интернетом – они не научены этому владению, они уже рождены с необходимыми навыками. И речь идет об эволюции не биологической и не социальной, речь идет об эволюции информационной, влекущей за собой изменения на всех прочих уровнях.

Сеть небесспорна. Многие ученые говорят о процессе десоциализации, и можно было бы согласиться с ними, ведь общение в форумах заменяет общение с близкими, молодые знакомятся, воркуют, любят – все это происходит в виртуале, но... мне гораздо интереснее думать о том, что наш мозг претерпел все изменения с одной целью: научиться комфортному вхождению в новую сферу необъятного и всеобъемлющего Знания, поджидающую нас на новом этапе. Подтверждает это предположение еще один довод: каждая новая Технология выступала в роли некоего полигона для обкатки наших возможностей, способностей, умения не только переработать информацию, но и правильно воспользоваться ею. Человек несовершенен! Книжки читали не все, а массовая литература развивала только телесное, приземленное, чувственное. Телевидение быстро создало систему перерыва на рекламу, приучая человеческий мозг к модулярному мышлению – информация объемом в

20-30 минут стала идеальной схемой, удобной для восприятия и запоминания. Рекламные паузы хорошо сработали на пару с видеоклипами (преподносящими краткое и красочное повествование в максимально сжатом виде, легко и комфортно проникающем в сознание зрителя). Человечество быстро приучилось мыслить лаконично, ухватывать образы, делать выводы, понимать суть без долгого разжевывания... Но информация-то навязывалась неким посредником, решающим за зрителя, что тому смотреть, напевать, покупать... Появился Интернет. Тут уж мы воистину стали «сами себе хозяева», можем и принимать информацию, и создавать ее, а можем... проводить все свободное время на порносайтах – разве нет? Выбор – за каждым. Если кому-нибудь придет в голову записать «Евангелие от Технологии», то мой совет: уделить Сети массу внимания, в ней и добро, и зло – все слилось воедино. Бескрайний источник информации, могущий служить Добру и Созиданию, а могущий воистину «наложить печать на чело и на руку», превратить человека в мыслящее животное, умеющее получать только лишь бесконечное физическое удовольствие, забыв про наслаждение духовное. Помимо всего, зная про форумную жизнь, могу сказать, что те эмоции, которые люди выплескивают наружу, будучи защищены псевдонимами (никами), не могли бы состояться в ситуации «лицом к лицу», ведь общество создало свод правил, ограждающих нас от взаимной ненависти, угроз, прилюдного секса, насилия. Но сетевая анонимность помогла человеку в создании ощущения собственной неприкасаемости и защищенности, оттого и выливаются тонны агрессии в бескрайнее море информации.

Мне становится не по себе – все больше и больше в тот момент, когда принимаю и понимаю простую закономерность: наш мозг – некий приемник-передатчик, принимающий-перерабатывающий-передающий информацию дальше. Представляете, какая Тьма надвигается на информационный мир из нашей виртуальной и не виртуальной ойкумены?

И в борьбе с этой Тьмой не помогут ни модераторы, ни администраторы сайтов, в этой борьбе человек должен сам осознать, что он ступил на ловко замаскированную яму, и отступить. Один шаг может решить судьбу каждого из нас, а, может быть, и общую Судьбу...

А почему бы нам и правда не припомнить, что зарождению жизни на земле предшествовала самоорганизация материи, «пред-жизнь» (термин И. Пригожина), результатом которой стала жизнь биологическая (к чему Дарвин?.. – вспомните дни Творения: в начале был

Хаос, которому предстоял процесс упорядочения), и отчего бы нам не провести столь простую параллель – перед появлением Разума должен был пройти процесс «предразума»? И коли нам не хочется ощущать себя таким перегноем цветника, на котором будут выращены прекрасные растения, попробуем стать первыми ростками. Отчего бы и нет?

Напоследок – цитата:

«Эволюционной точкой зрения, переходом к каждому последующему, более высокому организационному уровню может рассматриваться как результат слепых, эндогенных и спонтанных вариаций форм, за которыми следует стабилизация подходящей формы как результат взаимодействия организма с окружающей средой и, возможно, взаимодействий внутри самого организма. ...нужно учитывать наличие множественных, «вложенных друг в друга» эволюций, которым человеческий мозг обязан своей организационной сложностью: это и генетическая эволюция видов, и эпигенетические эволюции, связанные с историей индивида и эволюцией культуры».

Книга... Газета... Радио... Кино...Телевидение... Интернет...
 Что следом? Быть может – Человек, пришедший к самому себе и открывший СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ?

* Фрагмент лекции, прочитанной Ж.-П. Шанже в Центре биоэтики Университета Торонто на тему «ВЗГЛЯД НЕВРОЛОГА НА ОСНОВАНИЯ ЭТИКИ (Нейрофизиологические основы этического поведения)». Шанже Жан-Пьер (J.-P Changeux) – профессор Колеж де Франс, сотрудник отдела молекулярной нейробиологии Пастеровского университета, Париж.

Дина Ратнер

ТОГДА Я ТОЛЬКО НАЧИНАЛАСЬ

Тбилиси – мой родной город. В первый раз, оказавшись на улицах старого Тбилиси, я жадно вдыхала запахи, ловила звуки – вспоминала. Тысячу лет назад я жила здесь. Иду по улицам, словно след нюхаю – где, на каком месте был мой дом. Узнаю мягкое тепло пронизанного солнцем воздуха, яркое безоблачное небо, узорчатую тень платана, вспоминаю страстный говор, многолюдные улицы... Сколько радости и отчаянья вобрали в себя камни старых домов! Поколение за поколением сменялись в посеревших от старости стенах, сложенных когда-то из розового туфа. А ведь на месте этих зданий были другие, город много раз разрушался и возрождался из пепла.

Смотрю на новый музыкальный театр с легкой, парящей в воздухе скульптурой юной женщины – музой. Что было на этом месте сто, двести, триста, тысячу лет назад? Сколько раз юноши, зрелые мужчины, умудренные старцы решали для себя проблему свободы и необходимости, жизни и смерти, выбирая между смирением и непокорностью?.. На грузинской земле Амирани боролся с Богом, заявив о своей богоподобной сущности. С тех пор прошли тысячелетия, а природа человека осталась той же, все так же он предпочитает свободу необходимости.

Стою у памятника Пиросмани. Коленопреклоненный художник бережно прижимает к себе ягненка. Удивительно трепетное чувство жизни. Не в ощущении ли слияния Бога, природы и человека кроется тайна моей причастности к грузинскому народу?

На открытой веранде кафе поют два молодых грузина. Оба в белых рубашках, одинаково стройные, с низко спадающими прядями черных волос. Наверное, братья. Подхожу, слушаю. Выплескивается с их песней и моя душа. Языка не понимаю, но снова, как когда-то очень давно, становлюсь волной, подвластной воле океана. И нет больше тоски, отъединенности от людей.

– Подойди ближе, – кричит мне с веранды юноша на ломаном русском языке, – ты грузин?

– Грузин, – радостно подтверждаю я.

– Только грузин может так слушать.

Сейчас кончится квартал, будет поворот, должен быть поворот. Я спешу увидеть дом с узорчатой решеткой балкона. В самом деле, дом за поворотом оказался именно таким, каким я его себе представляла, только потемнел, осел, балкон увит одичавшей виноградной лозой. Через несколько шагов будет склон. Какая-то сила толкает меня вперед. Кажется, уже совсем близко. Пробегаю «Бакалею» с сидящим у входа продавцом. Раньше тут была маленькая лавочка, у входа сидел все тот же продавец – большой, добродушный человек с небритыми щеками, отоваривал детей леденцами. Совсем некстати выстроились новые, неотличимые друг от друга двадцатизэтажные блочные здания. С досадой миную их. Здесь сразу теряю след. Вдруг взгляд падает на прилепившиеся друг к другу домики на склоне горы. Там, в одном из них, я жила! Там пробуждалось мое сознание.

Вспоминаю бабушку, гордую своей независимостью, высокую худую еврейку, неотличимую от грузинки. Из всех детей огромной семьи она меня любила больше всех. Бабушка водила меня в древний, как вечность, храм, и я чувствовала себя наравне с Богом – ведь тогда я только начиналась.

Часто поднималась в горы и, когда терялся из виду лоскут крыши последнего дома, растягивалась на горячей земле, смотрела в небо и чувствовала себя такой же бесконечной, как медленно плывущие облака, солнце и синие вершины гор. Любила убежать и на главную улицу города, глазела на великолепие магазинных витрин, на шелестящих юбками красавиц, подсаживалась к старой, согбенной гречанке, торговавшей прямо на тротуаре восточными сладостями.

– А, это ты! – радовалась она. – Вот умру – занимай мое место.

Я тогда не понимала смерти.

В своих прежних воплощениях я уже была отважным витязем, резившей о любви женщиной, была богатой и бедной, толстым самодуром и смиренным переписчиком книг. Если бы мне выбирать судьбу, я бы стала поэтом и, как во времена истоков грузинской культуры, воспевала бы богоподобную природу человека.

Снова и снова ловлю себя на том, что смотрю вслед высоким, статным мужчинам. Таким был человек, в отношениях с которым я впервые поняла: любовь – это стремление давать, а не брать. Любить – давать свободу, а не забирать ее. С тех пор прошло много лет. Меняются времена, нравы, а любовь все так же остается прозрением добра и всепрощения.

У аптечной витрины, в коляске, плачет младенец, его мама, на-

верное, в аптеке, а ребенок проснулся и плачет. Качаю коляску, мы с ним смотрим в глаза друг другу – безмолвный диалог. Удивительно умный взгляд. Все понимает, будто пришел из неведомого далека и принес с собой чьи-то уже прожитые мысли. Подошел мальчик лет пяти, с широко распахнутыми, по-детски удивленными глазами. Хочу ему что-нибудь сказать, но младенец цепко держит мое внимание.

– Это твой братик? – обращаюсь я, наконец, к мальчику.

Младенец в коляске заплакал. Я не должна была в его присутствии говорить о нем с другим, и вообще не должна была отвлекаться. Обиделся. Дети до полугода необыкновенно интуитивны, чувствуют мысли, настроения. Потом теряют эту способность, будто забывают накопленный предшествующими воплощениями опыт и становятся просто детьми. На крик младенца из аптеки выбежала мама. Полная, с открытой скульптурно красивой шеей, она напоминала раскидистую, увешанную плодами яблоню. Я виновато улыбнулась – мол, не справилась.

– Спасибо, калбатон^{*}, – женщина сунула сумку с покупками в сетку под коляской и строгим голосом заговорила со старшим малышом, давая мне тем самым понять, что это он виноват. Я попрощалась, еще раз оглянулась на младенца во всем белом и унесла с собой его сосредоточенный взгляд; он теперь вроде моего ангела-хранителя.

Высоко в горах, в зелени лесов, белеет храм. Первый храм единому Богу построили в Грузии евреи задолго до нового летосчисления. Грузин, подобно еврею, – не раб, а соучастник Творца. Храм как средоточие света, центр, стягивающий к себе устремления душ. Может быть, когда-то туда ушел мой предок в поисках недоступной для простого смертного мудрости, а может, прятался там от мусульманского засилья и собирал вокруг себя боевую рать. Воин-землепашец-поэт – так ли уж это внове для истории многострадальной Грузии? Был ли тот человек голубоглазым блондином или брюнетом с библейскими глазами и могучим разворотом плеч? Дело не во внешнем облике, ведь мы наследуем душу. Мы узнаем себя в песне, в интонации речи, в обращенности к Богу. В русском православном храме человек стоит на коленях, опустив очи долу, – Господи, прости и помилуй. Не столько смирение и отказ от своего «Я», сколько диалог с Богом, характерны для еврея и грузина. Грех

^{*} Госпожа.

же означает утрату возможности обращаться к Создателю на равных, утрату личного начала, чести; лучше смерть, чем бесчестие. Грузин не коленопреклоненный стоит в храме, а раскрыв ладони и подняв голову – лицом к лицу. «Шамартеба» – последний взгляд в глаза судьбе, Богу.

Я не заметила, как оказалась в круглом сквере с могучими, необхватными деревьями. Посреди сквера – незамысловатый фонтан. Села на скамейку и устало вытянула ноги. Так отдыхают путники после долгой дороги. Тихий шелест эвкалипта, нескончаемый рокот фонтана, словно звук далекого водопада. На соседней лавочке присели две девочки – пощечечут и вспорхнут. На другой скамейке расположился дед с кошелкой, в которой виднелись бутылки с кефиром. Дед переводил потухший взгляд с девочек на рыжую бездомную собаку в тени эвкалипта. Грустное зрелище – одинокий старик. Люди начинают стариться с того момента, когда признают, что им уже не по силам что-либо изменить в своей жизни. Следующий день ничем не отличается от предыдущего, одна и та же дорога: в магазин за кефиром и снова домой. Собака медленно поднялась, с опаской подошла к старику, обнюхала и направилась к девочкам, постояла в отдалении от них, подошла ко мне. Что бы я ей сейчас ни сказала, все будет неправда, а правда состоит в том, что у нее нет хозяина, нет дома и я должна ее взять с собой. Но по тому, как дворняга поджимает хвост, ничего подобного она не ждет.

Я поднимаюсь со скамейки.

– Ну что, псинка, пойдем?

Пес, готовый каждую минуту отступить, неуверенно двинулся за мной.

– Пойдем, псиночка.

Мы поднимаемся в гору, к дому, где живут мои друзья.

– Что же ты отстаешь, пойдем, а там что Бог даст. Хуже не будет.

Собака вильнула хвостом, вроде как согласилась.

По обе стороны дороги через заборы свешиваются хурма, груши. С ветки упало и покатилося яблоко. На плоской крыше одного из домов молодуха стегает кнутом расстеленную для просушки шерсть. У ворот другого дома стоит худенький мальчик с глазами олененка Пиросмани. Мне почему-то подумалось: ему будет трудно жить, так и не научится предпочитать журавлю в небе синицу в руках. Из соседнего двора выскочил огромный бульдог и как оглашенный стал лаять на моего спутника с правом сытого, почуявшего голодного, бездомного бродягу.

– Дурак! – кинулся оттаскивать бульдога мальчик. – Не обращай на него внимания, он дурак.

Мы улыбнулись друг другу. Хотелось мальчика позвать с собой, он бы пошел.

Идти в гору трудно. Остановилась перевести дух, остановился и пес. Остановился, заглянул в глаза – может, не ходить дальше?

– Идем, – зову я.

И он без веры, что наконец и ему выпадет счастье обрести дом, идет следом. Пройдет несколько шагов и встанет. Снова зову. Так мы пришли к дому моих друзей.

Хозяева – муж и жена – поливают сад. Очень даже идиллическая картина. Он – худощавый, с аккуратно подстриженной седеющей бородой и мечтательной улыбкой; она – в свободном одеянии, нечто вроде греческой туники, открытые руки и шея золотятся закатным солнцем. Сад у них маленький: две груши, гранат, несколько молодых виноградных лоз, грядка кинзы и у самого забора кусты помидоров. Первой нас с собакой заметила хозяйка дома Венера и поспешила навстречу:

– Бродячий пес! Прогони скорей! Пока Эрлом не заметил, он не позволит выгнать".

Я взяла Венеру за руку, тихонько отвела подальше от Эрлома и зашептала ей рассказанную мне в детстве бабушкой притчу:

– Шел по дороге бедный человек, за ним собака увязалась. «Уходи», – говорит он ей, а собака идет следом. «Уходи, нам самим есть нечего», – а собака идет. Тогда он взял камень и бросил в нее. Собака нехотя повернула обратно, но не прошла и ста шагов – рассыпалась золотыми монетами. Прохожие бросились подбирать. Пока тот человек подбежал, не осталось ни одной монеты. Отсюда мораль: не нужно прогонять того, кого нам Бог посылает.

Венера согласилась.

Говорят, когда супруги долго вместе живут, они становятся похожими друг на друга. Венера с Эрлом схожи не только лицом, но и сложением: оба худы до аскетизма. Правда, по разным причинам: он – оттого, что довольствуется малым, она же считает худобу своим стилем. В чем совершенно права: прибавь она несколько килограммов – и утратила бы шарм. А так – прямо француженка. Обратная сторона этого изыска в том, что Венера быстро устает. Мы идем с ней от калитки к дому.

– У нас гость? – Эрлом бросает шланг, которым поливал сад, и приветливо смотрит на собаку.

Пес радостно завил хвостом – его признали. Пока хозяева сооружали прищельцу нечто вроде конуры, я размышляла над тем, кем бы мог стать Эрлом, не будь он учителем истории. Ботаником, всматривающимся в мир живой природы? Ихтиологом, выводящим новые популяции рыб? И тут же отвергала эти предположения. Подобные профессии предполагают возможность не только созерцать действительность, но и активно вмешиваться в нее. А Эрлом сомневался в правомерности прививать плодовые деревья – это насилие. Нельзя убить паука, снять паутину, нельзя сломать в саду ветку и, уж конечно, выгнать случайно приبلудившегося пса. Пока сокурсники обзаводились машинами и дачами, он думал. И чем больше думал, тем меньше говорил – не более ли достоверно то, о чем молчишь?

Быстро темнело. На фоне фиолетовых сумерек рисовались черные силуэты деревьев. Собака сидела в наспех сооруженной конуре – ящике из-под старого улья, и все норовила выказать радость по поводу обретенного жилья: выскочит, подпрыгнет и, будто образуясь, снова степенно усаживается в конуре на потертый коврик.

Живет Эрлом с женой в недостроенном отцовском доме. Отец всю жизнь строил дом. Решил: «Построю – и самую большую светлую комнату отведу под мастерскую, буду заниматься живописью». Пока строил, забыл о своем намерении. «Жизнь не имеет смысла», – говорил отец перед смертью. Может быть, поэтому Эрлом не стал тратить время на отделку дома и приобретение машины – он созерцал и думал, это было его талантом, призванием. Разговаривать с Эрлом легко, вроде как получаешь право быть самим собой, только в улучшенном варианте. При этом открываешь для себя очевидную хозяину истину: мы свободны в той мере, в какой переносим жизнь из плотского существования в духовное. Хозяин недостроенного, бедного и потому особенно уютного дома живет вне времени – впрочем, мудрость всегда вне времени. Когда разговариваешь с Эрлом, будто приостанавливаешь бег и погружаешься в мир его души. Вокруг становится удивительно тихо, такая тишина бывает, когда вслушиваешься в шорох падающего снега. И учитель Эрлом необыкновенный, его истолкование фактов истории разъясняет ученикам не только причину войн, смену царских династий, соответствие и несоответствие производительных сил производственным отношениям, но и самое главное – историю добра и зла. Любовь и коварство, простодушие и зависть присущи природе человека. Вот тут-то и проявляется педагогический дар Эрлома: он учит бедного не завидо-

вать богатому, учит мужеству не отречься от праведного выбора ради честолюбия и материального достатка; в противном случае человек утрачивает чувство пути.

Всегда доброжелательный, умиротворенный, Эрлом вдруг начал нервничать, бегать по комнате, кричать. Это означало – он поссорился с женой. Причина их ссор всегда одна и та же – жена одалживала деньги и покупала что-то вроде старинной люстры или бронзового канделябра. На этот раз она купила инкрустированный перламутром столик на колесиках.

– Для гостей, – робко оправдывалась Венера.

– При чем здесь гости? – сдерживая раздражение, спрашивал Эрлом.

– Люди придут...

– Ну и что?!

– Очень удобно чай подавать, все поставишь на столик и везешь, не нужно бегать двадцать раз из комнаты на кухню, – тихим голосом, не поднимая глаз, говорила Венера.

– Боже мой! – отчаивался хозяин.

– И стоит дешево, всего лишь двадцать рублей! – Венера спешила предотвратить монолог мужа о том, что у него нет денег и с тех пор, как женился, не может выбраться из долгов.

Я тут же стала уверять Эрлома: такой очаровательный столик, прямо находка, подарок судьбы и, если он захочет, его тут же можно продать во много раз дороже – не за двадцать, а за двести рублей. Впрочем, за такую именно сумму Венера и приобрела его.

Эрлом безнадежно махнул рукой и ушел в свою комнату. Спустя несколько минут возвратился, подошел ко мне и проникновенно спросил:

– Ну, скажи, зачем нам эти покупки?

– Красиво, – поддержала я Венеру.

– Что красиво?

– Все это, – я обвела рукой антиквариат: люстру, канделябры, столик.

– О Господи! Ничего нам не нужно. Понимаешь? – Он резко развернулся к жене и повторил: – Ничего!

– Хо, чемо батано,* – покорно согласилась Венера.

В следующий раз Эрлом был удручен новыми чехословацкими стульями.

* Да, мой господин.

– Но ведь к нам люди ходят, нужно же им сидеть на чем-то, – Венера смотрела невинными глазами.

– А раньше? На чем они сидели раньше?

– Старые уже неприличные.

– Верно, неприличные, – поддакивала я.

– О-о-о, – стонал Эрлом, хватаясь за голову.

Впрочем, то был единственный повод для размолвок, в остальном жена спешила предупредить желания своего «батона». Каждый день стирала и гладила его любимую желтую рубашку, по утрам подавала геркулесовую кашу с медом. А к тому времени, когда Эрлом возвращался с работы, ждала его.

Вот и сегодня Венера не пошла со мной в город, ждала мужа.

– Не любит он приходить в пустой дом, – объяснила она.

– А кто любит? Ты знаешь таких?

– Наша Тамрико. Соседка наша одна живет. Когда Акакий, брат Эрлома, женился на ней, считалось, осчастливил, взял девочку с гор – тихую, работающую. Помню, восхищался ее румянцем во всю щеку и умением всего лишь за один час приготовить обед, вымыть полы и постирать белье. При этом всегда вспоминал меня, – рассказывала Венера, – я за неделю не могла переделать столько дел. Но Тамрико была тогда совершенно невежественной, Акакий смеялся: «Скажи, что такое ватерпас?». Тамрико молчала. «Не знаешь, – хохотал он. – А что такое унитаэ? Тоже не знаешь». Ему было скучно с ней. Приходил домой поздно, иногда не ночевал. С разводом ничто не изменилось в жизни Тамрико. И до развода была одна, и после. Как-то зимой поздно вечером мы сидели с Тамрико, разожгли камин, греемся, разговариваем, кофе пьем. Пришел ее муж, Како, дочка проснулась от стука его башмаков, села в кровати и проговорила: «Па-па» – она тогда только училась говорить.

– Ого! – изумился Како, – не забыла меня.

Было чему удивляться: он почти не видел ребенка, приходил ночью, а когда утром Тамрико дочку в ясли отводила, Како еще спал.

Сначала Тамрико боготворила Акакия, старалась угадать его настроение, чуть ли не каждый день толкла орехи для сациви, а спустя год-полтора он раздражал ее, и чем дальше, тем больше.

– Может, оттого, что изменял?

– При чем здесь изменял? Грузинскую женщину это мало трогает.

Пока Венера рассказывала про свою золовку, стемнело. Жар раскаленной за день земли, усилившийся запах трав, аромат созревающей айвы, пение цикад томили ожиданием, вечным, неизмен-

ным желанием любви. В воображении рисовалась стройная статья грузинского мужа: воина-поэта. С поднятым забралом прошел он свой короткий путь и погиб в бою. Рано умер, сына не оставил. А сын не родил сына, и у сына не было сына. Вот я и одна теперь, встретившиеся мужчины так мало схожи с тем воображаемым землелепашцем, певцом и рыцарем чести...

— Там-ри-ко, — нараспев позвала Венера вышедшую из маленького, будто игрушечного, домика женщину. — Тамрико, у нас гостя.

Мы подошли ближе. Я разглядела в темноте сероглазую, коротко стриженную, с тонкими чертами лица женщину средних лет. Я было наклонила голову в знак знакомства, но Тамрико не ограничилась таким приветствием, она мягко взяла меня за плечи, притянула и поцеловала. Так невинно и горячо целуют дети. В ответном порыве я прижалась к ней, будто встретила давно потерянную сестру. У нас с ней и в самом деле было сестринское сходство. Не знаю, уловила ли это Венера. Схожи были удлинённостью лица, разрезом глаз и грустью во взгляде. Впрочем, может быть, мне это только показалось.

— Добро пожаловать в мою хижину, — радушно пригласила Тамрико.

Хижина состояла из комнаты и кухни. В комнате огромное, во всю стену, незасторенное окно, окно-глаз. Подумалось: Тамрико просыпается с рассветом, смотрит, как розовеет небо, пробиваются из-за гор первые лучи. Сейчас в окне темно. Настольная лампа высвечивает на письменном столе круг с разложенными бумагами. Должно быть, хозяйка работала.

— Тамрико у нас сказочница, — заметив мой взгляд в сторону письменного стола, сказала Венера, — сказки для детей пишет.

— И немножко для взрослых, — смущенно добавила хозяйка.

Венера подошла к окну, задернула штору.

— Неуютно с открытым окном.

— Наоборот, — возразила Тамрико, — с закрытым окном как в клетке, а так вроде летишь к ночной звезде.

В комнате еще были встроенный в стену шкаф, полка с книгами и низкая, покрытая пестрым домотканым ковром тахта. Вошел радостный Эрлом.

— И ты тут как тут, не упустишь случая зайти к Тамрико, а тебя никто не звал, — шутливо выговаривала ему Венера.

Эрлом — единственный мужчина на два дома. Живи он в библейские времена, его души и на двух жен хватило бы. Эрлом направился на кухню, что-то искал там, нашел и крикнул нам:

– Иду разводить огонь!

Подчиняясь его устремленности, все двинулись следом.

Место для очага, над которым склонился Эрлом, было давным-давно обожжено. По краям выложенной камнем выемки с золой вбиты рогатины с толстой поперечиной, к железному кольцу которой хозяин подвесил казан и, как во времена патриархата, стал священнодействовать с огнем. Мы с Венерой ломаем сушняк, Тамрико бегают в дом – собирают все для лобиио.

Огонь завораживает. Смотришь – и появляется ощущение зыбкости, преходящести земного бытия. Такое же состояние бывает, когда смотришь на текущую воду реки.

Пришел из своей конуры-улья пес и сел позади Эрлома – признал хозяина. Незаметно появился худенький соседский мальчик с глазами олененка на картинах Пиросмани. Мы обрадовались друг другу, как старые знакомые. Мальчик принес и отдал Тамрико персики, сказал, что его послала мать. Мне подумалось: сам пришел, любит здесь бывать. Стоит в сторонке и смотрит своими удивительными глазами. Дети верят в чудеса, взрослые же не могут оторваться от реальности, и в этом смысле ребенку лучше. Может быть, поэтому Тамрико пишет детские сказки, прорывается в мир мечты.

Эрлом помешивает в казане деревянной лопаткой лобиио. Тамрико с Венерой тут же, на врытом в землю столе, режут крупными ломтями хлеб, огурцы, сулугуни. Вкусный в Грузии хлеб. Настоящий. Серый, ноздреватый, пахнет полем, солнцем, пылью дорог, и вкус необыкновенный: чуть солоноватый, а разжуешь – сластит. Хлеб, как живая вода, жаль обронить хоть каплю-крошку.

– Гамарджоба! – от калитки шел молодцеватой походкой человек лет пятидесяти, через плечо переброшена оплетенная бутыл с вином.

– Батоно! – обрадовались все, – заходи, дорогой!

– А я смотрю, дым у вас, ну, думаю, шашлык жарят. Повел носом – оказалось, лобиио. Уходить уже поздно, а то подумаете, пришел Гочи, принес вино, пожалел и унес обратно.

– Родственник наш, – представила Венера пришедшего.

– Мой дед был прадедом Эрлома, – пояснил Гочи. – Мы здесь все друг другу родственники. Как-то пытался разобраться, ничего не получается. То ли я довожусь Эрлому дедушкой, то ли он мне. Когда считал, чуть ли не в бабушки ему попадаю. Плюнул и больше не разбираюсь. Давайте пить! Киндзмараули со своего

виноградника! Что, Эрлом, смотришь, думаешь, откуда у Гочи виноградник? А я в свое имение ездил. Как увидели меня старики, собрались и давай просить: «Гочи, дорогой, шел бы ты к нам в председатели колхоза. За план не беспокойся, в три раза больше сдадим государству. Ты свой человек, ближнего не обидишь. О прадеде твоём Соломоне до сих пор добрая молва идет. Он, князь, нас, крестьян, за родных почитал. Заботился о каждом дворе, вдову на зиму с худой крышей не оставлял. Первый видел, у кого в чем нужда. И люди в долгу не оставались, по совести жили. А теперь райисполком председателей шлет. Что ни год, то новый. Не приживаются они, чужие. Приходи, – говорят, – дом тебе поставим, хорошо жить будешь, не пожалеешь».

– Вот и иди, будем к тебе в гости ездить, – бросила Венера.

– Не, не пойду. Лучше стану, как дядя Яша, стекольщиком. Представляете, – встал в позу Гочи, – из кармана складной метр торчит, летом и зимой хожу в синем халате. И, как дядя Яша, буду носить стекла под мышкой. Другой бы обрезался, ведь голой ладонью держит, а ему хоть бы что. Сколько его помню – не меняется. На все Тбилиси один стекольщик. А тут задумали к нему учетчика поставить, говорят, у тебя нетрудовые доходы. Стекло метр на метр – рубль двадцать, изволь квитанцию выписать. К учетчику бухгалтер еще потребовался – и все на одного дядю Яшу. А тот знай себе работает. Мероприятие не оправдало себя, банк лопнул.

– Ты лучше расскажи, как дегустатором работал, – попросила Венера.

– Работал, – расправил плечи Гочи. – Послали меня на коньячный завод. День держался, два держался, сторонился всех – лицо официальное. А на третий не выдержал – напился, загудел, значит. Начальству знать дали, прикатило на черной «Волге». «Ты, – говорит, – сукин сын, зачем сюда приехал?» «Ты, толстомордый, – отвечаю ему, – сколько получаешь? Тысячу? А я сколько? Ты осетрину жрешь, а я хек. Вот и проверяй сам».

– Теперь орехи в городском саду рву, – с притворным смирением заключил Гочи. – Утром в пять часов все спят, я рысцой к саду, вроде пробежечку делаю, а сам на дерево. Смотрю – милиционер идет, я его вижу, он меня нет. Подойдет ближе, смирно сажу, отойдет – опять рву. Заметил. «Ты что там делаешь?» – кричит. «Орехи рву». – «Ты чего хулиганишь?!» – «А что?» – «Чужие орехи рвешь». – «Я свои рву». – «Как это свои?» – «А чьи же?» – «Чьи? – растерялся милиционер. – Государственные». – «А я что, не государство?» –

«Слезай, болван. В участок тебя отведу. Народные орехи». – «Я и есть народ».

Все смеются, а Гочи серьезен. Гочи разливает вино.

– Генацвале, – обращается он к мальчику, – почему в стороне стоишь, сядь рядом со мной. У нас дети священные, – говорит мне Гочи, – у нас нет своих и чужих детей. Все свои.

Обжигающее перцем лобно, чудесное прохладное вино, славные вокруг люди. Родовая общность людей. Когда-то в старину жили большими семьями, родами, а сейчас у каждого своя нора. И в Грузию проникло отчуждение отцов и детей, и грузинская женщина стала сама себе голова. Последние слова я сказала вслух.

– Что ж ей делать, – подхватил Гочи, глядя в огонь костра. – Мужчина перестал быть добытчиком, опорой семьи. Независимость женщины – это следствие, ей или до седых волос смиренно ждать охотника на мамонта или самой добывать хлеб, самой делать свою жизнь. Тут уж не остается выбора – спасайся, кто как может. Женщина – научный сотрудник, женщина – мать, женщина – хранительница очага, она же и добытчик... Как это совместить в одном человеке? Только б не утратила свою первородную сущность – продолжательницы жизни. В семье по одному, максимум, два ребенка. А сколько женщин не замужем! Это катастрофа. Национальное бедствие. Такое положение можно объяснить разными причинами: и миграцией с гор, и проникшей к нам свободой нравов, но то не причины, а результат человеческой неустроенности. Отсюда отчуждение не только отцов и детей, но и людей одного поколения, одной семьи.

– Нико! – позвал певучий женский голос с соседнего двора.

Мальчик с глазами олененка встrepенулcя, обвел нас прощальным взглядом и ушел в темноту.

Смотрю в догорающий костер, как в детстве, когда в печке прогорали угли, жалела умирающий огонь, будто с огнем кончалась чья-то жизнь.

– Батоно, батоно, – тихонько теребила Венера Эрлома, – тебе завтра рано вставать, опять не выспишься.

Гочи разлил всем поровну остатки вина. Выпили и стали расходиться. Я помогаю Тамрико убирать посуду. На кухне у нее гирлянды чеснока, лука, сушеного перца. Тут же огромный медный чайник, ступа с каменным пестиком и старинный высокий кувшин для вина.

– Весь старый хлам из деревни привезла, – заметила мой взгляд Тамрико, – жалко выбрасывать, еще прабабушкины вещи. Все кажется: в этой утвари – души моих предков.

Я смотрю на Тамрико: мягкая улыбка, девичья ясность глаз. Темная, длинная по щиколотку юбка – символ вечной женщины, хранительницы очага. Но хранить уже нечего. С мужем Тамрико давно развелась, дочь вышла замуж и ушла из дома.

Весь мир звучит, но мы слышим только ту мелодию, которая попадает в резонанс с нашими чувствами. То ли общность судьбы с Тамрико определила одинаковость наших чувств, то ли схожесть притяжения мира определила схожесть судеб? Наше одиночество – от невозможности идти на компромисс.

– Семьи без уважения друг к другу не бывает, – словно продолжая мои мысли, говорит Тамрико. – Если бы муж мне изменил, я бы простила, но я перестала его уважать, и с этим ничего не могла поделать. Да что о нем говорить, с тех пор прошло двадцать лет. После развода мы с дочкой поселились в этом домике, отдала я Кетеван в ясли и пошла работать в школьную библиотеку. По вечерам устраивали семейный ужин на двоих и спали вместе в одной постели, пока Кето замуж не вышла. Тогда же, двадцать лет назад, я начала писать сказки для детей. Вернее, не для детей, для самой себя пишу. Сказки со счастливым концом. Эрлом надумил отнести их на студию мультфильмов. Помню, вошла к редактору отдела «Программа для детей» и при взгляде на худого, сутулого человека с усталыми глазами мне вдруг стало очень хорошо, будто пришла к давнишнему знакомому, другу. Редактор беспрерывно курил, дверь комнаты была открыта, чтобы дым выходил. Помню, тогда захотелось закрыть дверь – мешали сновавшие по коридору люди, их голоса, шаги. Почему-то подумалось: этот гордый одинокий человек здесь, на телевидении, вынужден суетиться, угождать начальству. Редактор послал меня в соседнюю комнату, к секретарю, зарегистрировать рукопись, но я не могла уйти, ноги словно прилипли к полу, да и не осталось душевных сил знакомиться с новым человеком – секретарем. На Давиде – так звали редактора – исчерпала в тот день весь запас эмоций; в разговор с другим я бы в тот момент просто не включилась. Наверное, он понял это, потому что оставил мои сказки у себя, без официальной регистрации. Теперь-то уж я знаю, отчего у него такой измученный вид – с директором студии не ладит, отстаивает каждый понравившийся ему сценарий. Однажды даже хотел уволиться из-за того, что запретили уже отснятый фильм. Но друзья уговорили – остался, у него же семья, кормить нужно. В Давиде будто два человека: отшельник и горячий, безудержный бунтарь, считающий

себя ответственным за все зло, происходящее в мире. Я понимаю, нет права любить женатого, но право на любовь дает любовь. Страшно и чудесно смотреть ему в глаза: как в море плывешь – тянет вперед. Знаешь: не хватит сил вернуться назад – и все равно плывешь. Как в гору идешь, гора без конца, не дойти тебе до вершины, но повернуть не можешь. В одной восточной сказке влюбилась принцесса в месяц. Узнал об этом отец и запретил ей смотреть на небо, а чтобы глупые мысли не смущали девушку, решил выдать ее замуж. В день свадьбы вышла принцесса в сад попрощаться с месяцем, но, боясь нарушить запрет отца, не поднимала глаз на небо. Вдруг увидела в реке отражение месяца. И пошла к нему... Это в сказке, а в жизни приходится долго терпеть. Однажды приснилось счастье. Стою в узкой, мчащейся по горной речке лодке. Лодка вот-вот достигнет порога, куда с грохотом падает вода. И все кончится. Надо мной – огромное, горячее, красное, как апельсин, солнце. Я протягиваю к нему руки, и солнце поднимает меня и прижимает к себе. Это был он – Давид. Так хорошо стало. Тепло, покойно. Вроде как силы прибавились. Вот я и пишу сказки, тут творишь новый мир, состязаясь с Богом в справедливости. В сказке случается то, что должно быть. И никаких тебе разочарований, обманутых надежд. Быстро снашиваются каменные башмаки и истираются железные посохи на дороге испытаний. В сказке – без обмана: каждый получает свое. Нет безответной любви, Авель воскрес, Каин наказан, добро побеждает зло, жизнь – смерть. И то, что мы просим у Бога как чуда, в сказках свершается как должное.

Тамрико замолчала. Давно ночь. Сидим в уютной, мягко освещенной настольной лампой кухне, как в ковчеге среди темноты. Два человека с одной судьбой. И я узнала в Тбилиси не только дома, улицы, восходы и закаты, но и человека, в другом узнала себя. Два солдата войны длиною в жизнь.

Тамрико медленно, вполголоса читает стихи Галактиона Табидзе:

*Пусть я глупец и лжет моя мечта,
Но без мечты душа моя пуста.
И сердце снова ждет и видит сны,
И верует в приход своей весны –
Весны надежд, свершений наяву,
Весны, ради которой я живу...*

В стену, рядом с оконной рамой, что-то мягко стукнуло. Мы с Тамрико переглянулись. Снова послышался «тук». Еще и еще раз. Через несколько секунд за окном, как из-под земли, вырос и прилип к стеклу Гочи.

— Заходи, раз пришел, — позвала Тамрико

— А я смотрю, свет горит. Ну, думаю, не спят. В саду луна, как прожектор, светит, и пока все милиционеры видят сны, попользовался общественным достоянием. — И Гочи стал вытаскивать из карманов перепачканными, как у мальчишки, пальцами горсти зеленых грецких орехов.

— Поедем в горы, — неожиданно предложил он.

Уговаривать нас не пришлось. Машина Гочи, голубой, старой марки «москвич», стояла у ворот. Мы с Тамрико уселись на ветхие сиденья, и машина понеслась по пустым улицам.

Темнота становилась прозрачной, все четче проступают очертания высаженных вдоль дороги кипарисов. Кажется, дорога вот-вот оборвется и мы поднимемся к утренней звезде Цискари. Спуски, неожиданные подъемы, снова летим вниз, на нас надвигаются горы, отступают. Кое-где у подножья гор, на небольших равнинах, разбросаны селения, мы смотрим на них сверху, и кажется: Бог тоже смотрит сверху на землю и радуется своему Творению. В самом деле, все дал людям: солнце, воду, плодородную землю. Про Грузию говорят: «Птичка летела, зернышко обронила, и из этого зернышка дерево выросло». Вот Богу и представляется — хорошо живут люди. А люди живут тяжело, трудно.

Мы едем между затопленным тьмой обрывом и предрассветно зеленеющим небом. На вершине голой, вздернутой, как указательный палец, скалы — стройная молодая сосенка. Откуда силы берутся? Ни земли там, ни влаги. Чем жива она? Разве что близостью неба. Над дорогой висит огромный камень.

— Сорваться может, — сказала я.

— Может, — подтвердил Гочи и вдруг резко нажал на сигнал. — Дорога узкая, — пояснил он, — если за поворотом машина, нам не разминуться.

Я безвольно откинулась на спинку сиденья. Здесь, над пропастью, мало что зависит от воли человека, все во власти случая.

Чем выше поднимались в горы, тем становилось светлее, просторнее, словно выплывали из ночи. Неожиданно дорогу преградило стадо коров.

— Какие маленькие! — изумилась я.

– Горные, – пояснила Тамрико.

Поток идущих друг за другом коричневых, отливающих в красноту коров, казалось, никогда не кончится. Коров сменили огромные, как мамонты, буйволы с загнутыми полумесяцем рогами. Буйволы шли тяжело, низко наклонив головы, словно только и ждали случая что-нибудь разворотить своими могучими лбами. Чуть поодаль стояла собака по стойке смирно, как генерал, принимающий парад. Наконец, появился на высоком сером жеребце гордый, как князь, пастух. Обнаженная, темная от загара грудь, из-под сванской шапочки выбиваются седые кудри, внимательный, быстрый взгляд и тонкие, четкие черты лица. Гочи что-то крикнул ему по-грузински, подошел, переговорил и веселый вернулся к нам. Я поняла: от этого разговора зависят наши планы, – но спрашивать не стала. Здесь, в горах, вступали в силу права мужчин. Прижав машину к стоящей стеной при дороге скале, Гочи повел нас в гору. Вокруг – огромные буки, высоченные прямые ели. Откуда этот лес? Ведь корни деревьев уходят в очень тонкий питательный грунт, а дальше – камень. Неужели воздухом питаются? Внизу, под ногами, из ярко-зеленого мха выглядывают нежно зеленеющие всходы елочек.

– Бедные, – наклоняется к тоненьким росткам Гочи, – солнца им не хватает, – и поднимает голову к уходящим далеко вверх вершинам деревьев.

Время от времени попадаются вросшие в землю камни, кусты с ягодами, похожими на подмосковный боярышник. Мы поднялись к источнику. Из плоского камня тоненькой струйкой течет вода.

– Целебная, – говорит Гочи, – еще в одиннадцатом веке кто-то положил здесь этот камень.

Оглядываюсь вокруг. Здесь, на этом месте, небо соединяется с землей. Утро Творения Вселенной началось здесь. В грузинском эпосе Бог представлялся в человеческом образе, а человек – в божественном. Богоборческий эпос грузины позаимствовали у евреев. Учение тбилисского философа Иоанна Петрици о Едином приходится на XI век. Эманация Единого – разум, душа, мир. Слияние Первопричины и бытия предполагает становление живой природы, человека. Еврейские чаяния о грядущем Мессии, когда царство земное уподобится царству Небесному, совпали с классической формой грузинского философского осмысления мира, объединяющего духовное начало с материальным, с конкретным отношением к людям. «Лучше делать добро, чем проводить жизнь в посте и молитве», – вспоминают грузины иудейских мудрецов.

Мы подставляем под струю родника ладони и пьем, пьем. Вдруг замечаю: рядом стоит и усмехается нашей поспешности только что встретившийся пастух. Неожиданно для себя стесняюсь своих босых ног и оголенных рук. Пастух стал выкладывать на большой плоский камень снедь из мешка; получилось что-то вроде стола с неиссякаемым источником живой воды. Мы с Тамрико чувствуем себя приглашенными на царский пир.

Мужчины обжаривают на разведенном огне куски мяса, раскладывают помидоры, зелень. А мне видится совсем иная картина: пастух строит дом, где у нас с ним мир, любовь и много детей. И будто я вовсе не старший научный сотрудник Института философии и с радостью отказываюсь ехать в Германию на давно ожидаемый гегелевский конгресс... Я счастливая женщина. Не хочу философски осмысливать мир – хочу жить.

Михаил Сидоров

ИЗРАИЛЬ И СУДЬБА БИБЛЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

История настойчиво и убедительно показывает, что прогресс и скептический взгляд в будущее – вполне совместимы. В прошлом каждая «прекрасная эпоха», сулившая, казалось бы, наступление Золотого века, неизбежно завершалась кошмаром. Не стал исключением и долгожданный Миллениум.

Годовщину Американской трагедии 11 сентября отмечают теперь во всем мире, но по-разному. Далеко не все в этот день поминовения жертв злодеяния охвачены скорбью, сочувствием и состраданием. Кое-где акцию кровавых мусульманских геростратов превозносили и превозносят как подвиг во имя веры и выражают твердую уверенность в том, что их дело будет продолжаться. И это не остается просто зловещей риторикой: все новые и новые события в разных точках планеты свидетельствуют о том, что террористы слов на ветер не бросают. Были бы убийцы, а повод для преступлений и их жертвы всегда найдутся.

Не успела закончиться холодная война, как человечество вновь оказалось перед лицом серьезных испытаний, способных не только помешать установлению «нового мирового порядка», но и разрушить старый. Получается, что решение одних проблем открывает двери другим, не менее сложным. Сосуд Пандоры, как видно, неисчерпаем.

До сих пор многочисленные оптимисты пытаются успокоить нас разговорами о том, что нет, мол, никакого столкновения цивилизаций, а есть нечто вроде антиглобалистского террористического похода, возглавляемого темными силами «исламского фундаментализма», который ничуть не хуже фундаментализма христианского, рассуждения же о межцивилизационном конфликте – вода на мельницу фанатичных варваров. Дошло до того, что книгу Сэмюэла Хантингтона о столкновении цивилизаций, вышедшую в 1996 году, назвали безнравственным пособием для вооруженных циников [1].

Прекраснодушный прогрессизм ищет самоутешения в исторических аналогиях: дескать, и у Запада в прошлом имелись грешки (крестовые походы, святая инквизиция, колонизация), а «молодой» мусульманский мир переживает сейчас якобы всплеск «пассионар-

ности», так это не страшно – повзрослеет и уgomонится; ваххабизм – это еще не весь ислам и т. д.

На самом же деле, противостояние Запада и мусульманского Востока, их «великий спор» давно не является откровением. Пережив модернизацию, Запад стал первопроходцем научно-технического и социального прогресса, что обеспечило западную цивилизацию ее уникальность; ее достижения эксплуатируют сегодня представители всех культур и конфессий – как для пользы, так и во вред себе и другим. Исламский же мир, как отмечал в позапрошлом веке Владимир Соловьев, на протяжении двенадцати столетий «не сделал ни одного шага на пути внутреннего развития»; поэтому мусульманский Восток завершил «свой круг» и уже явно не способен «ни к какой исторической будущности» («Три силы»). Более того, в конце XX столетия, как и предвидел русский религиозный философ, исламский мир стал ускоренно «развиваться» назад – в мусульманский экстремизм, проявившийся в «исламских революциях» в целом ряде стран и международном терроризме. Подобный рецидив «пассионарности» (не будем забывать, что в свое время ислам на протяжении веков владел огромной частью культурного мира!), а говоря проще – инволюция, несет глобальную угрозу человечеству.

Не следует обольщаться и перспективой возобладания в магометанстве умеренных тенденций – в силу особенностей этой религии, на которые указывал тот же Вл. Соловьев: «...Если человек считает себя только безразличным орудием в руках слепого, по бессмысленному произволу действующего божества, – говорил он, – то понятно, что из такого человека... выйдет только помешанный фанатик, каковы по сути самые лучшие представители мусульманства» [2]. Похожую оценку мы встречаем и у Гегеля, в его «Лекциях по философии религии»: «...Магометанская религия в существе своем фанатична».

Отрицать наличие конфликта цивилизаций – значит вольно или невольно (то есть из лукавства или по недомыслию) занижать ранг опасности, а это не самый лучший способ ее преодоления. С таких этических позиций и проведенная Соединенными Штатами совместно с их союзниками по антисаддамовской коалиции военная операция в Ираке выглядит не иначе как действия «мирового жандарма», способные подорвать основы международного права.

Между тем, в самом столкновении цивилизаций нет ничего мистического или противоестественного, тогда как их бесконфликтное

существование на Земле – еще одна, крайне вредная, утопия. При этом формы их столкновения могут быть разными – от «взаимодействия» до «войны миров». И даже самая могущественная держава планеты не может свободно, исходя исключительно из собственной доброй (или «злой») воли, эти формы выбирать: они диктуются обстоятельствами, намерениями и действиями оппонента и той небывалой ответственностью, которая по воле истории легла на Америку. И хорошо, что нынешний президент Дж. Буш-младший от этой ответственности пока не уходит, несмотря на громкие «крики беотийцев», раздающиеся со всех сторон [3]. Проблема конфликта цивилизаций, помимо прочего, имеет серьезный нравственный аспект, и не стоит эту проблему опошлять, низводя ее к одной лишь возне вокруг нефтяных вышек.

Можно не соглашаться с предложенной С. Хантингтоном неотойнбианской классификацией цивилизаций – пафос его концепции в другом. Одна из главных гипотез американского ученого – о том, что «в ближайшем будущем основным очагом конфликтов будут взаимоотношения между Западом и рядом исламско-конфуцианских стран» – подтвердилась.

Жизнь конкретизировала и уточнила прогноз. Взорванные талибами исполинские изваяния Будды и рухнувшие от таранов пилотов-камикадзе небоскребы стали предвестниками и символами замышляемой воинами Аллаха нивелировки всего, что возвышается над неким средним уровнем, установленным по личному разумению и вкусу каким-нибудь шейхом или муллой, а желтые повязки, которые должны были носить афганские индуисты, – зловещей реминисценцией.

«Границы исламского мира везде и всюду залиты кровью», – писал С. Хантингтон в 1993 году. После дерзкой массовой террористической атаки, которой подверглись США, после многочисленных терактов в различных странах мира стала очевидной неопределенность и опасная прозрачность самих границ. Пока анархисты, противники «мирового правительства» и антиглобалисты беснуются на улицах городов, где собираются лидеры «большой восьмерки» или проходят саммиты НАТО, ислам без особого шума осуществляет глобализацию на свой лад. Он превращает практически любую страну, в которой живут мусульмане, во «внутренне расколотую», и теперь от террора не укрыться ни за океаном, ни за строящейся «великой израильской стеной» [4]. Отсутствие «линии фронта» и есть самый верный признак междоцивилизационного столкнове-

ния, основными участниками которого в данный момент выступают два мира – исламский и западный.

Бросается в глаза несоразмерность названий. Исламская цивилизация – это понятно, но вот «западная» – какая-то цивилизация «без отчества», оторвавшаяся (и только ли номинально?) от своих исторических, иудео-христианских корней. Есть в таком наименовании что-то от высокомерной стыдливости дворянина в первом поколении, предпочитающего не вспоминать о своих бедных и незнатных предках.

Критерии выделения цивилизаций, по Хантингтону, – язык, история, религия, обычаи, институты, самоидентификация; причем гарвардский профессор, как и его выдающийся предшественник Арнольд Тойнби, считает несхожесть между цивилизациями по религии самым важным элементом различий. Тогда почему не обозначается отличие «западного» мира от исламского по данному пункту?

Надо сказать, что еще сам Тойнби, бывший христианским историком до начала 70-х годов, разделил человечество на Запад и Остальную мир («the West and the World»), то есть и он не удержался в методологических рамках собственной историософской схемы (теории локальных цивилизаций), согласно которой противоречие между цивилизациями порождается чисто духовными факторами – специфическими чертами культуры. При характеристике Запада в своих последних работах Тойнби акцентировал внимание уже не столько на духовных, сколько на социально-политических чертах «западной» (бывшей западно-христианской) цивилизации, утверждая, что правильнее было бы назвать ее «западной цивилизацией среднего класса» («middle-class West civilization»). Правильнее ли? – можем мы усомниться сегодня, в критический для этой цивилизации момент, когда самое время вспомнить о ее нравственных и культурных истоках, в том числе и религиозных.

Поль Рикер в своих очерках о герменевтике («Конфликт интерпретаций») писал: «В ходе изучения великих символов древнееврейской веры... и таких мифов, как миф о творении и падении... меня поразила одна вещь: эти символы и эти мифы не черпают свои смыслы из гомологически упорядоченного социального устройства... Их смысл есть резерв смысла, готового к употреблению в других структурах... Употребление библейских символов в нашей культурной ауре... основывается на семантическом богатстве, на избыточности означенного, дающей начало новым интерпретациям».

Так не торопимся ли мы в мирской суете, в угаре «прогрессивных» и «революционных» идей, в неумном желании любым способом и любой ценой объединить все человечество в безрелигиозную, безнациональную, бесполоую и безликую «мультикультурную» массу, не умея и не желая отделить «историческое и условное от вечного и абсолютного», – сдать веру и ее символы, вместе с Книгой книг, в архивы и музеи – недочитав, недодумав, недоосмыслив? И не правильнее ли, не справедливее ли называть западный мир «библейской цивилизацией»?

В столкновении с исламским, «кораническим» миром Запад применяет как свою военную мощь, так и экономический нажим, подкуп, политическое давление, маневры и интриги. Это немало, но достаточно ли этого для ответа на вызов, брошенный библейской цивилизации?

Ключевой вопрос противостояния – адекватность ответных действий. Ясно, что борьба со вспышкой бешенства среди зверей – не дело общества защиты животных, для этого имеются другие службы. Однако роль военной силы в разрешении этого межкультурного конфликта не следует как преуменьшать, так и преувеличивать, ведь терроризм – лишь вершина айсберга, да и до «войны миров» дело, слава Богу, пока не дошло.

Надо также иметь в виду, что эффективность принимаемых мер будет заведомо ниже расчетной, вследствие того, что кораническая цивилизация в своей борьбе с библейской широко и небезуспешно использует достижения и институты западного же мира: оружие, финансовую систему, коммуникации и пр.; законодательство, суды, международные и правозащитные организации, масс-медиа и т. п. А вот западный мир далеко не всегда может позволить себе «роскошь» бороться с противником его же методами.

В то же время каждый бесчеловечный акт мусульманских фанатиков резко уменьшает чувство безопасности граждан в демократических странах, а ведь еще Ш. Монтескье заметил, что безопасность – первая форма свободы. Следовательно, терроризм без особых усилий подрывает краеугольный камень западной системы ценностей, возводившейся веками, и именно шахиды наиболее ярко олицетворяют суть конфликта двух миров. Тупиковый характер исламской цивилизации не оставляет ей шансов на победу в «великом споре» с Западом. Зато, уходя с исторической арены, она вполне может «замкнуть контакт» и утянуть за собой в хаос и небытие ненавистного врага, особенно если в руках ее «стражей» окажется ядерное оружие.

Вот почему со времен битвы при Пуатье (732) и сражения под Веной (1683) мусульманский вызов не представлял такой угрозы самому существованию западного мира, как в наши дни.

С другой стороны, по тойнбианской теории, ответ на вызов должен стимулировать духовное развитие цивилизации; ответы же политического или военного порядка, по сути, ответами не являются, ибо они не в состоянии остановить ее упадок, если он уже наметился.

Ситуация драматичная, но все же не безвыходная: по известному выражению классика, «где опасность, там вырастает и спасительное». Не успели остыть руины манхэттенских башен-близнецов, как отдельные журналисты и политики уже поспешили объявить о том, что после трагедии, постигшей Америку, мир стал другим. Разумеется, это было преувеличение, но оно симптоматично. Мир пока остается прежним, однако западная цивилизация подошла к осознанию жизненной необходимости изменений. И перемены должны произойти, в первую очередь, в духовной сфере.

Думается, в переломный исторический момент Запад выстоит и победит, если сумеет подтвердить не только свое интеллектуальное, экономическое, технологическое и военное преимущество, но и нравственное превосходство. Рассмотрим же детальнее этическую сторону конфликта библейской и исламской цивилизаций, который длится уже много столетий.

Известный российский ученый-востоковед И. М. Дьяконов в своей книге «Пути истории» обратил внимание на то, что, «в отличие от обличений библейских пророков и Павловых посланий в христианстве, Мухаммед почти не давал указаний на этическое содержание понятий «добро» и «зло» и сосредоточивался на самой вере». Профессор Дьяконов полагает, что «боговдохновенность» шариата делает его жестким и со временем все более и более архаичным», а также подчеркивает ту «легкость, с которой мусульмане прибегают к джихаду... против всякого, кого они считают своим противником...». Приведенные замечания авторитетного ученого, как видим, вскрывают определенную этическую «незавершенность» и генетическую предрасположенность магометанства к той моральной перверсии, на которую его обрекает исламский экстремизм. Но служит ли это надежной гарантией нравственного преимущества Запада над мусульманским миром?

Освальд Шпенглер в «Закате Европы» предупреждал: «Общечеловеческой этики не существует... Моралей столько же, сколько и культур». Между тем слабость Запада заключается как раз в том,

что он, принося в жертву весьма широко трактуемому глобалистскому (общечеловеческому!) идеалу внутренне присущую европейской цивилизации иудео-христианскую мораль, проявляет чрезмерную толерантность к чуждым нравственным системам – агрессивным и отнюдь не склонным к компромиссу [5].

В одном из своих рассказов А. П. Чехов иронизировал: «Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человека за кражу, не знают, кто виноват: человек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле!»

В минувшем веке положение усугубилось. Возникла реальная опасность разучиться называть вещи своими именами и давать поступкам людей моральную и правовую оценку. В повседневную жизнь прочно внедрились разного рода эвфемизмы. Принято называть продажных женщин либеральными девушками, главарей бандитских групп – полевыми командирами, а сами банды – незаконными вооруженными формированиями; кровавые террористы входят в состав Социалистического Интернационала, их теперь величают борцами за национальное самоопределение и ведут с ними переговоры на равных; агрессивность именуется пассионарностью, антисемиты превратились в антиссионистов, гомосексуалисты – в представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и т. д. и т. п.

Все эти лингвистические находки вроде бы призваны подчеркнуть терпимость современного цивилизованного общества, уважение им прав меньшинств. (Меньшинства же, со своей стороны, крайне редко отвечают большинству взаимным уважением.) На деле, исподволь, бытовым и социальным явлениям сомнительного, а то и откровенно негативного свойства придается определенная защитная идеологическая и политическая окраска, делающая их неуязвимыми и стоящими вне критики: «девушки» – либеральные, а не какие-то там консервативные; сексуальная ориентация – нетрадиционная, то есть именно не традиционная, а связанная, что ли, с модернизацией и, выходит, – прогрессивная (бедные маркиз де Кондорсе и Макс Вебер!) [6]. Что же касается бандитов, то они сами особенно позаботились о себе: нет, пожалуй, ни одной террористической организации, даже самой захудалой и откровенно фашистской, в названии которой отсутствовали бы волшебные слова, гипнотизирующие западного обывателя, – «народная», «демократическая» или «освободительная».

Так, под видом политкорректности, в сознание людей проталкивается этический релятивизм, развенчивается абсолютная мораль, а «права человека» – рафинированные, без малейшей примеси совести и ответственности – возвышаются над нравственными ценностями. Короче, как писал Альбер Камю («Миф о Сизифе»): «Все хорошо, все дозволено, и нет ничего ненавидимого: таковы постулаты абсурда».

Подлинным апофеозом абсурда стали выступления леволиберальных интеллектуалов США и Западной Европы против «американского империализма»... в связи с терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Сей демарш показал полнейшую неспособность современных левых выполнить миссию творческого меньшинства, подготовив ответ западного общества на брошенный ему вызов, – миссию, на которую они, по недоразумению, все еще претендуют.

Впору задуматься: а не завезли ли хваленые «локомотивы истории» западную цивилизацию в нравственный тупик? Ведь как часто атеистический бунт во времена социальных потрясений направлялся не столько против клерикализма, церковного обскурантизма и мракобесия, сколько против освящаемой религией морали! И если среди выдающихся гуманистов и идеологов Просвещения были искренние и самозабвенные борцы за освобождение человеческого разума от «оков», то миллионы простых людей видели в низложении авторитета религии лишь одно – санкцию вседозволенности. Не потому ли великие богоборческие революции – французская и русская – сопровождалась бесовством, разнузданностью нравов и кровавой вакханалией?

«Совсем не доказано, что цивилизация – нравственная вещь», – такую мысль в конце XIX века высказал Эмиль Дюркгейм. В наше время это деликатное утверждение философа можно было бы усилить. Либертарианство просто «сложило» добро и зло, получив в итоге этический ноль, который в качестве морального критерия многим пришелся по душе. В этом нехитром арифметическом действии проявилась гордыня, присущая «гуманизму»: человек смело взялся господствовать над противопоставленностью добра и зла, не обладая на это способностью. «Таким господством обладает только Творец», – отмечал Мартин Бубер. Человек же, по его мнению, «растворяется» в этой противопоставленности («Образы добра и зла»).

Учитывая все это, нельзя исключить, что исламский мир может сегодня оказаться морально сильнее Запада, если брать нравст-

венный потенциал конфликтующих цивилизаций, так сказать, по модулю, то есть зло – в его абсолютной величине. Поэтому не пристало библейской цивилизации уповать ныне на былые этические достижения: время пророков и апостолов давно прошло. Как беспощадно констатировал Эрих Фромм, «у нас нет совести в гуманистическом ее понимании, посему мы не осмеливаемся доверять нашим оценкам» («Человек для себя»).

По старой европоцентристской привычке, многие все еще твердят о том, что это Запад, как и прежде, бросает вызов остальному миру, в том числе и мусульманскому. Такой «оптимизм» смешон: Западу незачем бросать вызовы, так как их теперь уже некому принять – слишком велик отрыв. Но западный мир, как стареющая красавица, пытается соблазнить другие цивилизации – любой ценой, вплоть до отречения от присущих ему базовых ценностей и утраты самоидентификации – исключительно ради того, чтобы все его любили! С этой целью в качестве универсальной модели глобального устройства всему миру предложен сильно облегченный, «адаптированный» вариант западно-христианской цивилизации – секуляризованной, с неограниченными правами и свободами граждан, гедонистской этикой, масс-культурой и пр.

И эту жертву Запада, по-своему героическую (несомненно, не капитуляцию, как это представляется некоторым, а именно жертву, ибо она берет начало не в слабости, а в самоуверенности), мусульманский мир ложно воспринял и совершенно не оценил. По иронии судьбы, он действительно принял ее за вызов и ответил на нее презрением, ненавистью и террором. Обидой на эту «черную неблагодарность» ислама, а вовсе не тревогой за судьбу родной цивилизации, и объясняется вспышка на Западе страха и праведного гнева в адрес исламского «фундаментализма».

Надо ли доказывать, что борьба с терроризмом, если она не будет повсеместной, последовательной и бескомпромиссной, превратится в фарс, как до этого некоторые международные миротворческие операции в Африке и в бывшей Югославии? Прежде всего, в этой борьбе не должно быть двойных стандартов – таково непреложное требование этики. Жертвы террора не могут делиться на категории. В противном случае, «второсортные», потеряв жизнь, окажутся еще и преданными. Не должно быть также и «несчастливых» террористов. К сожалению, пока просматривается порочная практика: государства, наказывающие «плохих» террористов, сдают другим террористам-лжестрадальцам в качестве компенсации (чтобы

не прогневать мусульманский мир!) те страны, которым уготована роль агнца. Громогласно осуждая террор, Запад, и в первую очередь Европа, лихорадочно ищет путей задабривания и умиротворения мусульманского экстремизма. При беспринципности политика нов и нравственном нигилизме, пропитавшем западный мир, задача эта не представляется такой уж неразрешимой. Тем более что и платформа для достижения «межцивилизационного консенсуса» выбрана соответствующая.

Долгие годы государственный антисемитизм был неременным элементом политики СССР и его союзников. «Империи зла» не стало, и до появления на ее месте царства добра и справедливости, по-видимому, еще далеко. Но изумляет то, с каким проворством «свободный мир» подхватил достойные забвения бывшие советские идеологические приоритеты, в том числе внешнеполитические, и среди них – антиисраэлизм. Или набившая оскомину политкорректность с ее наиболее уродливой формой – «позитивной дискриминацией». Ведь это не что иное, как модификация большевистского «классового детерминизма»! Вообще, идеалом политкорректности безоговорочно следует признать съезды КПСС и сессии Верховного Совета СССР – ведь среди делегатов партийных форумов и депутатов советского парламента непременно были («по справедливости») и рабочие с колхозниками, и женщины, и молодежь, и представители национальных меньшинств. Чего же еще надо было вам, господа борцы за права человека?! Так что когда в наши дни гордятся успехами Запада на поприще политкорректности, неплохо бы вспомнить о судьбе «развитого социализма», который тоже назывался «высшим достижением человеческой цивилизации».

Британский историк Хаим Маккоби в 80-е годы XX в. опубликовал статью «Истоки антисемитизма». В ней, в частности, указывая на качественную разницу между христианской и мусульманской враждебностью к евреям, он подчеркивал, что в традиционном исламском мышлении евреи не подвергались дьяволизации, хотя они не приняли ни Иисуса, ни Мухаммеда. «Впрочем, – продолжал Х. Маккоби, – в самое последнее время дьяволизация евреев – по политическим причинам – произошла и в исламе; однако достойно внимания, что материалы для этого, например, кровавый навет и «Протоколы сионских мудрецов», заимствовались из христианского мира. В исламской традиции таких материалов просто нет».

Итак, налицо «культурный обмен» между цивилизациями! Вот почему нынешний мусульманский антисемитизм-антиисраэлизм вызы-

вает в Европе не отвращение, а напротив, резонанс «взаимопонимания»: ведь юдофобия преподносится в европейской упаковке. Вот почему Европа, вопреки здравому смыслу и демократическим традициям, несмотря на собственный печальный опыт, столь последовательно и методично третирует Израиль, в то время как над обоими навис ятаган исламского экстремизма. Осуждение европейскими политиками Израиля за «чрезмерные акции» в ответ на растущее террористическое давление на еврейское государство сейчас тождественно поощрению терроризма. Куда же деваются пламенные и непреклонные защитники прав меньшинств, как только речь заходит о самом существовании на Ближнем Востоке островка демократии?

Аморальная подоплека юдофобии видна здесь особенно отчетливо. Антисемитские аффекты – это выражение негативной реакции коллективного бессознательного на нравственные запреты, своеобразная месть избранному народу. Вот если бы евреи преподнесли в качестве этической основы библейской цивилизации не Декалог, состоящий сплошь из одних запретов, а наоборот – «антизаповеди»: убивай, кради, спи со всеми, на кого глаз положил, лжесвидетельствуй и т. п., – тогда наверняка не было бы никакого антисемитизма.

Стоит ли удивляться росту юдофобии в современной Европе, где категорически отвергаются уже почти все моральные ограничения и запреты? Недаром завсегдатаи гей-клубов дружно выходят на шумные демонстрации в поддержку «палестинского народа». Весьма символично и совпадение по времени «канонизации» некоторыми шейхами «мученических» суицидов с легализацией в Голландии и Бельгии (пока) эвтаназии.

Как безнравственен антисемитизм, так аморальна и политика, ведущая фактически к уничтожению еврейского государства, какими бы благими намерениями и красивыми словами она ни прикрывалась. Не начать ли Западу нравственный ренессанс с отказа от сформулированной еще Никколо Макиавелли аксиомы о несовместимости политики и морали?

Борьба с Западом не исчерпывает конфликт, в который вступила исламская цивилизация. Экстремисты смело и безрассудно втягивают мусульманский мир в борьбу на два фронта, бросая вызов Индии с ее миллиардным населением и более чем миллионной армией, имеющей ядерное оружие. Китай – этот стремительно развивающийся колосс – пока в стороне от схватки, но и его тревожат вылазки мусульманских сепаратистов.

Похоже, исламские религиозно-тоталитарные диктатуры задумали повторить в ином масштабе один эксперимент, дважды в минувшем веке проделанный германским воинством (тоже в пароксизме «пассионарности»?). Сомневаться в его результатах также не приходится. Вопрос лишь в том, каким образом будут поделены плоды будущей победы между новой «большой тройкой» – библейской, индуистской и синской цивилизациями. «Судный день» – ключевой сюжет библейской эсхатологии – может оказаться не чем иным, как радикальным изменением картины мира, перераспределением ролей между цивилизациями, о чем, кстати, предупреждал и Шпенглер.

Решающий вклад мусульманских экстремистов в организацию «террористического интернационала» не подлежит сомнению, но определять террор как проявление «исламского фундаментализма» вряд ли правомерно. Фундаментализм в широком смысле означает неизменность догматики, строжайшее выполнение всех традиционных религиозных предписаний. Поэтому те шейхи-изуверы, которые выдают свои «новаторские» человеконенавистнические проповеди и фетвы за божественное откровение, – никакие не фундаменталисты, а преступные шарлатаны, эксплуатирующие психопатов-самоубийц с целью удовлетворения своих людоедских страстей.

Терминологический комплимент террористам на самом деле лишь дискредитирует религиозный фундаментализм вообще.

Кому это сейчас выгодно, нетрудно догадаться, если вспомнить о позиции американских протестантов-фундаменталистов в их отношении к евреям и к Израилю. Например, один из представителей этого религиозного направления, Джереми Фолуэлл, видел политическую общность «иудео-христианских, свободолюбивых, демократических» Соединенных Штатов и еврейского «свободолюбивого, демократического» государства Израиль. Оба народа, считал Дж.Фолуэлл, имеют одни и те же религиозные и культурные ценности, оба противостоят миру зла – «коммунистам и арабам». И многие американцы, находящиеся под влиянием протестантов-фундаменталистов, рассматривают возрождение еврейского государства и его борьбу за свое существование как исполнение библейских пророчеств.

Исламские религиозные экстремисты и арабские террористы хорошо понимают, какое значение для западной цивилизации имеет Эрец Исраэль – родина народа-патриарха, вдохнувшего в европейскую культуру нравственный Закон. Поэтому, чтобы изолировать

Израиль от остального библейского мира, они с такой изощренностью и цинизмом – но в полном соответствии с их собственной моралью – эксплуатируют глубоко презируемые ими самими, чуждые их культуре достижения Запада в области прав человека, его приверженность идеалам свободы и гуманизма. Они умело спекулируют на том, что современное еврейское государство, как в библейские времена, оказалось осажденным филистимлянами. И сегодня Израиль вынужден решать те же задачи, что и три тысячелетия назад. Антисемитизм же – это трещина в фундаменте западного мира, которую мусульмане всеми силами и способами стараются расширить, чтобы рухнуло все здание.

Холокост был тяжелым испытанием для библейской цивилизации. Предательство ею Израиля, если только оно состоится, станет моральным самоубийством Запада и приведет последний к краху в конфликте с мусульманским миром. Судьбы евреев и других библейских народов неразрывно связаны. Иерусалим – столица еврейского государства – это Святая святых в храме западной цивилизации, здесь – душа и совесть библейского мира. Выдержит Израиль – устоит и Запад.

Примечания

1. Эта книга, написанная знаменитым политологом, бывшим заведующим отделом планирования Госдепартамента США, развивает идеи, высказанные им в известной статье «Столкновение цивилизаций?» («The Clash of Civilizations?»), которая была опубликована в 1993 году. Указанная статья явилась своеобразной консервативной академической реакцией на появившуюся за четыре года до этого либеральную благую весть Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории?». Достоинство уважения, что манифесты обоих ученых содержат в заголовках знак вопроса. «Грядущий конфликт между цивилизациями – завершающая фаза эволюции глобальных конфликтов в современном мире», – утверждал Хантингтон в статье. На наш взгляд, историко-политологический анализ, приведенный в его работе, весьма солиден; «моральная» же их цензура – по меньшей мере неуместна. В то же время, критика концепции Хантингтона «по делу», появившаяся сразу же после выхода его статьи, заслуживает внимания. Высказывалось, например, сомнение в правомерности выделения им латиноамериканской и православной цивилизаций, которые, по мнению критиков, должны быть включены в состав западного мира. И Ф. Фукуяма позднее, с учетом новых реалий, несколько уточнил свою позицию в статье «Началась ли история опять?». Он, правда, настаивает на

том, что «сегодняшний конфликт – это не просто борьба с терроризмом и не борьба с исламом как религией или цивилизацией, а, скорее, борьба с исламо-фашизмом...». Не возражая в целом с такой характеристикой исламского экстремизма, добавим, что Нюрнбергский военный трибунал допустил в своей работе серьезную оплошность: им не были привлечены к ответственности за тесное сотрудничество с нацистами лидеры Ближнего Востока. Как знать, окажись в свое время на скамье подсудимых рядом с Альфредом Розенбергом Амин аль-Хусейни, – и сегодня, возможно, никто не слышал бы ни о Бин-Ладене, ни об Арафате и подобных им «героях».

2. Разумеется, Вл. Соловьев характеризует здесь ислам с позиций апологета христианства, поэтому оценки его выглядят чересчур резкими. Разрешение межцивилизационного конфликта, в терминологии, предложенной А. Тойнби, может принять и форму переключения исламского мира с «зелотизма» (непримиримой вражды) на «геродианизм» (взаимодействие с западной цивилизацией, усвоение ее). О реальности такого варианта говорит пример вестернизирующейся (несмотря на сопротивление фундаменталистов) мусульманской Турции. Осуществится ли этот шанс – покажет время.
3. Хорошо это или плохо, но никто, кроме США, не имеет сейчас силы и воли (третируемых нынешними «беотийцами» как гегемонизм и имперское мышление), которые смогли помешать «недовооруженному цинику» С. Хусейну подготовиться как следует. Примерно через десять лет после Первой мировой войны русский философ Л. Шестов писал: «Даже и события последнего времени – достаточно потрясающие, чтобы разбудить и мертвеца, – ни на кого не действуют... Доколе еще бить людей?! Похоже, XX век постоянным битьем людей выработал у них какую-то анестезию. Неужели же вся мудрость человечества сводится к тому, чтобы громогласно говорить об уроках истории, оставляя в резерве, для своего оправдания, ссылки на неумолимость «объективных законов»?
4. Даже несмотря на то, что эта защитная стена не сможет гарантировать израильтян от террора, сама попытка хоть как-то защититься была объявлена Гаагским международным судом, а затем и ООН (подавляющим большинством голосов!), незаконной. Абсурдность этих решений «мирового сообщества» является каким-то постыдно-здорным вызовом здравому смыслу.
5. Пренебрежение историческим опытом, облеченным в религиозную форму, может только извратить и дискредитировать даже самую благотворную и привлекательную идею. Предостережение против этого мы находим опять-таки у Вл. Соловьева. Он показал, что пророческое сознание и есть сознание общечеловеческое («Чтения о богочеловечестве»): Иона

проповедовал волю Бога язычникам Ниневии, а Исаия и Иеремия возвестили грядущее откровение как знамя языков, к которому придут все народы. «... Пример еврейских пророков, величайших патриотов и, вместе с тем, величайших представителей универсализма, – говорил Соловьев, – в высшей степени поучителен для нас, указывая на то, что если истинный патриотизм необходимо свободен от народной исключительности и эгоизма, то вместе с тем... истинное общечеловеческое воззрение, истинный универсализм для того, чтобы... иметь действительную силу и положительное содержание, необходимо должен быть расширением или универсализацией положительной народной идеи, а не пустым и безразличным космополитизмом». Отсюда неизбежно следует, что главными препятствиями на пути к подлинному общечеловеческому были и остаются антииудаизм, юдофобия и антисемитизм. Посмотрите на антиеврейские лозунги «антиглобалистов», на то, как на «антисионистской» основе братались в Государственной думе России нацисты Терехов и Илюхин с исламистами Джемалем и Раджабовым – и все станет ясно.

6. Именно Кондорсе, сотрудничавший с энциклопедистами Д. Дидро и Ж. Даламбером, впервые четко сформулировал концепцию исторического прогресса, в соответствии с которой каждый последующий этап истории должен быть более совершенным, чем предыдущий, благодаря последовательному развитию человеческого разума (см. его «Эскиз исторической картины прогресса человеческого духа», 1784). М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» (1904) показал, что существует два стереотипа восприятия и поведения – традиционный и рациональный, – определяющие основные типы общества: традиционное (аграрное) и индустриальное. Переход от первого типа ко второму получил название «современной революции» или модернизации. В формировании рационализма, по Веберу, решающую роль сыграла протестантская этика. «Популяризация» научных терминов, их редукция и прямое искажение – не так безобидны, как это может показаться.
7. В любом случае, как не раз подчеркивал Хосе Ортега-и-Гассет, либеральная демократия – это высшая из донныне известных форм общественной жизни. «...Вероятно, это не лучшая форма, – признавал он, – но лучшие возникнут на ее основе и сохраняют ее суть...» («Восстание масс»). Возможно, нравственная победа библейской цивилизации будет достигнута тогда, когда, по словам Ортеги, на смену «старому либерализму» придет «новый либерализм, не столь наивный и порядком искушенный в ратном деле» (написано в конце 20-х годов!). Быть может, этот «новый либерализм» выдвинет общеприемлемый нравственный императив цивилизации, для которой главной ценностью останется индивидуальность человека, обязанного исключительно своим человеческим благородством (*nobless oblige*). Например: живи так, словно от каждого поступка, совершенного тобой, зависит судьба всего мира...

Александр Фейгин

ЕВРЕЙСКИЕ ЧУДЕСА

Религиозное сознание опирается на чудеса. Это кажется аксиомой, и, как всякая аксиома, это высказывание неприменимо к иудаизму. В рамках нашей веры чудо не доказывает ничего.

Разумеется, среди верующих евреев можно найти немало любителей и коллекционеров чудес, но и они не выдают чудеса за доказательства или подтверждения истинности тех или иных элементов веры. Мой учитель говорил так: то, что из стены течет вино, не доказывает, что дважды два – пять.

Один нееврейский по форме, но очень еврейский по содержанию анекдот передает эту мысль так:

А: Если я прыгну с Эйфелевой башни и не разобьюсь – разве это не чудо?

Б: Нет, это случайность.

А: А если прыгну второй раз и опять не разобьюсь?

Б: Это совпадение.

А: Хорошо, а если в третий? Уж тогда-то чудо?!

Б: Нет, это привычка!

И если в еврейском мировоззрении чудо рассматривается иначе, чем «у людей», то стоит, наверное, начать с определения. Собственно, в иврите есть несколько слов, соответствующих русскому «чудо»: *нес*, *мофет*, *пеле*.

Например, *пеле* – это маловероятное или совсем уж невероятное событие. А слово *нес* означает совсем иное: это тоже чудо, но совсем иного рода, – это знак Всевышнего человеку. Собственно, второе значение слова *нес* – «флаг» – во многом объясняет первое: событие, обозначенное «флагом», «вывеской», имеющее для человека особое значение.

Раввин Адин Штейнзальц иллюстрирует это так: «Допустим, падает с неба метеорит. Падает – и вдруг за два метра от земли повисает в воздухе. Это – *пеле*. Однако такое невероятное событие ничего, в сущности, не значит, оно никак не влияет ни на чью жизнь. Висит себе? Ну и пускай висит! Теперь оставим все то же самое, правда, с одним существенным добавлением: метеорит зависает

над чьей-то головой. Это уже послание конкретному человеку, который, казалось, был обречен получить небесную оплеуху, но почему-то не получил, – это *нес*.

Итак, любое *пеле* найдет дорогу на экраны телевизоров и первые полосы газет. Его обнюхают, измерят и опишут. Но из такого чуда ничего не следует и оно ни о чем не говорит, кроме как об ограниченности наших знаний о мире. *Нес* – понятие субъективное, оно обусловлено тем, восприняли ли мы, люди, некое событие как знак, сообщение. Поэтому совершенно невероятное явление может не стать чудом, а обыкновенное «падение» компьютера или вовремя прозвучавший звонок превращаются в таковое.

Именно такие обыкновенные чудеса мы упоминаем трижды в день в молитвах, благодаря Всевышнего за «ежедневные чудеса, которые с нами».

Разумеется, такие чудеса надо уметь и хотеть видеть. Три десятка лет назад в брежневской России случилось чудо: редакция «Философской энциклопедии» заказала большому ученому и глубоко верующему человеку, моему доброму знакомому, профессору С. Аверинцеву, статью на тему «чудо». Уже сам заказ был чудом, но статья стала чудом двойным: в качестве примера безусловного чуда Велехов привел... рассечение Красного моря. А ведь Тора подчеркивает, что воды разогнало ветром.

В чем же чудо? В том, что произошло это в точности тогда, когда евреям было необходимо переправиться на другой берег.

Таковы еврейские чудеса. Умеем ли мы видеть их в повседневной круговерти?

С НАМИ И ПРОТИВ НАС

Сегодня все чаще звучат призывы «облегчить гиюр». Сначала, не задумываясь о последствиях, наполнили страну несчастными людьми, которым здесь не место, а теперь, осознав масштабы наделанного-навороченного, кричат: даешь массовое оевреивание неевреев! Но не все идет по крику «даешь!» Нельзя директивой изменить погоду. Нельзя пожеланием изменить ход планет.

Глава в галахическом кодексе «Шульхан арух» («Йорэ деа», 268:2), посвященная законам гиюра, начинается с процедуры уго-

воров потенциального неопита. Но, в отличие от других религий, в которых принято вербовать иноверцев в таковые, у нас правило обратное: как отговорить иноверца от перехода в еврейство – шага, сопряженного с огромной личной ответственностью.

Не всегда это просто. Мой учитель однажды оказался в трудном положении: некая знаменитая в академических кругах дама приняла решение добиваться гиюра. Мой же учитель, и как раввин, и просто как опытный психолог, видел, что желание профессорши вздорно и основано на тех идеях, которые Галаха считает недостаточным основанием для гиюра (есть даже специальный термин для таких мечтателей, одержимых экзотическими идеями, – *герей-халомот*).

Как ни пытался он ее уговорить, ничто не выходило:

- У нас кашрут.
- Ничего, я вегетерианка.
- У нас строгие законы семейной чистоты и скромности.
- Ничего, я уже давно отказалась от мирских радостей.

Когда арсенал аргументов иссяк, раввин сказал:

- А знаете, вам придется любить евреев.
- Ничего, – ответила соискательница, – я очень люблю и уважаю еврейский народ.

– Н-е-е-е-т, надо не только весь народ, но и каждого еврея любить. И глупых, и подлых, у нас ведь всякие есть.

Профессорша пошла думать. И не вернулась.

Это в России стать евреем просто: конверт паспортистке – и дело сделано. А перед Всевышним записи актов гражданского состояния ничто. Евреев он считает по-своему. И если сторонники скорого и облегченного гиюра найдут «гибкого раввина», который согласится вывернуть наизнанку Закон, неевреи останутся неевреями. Двуетная клятва Рут: «Народ твой – мой народ, и Бог твой – мой Бог» – не для них, они и религией нашей, и народом нашим брезгуют.

Да, нам предписано Торой любить пришельца, и это предписание повторяется в Торе неоднократно, но мы вправе ожидать взаимности. А вот этой-то взаимности мы вправе ожидать только от тех, кто прошел настоящий, не фальшивый гиюр: такие геры становятся неотъемлемой частью нашего народа.

В ЧЕМ ВИНА АСКЕТА?

«И сказал Бог, обращаясь к Моше, так: "...если мужчина или женщина даст строгий обет быть назиром... от вина и хмельного должен воздерживаться... бритва да не коснется головы его... и не должен он подходить к умершему... во все дни обета его свят он..."»

Текст Торы, казалось бы, не оставляет сомнений: *назир* – святой человек, аскет, отказывающийся от земных радостей ради служения Всевышнему. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Многое из того, что мы привыкли считать универсальным, общечеловеческим, имеет вполне определенные исторические корни и контекст. Во многих случаях – нееврейский. В частности, наше предположение, что в религиозной табели о рангах аскет занимает почетное место, не согласуется с традиционным еврейским подходом. Намек на это мы находим в самом отрывке о *назире*: **«...и в день окончания обета принесет он жертву всесожжения и жертву за грех»**.

Оказывается, то, что мы приняли за подвиг веры, следует завершить... жертвоприношением во искупление греха! Естественное недоумение: в чем же состоит грех *назира*! – приводит нас к вопросу, носящему более общий характер: приемлема ли аскеза как путь жизни? Следует ли человеку «умерщвлять плоть», неизбежна ли война духа с телом, да и желательна ли она?

И еще один намек на непростое отношение к обету *назира*: хотя нам и привычен перевод **«...если мужчина или женщина даст строгий обет быть назиром...»**, более внимательное чтение текста в оригинале даст интереснейшую информацию к размышлению. Сказано так: **«...иш о иша ки яфли линдор недер назир...»** Корень слова **«яфли»** (*пэй-ламед-алеф*) означает «чудо», «странное явление».

А потому весь стих можно перевести на русский куда более выразительно:

«...если кто учудит стать назиром...» Разумеется, такой «перевод» неточен и не соответствует мнению комментаторов, толкующих слово *яфли* как «отдалиться от мира». Но и во всякой шутке есть, как известно, доля правды.

Талмуд говорит: вина и грех *назира* состоят в том, что он не нашел иного пути к святости, кроме самоограничения и отдаления от людей.

Его сознательный выбор представляет собой побег – от общества, от удовольствий и соблазнов. Такая, на первый взгляд, самоотверженность оказывается проявлением духовного эгоизма.

Да, *назир* заслуживает похвалы за то, что боится нанести ущерб своей душе, но разве мы живем только для себя?

Идеал Торы сложнее и человечнее, он не вписывается в черно-белую дихотомию между аскезой и вседозволенностью. Тора не ставит нас перед выбором: быть ангелами или животными. Следует оставаться человеком, жить среди людей, не «усмирять» тело, а научить его жить в ладу с душой.

Необходимо отметить при этом, что *назирут* не осуждается однозначно, мудрецы видят в нем и положительные элементы. Поэтому-то он и остается легитимным и не запрещен Торой.

Более того, многие великие люди прошлого принимали на себя обет *незирута*, а иерусалимские старожилы еще помнят «иерусалимского назира» р. Давида Кофена, математика и знатока Торы, секретаря р. Кука и отца нынешнего раввина Хайфы.

Итак, поступок *назира*, обет данный им, его жизненный выбор могут принимать различную – положительную или отрицательную – окраску в зависимости от конкретных особенностей личности и обстоятельств.

А жертва за грех, приносимая *назиром* во времена Храма, призвана напомнить ему, что в сложном мире нет простых решений. Святым нужно и можно быть не в тепличных условиях, а в невыдуманном мире людей.

СУДЬБА ЗЛОГО ГЕНИЯ

Есть ли в мире профессия более древняя, чем охотник на евреев, – можно спорить. Но тот, что таким людям никогда не грозила безработица, – это точно. Одним из самых талантливых подобного рода охотников древности был одноглазый Бильям, великий злодей и пророк.

История простая. После блестящих побед евреев царь Балак ищет не военный, не силовой способ борьбы с ними.

Он – как это современно звучит в наши дни! – решил нанять Кашпировского. В то время его звали Бильямом. Впрочем, это не точно. В наши дни чародейством занимаются талантливые шарла-

таны. А тогда (особенно на Ближнем Востоке) можно было встретить и настоящего колдуна, прорицателя. Балак надеется на магические способности Бильама и посылает за ним представительную делегацию с соблазнительными предложениями. Бильам был не лишен здоровой интуиции и пророческого дара, он с самого начала не хотел идти «на дело», знал, что с евреями не стоит связываться. И не столько с евреями, сколько с их небесным Покровителем. Но соблазн был велик, да и Всевышний разрешил (в видении) Бильаму идти к Балаку. Дорога не обошлась без чудес, ослица обрела дар речи (говорят, по сей день успешно читает лекции в одном из престижных университетов). Чем все это дело кончилось, знает каждый. Балак водил Бильама с места на место, с горы на гору, надеясь, что тот сумеет проклясть Израиль, но всякий раз, когда злой пророк открывал рот, из него так и сыпались благословения и светлые видения будущего.

Образ Бильама сложен. С одной стороны, он великий и признанный всеми мудрец своей эпохи, с другой – враг и ненавистник Израиля. Впрочем, кто сказал, что одно не может ужиться с другим? Нас учили, что истинный интеллигент не может быть антисемитом. Но беглый экскурс в историю доказывает, что правило это никогда не было ни чем иным, кроме наивной еврейской выдумки. Даль и Достоевский в России, милый папа Микки-Мауса Уолт Дисней и его соотечественник Форд не были глупцами или дикарями. Не был таковым и Рихард Вагнер, призывавший в публицистических (не лишенных таланта) статьях к поголовному уничтожению еврейского народа. Так что юдофобство никак не связана с интеллектуальным уровнем. Дело тут в другом, в специфике личности: «Последователи злодея Бильама (подобно ему самому) завистливы, высокомерны и похотливы», – говорят мудрецы в трактате «Авот» (5:19). И, разбирая личностный механизм клаустрофобии, они отдают должное и талантам Бильама: комментируя стих Торы «И не было в Израиле пророка, подобного Моше...» – они говорят: «У Израиля не было, а у народов мира был: Бильам, сын Беора».

Несправедливо! Завистливый, высокомерный и похотливый – ну за что ему был дан уникальный пророческий дар?! Именно такой вопрос и задают мудрецы: «Почему Бильаму был дан дар пророчества? Чтобы в будущем народы мира не могли сказать в день Суда: “Владыка мира! Если бы нам был дан пророк, подобный Моше, мы приняли бы Твою Тору”. Вот Он и дал им Бильама».

Человеку не дано принять Тору, не приложив к тому духовные усилия. У Бильама был могучий духовный потенциал, удивительный, уникальный дар, который остался нереализованным, точнее, был обращен во зло.

Кто сказал, что это история о далеком прошлом?! Тора не рассказывает нам истории, она призвана указывать путь каждому во всех поколениях. Таково и само имя книги «Тора» – «Указание».

Трагедия Бильама, который мог кардинально изменить ход истории, но со всеми его талантами остался тривиальным юдофобом, должна навести нас на простую мысль: Всевышний щедро раздает возможности и дарования, но только мы сами решаем, как и во имя чего их использовать.

Один и тот же потенциал может реализоваться в личность, подобную Моше или Агарону. А может вырасти в бешеного одноглазого Бильама, ведущего диалог не с вечностью, а с собственной ослицей. В таком человеке даже одаренность и незаурядность превращаются в деструктивные факторы. Горька доля злого гения...

А НА ВАС НЕ КАПАЕТ?

«В шалашах живите семь дней, чтобы знали потомки ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда вывел Я их из Египта».

Сорок лет странствовали праотцы наши по пустыне, шли к неведомой земле, ели небесный «хлеб», пили воду из чудесного странствовавшего колодца и жили под звездами.

Это еще что за ностальгия?!

Хорошо ли быть бездомным? Чего уж хорошего!

А вот контрвопрос: хорошо ли жить безбедно? Здесь интуитивный ответ «Да!» оказывается отнюдь не однозначным.

Раби Мендл из Кандинова говорил: «Моя бабушка всегда, зажигая субботние свечи, молилась о том, чтобы потоки ее не были богаты. Ее молитвы были услышаны, и все ее внуки вышли нищими праведниками».

Мудрецы, комментируя начало Торы (рассказ о змее-искусителе, «прахом будешь питаться»), говорят: Всевышний проклял змея изобилием пищи. Тот, у кого все есть, не нуждается в Боге и не видит Бога.

Благословение богатством может обернуться проклятием безверия. Человеку нелегко прозябать жить в бедности, но трудно жить и в ситуации изобилия и собственного «всемогущества».

Полезно видеть границы собственных возможностей, полезно жить в рамках. В современном культурном контексте ощущение зависимости и ограниченности воспринимается как унижение. Человек провозглашен главной ценностью, ему можно все, а если нельзя, но очень хочется, то тоже можно. Стремление к абсолютной свободе, может быть, вполне легитимно. И если бы каждого из нас спросили: «Хочешь быть рабом или свободным?» – все предпочли бы свободу. Но жизнь предлагает иной выбор: быть рабами Всевышнего или рабами рабов.

Иудаизм предлагает человеку не обольщаться иллюзией, что все зависит только от него, но и не впадать в бездеятельный фатализм. Поэтому в Сукот мы и сидим не в доме и не под открытым небом, а в построенном своими руками шалаше. Не без крова, но и крыша над нами та еще – течет в дождь, да и от солнца не защитит.

Кстати, отличная крыша: каждая холодная капелька, падающая на темечко, напоминает о том, что есть над нами Власть и Воля Творца.

Правило, сформулированное мудрецами: «Тот, кто не желает быть рабом Всевышнего, будет рабом людей», – работает неумолимо. Жизнь трудна, и даже заядлый оптимист очень скоро убеждается в том, что не все козыри в его руках, что не все желаемое становится реальностью. Если ты не веришь, что Всевышний правит миром, значит, все неопределенные функции в нашей жизни представляются игрой земных сил: стихии, людей, властей. Ты искал свободу от Всевышнего? Изволь, но тогда прими с покорностью зависимость от тысячи частных.

Не хочешь служить Одному? Служи тысяче: начальству, жене, погоде, банкам, пробкам на дорогах, болезням и врачам.

В этом и состоит один из многих уроков осеннего праздника Сукот: строй сам себе крышу, не полагаясь на Всевышнего, но, с другой стороны, имей в виду, что Его дождь и Его солнце найдут в построенной тобой кровле прорехи. Заботься о будущем, но отдавай себе отчет в том, что мы предполагаем, а Он располагает.

Иудаизм, ставящий во главу угла деятельность, инициативу человека, предостерегает как от пассивности, так и от самонадеянного «активизма».

Казалось бы, тот, кто безоговорочно принимает власть Всевышнего, должен утратить свободу выбора. На деле же только он реализует ее полностью. Ведь такой человек принимает на себя не только бремя выбора и ответственности, но и вполне осознает естественные ограничения, границы своих сил и возможностей.

Вот такая диалектика: между рабством и свободой, между кровлей и открытым небом...

ДОРОГАЯ ЦЕНА СТРАХА

Кто посмеет поставить под сомнение праведность и мудрость Якова?! Вопросительно-восклицательный знак должен подсказать догадливому читателю правильный ответ: никто. Но в том и состоит уникальность еврейского пути к Богу, что и праведники наши могут ошибаться, и злодеи наши умеют творить добро.

Недельная глава рассказывает о нелегких днях Якова: охваченный страхом, он делит стан надвое и готовится к встрече с братом, его величеством Эсавом-Грозным. Ничего хорошего Яков от встречи не ждет, готовится к худшему. Сценарий подготовки самый что ни на есть еврейский: подкуп-молитва-бой.

И посылает он к Эсаву парламентариев с дарами, приговаривая: «Эсав, господин мой, Яков, раб твой...» Многие из комментаторов находят оправдания и этому унижению (мудрая лесть, вежливость, намек на то, что отцовское благословение не сбылось) и этому страху (дескать, своих грехов боится, а не Эсава). Но в многоголосье и семидесятиликости Торы есть и другая нота, другая линия.

Маѓарам, например, не щадит праотца: «Из-за того, что Яков заискивал перед Эсавом и боялся его, назвал своим господином, склонившись пред ним, и сегодня народ Израиля живет среди потомков Эсава в изгнании. Не должен был Яков вести себя так, ведь обещано было ему раньше Всевышним: «Вот Я с тобой, и буду хранить тебя, куда бы ты ни пошел» («Брейшит», 28:15)».

Надо понять, что Тора – не лубок, а закон жизни. Если Яков, в отличие от нас с вами, никогда не ошибался бы, если бы не был, как мы, из плоти и крови, нам нечему было бы у него научиться, нам было бы ни к чему читать из года в год историю его жизни. Тора – это книга о нас с вами. Страх Якова, его фигура, склоненная в низком поклоне, – это наш страх и наша слабость.

Яков бежит через Ябок, происходит ночной поединок с ангелом, Яков выходит из него живым, но охромевшим. Рашбам говорит, что Яков наказан за страх и бегство: «Так случается со всеми, кто идет не по той дороге, по которой ему велел идти Творец, или отказывается исполнить возложенную на него миссию».

Мы живем в дни великого страха. Имя ему террор. Цель его – склонить нас в глубоком поклоне, загнать снова в чужие края, через реку Ябок.

Страх опаснее раны, страшнее хромоты. Он парализует и лишает для начала не жизни, а способности бороться. И если для самого Якова он оказался коварной ловушкой, то и нам не помешает бояться не только опасностей, но и страха перед ними.

Бояться страха... Экий неловкий оборот. Куда смотрит редактор!

«Аль тира авди Яков», – говорит Всевышний. «Не бойся, раб Мой Яков». Ничего не бойся, кроме страха. Потому что ничто и никто не победит тебя извне, только страх изнутри может свалить тебя с ног.

Напрасно Яков боялся. Эсав встретил его поцелуями. «И побежал Эсав навстречу Якову, и обнял его, и пал ему на шею, и целовал его, и оба плакали». В Торе есть несколько мест, где определенные буквы помечены сверху точкой. О таких местах говорят, что сама Тора требует: истолкуй меня! Над словом *ва-ишакеу* («и целовал его») стоят точки. Талмуд приводит слова раби Яная: не поцеловать, а укусить хотел Эсав Якова, но камнем стала шея Якова, и сломались зубы Эсава, и заплакали оба: один – о шее, другой – о зубах. Вот такие поцелуи. С тех пор и любят небритые дяди на Ближнем Востоке целовать потомков Якова: авось шея размягчилась.

Евреи – «народ жестоковыйный», в переводе с архаичного наречия русских переводчиков – «народ с твердой шеей». Страх размягчает шею. И чем больше боимся мы, тем легче и глубже впиваются зубы Эсава-Ишмаэля-Ясира-Ахмада в живую плоть.

Порочный круг кровь-страх-кровь-страх, эскалацию террора, реку крови можно рассечь только одним способом: хорошенько усвоить слова Рашбама и Магарама.

Здесь, на моей земле, я не боюсь никого. Я и в России был евреем без страха. А здесь – и подавно. Боюсь только одного: страха, робости, рабской согбенности.

Боюсь еврейского страха перед преследователем. Боюсь, и потому объявляю страху войну.

РЕЦЕПТ СВОБОДЫ

Много-много лет назад, когда на доисторическую родину повалили евреи, я и мой друг Сеня Аш устраивали для них семинары в Цфате, что-то вроде «Моя первая встреча с иудаизмом». На одном из таких семинаров мы встретили немолодую женщину, которую можно было бы назвать мечтой лектора: она не клевала носом, задавала разумные вопросы, живо реагировала на материал и даже записывала что-то в блокнотик. На перерывах она выказывала изрядный внеклассный интерес к «религии древних евреев». Семинар подошел к концу, мы тепло попрощались. И тут последовал удар — милая дама сказала мне и Сене: «Все было так интересно, так ново, так увлекательно. Но завтра нас ждет обычная жизнь репатриантов и, глядя вперед, понимаешь: все, что было сказано здесь, — чушь собачья».

Ну-с, а теперь к тексту. И не подумайте, что я себя или господина Аша сравниваю с Моше. Куда нам.

«И говорил Моше все это сынам Израиля, но не послушали они Моше из-за малодушия и тяжкого труда».

Тора называет две причины, сделавшие сынов Израиля «глухими», не позволившие им услышать и понять слова Моше. Относительно второй причины все ясно: лепят рабы кирпичи, а тут аристократ и белоручка обрушивает на них утопические идеи. Тяжел труд этих людей, страшно далеки они от свободы.

А вот первая причина, которую я лихо перевел как «малодушие», не так уж однозначна и понятна. *Коцер руах* означает буквально «короткий дух» или «короткое дыхание». Речь, однако, явно идет не об астме. Классические комментарии обычно трактуют это выражение как «нетерпение». Итак, за «неслышаньем» стоит не только изнурение плоти непосильным трудом, но и рабское свойство характера: нежелание и неумение тратить время на то, что не имеет очевидного и немедленно-го эффекта. Например, на мысли.

Старый анекдот: чем отличается прапорщик от обезьяны. Обезьяна трясет пальму, кокосы не падают. «Думай!» — слышит она внутренний голос. Подумав и оглядевшись, берет обезьяна палку — гоп! — и кокос падает ей прямо в руки. А рядом трясет пальму прапорщик. «Думай!» — слышит он внутренний голос. «Чего там думать, трясти надо!», — решительно отвечает прапорщик самому себе.

Рабская природа отмечена многими яркими чертами. Неверие в будущее и, как следствие, — желание получить все и сразу — одна из таких черт. Похлебку — сейчас, мир — сейчас, равенство — сейчас.

Гражданин Шариков ведь как говорил: «...пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет. Взять все, да и поделить...» Рабские решения общечеловеческих проблем при всем многообразии обладают одной общей чертой: все сложное решается просто. А че мудрить-то?! Пусть слон думает, у него голова большая. За нетерпением и скрывается второй эшелон рабской психологии. Ученики Бааль-Шем-Това переводили *коцер руах* как «малодушие». Неспособность выслушать и вслушаться, нежелание «преклонить ухо» (Рамбан) продиктованы внутренним страхом: а ну как Моше прав?! Тогда ведь вся жизнь – кувырком: вещи собирать, в путь пускаться... Жизнь сложна, мало кто свободен от «тяжкого труда». Но если слова Торы не доходят до сердца и ума, не стоит обманывать себя: не только тяготы жизни тому виной. Не только вне нас причины нашей глухоты и невосприимчивости. Всегда есть и внутренняя причина, *коцер руах*, нетерпение и малодушие.

Мало, стало быть, выйти из рабства, надо еще и рабство выдавить из себя. Научиться слушать и слышать. Понять, что в спешке не рождается понимание.

ЛЕКАРСТВО ОТ СЕРДЦА

Так моя бабушка, благословенна ее память, называла валерьянку. И напрасно я подтрунивал над ее русским («если принять лекарство, сердца не будет?»), бабушка всегда права.

Сердце – не насос для перекачивания крови, аместилище чувств, – всегда было объектом пристального внимания наших мудрецов. Особенно же занимал их вопрос о том, можно ли приказать или запретить сердцу испытывать определенные чувства. Ну, скажем, в Декалоге мы читаем: «Не пожелай...».

Р. Яков-Цви, автор комментария к Торе «Ѓа-Ктав ве-ѓа-кабала» говорит:

«Многие недоумевали по поводу этой заповеди: как может человек не желать то, к чему стремится его сердце, то, что желанно его глазам, ведь сердце желает произвольно, по природе своей, не считаясь с человеческим выбором. Мне нравится то, что написано у автора “Шней-лухот ѓа-брит”: “Всевышний, давая нам повеление любить, сказал: ‘И полюби Господа Бога твоего всем сердцем своим’. Разве недостаточно было написать ‘И полюби Господа сердцем

своим', что Он хотел сказать словом 'всем'? Вот что это значит: ты должен наполнить сердце свое любовью к Богу, а не говорить, что не одна лишь любовь к Богу должна быть в сердце, что любить надо не только Бога, но и мир. В этом случае сердце не принадлежит целиком Богу, лишь половина его — для Бога, а другая половина — для вас самих, и это нельзя назвать 'всем сердцем своим'. Человек, живущий по этой заповеди, когда возжаждет душа его радости Божьей — и изнеможет, стремясь приникнуть к Нему навсегда в великой любви, узреть благолепие Его, вкусить сладость Его владычества и насладиться отблеском Его славы, испытает в этой заповеди великое веселье и несравненную усладу. Благодаря этому будет сердце его всегда полно памятью о святости Божьей, помышлениями о Нем, и будет сердце его связано с Ним узами любви".

Так свершится заповедь "всем сердцем своим". То есть сердце его до краев переполнится любовью к Богу, и тогда никак невозможно, чтобы он захотел что-либо из прелестей мира сего. Ибо если сердце всегда полно любовью Божьей, останется ли в его сердце место для других желаний? Как полная до самых краев чаша, в которую уже не добавить ни капли. Тот, кто выполнил заповедь «и полюби... всем сердцем своим», совсем не может желать запрещенную вещь, поскольку сердце его беспрерывно утруждается в великой любви Божьей».

Современному читателю, особенно нерелигиозному, все это может показаться странным и архаичным. Но здесь все предельно просто: чтобы в сердце не рождались преступные желания, говорит мудрец, надо наполнить сердце любовью, тогда для ерунды просто не останется места.

Иное средство «от сердца» предлагает р. Авраам ибн-Эзра: «Приведу тебе притчу. Знай, что крестьянин, если у него есть хоть капля рассудка, увидев прекрасную дочь царя, не станет предаваться желанию лечь с ней, ибо он понимает, что это неосуществимо. И не испытывает человек похоть к собственной матери, хотя та и красива. Точно так же всякий разумный человек должен знать, что красивая жена или богатство достаются человеку не за его мудрость и знания, а наделяет ими по своему произволению Бог... Благодаря этому разумный человек не вожделеет и не предается желаниям, и чужая жена, поскольку она запрещена ему Богом, в его глазах гораздо недоступнее, чем дочь царя для крестьянина. Посему он радуется своей участи и не позволяет сердцу желать то, что ему не принадлежит, ибо знает,

что эту вещь не дал ему Бог, и ему запрещено забрать ее силой, хитростью или уловками».

И ум и сердце следует приучить к такой простой и обязательной норме: не желать чужого.

О СВОБОДЕ И ПРОКОЛОТОМ УХЕ

Много всякого говорят о религиозных. К примеру, однажды в автобусе две пожилые репатриантки на редком в наши дни рафинированном петербургском-русском перемывали косточки «досам», которые не ходят в армию. Дело привычное, я не стал огрызаться, но они сами стали обсуждать меня как яркого представителя враждебного племени. И все бы ничего, если бы не такая мелочь: моя неприлично длинная и неприлично рыжая борода ниспадала на армейскую гимнастерку, а ехал я в отпуск из Кцийот (два километра от Египта, северный край Синая). Но люди тем-то и отличаются от животных, что слух и зрение у них весьма селективно.

Самая, пожалуй, распространенная сказка о религиозных такова: слабые люди нуждаются в утешении, надежде, а особенно в том, чтобы за них решали. Люди с рабской психологией сбиваются в робкие стада — это и есть религиозные общины. Надо заметить, выдумка эта родилась не на еврейской улице, не в современном Израиле. Идея старая, психологически объяснимая: всякому атеисту хочется объяснить свой выбор не духовной поверхностностью, а свободолюбием.

Тора — не только Закон жизни (*Торат-хаим*), но и закон свободы. Начало Израиля как народа лежит там, где кончается рабство. Тора говорит:

«А если скажет раб: “Я люблю своего хозяина, свою жену и своих детей — не выйду на свободу!” — его хозяин приведет его к судьям, и подведут его к двери или к *мезузе*, и проколет хозяин ему ухо, и станет тот его рабом навсегда».

Нет в еврейском языке ругательства более крепкого (хотя и вполне цензурного), чем *эвед нирца* — раб (с) проколотым (ухом). Раб, пренебрегший свободой, любящий хозяина, любящий сытое рабство, — нет человека ниже, презреннее.

Раби Шимон, сын раби Йегуды га-Наси, удивляется: почему еврейского раба, отказывающегося выйти из рабства, подводят именно к дверям и *мезузе*? И отвечает: дверь и *мезуза* были свидетеля-

ми чуда в Египте, когда в заслугу за то, что евреи смазали косяки дверей кровью пасхальной жертвы, не боясь египтян, Всевышний миновал (*ласах* на иврите) их двери и вывел евреев из рабства на свободу, сказав: «Мне сыновья Израиля рабы», – а не рабы рабов.

Раби Йоханан бен Закай спрашивает, в чем провинилось именно ухо.

Еврей, слышавший на горе Синай: «Мне сыновья Израиля рабы» – а не рабы рабов, – и «Пусть не будет у тебя других богов» – и при этом все-таки оказавший предпочтение ярму другого человека прямой власти Всевышнего, заслуживает, чтобы прокололи его ухо!

Может быть, именно в этом и заключается судьбоносная ошибка тех, кто выбирает неверие из искреннего свободолюбия (это отнюдь не большинство атеистов): человек стоит не перед воображаемым выбором: быть свободным или рабом.

Он может выбрать только между признанием над собой власти Всевышнего или власти людей.

«СВЯТЫ БУДЬТЕ»

Когда речь заходит о святых, каждый из нас с уверенностью думает: это не обо мне. Мы выросли в культурной среде, где христианский компонент был весьма слабым: еврейская семья, атеистическое общество эпохи разлагающегося социализма, космополитическая школа и студенчество. Но в основе всего, за кулисами театра, между строк книг, в полутонах общепринятой морали можно без труда найти следы ЕХЦ, что на «новоязе» означает «Европейско-христианская цивилизация».

Это она устанавливает совершенно неприемлемое для нас деление людей на клир (духовенство) и мир (мирян). Это она именует святыми лишь мучеников (на стороне христианства, разумеется, сожженные и замученные христианами евреи и басурмане святыми не считаются), отшельников да чудотворцев. Христианство говорит человеку: святые – это особая порода, это не ты и не я.

Наша вера не знает деления на касты. Нет мирян и духовенства, нет профессиональных евреев. Раввин не выучит за нас Тору, *кофен* не отстоит за нас молитву. Каждый стоит перед Богом сам и служит Ему сам.

И святость, как ни трудно в это поверить, – удел и долг каждого. Именно так говорит Тора в недельной главе: «И Бог говорил Моше:

говори всему Израилю: святы будьте, ибо свят Я, Бог ваш». Альшех не оставляет места сомнению: «Воля Всевышнего состоит в том, чтобы каждый человек был свят. Глупцы ошибочно полагают, что этого способны достичь только немногие избранные, один или два человека в каждом поколении. Этот раздел был провозглашен «во всеуслышание», дабы было ясно, что он обращен не к избранным, а ко всему народу».

Туман рассеивается, когда слово «святость» разменивается на подробности: не обманывай, не воруй, не распутничай, не будь жесток и злопамятен, люби ближнего, как самого себя. И даже такие «мелочи», как «встань перед седым», – тоже часть еврейской повседневной святости. Именно так – повседневная святость – можно сформулировать удивительное, уникальное свойство нашей «цивилизации в цивилизации».

Еврейство прожило в чреве средневековой христианской Европы и мусульманского Востока полторы тысячи лет. Их культура была китайской грамотой для соседей (кстати, по-английски загадочный текст называют не «китайской грамотой», а «древнееврейской»). Но одно соседи знали: евреи не воруют, не убивают и не развратничают. Их можно найти в лавках и мастерских, но не в тюрьмах. Впрочем, и в тюрьмах евреи сживали, но совсем по иным причинам. Но каждому ли по зубам святость? Рамбам с уверенностью отвечает на этот вопрос: «Ошибаются думающие, будто бы Господь предрешает, каким быть человеку с рождения – праведным или безнравственным. Каждый способен стать праведным, как Моше, или порочным, как Яровам».

И ПОГЛОТИЛА ИХ ЗЕМЛЯ

А за что, собственно?! Еще вчера Корах (известный в русских переводах как Корей) обращается к Моше и Аѓарону со словами, суть которых состоит в следующем: почему вы считаете, что у вас есть монополия на правильное понимание и толкование Торы? Все мы были на Синае, все вместе получили Тору, отчего же вы поставили себя над общиной Всевышнего?

Трудно поверить, что речь идет о событиях, происшедших тридцать три века назад. Корах требует... демократии, хотя в те времена и термина этого в помине не было.

«Пусть вопросы Торы решаются большинством голосов, ведь все мы, евреи, святы». Как это часто случается с революционерами, расстояние от правильной посылки до правильных выводов оказалось непреодолимым для Кораха.

Действительно, душа каждого еврея несет в себе искру святости, нить, связывающую его со Всевышним. Поэтому, например, в молитве все равны. Евреи не нуждаются в священниках-посредниках (роль кофаним, иногда по ошибке называемых священниками, — совершенно иная). Но, говоря о Торе и законах, надо понять: это — область знания, своего рода наука. Как и во всякой научной дисциплине, сложные вопросы здесь должны решаться не большинством, а специалистами. Конечно, могут быть среди них, знатоков, и разные точки зрения, бывают и споры — но это споры компетентных людей, профессионалов!

Даже самые ярые демократы не предлагают решать профессиональные вопросы, скажем, медицины, общим голосованием врачей, санитаров, уборщиц и больных. Математические задачи тоже не решаются подсчетом рук, поднятых на базарной площади.

А где же справедливость, равенство? О, это важный вопрос! Равенство достигается тем, что каждый, в какой бы семье он ни родился, какого бы, скажем, ни был роста, может стать мудрецом и знатоком Торы. Равенство существует не только в начале жизненного пути, в детстве, когда каждый выбирает свою дорогу. Мы знаем примеры, когда невежественные люди, приступившие к серьезной учебе в весьма зрелые годы, стали великими авторитетами в Торе.

Моше, вопреки ожиданиям читателя, не вступает с Корахом в философский спор о знании и равенстве. Он обращается к психологическим мотивам поведения Кораха: «Слушайте же, сыны Леви! Мало вам того, что выделил вас Всесильный... и приблизил к Себе для совершения службы... вы домогаетесь еще и священнослужения?!» Сыновья Кораха приняли слова Моше, они не только остались в живых, но и оставили по себе добрую память в народе: их перу принадлежат удивительные по красоте главы в книге «Теѓилим» («Псалмы»), вошедшей в Танах.

Так диалектически замкнулся круг равенства: в любви ко Всевышнему, в творчестве, в молитве — и неравенства: в знании, в избранничестве, в жизненной миссии, которую Всевышний дает каждому по силам его.

Говорят, бунтом Кораха начинается история реформаторства в религии. Стоит об этом подумать всерьез.

ПЬЕСЫ

поставить после прозы

-

-

Александр Свищёв

ДУЭЛИ НЫНЧЕ НЕ В МОДЕ

Комедия в пяти действиях с эпилогом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

И в а н А н д р е е в и ч Л а е в с к и й, новый репатриант, два года в стране.

А л е к с а н д р Д а в и д о в и ч С а м о й л е н к о, старожил.

Н и к о л а й К о р е н, зоолог и поселенец.

П о б е д о в, ешиботник.

Действие происходит в Тель-Авиве в мае 1992 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Городской пляж. На пляже Самойленко и Лаевский.

Л а е в с к и й. Ответь мне, Александр Давидович, на один вопрос. Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней; прожил ты с нею, положим, больше двух лет и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?

С а м о й л е н к о. Очень просто. Иди, матушка, на все четыре стороны – и разговор весь.

Л а е в с к и й. Легко сказать! Но если ей деваться некуда? Женщина она одинокая, денег ни гроша. Работать не умеет... Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться. Я отлично знаю, что ты не можешь мне помочь, но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах. В том, например, что

мы, русские интеллигенты, вырождаемся. В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав. И мне было легче от этого.

С а м о й л е н к о. Знаешь, я совершенно не помню Толстого. Никогда его, по-настоящему не читал. Только в школе. Да и тогда, в сущности, не читал. А о какой вещи Толстого ты говоришь?

Л а е в с к и й. Боже мой, до какой степени мы искалечены цивилизацией! Мы бежали в Израиль и лгали себе, что бежим от тоталитарного строя и от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так: возьмем себе на просторе клочок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. В результате же я почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, отсутствие культурных людей, а выйдешь в поле – там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем – горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура – все это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе, под ручку с Надеждой Федоровной, и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка... И совершенно не с кем поговорить. Полное отсутствие интеллигентных людей. Ну, кроме тебя, конечно... Что же касается любви, то должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же неинтересно, как с любой Анфисой и Акулиной. Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу: дела мои с Надеждой Федоровной плохи, очень плохи. Я прожил с нею два года и разлюбил. То есть, вернее, я понял, что никакой любви и не было. Эти два года были – обман.

С а м о й л е н к о. Ты, Ваня, сегодня не в духе. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная, ты величайшего ума человек... Конечно, она не еврейка, но это ведь не ее вина, и к тому же надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да... Но доведись до меня, Ваня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти.

Л а е в с к и й. Без любви?

С а м о й л е н к о. Она-то тебя любит?

Л а е в с к и й. Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как, например, с пудрой. Я для нее необходимая часть ее будуара.

С а м о й л е н к о. Ты сегодня, Ваня, не в духе. Не спал, должно быть.

Л а е в с к и й. Да, плохо спал. Вообще, брат, скверно себя чувствую. Хамсин. В голове пусто, замирание сердца, слабость какая-то. (После паузы.) Бежать надо!

С а м о й л е н к о. Куда?

Л а е в с к и й. Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям. Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской области или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, потом бродить часа три по лесу с каким-нибудь интеллигентным человеком или хоть с самым плохоньким студентом и болтать, болтать... А сеном-то как пахнет! Помнишь?

С а м о й л е н к о. (Задумчиво.) А я уже восемнадцать лет не был в России. Забыл уж, как там. По-моему, лучше Израиля и края нет.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Салон в квартире Самойленко. В салоне Самойленко и Корен.

С а м о й л е н к о. Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живет человеку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное – психология одолела. Жаль парня.

К о р е н. Вот уж кого мне не жаль! Если бы этот милый мужчина тонул, я бы еще его палкой подтолкнул: тони, братец, тони.

С а м о й л е н к о. Неправда. Ты бы этого не сделал.

К о р е н. Почему ты так думаешь? Я также способен на доброе дело, как и ты.

С а м о й л е н к о. Разве утопить человека – доброе дело?

К о р е н. Лаевского? Да. Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерный микроб. Утопить его – заслуга.

С а м о й л е н к о. Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи: за что ты его ненавидишь?

К о р е н. Не говори, доктор, пустяков. Ненавидеть и презирать микроба – глупо, а считать своим ближним во что бы то ни стало всякого встречного без различия – это значит не рассуждать и отказываться от справедливого отношения к людям. Я считаю твоего Лаевского мерзавцем, не скрываю этого и отношусь к нему, как к мерзавцу. Ну, а ты считаешь его своим ближним – и целуйся с ним;

ближним считаешь, а это значит, что ты к нему относишься так же, как ко мне или другим порядочным людям, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем.

С а м о й л е н к о. Называть человека мерзавцем! Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу!

К о р е н. О людях судят по их поступкам. Что сделал Лаевский за те два года, что живет здесь? Точнее, чего он не сделал? Иврит он не выучил и даже не пытался. Не работал ни одного дня. Занят же был тем, что постоянно пьянствовал, играл в преферанс и ругал Израиль за отсутствие культуры. Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства. Мы в одно время приехали сюда. Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для преферанса, выпивки и закуски; к тому же они болтливы и им необходимы слушатели. Мы подружились, то есть он шлепался ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей гойки. Сразу же он поразил меня своею необыкновенною лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так малокультурен и мало знает, и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вовне, в пространстве. И при том – ловкая штука! – распутен, лжив и гадок не он один, а все мы. «Наше поколение», «мы, русская интеллигенция», «нас искалечила цивилизация». Иногда он, впрочем, говорит, что нас всех искалечила советская власть. Выбрал бы уж что-нибудь одно; «цивилизация» и «советская власть» – две вещи несовместные. Но в любом случае мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные, и что Лаевский – роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. Все знакомые, слушая его, восхищенно охали и ахали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с ловким мазуриком? Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.

С а м о й л е н к о. Замолчи! Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке!

К о р е н. Не перебивай, Александр Давидович. Я сейчас кончу. Лаевский — довольно несложный организм. Вот его нравственный осто́в: утром туфли, купанье в море и кофе, потом до обеда туфли, моцион и разговоры, в два часа туфли, обед и вино, в пять часов купанье, чай и вино, затем преферанс и лганье, в десять часов ужин и вино, а после полуночи сон и женщина. И при этом он уверен, что его недостаточно ценят, и где-то там далеко, где его пока еще нет, ему было бы лучше. Два года назад он прибежал в Израиль, якобы за идеалами. Не сегодня-завтра он убежит назад, в Санкт-Ленинград, и тоже за идеалами. А свою гойку бросит в Израиле.

С а м о й л е н к о. А ты почему знаешь?

(Некоторое время Самойленко и Корен сидят молча.)

К о р е н. Лаевский — это развращенный и извращенный субъект. Редко когда можно встретить подобное ничтожество. Но, откровенно говоря, ненавижу я его все-таки не за это. Если бы он действительно вернулся бы в Россию, я бы через неделю забыл о его существовании. Только пусть забирает с собой ту, которую сюда ввез. На Россию мне плевать, да в России он не так общественно опасен. А вот в Израиле... Летом у нас выборы. Конечно, он на них может и вовсе не пойти. А вдруг пойдет? Первые реальные выборы в его жизни. Интересно же. А он любитель развлечений. И неужели мысль о голосующем Лаевском не приводит тебя в ужас?

С а м о й л е н к о. Вот ты, Коля, и проговорился. Ты ненавидишь его за то, что он не сторонник твоей «Тхии». Ты ненавидишь его за то, что он человек современных, прогрессивных убеждений...

К о р е н. Да нет у него никаких убеждений! Если бы были убеждения, я бы и не говорил ничего. Просто опустит первый попавшийся бюллетень. И наверняка за такого же мазурика, как и он сам. Ты хоть представляешь, сколько подобных Лаевских приехало в Израиль за последние два года? Ну, почти таких, Лаевский, конечно, уникум. Ты представляешь, кого они изберут? А потом свалят отсюда, в Америку или Россию. А нам с тобой расхлебывать.

(Еще несколько минут Корен и Самойленко сидят молча.)

К о р е н. Нет, Александр Давидович, не вступайся за Лаевского. Ты неискренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил

его и считал своим ближним, то прежде всего не был бы равнодушен к его слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.

С а м о й л е н к о. То есть как?

К о р е н. Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом. (Корен проводит пальцем по своей шее.) Или утопить, что ли. В интересах человечества, в интересах страны и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно.

С а м о й л е н к о. Что ты говоришь! Да ты в своем уме?!

К о р е н. Я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, в чем я, впрочем, не уверен, то придумайте что-нибудь другое. Изолируйте его, депортируйте, отдайте в общественные работы. Исходя из узкогогосударственных интересов Израиля, лучше бы депортировать. Но в интересах всего человечества я выбираю общественные работы.

С а м о й л е н к о. Да что ты говоришь? Ты, величайшего ума человек, что ты говоришь?! Нашего друга, соотечественника, гордого интеллигентного человека, отдать в общественные работы!

К о р е н. А если горд, станет противиться – в кандалы!

(Самойленко ошеломленно смотрит на Корена.)

К о р е н. Александр Давидович! Первобытное общество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и естественным отбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и отбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет и человечество выродится совершенно. А государственные интересы Израиля тем более требуют уничтожения подобных людишек. Ведь у нас им даже не нужно размножаться естественным путем; они просто понаедут к нам со всего мира.

С а м о й л е н к о. Если людей топить и вешать, то к черту твою цивилизацию, к черту человечество, к черту государственные интересы!

(Некоторое время оба сидят молча.)

С а м о й л е н к о. Коля, вот ты говоришь, что таких людей, как Лаевский, надо уничтожать. Скажи мне, если бы государство или

общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы... решился? Только лично, собственной рукой.

К о р е н. Рука бы не дрогнула. И совсем не обязательно, чтобы это дело мне поручило государство. Раньше люди сами управлялись. Была в мире хорошая вещь – дуэль. Не нравится тебе человек, считаешь его общественно вредным – посылаешь вызов и собственной рукой изымаешь его из общества. Ну, или он тебя. Все честно – естественный отбор. Сейчас-то дуэли не в моде... А жаль! Если бы Лаевский согласился на дуэль, то я бы... Вот даже и «беретта» у меня для этого есть. Но он ведь не согласится.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Салон квартиры Самойленко. Самойленко и Лаевский.

Л а е в с к и й. Александр Давидович, спаси меня! Умоляю тебя, закликаю, пойми меня! Положение мое мучительно. Если оно продлится еще день или два, то я задушу себя, как собаку!

С а м о й л е н к о. Постой... Ты насчет чего, собственно?

Л а е в с к и й. Ты, Александр Давидович, мой единственный, мой лучший друг. Хочешь не хочешь – Бога ради, выручай. Во что бы то ни стало я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы!

С а м о й л е н к о. Ох, а ведь второй час ночи уже... Только заснул, а тут ты... Много тебе нужно?

Л а е в с к и й. Не меньше тысячи долларов. Ей нужно оставить хоть триста и мне на дорогу. Я тебе уже должен тысячу, но я все вышлю, все.

С а м о й л е н к о. Так... Тысяча... Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь.

Л а е в с к и й. Займи, Бога ради! Займи, а я непременно отдам. Можешь быть совершенно спокоен. (Оживляясь.) Вот что, Саша, давай выпьем водки!

С а м о й л е н к о. Что ж, можно и водки. (Достает начатую бутылку «Кеглевича» и колбасу.) А как же Надежда Федоровна? Она остается?

Л а е в с к и й. Я все устрою, все устрою. Я потом вышлю ей денег, она и приедет ко мне. Там уж мы и выясним наши отношения. За твоё здоровье!

(Минут пять Лаевский и Самойленко молча пьют и закусывают.)

Л а е в с к и й. Только знаешь, Саша, ты уж, пожалуйста, не говори никому о моем отъезде. А то мне могут закрыть выезд. Я ведь не только тебе должен. Но тебе я все отдам, все отдам.

С а м о й л е н к о. Но ведь у меня сейчас денег нет. У меня колоссальный минус в банке. Мне придется занимать.

Л а е в с к и й. Не понимаю, как это у врача может не быть денег. Но ты уж достань, душа моя, очень тебя прошу. Только не говори никому, что это для меня. И Надежде тоже не говори. Я ей потом сам скажу.

(Продолжают выпивать и закусывать.)

Л а е в с к и й. Великолепный ты, Саша, чудный человек. Не то что некоторые, вроде этого Корена.

С а м о й л е н к о. Помирился бы ты с Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а глядите друг на дружку как волки.

Л а е в с к и й. Да, он умнейший человек. Натура твердая, сильная, деспотичная. Вот скажи: что он в городе-то делает? Он ведь считается поселенцем? Вот и сидел бы в своих самарийских горах.

С а м о й л е н к о. Он делает докторат в здешнем университете.

Л а е в с к и й. Докторат-то докторатом, но ему еще и хочется покрасоваться перед здешней «русской» публикой. Поэтому и ходит по Тель-Авиву при оружии. Такой же репатриант, как и я, те же два года в стране, а вот поди ж ты. А почему он так одержим идеей основать новое поселение? Потому что в этом поселении он сам будет старожилом. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Там он будет король и орел, он будет держать жителей в ежовых рукавицах и подавлять их своим авторитетом. Он хочет прибрать к рукам всех, любит вмешиваться в чужие дела. Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?

С а м о й л е н к о. Да, говорил.

Л а е в с к и й. И идеалы у него деспотические. Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом, человека. Для Корена же люди – щепки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает и даже отдаст жизнь не во имя любви к ближ-

нему, а во имя таких абстракций, как человечество, будущие поколения, интересы страны. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, особенно еврейской породы, и в этом отношении мы для него только рабы, мясо для пушек, вьючные животные; одних бы он уничтожил или законопатил на каторгу, других скрутил бы дисциплиной, заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг вашей узкой, консервативной морали, и все это во имя создания «нового еврея».

С а м о й л е н к о. Пора, брат, спать. Мне завтра на работу.

Л а е в с к и й. Да-да. Извини. Я сейчас. (Допивает рюмку.) Александр Давидович!

С а м о й л е н к о. Что?

Л а е в с к и й. Позволь, голубчик, остаться у тебя ночевать!

С а м о й л е н к о. Сделай милость... отчего бы и нет.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Явление первое

Квартира Корена. В комнате Корен и Победов.

К о р е н. Гуманитарные науки, о которых вы говорите, только тогда будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Я согласен, что религиозная мысль это вершина гуманитарной науки, но посмотрите, как даже она различно понимается. Одни учат, что-бы мы любили всех ближних, и делают при этом исключение для солдат, преступников и безумных: первых они разрешают убивать на войне, вторых изолировать и казнить, третьим запрещают вступление в брак. Другие толкователи учат любить всех ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходит эпилептик или убийца и сватает вашу дочь – отдавайте; если кретины идут войной на физически и умственно здоровых – подставляйте головы. Я согласен, что иудаизм стоит в этом отношении много выше христианства, но ведь и он призывает любить ближних – то есть всех евреев. Всех! А я не намерен любить любого еврея только потому, что он еврей. Вот Лаевский тоже еврей по Ѓалахе. Почему это я должен его любить... К тому же толкований очень много, а если их много, то серьезная мысль не удовлетворя-

ется ни одним из них, и к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное.

П о б е д о в. Ну а нравственный закон, который свойствен каждому из людей, его философы выдумали или дал нам Бог?

К о р е н. Не знаю. Но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что, мне кажется, его следует признать органически связанным с человеком. Он не выдуман, а есть и будет. Я не скажу вам, что его увидят когда-нибудь под микроскопом, но органическая связь его уже доказывается очевидностью: серьезное страдание мозга и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно.

П о б е д о в. Хорошо. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних. Так? Но естественная природа наша из эгоизма противится голосу совести и разума, и потому возникает много головолomных вопросов. К кому же мы должны обращаться за разрешением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву?

К о р е н. Обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у нас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Правда, это скудно, но зато не так зыбко и расплывчато, как философия. Нравственный закон, положим, требует, чтобы вы любили людей. Что ж? Любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает вам опасностью в настоящем и будущем. Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы и умения обезвредить их, то есть уничтожить.

П о б е д о в. Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?

К о р е н. Несомненно. Вообразите, что вам удалось внушить пчелам гуманные идеи. Что произойдет от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых, будут съедать мед, развращать и душить пчел – в результате преобладание слабых над сильными и вырождение последних. То же самое происходит теперь и с человечеством: слабые гнетут сильных. Трудолюбивые должны работать, чтобы оплачивать пособия для тунеядцев. И все получатели пособий – голосуют. И даже сумасшедшие, содержащиеся в сумасшедших домах, и те голосуют. Куда мы придем!

П о б е д о в. Но какой у вас есть критерий для различения сильных и слабых?

К о р е н. Знание и очевидность. Бугорчатых и золотушных узнают по их болезням, а безнравственных и сумасшедших по поступкам.

П о б е д о в. Но ведь возможны ошибки!

К о р е н. Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп.

П о б е д о в. Лес рубят – щепки летят, так что ли?! А ведь это все уже было. И сумасшедших уничтожали, и срок давали за тунеядство. И одни объявляли общественно вредными целые народы, а другие – целые классы.

К о р е н. Вы передергиваете, Победов. Приписываете мне мысли, которые я не высказывал. Те применяли коллективные наказания к целым народам и классам, а я говорю об индивидуальном суде. Вы же не отрицаете, что о человеке нужно судить по его поступкам? Суд присяжных иногда ошибается, но что вы предложите лучшее?

П о б е д о в. Галаху и Суд Небес.

К о р е н. Это мне не очень подходит. Поймите, на нас надвигается катастрофа, новый потоп. И мы должны с ним бороться сами, а не перекладывать ответственность на Бога. Мы и есть эти присяжные. А если я готов исполнить приговор собственной рукой, то я и есть единственный присяжный. Поэтому мне так и нравится забытый институт дуэлей. И помощь государства мне для этого не нужна, хотя и от нее я при случае не откажусь. А если завтра я решу, что премьер-министр общественно вреден, то я... я и его на дуэль вызову. Если он, конечно, согласится. Ну, а не согласится...

Явление второе

Те же и Самойленко.

С а м о й л е н к о. Здравствуйте. Я вам не помешал?

К о р е н. Здравствуй, Александр Давидович. Нисколько не помешал. Присаживайся.

С а м о й л е н к о. А я вот иду мимо и думаю: дай-ка зайду, зоологию проведу. Посижу минуту и побегу домой... Кстати, брат, дай-ка мне займы долларов триста.

К о р е н. Хорошо. (Достает деньги.) Возьми, но с условием, что ты берешь не для Лаевского.

С а м о й л е н к о. А хоть бы и для Лаевского! Тебе какое дело?

К о р е н. Для Лаевского я не могу дать. Я знаю, ты любишь да-

вать взаймы. Ты дал бы и разбойнику, но, извини, помогать тебе в этом направлении я не могу.

С а м о й л е н к о. Да, я прошу для Лаевского! И никакой ни черт, ни дьявол не имеет право учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами. Вам не угодно дать? Нет?

К о р е н. Ты не кипятись, а рассуждай. Благотетельствовать господину Лаевскому так же неумно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу.

С а м о й л е н к о. Ты дашь или нет, я тебя спрашиваю?

К о р е н. Скажи откровенно: на что ему нужны деньги?

С а м о й л е н к о. Ему нужно срочно ехать в Петербург.

К о р е н. Вот как! А она с ним поедет или как?

С а м о й л е н к о. Она пока здесь остается. Он устроит в России свои дела и пришлет ей денег, тогда и она поедет.

К о р е н. Ловко! Одно из двух, Александр Давидович: или ты с ним в заговоре, или же извини, ты простофиля. Неужели ты не понимаешь, что он проводит тебя как мальчишку, самым бессовестным образом. Он вернется в Россию и бросит ее здесь, оплачивать все сделанные долги. Причем платить, конечно, будешь ты, кто же еще. А потом она на всю жизнь сядет на шею государству.

С а м о й л е н к о. Это только предположения. К тому же он так страдает...

К о р е н. Что из того? Воры и поджигатели тоже страдают.

С а м о й л е н к о. Положим даже, что ты прав. Допустим. Но я все-таки дам ему денег. Как хочешь, но я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений.

К о р е н. И превосходно. Поцелуйся с ним.

С а м о й л е н к о. (Просительно.) Так дай же мне денег.

К о р е н. Не дам.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Явление первое

Квартира Самойленко. Лаевский и Корен.

Л а е в с к и й. Здравствуйте! Александр Давидович дома?

К о р е н. Да, на кухне. Занят салатом.

Л а е в с к и й. Ничего. Я подожду.

(Некоторое время оба стоят молча. Корен не предлагает гостю присесть и загораживает дорогу).

Л а е в с к и й. Знаете, вчера, за преферансом, я просто упал в обморок. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, вечное безденежье, отсутствие людей и общих интересов. Положение хуже губернаторского.

К о р е н. (Холодно.) Да, ваше положение безвыходно.

Л а е в с к и й. А вам откуда известно мое положение?

К о р е н. Вы только что говорили о нем сами, да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас.

Л а е в с к и й. Какие друзья? Самойленко, что ли?

К о р е н. Да, и он.

Л а е в с к и й. Я попросил бы Александра Давидовича и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться.

К о р е н. Вот идет Самойленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился.

Л а е в с к и й. Я не понимаю вашего тона. Приберегите этот тон для кого-нибудь другого.

Явление второе

Те же и Самойленко.

С а м о й л е н к о. А, ты здесь? Здравствуй, голубчик. Ты обедал? Не церемонься, говори: обедал?

Л а е в с к и й. Александр Давыдович, если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны!

С а м о й л е н к о. Какие тайны? Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь.

Л а е в с к и й. Прошу вас обо мне не заботиться! Не обращайтесь на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать! Да, я делаю долги, пью, у меня припадки, я пошл, не так глубокомыслен, как некоторые, но кому какое дело до этого? Уважайте личность!

С а м о й л е н к о. Ты, братец, извини, но...

Л а е в с к и й. Уважайте личность! Эти постоянные разговоры на

чужой счет, охи да ахи, постоянные выслеживания, подслушивания, эти сочувствия дружеские... к черту! Меня третируют, как мальчишку! Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня от опеки. Я не мальчишка и не сумасшедший и прошу снять с меня этот надзор! Постоянные заглядывания в мою душу оскорбляют во мне человеческое достоинство, и я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство. Довольно!

С а м о й л е н к о. Что ты... что вы сказали? Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять! Извольте взять свои слова назад!

Л а е в с к и й. Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы меня оставили в покое! Иначе я приму меры! Я драться буду!

С а м о й л е н к о. (Корену.) Скажи на милость, за что он на меня набросился? Что я ему дурного сделал? Бегаю по Тель-Авиву, высунув язык, денег для него занимаю, и вдруг — здорово живешь: шпион! Ты скажи: с чего у вас началось? Что ты ему сказал?

К о р е н. Я ему сказал, что его положение безвыходно. И я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход из всякого положения. А тот, кто хочет в одно время быть честным и мошенником, не имеет выхода.

Л а е в с к и й. Оставьте меня в покое! Ненавижу вас! Ненавижу!

К о р е н. Убери его, Александр Давидович, а то я уйду. Он меня укусит.

С а м о й л е н к о. Друзья мои... хорошие, добрые... Погорячились и будет. Друзья мои...

Л а е в с к и й. (В исступлении.) Ненавижу вас, жидов! Ненавижу!

(Корен сбивает Лаевского с ног и с ожесточением бьет ногами по голове. (Затемнение. Слышны звуки ударов.)

ЭПИЛОГ

Занавес. Перед занавесом Корен и Победов.

К о р е н. Как изменился Лаевский! Какой то он теперь пришибленный. На работу устроился. Дворником. Иврит учит. Уже два слова выучил: «беседер» и «савланут». И мне грустно. Лучше бы он уехал в свою Россию... А самое главное: за кого он завтра проголосует?

Владимир Ханан

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ТРОИ *Античная трагедия*

Действующие лица:

ПРИАМ, царь Трои
ЭНЕЙ, его доверенное лицо
ПИФИЯ

Дворец царя Трои Приама. На сцене двое: ПРИАМ и ЭНЕЙ

ЭНЕЙ: Пора, мой государь. Уж слышен звон мечей.
Промедлим – не уйдем. Сокровища зарыты?

ПРИАМ: Надежней некуда. Хоть тыщу лет ищи –
Монетки не найдешь. Тересий постарался
И... пьет сейчас нектар в обители богов.
А как иначе мог я в тайне сохранить
Заветные места? Сокровища и кровь
Понятья родственные – однокоренные.
Где больше золота – и крови больше там:
Рабов две сотни – тех, что рыли тайники,
Еще десятка два надсмотрщиков над ними,
Потом уже и тех... Зато теперь один
Заветные места я знаю. Да пергамент,
В котором перечислено где, что...
Теперь о деле. Ты привел каргу?

ЭНЕЙ: С полудня у дверей
Твоих, мой государь. Позвать?

ПРИАМ: Зови.

ПИФИЯ (*входит*): Великий...

ПРИАМ (*перебивает*): Оставь. Сейчас не до великих. Сама видишь, что делается. У меня к тебе всего пара вопросов. Отвечай честно, мне не до сказок. Троя... падет?

ПИФИЯ: Падет.

ПРИАМ: Надолго?

ПИФИЯ: Навсегда.

ПРИАМ: Утешила... А ты, часом, не сочиняешь?

ПИФИЯ: Бывает, и сочиняю. Но сейчас если кто и сочиняет, так Аполлон. Я лишь его уста.

ПРИАМ: Отцарствовался... Воевал, копил,
Любил, казнил и миловал. Наследье
Отцов и дедов преумножил – было
Что передать любимым сыновьям...
Так думал я еще недавно. Нынче ж
Ни сыновей, ни царства... (*Пифии.*) Что еще?

ПИФИЯ: Могу сказать еще – и эти вести
Куда приятней. Только никому
Их не могу доверить. Даже ветру
Легчайшему, воде, глухому камню,
Лишь слуху твоему, Приам, но тихо,
Тихонько, шепотом... Дай ухо.

ПРИАМ (*подставляя ухо*): Ну, шепчи.

(*ПИФИЯ шепчет в ухо ПРИАМУ.*)

ПРИАМ: Слепец? А, все равно. Хромой, глухой, незрячий –
Лишь мир его б слышал. Знаю я,
Что так бывает на земле: поэма
Иных бывает крепче городов,
Высокими стенами окруженных.
Весть вправду радостна. А тот, второй?
Через три тыщи лет – а, глянь, выходит,

Он мой наследник... Ладно, получи,
Что причитается... Считаю, не обидел.
Прощай! (В сторону.) Эней!

ЭНЕЙ (*появляется*): Я здесь, мой государь!
И вижу на твоём лице улыбку,
Знать, Пифия поведала тебе
Не горькие, а радостные вести.
Пусть молод я, мой государь, но знаю,
Что счастье переменчиво: сейчас
Победа за ахейцами. А завтра
Мы силу соберем и их прогоним.
Сокровища, что спрятал ты, тогда
Помогут заново отстроить Трою,
И царство наше снова зацветет.
Пусть беглецами будем мы не год,
А два, и три, и пять, летуче время –
Вернемся и...

ПРИАМ: Нет, верный мой Эней.
Мы не вернемся, и сокровищ наших
Нам не видать. Нет смысла в возвращенье
На пепелище... Знаю я давно
Ахейцев этих: все сгребут до нитки
Да на своих галерах увезут
В Элладу нищую. Сюда вернувшись
Через десяток лет, не то что Трою –
Самой земли узнать ты не сумеешь:
Где город цвел – лишь терний будет цвести.

(*После паузы.*)

Мне жить уже недолго. Ты ж, Эней,
Держи свой путь в Италию. Пусть ныне
Она пустынна и дика, там город
Построишь ты. Величественный, мощный,
Что превзойдет со временем, поверь мне,
Все города и силой, и богатством.
Теперь ступай и жди меня в саду
У входа в подземелье. (*Эней уходит.*)

Мне сейчас
Последнее осталось сделать дело:
Пергамент этот положить в тайник
И навсегда задвинуть камнем. *(Делает это.)*
Если
Не соврала старуха, то найдут
Его через три тыщи лет. *(Задумывается.)*
Забавно.

Всю жизнь думал, что слава дружит только с победой. Выходит...
и с пораженьем тоже. Я потерял страну, семью, словом, все, но
найдется, оказывается, какой-то слепой грек, что своими стихами
прославит и победителей, и побежденных, а еще через три тыщи
лет какой-то, как она сказала? – немец? – раскопает и снова явит
миру мое царство.

Причудливы желания богов!
Сейчас во прахе ты – в Элизиуме завтра.
Сегодня нищ – наавтра Крез... Избегнуть
Ударов Рока, смертный, не трудись.
(После паузы.)
Коль пифия не врет – всем смертным здесь пример:
Не острый меч, а речь определит Героя.
(После паузы, задумчиво.)
Гомер и Шлиман... Шлиман и Гомер...
(В сторону, громко.) Эней, я остаюсь.
(Тише.) Ах, Троя, Троя, Троя...

ЗАНАВЕС

**СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН,
или
РОТАЦИЯ МУЖЕЙ
ВО ВРЕМЕНА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ**
Средневековая трагедия

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

СТАРЫЙ РЫЦАРЬ
МОЛОДОЙ РАЦАРЬ
ЮНЫЙ РЫЦАРЬ
ЖЕНЩИНА, жена СТАРОГО РЫЦАРЯ
СЛУЖАНКА

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната в подвале средневекового дома. Освещена скудно. В центре комнаты – низенький небольшой столик, перед ним что-то вроде табуретки. На столике в подсвечнике свеча. Около столика открытый сундук с золотыми монетами. Рядом еще несколько сундуков. За столиком сидит Старый Рыцарь. Одет во все черное. Пишет и говорит вслух.

С. Р.: Три тысячи четыреста пятьдесят да плюс процент – тысяча триста восемьдесят – итого четыре тысячи восемьсот тридцать... моих кругленьких, моих толстеньких, моих ненаглядных... (*Выпрямляется на стуле, поднимает голову.*)

Сказал глупец: «Не в деньгах счастье». Верно,
Оно не в деньгах – в обладанье ими!
Вот этими, которыми до верха
Наполнены дубовые, железом
Окованные крепким сундуки.
Что в них? А вот что: марки и дукаты,
Ригсталеры, дублоны, мараведи...
Презренный, говорят, металл, но в нем...
О, в нем есть все: желаний исполнение
Любых – каких захочешь. Земли, замки,
Богатство, сила, слава... А еще

В них то есть, что ценней всего на свете –
В них ВЛАСТЬ. При этом ПОДЛИННАЯ власть.
Вот, скажем, герцог наш – могуч, богат,
В шелках, брильянтах, золотой карете
С великолепной свитой – пэры, дамы,
Разряженные пышно (как припомнить,
Из них я с каждой третьей... или пятой?)
Ах, молодость... Ах, молодость, тебя
Приятно вспомнить. Вспомнить... но и только.
Теперь вполне мне прелести бывшие
С успехом заменяют те, что здесь
Так близко, под рукой...
(Опускает руку в сундук, пересыпает монеты.)
Так что же герцог?
Всем памятно, как в позапрошлом годе
Он вел войну с соседом со своим –
Курфюрстом Гогенлоэ. И победу
Блистательную одержал, отняв
У гордого курфюрста две деревни,
Одно болото да плешиный лес.
Что говорить – завидная добыча!
И герцог наш – герой! А коль взглянуть
Без дураков: кто выиграл войну?
Кто денег дал на латы, пушки, порох,
Коней, телеги, жалованье войску?
Их герцогу дал я (конечно, в долг
Под верные заклады и проценты).
Не кто-нибудь, а я, старик невзрачный,
Живущий в скромном маленьком домишке,
Хотя и со стенами в три ряда
Отборных кирпичей. В неярком платье,
В котором выхожу не слишком часто
Я из дому... Пешочком, без кареты
И не надолго, ибо все мое,
Все мое – здесь. (Стук в дверь.) Кто поздно так стучится
В мою простую хижину?

ГОЛОС: Откройте.
По важному мне очень нужен делу
Хозяин.

С. Р.: Кто ты?

ГОЛОС, он же позже МОЛОДОЙ РЫЦАРЬ:
Странствующий рыцарь
Из знатного ганноверского рода,
Бальдур фон Тригельмайер – так меня
Зовут на всем известном мне пространстве.
Не медли ж, открывай!

С. Р. (*открывает дверь*): Ну что ж, входи.
Готов, тебя я выслушав, узнать
О важном деле, о котором ты
Мне захотел поведать.

М. Р.: Буду краток.
Сейчас, как всякий церкви верный сын,
Я отправляюсь на Святую Землю,
Чтоб там победоносно воевать
За Гроб Господень, что, увы, донесъ
Находится во власти нечестивых
Проклятых басурман. И потому
Нужны, старик, мне деньги на оружие,
Коня, доспехи. По дороге я
Прилично издержался. Словом, дай мне
Ты тысяч пять дукатов. Для тебя,
По этим судя сундукам, немного.
А выгода громадная – когда,
Освободив Господень Гроб, домой
Дорогой той же буду возвращаться,
Ведя с собой арабских скакунов,
Чьи суммы переметные доверху
Я нагружу заслуженной добычей –
Шелками, златом, серебром, – тогда
Я расплачусь с тобой, старик, щедро.
За те пять тысяч, что сейчас возьму,
Я семь тебе отсыплю тысяч, восемь
Иль даже десять! Рыцарь Тригельмайер
Не скупердяй какой-нибудь! Бери!
Ну, старина, что скажешь?

С. Р.: Что скажу?

Скажу, что просто ослеплен твоею
Я, рыцарь, щедростью. Ведь экая лихва:
За каждый грош вдвойне! Боюсь, придется
Для этакой громадной суммы новых
Мне заказать дубовых сундуков,
Ведь не ссыпать же золото на землю!

М. Р.: Старик, ты, вижу, шутишь?

С. Р.: Да, шучу.

А ты неужто думал, храбрый рыцарь,
Что за одни красивые слова,
Которых ты здесь произнес без счета,
Я полновесным заплачу дукатом?
Так, попросту, без всякой закладной
На замок, на имущество, какое
Продать я мог бы в случае твоей –
Храни тебя Господь – геройской смерти.
Уж у тебя, я вижу, пролегла
В глазах домой обратная дорога.
Что ж, в добрый час! Но я ее не вижу.
А посему, любезный, не взыщи,
Но денег я тебе не дам. На слово
Уже лет этак тридцать или сорок
Не верю я. А стало быть, прощай.
Давным-давно пора мне, помолясь,
Укладываться спать. Поди, жена
Там, наверху, все очи проглядела:
Где милый муж? Все, я сказал, иди!

М. Р.: Постой, старик! Ты, видимо, не понял,
Кто пред тобой. А пред тобой стоит
Бальдур фон Тригельмайер! Тот, чьи предки
Прославили наш род в те времена,
Когда еще и дед твой не родился!
Чья воинская слава выше гор,
А слово тверже кремня. Я сказал,
Что расплачусь, – и хватит! Так что быстро
Отсчитывай указанную сумму,

Да заодно прибавь ты к ней кошель,
В который я ее намерен сыпать.
Смотри, старик, не заставляй меня
Одно и то же повторять. Во гневе
Второй раз повторю я кулаком!

С. Р.: Стой, рыцарь, стой! Бальдур фон Тригельмайер,
Конечно ж, мне знакомо это имя -
Из тех ты Тригельмайеров известных,
Что гордыми владельцами себя
Считали замка из трухлявых бревен,
Да трех кобыл, нет, двух – одна подохла,
Когда твой дед задумал на нее
Зачем-то сесть. К тому ж сейчас я вспомнил,
Что как-то твой отец у моего
Назад лет десять одолжил сто лир
И до сих пор не отдал. Может, ты
Принес их мне? А про Святую Землю
Упомянул шутя?

М. Р.: Ну все, старик!
Мое терпенье кончилось. Смеяться
Над нашим родом! Сто чертей, мерзавец,
Тебе в печенку! На вот, получи!

*(Бьет его по голове рукой в железной рукавице, тот падает за-
мертво. М. Р. наклоняется к телу, вглядывается.)*

Никак убил? Ростовщику-собаке
Собачья смерть!

Входит жена СТАРОГО РЫЦАРЯ.

ЖЕНЩИНА: Ой, кто здесь? А куда
Ушел мой муж? *(Вглядывается.)* О, Боже, что я вижу –
Мой муж лежит недвижно, как мертвец...
Он... мертв? Он мертв! А рядом с ним стоит
Коварный и безжалостный убийца,
Что в миг один любимую жену
Вдовою сделал, что теперь без мужа

Обречена сидеть у очага
Ненастным днем, а долгой зимней ночью
В еще вчера супружеской постели
Рыдать, обняв подушку...
(Тихо.) Эй, сюда,
Ко мне на помощь, слуги!

М. Р.: Госпожа!
Глазам своим не верю я, как может
Быть женщина прекрасная женой
Вот этого, которого во гневе
Я наказал за дерзость: ростовщик
Себе позволил грубые насмешки
Над рыцарем, чей род уж триста лет
Всеми известен миру. Я, конечно,
Не думал убивать, но мой кулак...
Нет, не могу поверить, госпожа,
Что ты жена... вот этого... в камзоле,
Что новым был лет пятьдесят назад,
И с бородой, что лет, должно быть, десять
Цирюльника не видела. Твои
Парчовые одежды и манеры –
Все обличает знатность, а мертвец
Простолюдин лицом, и по одежде
Похож скорей на старого жида
Иль на купца, но не на дворянина.

ЖЕНЩИНА: Ошибся ты, он дворянин, мой муж!
И род его, я думаю, известней,
Чем, рыцарь, твой. От франкских королей
Он происходит. Лет назад пятнадцать
Мой муж ходил в парче, и на руках
Его сверкали перстни. А когда
Младую деву нежную – меня –
Он вел к венцу, от зависти все дамы
Ни есть, ни спать неделю не могли.
Поскольку старше он меня примерно
На двадцать лет – не знала я, куда
Деваться от подарков – платьев, кружев,
Восточных благовоний. Но, увы,

Мое недолго продолжалось счастье:
Как будто некий адски злобный рок
Рассудок помрачил его – и вскоре
Покинул он двор герцога, друзей
Влиятельных, их празднества, охоты,
Пирь – и в темный сей подвал спусться,
Как будто в монастырь, ушел от мира.
И коль сказать по правде, рыцарь, я
Все эти годы провела в печали,
В такой, в какой проводит их скорее
Несчастливая вдова, а не жена.
И о своей супружеской постели
Поведала тебе я сгоряча.
Супружеская! – экая насмешка, –
Какую раз в полгода посещал
Мой муж, меня согреть не успевая...

М. Р.: О, благороднейшая госпожа!
Взгляни в мои глаза, и ты увидишь
Сочувственные слезы. Если б мог
Я повернуть ход времени, то тихо
Покинул бы сей дом, не наказав
Ростовщика надменного, чтоб горя
Тебе не причинить. Но что, скажи,
Могу сейчас я сделать, чтобы дама,
Прекраснее которой никогда
Я не встречал, свои утерла слезы.
Увы, хоть я и родовитый рыцарь,
Но не святой, что мог бы воскресить
Сию юдоль покинувшего...

ЖЕНЩИНА: Верю
Я твоему раскаянью, о рыцарь,
Ведь наш Господь нам всем велел прощать
Раскаявшихся. Дай мне миг подумать,
Как выпутаться нам с тобой из скверной
Истории... (*Задумывается.*) Постой же. Выход есть.
Поскольку мужа моего давно
Никто не видел (только слуги – этих
Я поменяю нынче же) ты б мог

За мужа моего сойти – подмены
Никто и не заметит. А дела
Его просты, ты разберешься скоро:
Принять заклад, дать в долг и взять назад
С процентами, конечно. А покончив
С делами, возвратиться в теплый дом,
Где будет ждать тебя горячий ужин
У камелька... И нежный разговор...
А ночью... (*Смущается, закрывает лицо.*)

М. Р.: Госпожа моя! Богиня!

ЖЕНЩИНА: Постой же, brave рыцарь, потерпи.
Еще у нас с тобою будет время.
А нынче нужно кое-что еще
Здесь привести в порядок
(*указывает на труп*).

Ты тихонько
Пройдешь вот в эту дверцу. Там в саду
В углу, где старый вяз, найдешь и заступ,
И место для могилы безымянной.
Иди ж, не медли. Ну а я тебя
Ждать буду с ужином (*уходит*).

М. Р.: Вот это баба!
Аж слюнки потекли. Ну, в добрый час!

(Взваливает на плечи труп СТАРОГО РЫЦАРЯ, выходит.)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же подвальная комната десять лет спустя. За тем же низеньким столиком сидит уже несколько постаревший МОЛОДОЙ РЫЦАРЬ, одетый примерно так же, как и его предшественник. Пишет и говорит вслух.

М. Р.: Теперь прибавить две сто пятьдесят
С Джованни из Вероны. Тыщу двести
С Гастона из Булони. Плюс процент.

Все вместе будет... Не забыть Рудольфа,
 Что попросил отсрочки. Ну уж нет.
 Сумел занять – сумей отдать. Мой принцип –
 «Сполна и в срок». А где он их возьмет –
 Его проблема. В долговой тюрьме
 Как посидит на хлебе да водице,
 Небось, сообразит, где взять деньжат,
 Чтоб долг отдать. Коль взял – так расплатись.
 Вот так-то, друг. Живем мы, слава Богу,
 В культурном государстве, не в лесу,
 Где не закона власть, а власть дубины.
 А где закон – там шутки не пройдут.
 (*Прислушивается.*) Шаги за дверью. Видимо, жена
 С соседками не наболтавшись вволю,
 Теперь чесать свой глупый язычок
 Идет ко мне, сюда. Уж эти бабы!
 Прости, Господь, мне дерзость, но считаю,
 Что создал Ты их зря. Браслеты, кольца,
 Сережки, диадемы, финтифлюшки,
 Духи, румяна, притиранья – в общем,
 Белиберда, в которой мало смысла,
 Зато цена! А муж за все плати,
 Молчи да знай выкладывай деньжата,
 Которые не даром достаются,
 А потом и трудами... Да какими!
 (*К двери.*) Ну, что ты там? Уж коль пришла – входи!

Входит ЮНЫЙ РЫЦАРЬ.

Ю. Р.: Ну, что, не ожидал? Ты, знаю, думал,
 Что в доме нет хозяина – и ты
 Его добром попользоваться сможешь
 Сполна. Ну, что – бери, тащи, хватай!
 Я вижу, плащ ты приготовил знатный,
 Хоть староват, да прочен: полмешка
 Дукатов в нем поместится, не меньше.
 А что же с остальными, в сундуках?
 Видать, решил ты протоптать дорожку
 И раз еще с десятков навестить
 Сей дом за ночь. Небось, уже и лошадь

Готова за углом – везти мешки
С ворованными денежками. Браво!
Работы всей на несколько часов,
И кто вчера еще был грязным нищим –
С утра богач!
Да на его беду
Вмешался в дело некий храбрый рыцарь,
Что держит путь в балканскую Риеку
На помощь местным христианам: год уж
Они обиды терпят от поганых
Магометан...

М. Р.: Что мелешь ты, юнец!
Кому грозишь? Не ты здесь – я хозяин!
Пришел по делу – говори, зачем.
Хотя по виду можно догадаться
Блестящему – от стоптанных сапог
До рукавиц – заплата на заплате.
Какую сумму, тыщу или две
Намерен ты просить, чтоб до Риеки
Добраться при оружьи, на коне.
Чтоб после, победив всех басурман,
Вернуть долги. Я знаю эти песни!
К тому же ты проситель больно наглый.
Ишь, шутки вздумал дерзкие шутить,
Седин не уважая. Прочь поди
Да поучись, невежа, обращенью
С людьми тебя и старше и знатней.

Ю. Р.: Ха-ха-ха-ха! Ну ты, видать, пройдоха.
Нет чтоб бежать – меня ты грозной речью
Решил взять на испуг. Каков хитрец!
С тобой я встречу где-нибудь в харчевне,
За дверь бы просто выгнал, без битья,
Чтоб руки не марать. Но ты посмел
Забраться в дом почтенный, с беззащитной
Хозяйкою, какую защищать
Велит мне властно рыцарский обычай.
Так получай, что заслужил, наглец!

(Бьет его железной палицей по голове, тот падает. Через мгновение входит ЖЕНЩИНА, которая, по всей видимости, все это время стояла за дверью.)

ЖЕНЩИНА: Ну, что ты, рыцарь?
(Подходит к телу, смотрит.)
Господи!
Мой муж!

Ю. Р.: Твой муж?

ЖЕНЩИНА: Мой муж! О, горе мне, злосчастной!
Убит мой муж, защита и опора.
О, как теперь в ужасном этом мире
Я проживу, несчастная вдова,
Совсем одна, без мужеской заботы?
Что сделал ты, жестокий!

Ю. Р.: Но ведь ты,
Ведь это ты сказала мне, что в доме
Внизу, в комнату эту некий вор,
Невесть откуда взявшийся бродяга
Залез, чтобы украсть твое добро,
Воспользовавшись тем, что в доме мужа
Нет твоего. Меня ты попросила
Прогнать бродягу. Я пришел, ему
Велел убраться. Стал со мной он спорить
И оскорблять. Такого униженья,
О, женщина, стерпеть я не сумел
Ну, и разок ударил негодяя...
Как мог я знать, прости, что он твой муж?

ЖЕНЩИНА: Несчастное стечение обстоятельств!
По-видимому, муж вернулся раньше
И, увидав его, бродяга скрылся,
И ты, когда спустился вниз, застал
Не вора, а хозяина. О, горе!
Теперь не приложу ума, что делать.
Ведь нынче днем, до полудня за час
Должны придти от герцога за ссудой,

А вместо ссуды – труп. Конечно, герцог
Безжалостно прикажет покарать
Убийцу...

Ю. Р.: Нет уж, госпожа моя!
Не стану ждать я боле ни минуты
И тот же час покину этот город.
Не с тем я ехал, чтоб на эшафот
Взойти безвинным. Лучше в жаркой битве
Приму я смерть. Как выбраться, скажи,
Боюсь, что в темноте найти дорогу
Я не смогу до городских ворот.

ЖЕНЩИНА: Увы, мой рыцарь. Даже если сможешь –
До полудня они всегда закрыты.
А до тех пор, конечно, обнаружат
Труп мужа, и тогда тебе не скрыться.

Ю. Р.: Что ж делать мне?

ЖЕНЩИНА: Не знаю я, хотя...
Есть шанс один-единственный, чтоб казни
Ты, бедный, избежал. В моем саду
В углу близь изгороди есть густой кустарник.
Там, в зарослях его, большая яма,
В которую по осени листву
Сгребаю я опавшую. И если
Там закопать несчастный этот труп,
Тогда...

Ю. Р.: А эти, что придут за ссудой
От герцога, и мужа твоего
Не обнаружат?

ЖЕНЩИНА: Не тревожься, рыцарь.
Сейчас наш герцог нового слугу
Назначил для финансовых сношений
С банкирами. И мужа моего
В лицо посланник сей еще не знает,
И ты... за мужа моего сойдешь.

Конечно, после этого тебе
Придется в нашем городе пожить
Ну, скажем, месяц-два или полгода,
Не так уж страшно. Ты подумай сам:
По бездорожью, под дождем и ветром,
Порою без пристанища ночного...
А здесь уютный дом, где есть еда
Обильная и сытная и жаркий
Всегда горит очаг. А для ночлега
Есть теплая постель... Где, может статься,
Тебе не будет слишком одиноко.
Подумай, рыцарь...

Ю. Р.: Если б у меня
И был бы выбор, ни одной минуты
Не стал бы колебаться я. За счастье
Твое я почитаю предложенье.
Вся ночь у нас с тобою впереди
Для разговоров нежных... и не только
Для нежных разговоров. А пока
Еще я должен выполнить работу
Не столь, увы, приятную. А ты
Ступай себе тем временем наверх
И приготовь нам ужин, да побольше
Подать вели вина, чтоб мы забыть
Могли события этой черной ночи.
Поверь, найдем занятие получше.

(ЖЕНЩИНА уходит, рыцарь уносит труп.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Примерно через месяц, В той же комнате. ЮНЫЙ РЫЦАРЬ сидит на том же стуле за тем же столиком. Рядом раскрытый сундук.

Ю. Р.: Все, вроде б, записал. И впрямь работка
Непыльная: дал в долг да взял назад
С процентами. А после – ешь да пей

Да обнимай красивую бабенку.
А что она меня маленько старше,
Так даже хорошо. Не то, что девки:
«Ты что?» «Куда полез?» «Я не такая!»
Как вспомнишь – тьфу! А эта – о-го-го!
Клянусь мечом! В ту ночь ко мне удача
Сама упала в руки: не зайди
Я в этот дом, наверное, сейчас
На старой кляче трясса б по дороге
Под ветром и дождем, ища ночлег
В крестьянских смрадных хижинах. А нынче
Живу здесь герцог – герцогом...

Входит смазливая кокетливая служанка.

СЛУЖАНКА: Хозяин!
Хозяйка кличет ужинать.

Ю. Р.: Ух, шельма! (*Щиплет ее, та хихикает.*)
Сегодня на ночь дверь не запирай,
Приду проведать... (*СЛУЖАНКА уходит.*)
Так о чем бишь я?
А, вспомнил: о дороге. Да-а, дорога
Сейчас не сахар. Лучше я до лета
Здесь поживу, а там уж на коня –
И в дальний путь. Милашка обещала,
Что купит все, что надо – и доспехи,
И жеребца – такого, чтоб на нем
Других господ я выглядел не хуже,
И без забот добрался до Балкан...

(Задумывается, опускает руку в сундук с деньгами, начинает пересыпать золотые монеты. После паузы, задумчиво.)

А, собственно, на что мне те Балканы?

ЗАНАВЕС

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

Современная трагедия

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

АКТЕР, он же ОДИССЕЙ
РЕЖИССЕР

АКТЕР, ИГРАЮЩИЙ ОДИССЕЯ:

Итака? Да... Я – дома. Но как странно

Само мне сочетание слов: «мой дом»...

Нет, в самом деле, впору задуматься, что такое дом – мой, твой,
его, любого человека – временное пристанище, постоянное жили-
ще, очаг?

Что дом твой, Одиссей – вот это остров?

Или дворец, что справа на холме

Манит едва заметными огнями?

Я жил там? Я там жил... не помню сколько лет.

Где спальни, где триклиний, где конюшни?

Немудрено забыть: побольше, чем на ложе

Супружеском, я времени провел

В палатке воина и на корме ладьи

Бродяги-морехода.

Клянусь Ареем! – в море

Я разменял не меньше бурных лет,

Чем на недвижной суше...

(Декламирует.)

Я там скитался больше лет, чем прожил,

И расстояний был длиннее путь.

И все же: почему здесь... это...дом?

Кто даст ответ мне – люди? Тени? Боги?

А если нет ответа, значит, я

Спешил сюда напрасно

И напрасно

Погибли в море спутники мои?

Напрасно я бежал от Полифема,

Каллипсо, Навзикаи, от сирен?

И в этот дом напрасно возвратился?

Я – возвратился! – вот в чем суть и смысл!

Он – в возвращении! Вот ответ, о, боги!

Дом – это то, куда ты всегда можешь вернуться. Из путешествий по далеким странам, с полей кровавых битв, даже из самого Аида!

Теперь я понял, что такое Дом,
И где он – дом скитальца Одиссея.
Так что ж я ме...

Из кулис появляется Режиссер

РЕЖИССЕР: Стоп! Стоп. Н-да... ничего... ничего... Ничего не пойдет. Значит, так: первым делом долой этот дурацкий пафос – ты не народный трибун и не столичный лектор. К кому ты обращаешься? Взгляни, кто там (*жест в сторону зрительного зала*) сидит: ахейцы, блин? Троянцы? Аргивяне? Там сидят трезвые люди двадцать первого века, половина из них не слышала о Гомере, две трети не знают, кто такой Одиссей. Им нужна информация, а не это (*завыва-ет*) – ляля – ляля – ляля – ляля – ляляля... Кстати, ты все время сбиваешься на пятистопный ямб, по-моему, в роли его нет. Зачем он нам? Стихи сейчас не в моде... Добро бы хоть верлибр... Тьфу ты... и меня туда же понесло. Короче, прекратить. И еще это... дом! Что ты заладил, как попугай: дом – дом – дом – дом? Дом – дом – дин – дон. Кого это сейчас колышет? Где дом? Везде. Я ставлю спектакли в пяти странах, живу в трех. У меня два гражданства; где живут мои дети, я вообще не знаю... пока не получаю письмо: дорогой папочка, я твоя дочка Анджелочка, пришли мне на совершеннолетие «мерседес»... Все почему-то думают, что я Рокфеллер. Но это в сторону. В общем, сейчас другие времена. Ты должен играть так, как будто там (*жест в сторону зрительного зала*) никто не знает этой истории. Включи их в игру, заинтригуй, пусть поломают... репы. Что у тебя там дальше?

АКТЕР, ОН ЖЕ ОДИССЕЙ: Что дом это то, куда ты возвращаешься, где тебя ждут. Кто ждет? Известно, кто: жена Пенелопа и сын Телемак. Ну, и там... женихи, служанка, которая узнает его по шраму... (*воодушевляется, декламирует*):

Так что ж я медлю? Там ведь ждет меня
Прекрасная супруга Пенелопа,
Что верностью подобна Артемиде,
А страстью Афродите. Там жена,
К которой я стремился, как к воде

Стремится путник, гибнущий в пустыне,
Что мне в ночи светила, как звезда...
(*Упавшим голосом.*)
Ну, там еще про сушу для моряка и этот... Телемак.

РЕЖИССЕР: Стоп. Дальше все ясно и все не пойдет. Все вычеркиваю на хрен. Давай посмотрим на вещи реально. Одиссей болтается по морям по волнам – так? Только под Троей, не помню, если не ошибаюсь, лет с десятка. Короче, он дома не был лет двадцать-тридцать. Так? Значит, сейчас, когда он вернулся, ему верный полтинник. Пенелопе, стало быть, тоже что-то вроде этого. Прикинь: бабе под пятьдесят – и это в их климате. Косметика в зачатке. А стоматология? К пятидесяти человек гарантированно без зубов. Так? Мужа двадцать лет нету, причем, учти: ни радио, ни газет – вообще неизвестно, он жив или давно дал дуба. Значит, Пенелопа ткет свой коврик и трахается со всеми мужиками острова, включая ослов. Теперь Телемаркет... тьфу! Телемак. Царский сын, золотая молодежь. Сил немеряно, а девать некуда: остров. Всех девок на острове перепортил – да сколько тех девок! Тут надо думать... (*Ненадолго задумывается, потом с энтузиазмом.*) Вот! Нашел! Потрясающий поворот темы. Одиссей приходит домой, женихов, конечно, никаких – что там за богатство? – старая баба да сотня коз. А у Пенелопы – ты слушай – кроме старшего – еще трое – и все от Телемака! Одиссей, конечно, за меч – да не тут-то было! Дети у жены не от него, но как ни крути – его родные внуки! В зале муха пролетит – будет слышно...

АКТЕР, ОН ЖЕ ОДИССЕЙ: Послушайте, но так же нельзя. Авторский текст... Мы же ставим Гомера, у него все по-другому. Пусть не все зрители, но ведь кто-то же знает, как было. Есть авторское право, наконец...

РЕЖИССЕР: И есть право режиссера – оно главнее. Не так, как у автора? Неважно: я, режиссер, так вижу. Пойми, дружок: Искусство есть Свобода. Шекспир берет в соавторы меня... И Шиллер, и де Вега, и Гольдони. А не хотят – тогда беру я их. Между прочим, ты подсказал мне финал. Значит, так: Одиссей приходит, видит этот балаган... Жену не тронь... детей не тронь... что делать? И он делает – вот что: уходит в горную хижину и там тихо пишет себе воспоминания. Он пишет – Одиссею! Ты понял ход?

Он пишет Одиссею, а поскольку
Царям писать, простите, западло,
Поэму пишет он под псевдонимом
И псевдоним берет себе – Гомер!
Что, круто?

АКТЕР-ОДИССЕЙ:

Круто. Круче не придумать.
Но я тебе, презренный, не позволю
Оклеветать великого Гомера
И в борзописцы превратить... меня!
Умри же! *(Поражает его бутафорским мечом.)*

РЕЖИССЕР: Я погиб!..

АКТЕР-ОДИССЕЙ: *(Смотрит на труп)*
Он... умер...

(Поворачиваясь к залу, вдохновенно.)
Но бессмертна
Трагедия!

ЗАНАВЕС

Петр Драйшпиц

ПЕТРОГЛИФЫ

* * *

Сорвавшись со стены, картины всегда падают маслом вниз.

* * *

Дело было высосано из пальца. Но когда узнали, что палец указательный, делу был дан ход.

* * *

Патроны заходили в магазин уверенно, не торопясь. Но, ознакомившись с местными ценами, вылетали пульей.

* * *

Ковер скрутили, вывели во двор и стали выбивать показания.

* * *

В деле с нефтью копали глубоко. В итоге нефть приговорили к вышке.

* * *

«Добро должно быть с кулаками» — писал поэт.
Пионер Павлик Морозов стихов не читал, и поэтому отдал свою жизнь за то, чтобы кулаки остались без добра.

* * *

Вечно гонимый и повсеместно спаивающий русский народ, самогон повторял судьбу еврейского народа.

* * *

В эпоху технической революции некоторые элементы обогащаются. Например – уран.

* * *

В Китае косить от армии бесполезно.

* * *

Пуля жила с патроном. От него же, дура, и подзалетела. Обычный военно-пулевой роман.

* * *

Порно-двигательный аппарат.

* * *

Глуппенфюрер.

* * *

Однажды Бернард Шоу, прикоснувшийся к оголенному проводу, стал смешно дергаться и кривляться. Окружающим это понравилось. Так появилось первое ток-шоу.

* * *

Если мужчины любят глазами, то очкарики еще и предохраняются.

* * *

Шнурки вели себя развязно.

* * *

Молоток был ударником производства.

ИЗ ЦИКЛА «НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»

БЛАГОРОДНАЯ БУТЫЛКА

Высокая, стройная, чистая бутылка была еще настолько зеленой, что поверила граненому стакану, прозрачно намекнувшему на свои глубокие чувства.

Приятель стакана, фужер, уговаривал товарища не лезть в бутылку. Стакан не внял совету и при встрече с бутылкой, переступив некую грань, опрокинул хрупкое существо на пол, сорвал нежную этикетку и жадно приложился к еще невинной жертве. В результате насилия бутылке был нанесен моральный и физический ущерб. На всю жизнь она осталась щербатой, и ни один уважающий себя приемный пункт с ней не связывался.

Бутылка пыталась подать жалобу в винно-водочный отдел местной бакалеи, но ей стали интенсивно затыкать горло угрозами вдребезги разбить ее жизнь. Бутылке пришлось обратиться к местному авторитету – графину, обещавшему помочь. Графин, некогда хрустально чистый сосуд, хоть и занимался сомнительным бизнесом, несправедливости не терпел. За стаканом было послабно. Позванивая от страха, на грани срыва, стакан, окруженный шкаликами, предстал перед авторитетом. В присутствии потерпевшей насильник был опущен, отделан и так надломлен, что ни к какой бутылке прикасаться уже не мог. На свалке битой стеклотары его подобрала сердобольная рюмашечка и кое-как выходила.

Полупарализованный стакан, в корсете из подстаканника, залитый крутым кипятком, пожинал плоды того, что сам заварил. А справедливый графин сошелся с благородной бутылкой. Они прекрасно ладят между собой.

ШТУКАТУРКА И КИРПИЧ

Штукатурка познакомилась с кирпичом в одном приличном доме. Была она нежной, мягкой и очень сексуальной – легла на кирпич практически сразу.

Кирпич, с виду твердый и холодный, но внутренне совсем не огнеупорный, сгорал от нахлынувших на него эмоций.

В мире и согласии они прожили вместе много лет. За это время случалось, конечно, всякое – землетрясение, наводнение и иные удары судьбы. После частых текущих и одного капитального ремонтов, они снова были полны сил и желаний. Но настал момент, когда никакие восстановительные процедуры не смогли им помочь сохранить силы. Штукатурка окончательно ссохлась, потрескалась, и чтоб не мучить себя и других, бросилась вниз с пятого этажа. Кирпич, весь щербатый, надломленный случившимся, лег на реставрацию. Там его кое-как склеили, подкрасили и познакомили с новой, совсем молоденькой штукатуркой. Последняя, не ломаясь, охотно ложилась на выдавший виды кирпич. Но старенький кирпич этого даже не ощущал. Годы закалили его. Он огрубел и стал, наверное, огнеупорным. Ночами он крошился и вспоминал свою старенькую штукатурку. А однажды, не выдержав нахлынувших воспоминаний, оттолкнул от себя намазанную молодуху, и шагнул вниз.

Никаких стенаний за этим не последовало. Дом с каменным лицом, свысока, взирал на разбросанный вокруг него строительный мусор.

О, СПИРТ! ТЫ – ЖИЗНЬ!

«Спирт натуральный, без вредных примесей, наивысшего качества, максимальной очистки – 96%, с высшим химическим образованием, с наличием жилплощади 0,7L. познакомится с нежной, чистой, прозрачной, не холодной и не сухой, с целью создания крепкого здорового потомства».

Водичка, молоденькая выпускница столичного КРАНа, прочитав подобное объявление, поняла, что нашла своего суженого. До этого она какое-то время жила с неким Шлангом, который обеспечивал ей определенное продвижение по службе. Но, обладая достаточным напором, без сожаления отвергла своего покровителя. Шланг повел себя достаточно гибко и не стал Водичке чинить препятствия.

Тесно общаясь кое с кем во время водных процедур, Водичка, не кипятясь, навела справки о Спирте. Отзывы были весьма положительными. Занимаясь компрессами, растираниями, дезинфекцией, Спирт буквально загорался новыми идеями и трезво смотрел в будущее.

Недолго думая, Водичка созвонилась со Спиртом и, нежно журча, договорилась о встрече. Понравились они друг другу сразу. Правда, при более близком знакомстве Спирт ощутил некоторую хлорированность Водички, а последняя отметила резкий запах, исходящий от спирта. У обоих еще была возможность испариться, но какая-то сила их взаимно притягивала, и они слились в единое целое.

Рождение первенца – прекрасной Водочки, приветствовали многочисленные друзья и родственники. Пришли поздравления от главного сводника Менделеева Д. И. из Петербурга, от дядюшки Шнапса из Берлина, тетушки Текилы из Мехико и от незаконнорожденного племянника из села Похмелкино – Самогона Мутного. Пожелания крепиться и твердо стоять на ногах от всевозможных алкогольных напитков уже не фиксировались, а странная телеграмма, подписанная неким Петровым-Водкиным, была признана плагиатом и возвращена автору на конюшню.

Личная жизнь и судьба Водочки в разные периоды складывалась по-всякому. Сумасшедшая популярность в народе, и в то же время персона нон грата в некоторых странах. Интимная связь с Пивом и рождение первенца – Ершика. Прочная дружба с Рассолом – верным последователем и почитателем. Конфликт с Печенью из-за какого-то Цирроза. Чертовски приятные посиделки с Белокурой Горячкой – все это лишь малая толика событий, выпавших на долю прекрасной Водки – верной дочери достойных родителей.

Правда, папаша Спирт со временем почти весь выдохся, а мамаша-Водичка потеряла былой напор и превратилась в холодную хрупкую льдинку...

ЗУБ ЗА ЗУБ

Когда на один из оставшихся в строю зубов была надета золотая коронка, во рту установилась абсолютная монархия. Основопологающим принципом новоявленного королевства стал постулат «зуб за зуб».

Коренное население составили пятнадцать зубов, выстоявших в борьбе с коварным кариесом. Из них истинных подданных было еще меньше. Многие были просто поддатые – стояли еле-еле и сильно шатались. Кроме многолетних попоек сказывались многочисленные обморожения и работа в горячем цеху. Нескольким зубам удалось устроиться под мостом, где внешние невзгоды переносились гораздо легче. Остальные бедолаги ютились прямо под открытым небом. Хотя и среди них некоторые, обрастая камнем, строились.

Относительно здоровыми считались два зуба: рассудительный зуб мудрости и вояка резец. Последний в молодости командовал отборной ротой зубов, и до сих пор о нем уважительно говорят: «Наш ротный».

Еще два зуба оставались с крепкими нервами. Корнями они глубоко проросли в нужные структуры, имели деловую хватку, дорогие пломбы, личные бормашины и не переживали за свое будущее. Несмотря на различия в положении, зубы находили между собой общий язык. Любимым напитком всех без исключения была «Зубровка». Вместо Библии на ночь все читали Данте и все как один исповедовали стоматологию.

Такой уклад жизни продолжался еще много лет, пока во рту не случился переворот. Золотая коронка была сорвана, зуб – депортирован. Начались глобальные чистки и отправка зубов на полку. Мосты рухнули, монархия пала. Во рту были установлены искусственные челюсти. Без корней и без нервов. Наступила новая эра. Эра протезирования.

СУДЬБА РУБАНКА

Рубанок был уже немолод, но так же силен и задирист, как в былые времена.

Доска выглядела грубой, невзрачной и колючей особой. «Неотесанная деревенщина», – сказал о ней рубанок, который всегда был остер на язык. «Но я возьму ее в работу», – добавил он.

Через некоторое время доску было не узнать. Нежная, тонкая, без сучка и задоринки, она ласкала взор и вызывала желание. Известная мебельная фирма уже предложила ей работать моделью. А один солидный модный гарнитур был влюблен в нее без памяти. Он предложил ей воздушную прогулку над Парижем. На что доска страшно обиделась, справедливо заметив, что она не какая-нибудь дешевая фанера.

Да, доску ждало блестящее будущее. Рубанок это понимал и не претендовал ни на что. Тем более что при расставании доска бросила в его сторону оскорбительное «шкуродер!»

Рубанок обиделся, напился древесного спирта и пьяный в доску свалился под верстак. Простые кудрявые стружки укрыли его и обогрели.

* * *

Розетка была особой энергичной. Энергетический вампир, штепсель, постоянно подпитывался ее энергией. Однажды к нему в гости пришли еще два штепселя. И все вместе, с участием тройника, совершили групповое изнасилование розетки. Потерпевшая тут же свела с обидчиками счеты. Да так, что о ней еще долго говорили – вольтанутая. Такова жизнь в электричестве...

СТОЛБОВАЯ ДОРОГА

Отношения между двумя столбами были весьма натянутыми. Способствовала этому длинная, неплохо сохранившаяся веревка.

С одной стороны, всей своей волокнистой сущностью она тянулась к стройному красавцу слева, с другой – была очень сильно привязана к твердо стоявшему в земле крепышу справа. Щемящему чувству неопределенности способствовало и белье, давно сохнувшее по веревке.

Неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся в происходящее попутный ветер. Его порыв был так силен и стремителен, что веревка разорвала всякую связь со столбами и, голая, без всякого белья, взмыла ввысь. Бывшие конкуренты остолбенело взирали друг на друга. Прежней натянутости в их отношениях уже не ощущалось. Вместо этого появилось сознание вины за случившееся.

Ведь это они пустили веревку по ветру. Хотя сама беглянка была безумно счастлива ветру перемен...

* * *

Пробка с бутылкой прожили вместе много лет. Бутылка была натурой утонченной и глубокой. Пробка, как все затычки, была глупой и легковесной. Когда бутылка пыталась изречь какую-то истину, пробка затыкала ей рот. При этом бутылка обвинялась во всех смертных грехах, внутренне краснела, но крепилась.

Однажды проходивший мимо штопор, пребывавший во взвинченном состоянии, сцепился с пробкой по какому-то невинному вопросу. После непродолжительной стычки уязвленная пробка вышла не столько из себя, сколько из бутылки.

Впервые последняя вздохнула свободно, а стакану, оказавшемуся рядом, в полной мере излила душу. На текущий момент жизнь ее устаканилась и обрела смысл, что вполне логично для натуры глубокой и утонченной.

ХВОСТ ПИСТОЛЕТОМ

Пистолет вел затворнический образ жизни. Друзей не имел, из кобуры выходил редко, в основном, по ночам.

Калибра он был среднего, характер имел тяжелый и вспыльчивый. Занятие мелким бизнесом особой прибыли не приносило. Да и чего можно было ожидать от небольшого магазина, в котором пули, не выдерживая вспыльчивости патрона, постоянно менялись.

Определенной цели в жизни у пистолета не было. Будущее казалось безрадостным, хотя порох в пороховницах еще имелся.

Но однажды в судьбе пистолета произошли существенные перемены. Пистолет познакомился с нежной, крохотной мушкой, изящно присевшей к нему на дуло. С этого дня его жизнь стала осмысленной и целенаправленной. Мушка, освоившись, отнеслась к пистолету с подчеркнутым вниманием и пиететом. Называла его уважительно револьвером и страстно ревновала к девственным мишеням. Прожили они дружно в одной кобуре много лет, и хотя со временем мушка окончательно сбилась, а пистолет все чаще давал осечку, держались они молодцами. Пистолет,

скрепя затвор, по-прежнему всех брал на мушку, а последняя с трудом, но держала хвост пистолетом.

СОБАЧЬЕ ДЕЛО

После бурной ночи, проведенной с шикарными болонками, возвращались под утро в свою конуру две кавказские овчарки. Дорогу им преградил патруль из трех легавых и одной московской сторожевой. Старший из четверки попросил у морд кавказской национальности документы. В предъявленных паспортах, естественно, не оказалось прописки в местном клубе собаководства.

«Совсем оборзели!» – выругался один из легавых, а старший патруля убедительно попросил кавказцев заплатить штраф. Платить нужно было строго по таксе, которая была хоть и невысокой, но весьма жесткошерстной. Кавказские овчарки заартачились и стали лаяться с легавыми. Последние вызвали на подмогу пару южнорусских овчарок, которые ненавидели овчарок кавказских и среднеазиатских за то, что те захватили все помойки в столице. Началась грызня, и кавказцам пришлось нелегко. Но в это время мимо проходила стая боксеров, до этого прошедшая Афган и суровые стычки с афганскими борзыми. Боксеры бросились кавказцам на подмогу и стали обрабатывать легавых скотч-терьерами. Рядом с дерущимися испуганно проносились незаконно находящиеся в стране пекинесы, японские хины, китайские хохлатые, шарпеи и прочие мигранты.

Неизвестно чем бы заварушка закончилась, если бы поблизости не показалась добропорядочная семья доберманов – глава семьи доберман-пинчер, сучка доберманша и двое симпатичных доберманчиков с только что обрезанными ушами. Внимание дерущихся тут же переключилось на мирно идущую семейку. Послышались оскорбления и угрозы...

«Доберманские морды, убирайтесь к своим ханаанским собакам», – кричали все хором. Запахло погромом. Но к счастью, на злобную, лающую свору набросилась группа немецких овчарок, прибывших на международную выставку и ставших свидетелями отвратительного зрелища. Невольными соучастниками происходящего стали также несколько французских и английских бульдогов, шотландская овчарка и ирландский сеттер. Но никто из них не вступился за бедных доберманов. А в это время мужественные немец-

кие овчарки, в коих жил комплекс вины перед всеми доберманами мира, раскидали свору ублюдков и сукиных сынов.

После подобного инцидента, многие доберманы уехали на родину немецких овчарок, но большинство, бросив на прощание: «Чау-чау!» – рвануло к своим ханаанским собакам. Последние очень невзлюбили доберманов, обзывали их русскими борзыми и не брали на приличную службу. Многие доберманы, обладатели отличных родословных, многочисленных дипломов и медалей, вынуждены были идти в простые сторожа. Некоторые доберманы в основном, с необрезанными ушами, опускались настолько, что превращались в обычных дворняжек и пустолаек. Значительное число породистых псов вместе со щенками перебирались к американским стаффордширским терьерам и их австралийским братьям. Находились и такие доберманы, очевидно, вовсе не привитые, которые возвращались обратно к московским сторожевым.

А те особи, что остались жить бок о бок с ханаанскими собаками, как-то пообвыкли, постепенно перестали выть по ночам, научились сносно брехать на новом лае и во многих областях собаководства даже преуспели. Открыли множество питомников, завезли левреток. И, однажды, после бурной ночи, проведенной с последними, возвращались под утро в свою конуру две шумные ханаанские собаки, в недалеком прошлом – чистокровные доберманы.

ТУФЛИ

История эта приключилась со мной в Израиле в первый месяц пребывания в стране. По примеру многих соучеников по ульпану, нашел я себе работу в послеобеденное время. Работа оказалась довольно грязной, но, побывав на ближайшем складе для новых репатриантов, я решил вопрос со спецодеждой. Единственной недостающей деталью моей экипировки оказалась обувь. Я, конечно, привез с собой несколько пар элегантной обуви. Но эта элегантность исчезла бы в первый же день работы на новом месте.

Размер ноги у меня довольно редкий – 45-й. И поэтому лишь на третьем или четвертом складе мои поиски увенчались успехом. Туфли оказались довольно крепкими, еще в очень приличном состоянии и, что самое главное, – подходили мне по размеру.

Пройдясь в обновке несколько раз по складу, я вдруг с удивлением и с некоторой даже гордостью обнаружил, что мои элегантные

итальянские туфли, в которых я пришел на склад, тоже пользуются некоторым спросом. Во всяком случае, мужчина лет сорока пританцовывал в моих кровных с явным удовольствием. Его жена, наблюдавшая за премьерой супруга, очень быстро и настойчиво твердила: «Берем, берем, берем!»

Еще в полной мере не ощущая надвинувшейся на меня перспективы остаться в одних носках, я очень сдержанно, но уже испытывая некоторый зуд в пятках, произнес: «Господа евреи, туфли-то – мои». Сема – а именно так звали нового поклонника моих туфель – перестал пританцовывать, страшно заморгал и с ужасом посмотрел на супруга. Я даже подумал, что в какой-то мере поторопился со своим признанием, лишив Сему возможности понежить свои ноги. Но тут Семина половина, глядя поверх моей го ловы, настолько поверх, что я невольно приподнялся на цыпочки, чтобы поймать ее взгляд, загробным голосом произнесла: «Туфли наши, мы первые нашли их». Затем, резко повернувшись к мужу, истерически зашептала: «Не смей снимать обувь, идиот!»

Честно говоря, идиотом почувствовал себя я, глядя, как Семина супруга, одной рукой укладывая ветхие сандалии своего остолбеневшего муженька, другой рукой энергично проталкивает мои туфли вместе с Семой к выходу.

Совершив гигантский прыжок, ставший, как оказалось в дальнейшем, пиком моего продвижения в Израиле, я очутился у двери первым и загородил выход. «Послушайте, – сказал я, стараясь добавить в свой голос побольше металла, – раз уж вкусы наши настолько схожи, может, вы мне вернете хотя бы один туфляк? – И скромно добавил: – Мне все равно какой». – «Сема! Почему ты молчишь? Ты мужчина или нет?».

«Сема, – сказал я ласково, – дай мне возможность обуть туфли, и ты увидишь, что они мне впору». – «Мне они тоже впору», – сказал Сема и стал снимать туфли. Жена забилась в истерике.

Я уходил со склада в освобожденных туфлях при полной тишине. Они еще хранили тепло Семиных ног. На какое-то мгновение сомнение овладело мной: действительно ли это мои туфли? Чувство необъяснимой вины перед Семой еще некоторое время не покидало меня.

Успокоился я только дома. Оказалось, правда, что из-за происшедшей суматохи я вновь остался без рабочей обуви. И когда через некоторое время, вновь оказавшись на складе, я примерял приглянувшуюся обувь, свои туфли я надел на руки, чем немало удивил

окружающих. Не спорю, вид у меня, конечно, был очень странный, но представить себе тяжело, каково было бы удивление окружающих, если бы перед их взором предстал мужчина, вполне интеллигентный на вид, шагающий в носках!

С тех пор прошло более десяти лет. Мои итальянские туфли, хотя еще и целы, уже вполне созрели для встречи с Семой. Во всяком случае, мешать я этому не стану.

РАССКАЗИКИ О ЛЕНИНЕ

* * *

Ленин свободно матерился на основных европейских языках. И в любой дискуссии выглядел очень убедительно.

* * *

Надежду Крупскую Ленин уважал. Инессу Арманд – любил. Но лишь Фанни Каплан ранила его по-настоящему.

* * *

Чтобы сорвать Брестский мир, эсэр Блюмкин убил немецкого посла. Вернувшись к себе на службу, в ЧК, он коротко отрапортовал: «Мир – бах». Под этим именем покойник и вошёл в историю. А Брестский мир был все-таки заключен.

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

в самом сжатом варианте

* * *

Гусеница в ранней молодости была прехорошенькой. Ну просто куколка. А с возрастом обабилась.

* * *

Граната плохо переносила полет. И даже потом, на земле, ее сильно рвало.

* * *

Большая нарядная люстра принадлежала к высшему свету. На всякие настольные лампы и торшеры она взирала свысока, хотя в будущем ей самой уже ничто не светило. Она достигла своего потолка.

* * *

В молодости лампочка жила со своим патроном и вся прямо-таки светилась от счастья. Ну а к старости внутри у нее все перегорело, хотя патрон был еще хоть куда! Полный энергии, он еще не одну лампочку держал в напряжении.

* * *

Днем домашние тапочки крутили роман со стройными ножками. А по ночам со всей страстью приударяли за усатыми тараканами.

* * *

Фраза была избита и брошена прямо посреди речи.

* * *

Грампластинка, натура утонченная, хрупкая и глубоко музыкальная, долгое время пылилась на полке одного из стеллажей магазина «Мелодия». Но стоило ей однажды подсесть на иглу, как жизнь ее, набирая обороты, завертелась, окружающий мир куда-то поплыл, и волшебным образом зазвучала нежная мелодия.

«Глюк», – подумала игла.
И не ошиблась.

* * *

Ни одна грампластинка не задерживалась у проигрывателя надолго, даже долгоиграющие рано или поздно уходили от него. А старые, в царапинах особи, кружившие головки еще граммофонам, зло шипели и еле двигались. Происходило все это оттого, что был проигрыватель неудачником – все время проигрывал. А женский пол, как правило, любит победителей. И заводится от них с полоборота.

* * *

Болт крутил шашни с гайкой. И все было бы хорошо, если бы между ними не встряла шайба.

* * *

Бессильно раскинув бретельки, жалкий и опустошенный после вчерашнего, лежал на кровати бюстгальтер. Но стоило ему принять на грудь, как жизнь, приобретя прежнюю форму, вновь становилась интересной и наполненной.

* * *

Лифчик всю жизнь оказывал поддержку некой груди. Без него она пала бы очень низко. За этот подвиг лифчику еще при жизни был установлен бюст.

* * *

Дождь проходил по мокрому делу. Однажды среди бела дня он замочил несколько прохожих и попал за решетку. Канализационную. Теперь его место – в параше.

* * *

Бублик пытался удержать дырку в каких-то рамках, но вскоре убедился, что дело это пустое.

* * *

Крыша поехала и неплохо устроилась на новом месте.

* * *

Человек бежал от инфаркта. У инфаркта было слабое здоровье, и за человеком ему было не угнаться. Поэтому, когда человек в очередной раз побежал, инфаркт не пустился вдогонку. Он пришел к человеку в дом и стал ждать его там. Человек набегался и вернулся домой. Там его инфаркт и встретил.

БАЙКЕР-СТРИТ

*Олимовские народные мифы и легенды,
а по большей части – случаи, имевшие место быть
на самом деле*

ОБЫСК

В Израиль мы улетали из Бухареста. А по дороге в Румынию в наше купе без стука, уверено, как сквозняк, вошла женщина.

– У вас должно быть золото, – произнесла она равнодушно, но с некоторым металлом в голосе. – И будет лучше, если вы отдадите его сами и сразу.

«Бандитский налет», – подумал я. Но разглядев на кителе у дамы погоны, понял – форменный грабеж. Таможенница чинно присела на полку и приготовилась к приемке ценностей.

– Какое золото? Откуда золото? – занервничала супруга.

Я стал успокаивать жену:

– Товарищ сказала, что у нас должно быть золото. Товарищ это утверждает. И то, что у нас его нет, полная несправедливость. После стольких лет ударного труда нам положено иметь

золото. Где золото? – строго спрашиваю у жены и начинаю вскрывать чемоданы.

Таможенница активно подключается к обыску.

– Поверьте мне, я тридцать лет на таможне, у вас должно быть золото, – доброжелательно и азартно шепчет дама.

Четыре чемодана перерыты – золота нет. Я разочарован не меньше ценительницы желтого металла. Но та не сдается. Хитро улыбаясь, подходит к жене и профессионально ее обыскивает. Золота нет. Дамочка, уже явно то ли в экстазе, то ли в золотом угаре, плотоядно смотрит в мою сторону. Я понимаю, что с меня если и не снимут сию минуту скальп, то золотую коронку с верхнего зуба отдерут голыми руками. Таможенница, не спуская с меня глаз, рывком открывает дверь в купе и кричит вглубь коридора: «Коля, в девятое зайти!»

Заходит молодой таможенник Коля.

Дама, кивая в мою сторону, что-то страстно шепчет Коле на ухо. Я предполагаю, что меня рекомендуют и не ошибаюсь.

– Попрошу женщин выйти из купе, – строго говорит Николай.

Когда закрывается за ними дверь, он ласково обращается ко мне:

– Раздевайтесь!

Коля мне явно не нравится, поэтому раздеваюсь медленно и неохотно. Через несколько минут остаюсь в трусах и носках. Переводя взгляд с трусов на носки и обратно, и делая вид, что ему все ясно, таможенник Коля резко спрашивает:

– А что у вас в носках?

– Ноги, – отвечаю, не задумываясь.

– Перестаньте издеваться! – кричит Коля и вылетает из купе.

А ведь он был так близок к цели. Потому что единственный и настоящий самородок был у меня именно в трусах. Через день мы были уже в Израиле. Золотой запас я благополучно доставил на историческую Родину.

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

В шикарном гастрономе на Брайтон-Бич в Нью-Йорке прилавки ломятся от продуктов. Деликатесов так много, что боишься поскользнуться на собственных слюнках. Покупатели – солидные и не очень – раскованны, но не шумны. Все, включая продавцов, говорят по-русски.

Один из посетителей, очевидно, поперхнувшись разнообразием ароматов, начинает кашлять. Бойкая продавщица в белом халате и чепчике, похожая на откормленную Снегурочку, голосом времен застоя вешает: «Гражданин, не кашляйте на продукты!»

Гражданин, продолжая покашливать, довольно отчетливо произносит: «What?».

Продавщица, пошатнувшись, испуганно хватается за первую попавшуюся палку колбасы и удивленно-почтительно восклицает: «Ой, мамочки, иностранец!»

Гражданин перестает кашлять, но так и не врубается, что находится в приличном обществе, где местные диалекты не в ходу. Впрочем, морду ему не набьют и отоварят на все сто. Америка!

* * *

В магазине «Колбасы» – очередь из нескольких человек. Дело происходит в одном из городков израильской глубинки, хотя углубляться в Израиле практически некуда. Да и дела как такового тоже нет.

Продавщица, вежливо обслуживая очередного покупателя, так же вежливо интересуется:

– Что-то акцент у вас, гражданин, непонятный. Не с Украины ли будете?

– Нет, я поляк, – без особой гордости отвечает гражданин.

– Откуда же вы так хорошо говорите по-русски? – удивляется продавщица.

– А что вы так удивляетесь? – в свою очередь удивляется шляхтич. – Я уже семь лет в Израиле!

Довод настолько убедителен, что возразить нечего. Да и незачем.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Елена Аксельрод	9
Виктор Голков	12
Зеэв Зорах	17
Борис Камянов (из Л. Шафира)	22
Лиора Кнастер	29
Наталья Кристина	32
Нина Локшина	40
Зинаида Палванова	50
Ирина Рувинская	57
Григорий Трестман	63
Владимир Френкель	67
Сусанна Черноброва	72

Проза

Паулина Анчел	79
Светлана Бломберг	89
Илья Войтовецкий	104
Игаль Городецкий	121
Алиса Гринько	148
Валентин Кобяков	174
Шломо Ленский	182
Григорий Люксембург	191
Софья Рон	203

Пьесы

Александр Свищев	227
Владимир Ханаан	241

Статьи, эссе, воспоминания

Леа Алон (Гринберг)	265
Вильям Баткин	282
Йегуда Векслер	302
Михаил Копелиович	343
Эли Корман	368
Татьяна Лившиц-Азас	393
Виктория Орти	409
Дина Ратнер	420
Михаил Сидоров	437
Александр Фейгин	452

Юмор

Петр Драйшпиц	471
---------------	-----